Д. Дефо

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО

Библиотека приключений



Робинзон Крузо



Глава 1

Семья Робинзона. — Побег из родительского дома

Я родился в 1632 году в городе Йорке в почтенной семье, хотя и не коренного происхождения: мой отец приехал из Бремена и поначалу обосновался в Гулле. Нажив торговлей хорошее состояние, он оставил дела и переселился в Йорк. Здесь он женился на моей матери, которая принадлежала к старинному роду, носившему фамилию Робинзон. Мне дали имя Робинзон, отцовскую же фамилию Крейцнер англичане, по обычаю своему коверкать иностранные слова, переделали в Крузо. Со временем мы и сами стали называть себя и подписываться Крузо; так же всегда звали меня и мои знакомые.

У меня было два старших брата. Один служил во Фландрии, в английском пехотном полку, том самом, которым когда-то командовал знаменитый полковник Локхарт; брат дослужился до чина подполковника и был убит в сражении с испанцами под Дюнкерком. Что сталось со

вторым моим братом – не знаю, как не знали отец и мать, что сталось со мной.

Так как в семье я был третьим сыном, то меня не собирались пускать по торговой части, и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями. Отец мой, находясь уже в преклонном возрасте, позаботился, чтобы я получил вполне сносное образование в той мере, в какой его могли дать домашнее воспитание и бесплатная городская школа. Он прочил меня в юристы, но я мечтал о морских путешествиях и слышать не хотел ни о чем другом. Эта страсть моя к морю оказалась столь сильна, что я пошел против воли отца – более того, против его запретов – и пренебрег уговорами и мольбами матери и друзей; казалось, было что-то роковое в этом природном влечении, толкавшем меня к злоключениям, которые выпали мне на долю.

Отец мой, человек степенный и умный, догадываясь о моих намерениях, предостерег меня серьезно и основательно. Прикованный подагрой к постели, он позвал меня однажды утром в свою комнату и с жаром принялся увещевать. Какие другие причины, спросил он, кроме склонности к бродяжничеству, могут быть у меня для того, чтобы покинуть отчий дом и родную страну, где я могу прилежанием и трудом увеличить свой достаток и жить в довольстве и с приятностью? Отчизну покидают в погоне за приключениями, сказал он, либо те, кому нечего терять, либо честолюбцы, жаждущие достичь еще большего; одни пускаются в предприятия, выходящие из рамок обыденной жизни, ради наживы, другие – ради славы; но подобные цели для меня или недоступны, или недостойны; мой удел – середина, то есть то, что можно назвать высшею ступенью скромного существования, а оно, как он убедился на многолетнем опыте, лучше всякого другого на свете и более всего для счастья приспособлено, ибо человека не гнетут нужда и лишения, тяжкий труд и страдания, выпадающие на долю низших классов, и не сбивают с толку роскошь, честолюбие, чванство и зависть высших классов. Насколько приятна такая жизнь, сказал он, можно судить хотя бы по тому, что все остальные ей завидуют: ведь и короли нередко жалуются на горькую участь людей, рожденных для великих дел, и сетуют, что судьба не поставила их между двумя крайностями – ничтожеством и величием, и даже мудрец, который молил небо не посылать ему ни бедности, ни богатства, тем самым свидетельствовал, что золотая середина есть пример истинного счастья.

Стоит только понаблюдать, уверял меня отец, и я пойму, что все жизненные невзгоды распределены между высшими и низшими классами и

что реже всего их терпят люди умеренного достатка, не подверженные стольким превратностям судьбы, как высшие и низшие круги человеческого общества; даже от недугов, телесных и душевных, они защищены больше, чем те, у кого болезни порождаются либо пороками, роскошью и всякого рода излишествами, либо изнурительным трудом, нуждой, скудной и дурной пищей, и все их недуги не что иное, как естественные последствия образа жизни. Среднее положение в обществе наиболее благоприятствует расцвету всех добродетелей и всех радостей бытия: мир и довольство – слуги его; умеренность, воздержанность, здоровье, спокойствие духа, общительность, всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия – его благословенные спутники. Человек среднего достатка проходит свой жизненный путь тихо и безмятежно, не обременяя себя ни физическим, ни умственным непосильным трудом, не продаваясь в рабство из-за куска хлеба, не мучаясь поисками выхода из запутанных положений, которые лишают тело сна, а душу – покоя, не страдая от зависти, не сгорая втайне огнем честолюбия. Привольно и легко скользит он по жизни, разумным образом вкушая сладости бытия, не оставляющие горького осадка, чувствуя, что он счастлив, и с каждым днем постигая это все яснее и глубже.



Затем отец настойчиво и чрезвычайно ласково стал упрашивать меня не ребячиться, не бросаться очертя голову навстречу бедствиям, от которых сама природа и условия жизни, казалось, должны меня оградить. Ведь я не поставлен в необходимость работать из-за куска хлеба, а он приложит все

старания, чтобы вывести меня на ту дорогу, которую советует мне избрать; если же я окажусь неудачником или несчастным, то мне придется пенять лишь на злой рок или на собственные оплошности, так как он предостерег меня от шага, который не принесет мне ничего, кроме вреда, и, исполнив таким образом свой долг, слагает с себя всякую ответственность; словом, если я останусь дома и устрою свою жизнь согласно его указаниям, он будет мне заботливым отцом, но ни в коем случае не станет способствовать моей погибели, поощряя к отъезду. В заключение он привел в пример моего старшего брата, которого он так же настойчиво убеждал не принимать участия в нидерландской войне, но все уговоры оказались напрасными: юношеские мечтания заставили моего брата бежать в армию, и он погиб. И хотя, закончил отец, он никогда не перестанет молиться обо мне, но берется утверждать, что, если я не откажусь от своих безумных намерений, на мне не будет благословения Божия. Придет время, когда я пожалею, что пренебрег его советом, но тогда, может статься, некому будет прийти мне на выручку.

Я видел, как в конце этой речи (она была поистине пророческой, хотя, я думаю, отец мой и сам этого не подозревал) обильные слезы заструились по лицу старика, особенно когда он заговорил о моем убитом брате; а когда батюшка сказал, что придет время раскаяния, но помочь мне уже будет некому, то от волнения голос его дрогнул, и он прошептал, что сердце его разрывается, и он не может больше вымолвить ни слова.

Я был искренне растроган этой речью (да и кого бы она не тронула?) и твердо решил не думать более об отъезде в чужие края, а остаться на родине, как того желал мой отец. Но увы! Через несколько дней от моей решимости не осталось и следа: короче говоря, через несколько недель после моего разговора с отцом я во избежание новых отцовских увещаний решил бежать из дому тайком. Я сдержал пыл своего нетерпения и действовал не спеша: выбрав время, когда моя мать, как мне показалось, была в более добром расположении духа, чем обычно, я отвел ее в уголок и признался, что все мои помыслы подчинены желанию повидать далекие края, и что, если даже я и займусь каким-либо делом, у меня все равно не хватит терпения довести его до конца, и что пусть лучше отец отпустит меня добровольно, иначе я буду вынужден обойтись без его разрешения. Мне уже восемнадцать лет, сказал я, а в эти годы поздно учиться ремеслу, и если бы даже я поступил писцом к стряпчему, то знаю наперед – я убежал бы от своего патрона, не дотянув до конца обучения, и ушел в море. Но если бы матушка уговорила отца хоть единожды отпустить меня в морское путешествие; ежели жизнь в море придется мне не по душе, я

вернусь домой и не уеду более; и я могу дать слово, что удвоенным прилежанием наверстаю потерянное время.

Мои слова сильно разволновали матушку. Она сказала, что заговаривать с отцом об этом бесполезно, ибо он слишком хорошо понимает, в чем моя польза, и никогда не даст согласия на то, что послужит мне во вред. Она просто изумлена, что я еще могу думать о подобных вещах после моего разговора с отцом, который убеждал меня так мягко и с такой добротой. Конечно, если я твердо решил себя погубить, тут уже ничего не поделаешь, но я могу быть уверен, что ни она, ни отец никогда не согласятся на мою затею; сама же она нисколько не желает содействовать моей гибели, и я никогда не буду вправе сказать, что моя мать потакала мне, в то время как отец был против.

Впоследствии я узнал, что хотя матушка и отказалась ходатайствовать за меня перед отцом, однако передала ему наш разговор от слова до слова. Очень озабоченный таким оборотом дела, отец сказал ей со вздохом: «Мальчик мог бы жить счастливо, оставшись на родине, но если он пустится в чужие края, он станет самым жалким, самым несчастным существом на свете. Нет, я не могу на это согласиться».

Прошел без малого год, прежде чем мне удалось вырваться на волю. В течение этого времени я упорно оставался глух ко всем предложениям заняться делом и часто пререкался с отцом и матерью, которые решительно противились тому, к чему меня столь сильно влекло. Однажды, когда я находился в Гулле, куда я попал случайно, без всякой мысли о побеге, один мой приятель, отправлявшийся в Лондон на корабле своего отца, стал уговаривать меня ехать с ним, соблазняя, как это водится у моряков, тем, что мне ничего не будет стоить проезд. И вот, не спросившись ни у отца, ни у матери, не уведомив их ни словом и предоставив им узнать об этом как придется, не испросив ни родительского, ни Божьего благословения, не принимая в расчет ни обстоятельств, ни последствий, в недобрый – видит Бог! – час, 1 сентября 1651 года, я взошел на борт корабля, отправлявшегося в Лондон. Надо полагать, никогда несчастья и беды молодых искателей приключений не начинались так рано и не продолжались так долго, как мои.

Глава 2

Первые приключения на море

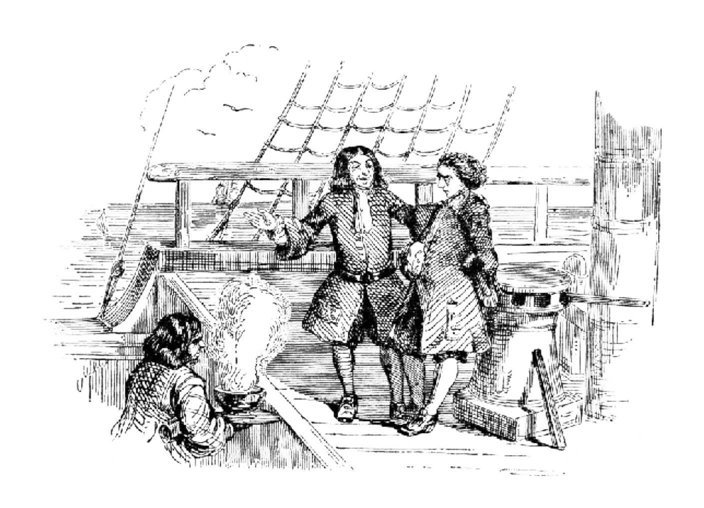
Не успел наш корабль выйти из устья Хамбера, как подул ветер, вздымая огромные, страшные волны. До тех пор я никогда не бывал в море и не могу описать, как худо пришлось моему бедному телу и как содрогалась от страха моя душа. И только тогда я всерьез задумался о том, что я натворил, и о справедливости небесной кары, постигшей меня за то, что я так бессовестно покинул отчий дом и нарушил сыновний долг. Все добрые советы моих родителей, слезы отца и мольбы матери воскресли в моей памяти, и совесть, которая в то время еще не успела окончательно очерстветь, терзала меня за пренебрежение к родительским увещаниям и за нарушение обязанностей перед Богом и отцом.

Между тем ветер крепчал, и на море разыгралась буря, которая, впрочем, не шла в сравнение с теми, что я много раз видел потом, ни даже с той, что мне пришлось увидеть несколько дней спустя. Но и этого было довольно, чтобы ошеломить меня, новичка, ничего не смыслившего в морском деле. Когда накатывалась новая волна, я ожидал, что она нас поглотит, и всякий раз, когда корабль падал вниз, как мне казалось, в пучину или бездну морскую, я был уверен, что он уже больше не поднимется на поверхность. И в этой муке душевной я неоднократно решался и давал себе клятвы, что, если Господу будет угодно сохранить на сей раз мне жизнь, если нога моя снова ступит на твердую землю, я тотчас же вернусь домой к отцу и, покуда жив, не сяду на корабль, что я последую отцовским советам и никогда более не подвергну себя подобной опасности. Теперь я понял всю справедливость рассуждений отца относительно золотой середины; для меня ясно стало, как мирно и приятно прожил он всю жизнь, никогда не подвергая себя бурям на море и невзгодам на суше, – словом, я, как некогда блудный сын, решил вернуться в родительский дом с покаянием.

Эти трезвые и благоразумные мысли не оставляли меня, покуда длилась буря, и даже некоторое время после нее; но на другое утро ветер стал стихать, волнение поулеглось, и я начал понемногу осваиваться с морем. Как бы то ни было, весь этот день я был настроен очень серьезно (тем более что еще не совсем оправился от морской болезни); но перед закатом небо прояснилось, ветер прекратился, и наступил тихий, очаровательный вечер; солнце зашло без туч и такое же ясное встало на другой день, и гладь морская при полном или почти полном безветрии, вся облитая его сиянием, представляла восхитительную картину, какой я никогда еще не видывал.

Ночью я отлично выспался, от моей морской болезни не осталось и следа, я был бодр и весел и любовался морем, которое еще вчера так

бушевало и грохотало и в такое короткое время могло затихнуть и явить собою столь привлекательное зрелище. И тут-то, словно для того чтобы изменить мое благоразумное решение, ко мне подошел приятель, сманивший меня ехать с ним, и, хлопнув меня по плечу, сказал: «Ну что, Боб, как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Бьюсь об заклад, что ты испугался, – признавайся, ведь испугался вчера, когда задул ветерок?» – «Ветерок? Хорош ветерок! Я и представить себе не мог такой ужасной бури!» – «Бури! Ах ты, чудак! Так, по-твоему, это буря? Что ты! Это сущие пустяки! Дай нам хорошее судно да побольше простору, – мы такого шквалика и не заметим. Ну, да ты еще совсем неопытный моряк, Боб. Пойдем-ка лучше сварим пуншу и забудем об этом. Взгляни, какой чудесный нынче день!» Чтоб сократить эту грустную часть моей повести, скажу, что дальше пошло, как положено у моряков: сварили пунш, я порядком охмелел и потопил в разгуле той ночи все мое раскаяние, все размышления о прошлом моем поведении и все мои благие решения относительно будущего. Словом, как только на море воцарилась тишь, как только вместе с бурей улеглись мои взбудораженные чувства и прошел страх утонуть в морской пучине, так мысли мои повернули в прежнее русло, и все клятвы, все обещания, которые я давал себе в часы страданий, были позабыты. Правда, порой на меня находило просветление, здравые мысли еще пытались, так сказать, воротиться ко мне, но я гнал их прочь, боролся с ними, словно с приступами болезни, и при помощи пьянства и веселой компании скоро восторжествовал над этими припадками, как я их называл: в какие-нибудь пять-шесть дней я одержал столь полную победу над своей совестью, какой только может пожелать себе юнец, решившийся не обращать на нее внимания. Однако меня ждало еще одно испытание: как всегда в подобных случаях, Провидение пожелало отнять у меня последнее оправдание перед самим собою; в самом деле, если на этот раз я не захотел понять, что всецело обязан ему, то следующее испытание было такого рода, что тут уж и самый последний, самый отпетый негодяй из нашего экипажа не мог бы не признать, что опасность была поистине велика и спаслись мы только чудом.



На шестой день по выходе в море мы пришли на Ярмутский рейд. Ветер после шторма был все время неблагоприятный и слабый, так что после шторма мы двигались еле-еле. Здесь мы были вынуждены бросить якорь и простояли при юго-западном, то есть противном, ветре семь или восемь дней. В течение этого времени на рейд пришло немалое количество судов из Ньюкасла, ибо Ярмутский рейд обычно служит местом стоянки для кораблей, которые дожидаются здесь попутного ветра, чтобы войти в реку.

Впрочем, мы не простояли бы долго и вошли бы в реку с приливом, если бы ветер не был так свеж, а дней через пять не покрепчал еще больше. Однако Ярмутский рейд считается такой же хорошей стоянкой, как и гавань, а якоря и якорные канаты были у нас надежные; поэтому наши люди ничуть не тревожились и даже не помышляли об опасности – по обычаю моряков, они делили свой досуг между отдыхом и развлечениями. Но на восьмой день утром ветер усилился, и пришлось свистать наверх всех матросов, убрать стеньги и плотно закрепить все, что нужно, чтобы судно могло безопасно держаться на рейде. К полудню на море началось большое волнение, корабль стало сильно раскачивать; он несколько раз зачерпнул бортом, и раза два нам показалось, что нас сорвало с якоря. Тогда капитан скомандовал отдать запасной якорь. Таким образом, мы держались на двух якорях против ветра, вытравив канаты до конца.

Тем временем разыгрался жесточайший шторм. Растерянность и страх были теперь даже на лицах матросов. Я несколько раз слышал, как сам капитан, проходя мимо меня из своей каюты, бормотал вполголоса: «Господи, смилуйся над нами, иначе мы погибли, всем нам конец», – что не мешало ему, однако, зорко наблюдать за работами по спасению корабля. Поначалу на всю эту суматоху я взирал в отуплении, неподвижно лежа в своей каюте рядом со штурвалом, и даже не знаю хорошенько, что я

чувствовал. Мне было трудно вернуть прежнее покаянное настроение после того, как я сам его презрел и ожесточил свою душу; мне казалось, что смертный ужас раз и навсегда миновал и что эта буря пройдет бесследно, как и первая. Но, повторяю, когда сам капитан, проходя мимо, обмолвился о грозящей нам гибели, я неимоверно испугался. Я выбежал из каюты на палубу; никогда в жизни не приходилось мне видеть такой зловещей картины: на море вздымались валы вышиной с гору, и такая гора опрокидывалась на нас каждые три-четыре минуты. Когда, собравшись с духом, я огляделся вокруг, то увидел тяжкие бедствия. На двух тяжело нагруженных судах, стоявших неподалеку от нас на якоре, были обрублены все мачты. Кто-то из наших матросов крикнул, что корабль, стоявший в полумиле от нас впереди, пошел ко дну. Еще два судна сорвало с якорей и унесло в открытое море на произвол судьбы, ибо ни на том, ни на другом не оставалось ни одной мачты. Мелкие суда держались лучше других – им было легче маневрировать; но два или три из них тоже унесло в море, и они промчались борт о борт мимо нас, убрав все паруса, кроме одного кормового кливера.

В конце дня штурман и боцман стали упрашивать капитана позволить им срубить фок-мачту. Капитан долго упирался, но боцман принялся доказывать, что, если фок-мачту оставить, судно непременно затонет, и он согласился, а когда снесли фок-мачту, грот-мачта начала так шататься и так сильно раскачивать судно, что пришлось снести и ее и таким образом освободить палубу.

Судите сами, что должен был испытывать все это время я – юнец и новичок, незадолго перед тем испугавшийся небольшого волнения. Но если после стольких лет память меня не обманывает, не смерть была мне страшна тогда; во сто крат сильнее ужасала меня мысль о том, что я изменил своему решению прийти с повинной к отцу и вернулся к прежним химерическим стремлениям, и мысли эти, усугубленные ужасом перед бурей, приводили меня в состояние, которого не передать никакими словами. Но самое худшее было еще впереди. Буря продолжала свирепствовать с такой силой, что, по признанию самих моряков, им никогда не случалось видеть подобной. Судно у нас было крепкое, но от тяжелого груза глубоко сидело в воде, и его так качало, что на палубе поминутно слышалось: «Кренит! Дело – табак!» Пожалуй, для меня было даже к лучшему, что я не вполне понимал значение этих слов, пока не попросил объяснить их. Однако буря бушевала все яростнее, и я увидел – а это нечасто увидишь, – как капитан, боцман и еще несколько человек, более разумных, чем остальные, молились, ожидая, что корабль вот-вот

пойдет ко дну. В довершение ко всему вдруг среди ночи один из матросов, спустившись в трюм поглядеть, все ли там в порядке, закричал, что судно дало течь; другой посланный донес, что вода поднялась уже на четыре фута. Тогда раздалась команда: «Все к насосам!» Когда я услыхал эти слова, у меня замерло сердце, и я упал навзничь на койку, где я сидел. Но матросы растолкали меня, заявив, что если до сих пор я был бесполезен, то теперь могу работать, как и всякий другой. Тогда я встал, подошел к насосу и усердно принялся качать. В это время несколько мелких судов, груженных углем, будучи не в состоянии выстоять против ветра, снялись с якоря и вышли в море. Когда они проходили мимо, наш капитан приказал подать сигнал бедствия, то есть выстрелить из пушки. Не понимая, что это значит, я пришел в ужас, вообразив, что судно наше разбилось или случилось нечто другое, не менее страшное, и потрясение было так сильно, что я упал в обморок. Но в такую минуту каждому было впору заботиться лишь о спасении собственной жизни, и никто на меня не обратил внимания и не поинтересовался, что приключилось со мной. Другой матрос, оттолкнув меня ногой, стал к насосу на мое место в полной уверенности, что я уже мертв; прошло немало времени, пока я очнулся.

Работа шла полным ходом, но вода в трюме поднималась все выше. Было очевидно, что корабль затонет, и хотя буря начинала понемногу стихать, однако нечего было и надеяться, что он сможет продержаться на воде, покуда мы войдем в гавань, и капитан продолжал палить из пушек, взывая о помощи. Наконец одно легкое суденышко, стоявшее впереди нас, отважилось спустить шлюпку, чтобы подать нам помощь. Подвергаясь немалой опасности, шлюпка приблизилась к нам, но ни мы не могли добраться до нее, ни шлюпка не могла причалить к нашему кораблю, хотя люди гребли изо всех сил, рискуя своей жизнью ради спасения нашей. Наконец наши матросы бросили им с кормы канат с буйком, вытравив его на большую длину. После долгих и тщетных усилий гребцам удалось поймать конец каната; мы притянули их под корму и все до одного спустились в шлюпку. О том, чтобы добраться до их судна, нечего было и думать; поэтому мы единодушно решили грести по ветру, стараясь только держать по возможности к берегу. Наш капитан пообещал чужим матросам, что в случае, если лодка разобьется о берег, он заплатит за нее хозяину. И вот, частью на веслах, частью подгоняемые ветром, мы направились к северу в сторону Уинтертон-Несса, постепенно приближаясь к земле.

Не прошло и четверти часа с той минуты, когда мы отчалили от корабля, как он стал погружаться на наших глазах. И тут-то впервые я

понял, что значит «дело – табак». Должен, однако, сознаться, что, услышав крики матросов: «Корабль тонет!» – я почти не имел силы взглянуть на него, ибо с тех пор как я сошел или, вернее, когда меня сняли в лодку, во мне словно все оцепенело от смятения и страха, а также от мысли о том, что еще ждет меня впереди.

Покуда люди изо всех сил налегали на весла, чтобы направить лодку к берегу, мы могли видеть (ибо всякий раз, как лодку вздымало волной, нам виден был берег), что там собралась большая толпа: все суетились и бегали, готовясь подать нам помощь, когда мы подойдем ближе. Но мы двигались очень медленно и добрались до земли, только пройдя Уинтертонский маяк там, где между Уинтертоном и Кромером береговая линия изгибается к западу и где поэтому ее выступы немного умеряли силу ветра. Здесь мы пристали и, с великим трудом, но все-таки благополучно выбравшись на сушу, пошли пешком в Ярмут, где нас, как потерпевших крушение, встретили с большим участием; городской магистр отвел нам хорошие помещения, а местные купцы и судохозяева снабдили нас деньгами в достаточном количестве, чтобы добраться по нашему выбору либо до Лондона, либо до Гулля.

Вернись я тогда обратно в Гулль, в родительский дом, как был бы я счастлив! И отец на радостях, как в евангельской притче, даже заколол бы для меня откормленного тельца: ведь он знал только, что корабль, на котором я ушел в море, затонул на Ярмутском рейде, а о моем спасении ему стало известно лишь значительно позднее.

Но моя злая судьба толкала меня все на тот же гибельный путь с упорством, которому невозможно было противиться; и хотя в моей душе неоднократно раздавался трезвый голос рассудка, звавший меня вернуться домой, у меня не хватило для этого сил. Не знаю, как это назвать, и не стану настаивать, но какое-то тайное веление всесильного рока побуждает нас быть орудием собственной своей гибели, даже когда мы видим ее перед собой, и бросаться ей на встречу с открытыми глазами, но несомненно, что только моя злая судьба, которой я был не в силах избежать, заставила меня пойти наперекор трезвым доводам и внушениям лучшей части моего существа и пренебречь двумя столь наглядными уроками, которые я получил при первой же попытке вступить на новый путь.

Сын нашего судохозяина, мой приятель, помогший мне укрепиться в пагубном решении, присмирел теперь больше меня; в первый раз, как он заговорил со мной в Ярмуте (что случилось только через два или три дня, так как в этом городе мы все жили порознь), я заметил, что тон его

изменился. С унылым видом он покачал головой и спросил, как я себя чувствую. Объяснив своему отцу, кто я такой, он рассказал, что я предпринял эту поездку в виде опыта, в будущем же намереваюсь объездить весь свет. Тогда его отец, обратившись ко мне, произнес серьезно и озабоченно:

– Молодой человек! Вам больше никогда не следует пускаться в море: случившееся с нами вы должны принять за явное и несомненное знамение, что вам не суждено быть мореплавателем.

– Почему же, сэр? – возразил я. – Разве вы тоже не будете больше плавать?

– Это другое дело, – отвечал он, – плавать – моя профессия и, следовательно, моя обязанность. Но вы-то ведь отправились в плавание ради пробы. Так вот небеса и дали вам отведать то, что вы должны ожидать, если будете упорствовать в своем решении. Быть может, именно вы принесли нам несчастье, как Иона фарсийскому кораблю… Прошу вас, – прибавил он, – объясните мне толком, кто вы такой и что побудило вас предпринять это плавание?

Тогда я рассказал ему кое-что о себе. Как только я кончил, он неожиданно разразился гневом.

– Что я такого сделал, – говорил он, – чем провинился, что этот жалкий отверженец ступил на палубу моего корабля! Никогда в жизни, даже за тысячу фунтов, не соглашусь я плавать на одном судне с тобой!

Конечно, все это было сказано в сердцах человеком, и без того уже огорченным своей потерей, и в пылу гнева он зашел дальше, чем следовало. Однако потом он говорил со мной спокойно и весьма серьезно убеждал меня не искушать на свою погибель Провидение и воротиться к отцу, ибо во всем случившемся я должен видеть перст Божий.

– Ах, молодой человек! – сказал он в заключение. – Если вы не вернетесь домой, то, верьте мне, повсюду, куда бы вы ни отправились, вас будут преследовать только несчастия и неудачи, пока не сбудутся слова вашего отца.

Вскоре после того мы расстались; мне нечего было возразить ему, и больше я его не видел. Куда он уехал из Ярмута, не знаю; у меня же было немного денег, и я отправился в Лондон по суше. И по пути туда мне не раз приходилось выдерживать борьбу с собой относительно того, какой род жизни мне избрать и воротиться ли домой или снова отправиться в плавание.

Что касается возвращения в родительский дом, то стыд заглушал самые веские доводы моего разума: мне представлялось, как надо мной будут

смеяться соседи и как мне будет стыдно взглянуть не только на отца и на мать, но и на всех наших знакомых. С тех пор я часто замечал, сколь нелогична и непоследовательна человеческая природа, особенно в молодости: отвергая соображения, которыми следовало бы руководствоваться в подобных случаях, люди не стыдятся греха, а стыдятся раскаяния, не стыдятся поступков, за которые их по справедливости должно назвать безумцами, а стыдятся образумиться и жить почтенной и разумной жизнью.

Довольно долго я пребывал в нерешительности, не зная, что предпринять и какой избрать жизненный путь. Я не мог побороть нежелание вернуться домой, а тем временем воспоминание о перенесенных бедствиях мало-помалу изглаживалось из моей памяти; вместе с ним ослабевал и без того слабый голос рассудка, побуждавший меня вернуться к отцу, и кончилось тем, что я отбросил мысли о возвращении и стал мечтать о новом путешествии.

Глава 3

В плену у мавров. — Побег

Та самая злая сила, которая побудила меня бежать из родительского дома, которая вовлекла меня в нелепую и необдуманную затею составить себе состояние, рыская по свету, и так крепко вбила мне в голову эти бредни, что я остался глух ко всем добрым советам, к увещаниям и даже к запрету отца, та самая сила, говорю я, какого бы ни была она рода, толкнула меня на несчастнейшее предприятие, какое только можно вообразить, я сел на корабль, отправлявшийся к берегам Африки, или, как попросту выражаются наши моряки, «в рейс в Гвинею».

Большим моим несчастьем было то, что, пускаясь в эти приключения, я не нанимался простым матросом: вероятно, мне пришлось бы больше работать, зато я научился бы морскому делу и со временем мог бы сделаться штурманом или если не капитаном, то его помощником. Но уж такова была моя судьба – из всех возможных путей я всегда выбирал самый худший. Так и тут: в кошельке у меня водились деньги, на мне было приличное платье, и я обычно являлся на судно в обличье джентльмена, поэтому ничего там не делал и ничему не научился.

В Лондоне мне посчастливилось сразу же попасть в хорошую компанию, что не часто случается с такими распущенными, сбившимися с

пути юнцами, каким я был тогда, ибо дьявол не дремлет и немедленно расставляет им какую-нибудь ловушку. Но не так было со мной. Я познакомился с одним капитаном, который незадолго перед тем ходил к берегам Гвинеи, и, так как этот рейс был для него очень удачен, он решил еще раз отправиться туда. Ему полюбилось мое общество – в то время я мог быть приятным собеседником – и, узнав, что я мечтаю повидать свет, он предложил мне ехать с ним, сказав, что мне это ничего не будет стоить, что я буду его сотрапезником и другом. Если же у меня есть возможность взять с собою в Гвинею товары, то мне, может быть, повезет, и я получу целиком всю вырученную от торговли прибыль.

Я принял предложение; завязав самые дружеские отношения с этим капитаном, человеком честным и прямодушным, я отправился с ним в путь, захватив с собой небольшой груз, на котором благодаря полной бескорыстности моего друга капитана сделал весьма выгодный оборот; по его указанию я закупил на сорок фунтов стерлингов различных побрякушек и безделок. Эти сорок фунтов я собрал с помощью моих родственников, с которыми был в переписке и которые, как я полагаю, убедили моего отца или, вернее, мать помочь мне хоть небольшой суммой в этом первом моем предприятии.

Это путешествие было, можно сказать, единственным удачным из всех моих похождений, чем я обязан бескорыстию и честности моего друга капитана, под руководством которого я, кроме того, приобрел изрядные сведения в математике и навигации, научился вести корабельный журнал, делать наблюдения и вообще узнал много такого, что необходимо знать моряку. Ему доставляло удовольствие заниматься со мной, а мне – учиться. Одним словом, в этом путешествии я сделался моряком и купцом: я выручил за свой товар пять фунтов девять унций золотого песку, за который по возвращении в Лондон получил без малого триста фунтов стерлингов. Эта удача преисполнила меня честолюбивыми мечтами, впоследствии довершившими мою гибель.

Но даже и в этом путешествии мне пришлось претерпеть немало невзгод, и, главное, я все время прохворал, схватив сильнейшую тропическую лихорадку вследствие чересчур жаркого климата, ибо побережье, где мы больше всего торговали, лежит между пятнадцатым градусом северной широты и экватором.

Итак, я сделался купцом и вел торговлю с Гвинеей. На мое несчастье, мой друг капитан вскоре по прибытии на родину умер, и я решил снова съездить в Гвинею самостоятельно. Я отплыл из Англии на том же самом корабле, командование которым перешло теперь к помощнику умершего

капитана. Это было самое злополучное путешествие, когда-либо выпадавшее на долю человека. Правда, я взял с собою меньше ста фунтов из нажитого капитал, а остальные двести фунтов отдал на хранение вдове моего покойного друга, распорядившейся ими весьма добросовестно; но зато меня постигли во время пути страшные беды. Началось с того, что однажды, на рассвете, наше судно, державшее курс на Канарские острова или, вернее, между Канарскими островами и Африканским материком, было застигнуто врасплох турецким пиратом из Сале, который погнался за нами на всех парусах. Мы тоже подняли все паруса, какие могли выдержать наши реи и мачты, но, видя, что пират нас настигает и неминуемо догонит через несколько часов, мы приготовились к бою (у нас было двенадцать пушек, а у него восемнадцать). Около трех пополудни он нас нагнал, но по ошибке, вместо того чтобы подойти к нам с кормы, как он намеревался, подошел с борта. Мы навели на пиратское судно восемь пушек и дали по нему залп; тогда оно отошло немного подальше, предварительно ответив на наш огонь не только пушечным, но и ружейным залпом из двух сотен ружей, так как на этом судне было человек двести. Впрочем, у нас никто не пострадал: все наши люди держались дружно. Затем пират приготовился к новому нападению, а мы – к новой обороне. Подойдя на этот раз с другого борта, он взял нас на абордаж: человек шестьдесят ворвались к нам на палубу, и все первым делом бросились рубить снасти. Мы встретили их ружейной пальбой, забросали дротиками, подожженными ящиками с порохом и дважды изгоняли их с нашей палубы. Тем не менее корабль наш был приведен в негодность, трое наших людей было убито, а восемь ранено, и в конце концов (я сокращаю эту печальную часть моего повествования) мы вынуждены были сдаться, и нас отвезли в качестве пленников в Сале, морской порт, принадлежащий маврам.

Обращались со мной не так плохо, как я ожидал поначалу. Меня не увели, как остальных, в глубь страны, ко двору султана: капитан разбойничьего корабля удержал меня в качестве невольника, так как я был молод, проворен и мог ему пригодиться. Этот разительный поворот судьбы, превративший меня из купца в жалкого раба, был совершенно ошеломителен; тут-то мне вспомнились пророческие слова моего отца о том, что придет время, когда некому будет выручить меня из беды, слова, которые, думалось мне, сбылись сейчас, когда десница Божия покарала меня и я погиб безвозвратно. Но увы! То была лишь бледная тень тяжелых испытаний, через которые мне предстояло пройти, как покажет продолжение моего рассказа.

Так как мой новый хозяин, или, точнее, господин, взял меня к себе в дом, то я надеялся, что он захватит с собой меня и в следующее плавание. Я был уверен, что рано или поздно его настигнет какой-нибудь испанский или португальский корабль, и тогда мне будет возвращена свобода. Но надежда моя скоро рассеялась, ибо, выйдя в море, он оставил меня присматривать за его садиком и исполнять всю черную работу, возлагаемую на рабов; по возвращении же из похода он приказал мне жить в каюте и присматривать за судном.

С того дня я ни о чем не думал, кроме побега, но какие бы способы я ни измышлял, ни один из них не сулил даже малейшей надежды на успех. Да и трудно было предположить вероятность успеха в подобном предприятии, ибо мне некому было довериться, не у кого искать помощи – здесь не было ни одного невольника англичанина, ирландца или шотландца, я был совершенно одинок; так что целых два года (хотя в течение этого времени я часто тешился мечтами о свободе) у меня не было и тени надежды на осуществление моего плана.

Но по прошествии двух лет представился один необыкновенный случай, ожививший в моей душе давнишнюю мысль о побеге, и я вновь решил сделать попытку вырваться на волю. Как-то мой хозяин дольше обыкновенного находился дома и не готовил свой корабль к отплытию (у него, как я слышал, не хватало денег). Постоянно, раз или два в неделю, а в хорошую погоду и чаще, он выходил на корабельном полубаркасе на взморье ловить рыбу. В каждую такую поездку он брал гребцами меня и молоденького мавра, и мы увеселяли его по мере сил. А так как я к тому же оказался весьма искусным рыболовом, то иногда он посылал за рыбой меня с мальчиком – Мареско, как они называли его, – под присмотром одного взрослого мавра, своего родственника.



Однажды мы вышли на ловлю в тихое, ясное утро, но, проплыв мили полторы, мы очутились в таком густом тумане, что потеряли из виду берег и стали грести наугад; проработав веслами весь день и всю ночь, мы с наступлением утра увидели кругом открытое море, ибо, вместо того чтобы держаться ближе к берегу, мы отошли от него по меньшей мере на шесть миль. В конце концов мы с огромным трудом и не без риска добрались домой, так как с утра задул довольно крепкий ветер, и к тому же мы изнемогали от голода.

Наученный этим приключением, мой хозяин решил впредь быть осмотрительнее и объявил, что больше никогда не выйдет на рыбную ловлю без компаса и без запаса провизии. После захвата нашего английского корабля он оставил себе баркас и теперь приказал своему корабельному плотнику, тоже невольнику-англичанину, построить на этом баркасе в средней его части небольшую рубку, или каюту, как на барже. Позади рубки хозяин велел оставить место для одного человека, который будет править рулем и управлять гротом, а впереди – для двоих, чтобы крепить и убирать остальные паруса, из коих кливер находился над крышей каютки. Каютка получилась низенькая, очень уютная и настолько просторная, что в ней можно было спать троим и поместить стол и шкафчики для хранения хлеба, риса, кофе и бутылок с теми напитками, какие он считал наиболее подходящими для морских путешествий.

Мы часто ходили за рыбой на этом баркасе, и так как я стал искуснейшим рыболовом, то хозяин никогда не выезжал без меня. Однажды он задумал выйти в море (за рыбой или просто прокатиться – уж не могу сказать) с двумя-тремя маврами, надо полагать, важными персонами, для которых он особенно постарался, заготовил провизии больше обычного и еще с вечера отослал ее на баркас. Кроме того, он приказал мне взять у него на судне три ружья с необходимым количеством пороха и зарядов, так как, помимо ловли рыбы, им хотелось еще поохотиться на птиц.

Я сделал все, как он велел, и на другой день с утра ждал его на баркасе, чисто вымытом и совершенно готовом к приему гостей, с поднятыми вымпелами и флагом. Однако хозяин пришел один и сказал, что его гости отложили поездку из-за какого-то непредвиденного дела. Затем он приказал нам троим – мне, мальчику и мавру – идти, как всегда, на взморье за рыбой, так как его друзья будут у него ужинать, и потому, как только мы наловим рыбы, я должен принести ее к нему домой. Я повиновался.

Вот тут-то у меня блеснула опять моя давнишняя мысль о побеге. Теперь в моем распоряжении было маленькое судно, и как только хозяин

ушел, я стал готовиться, но не для рыбной ловли, а в дальнюю дорогу, хотя не только не знал, но даже и не думал о том, куда я направляю свой путь: всякая дорога была для меня хороша, лишь бы уйти из неволи.

Первым моим ухищрением было внушить мавру, что нам необходимо запастись едой, так как нам не пристало пользоваться припасами для хозяйских гостей. Он ответил, что это справедливо, и притащил на баркас большую корзину с сухарями и три кувшина пресной воды. Я знал, где стоит у хозяина погребец с винами (судя по виду – добыча с какого-нибудь английского корабля), и покуда мавр был на берегу, я переправил погребец на баркас, как будто он был еще раньше приготовлен для хозяина. Кроме того, я принес большой кусок воску, фунтов в пятьдесят весом, да прихватил моток бечевки, топор, пилу и молоток. Все это очень нам пригодилось впоследствии, особенно воск, из которого мы делали свечи. Я пустил в ход еще и другую хитрость, на которую мавр тоже попался по простоте душевной. Его имя было Измаил, но все его звали Мали или Мули. Вот и я сказал ему:

– Мали, у нас на баркасе есть хозяйские ружья. Что, если б ты добыл немножко пороху и дроби? Может быть, нам удалось бы подстрелить себе на обед несколько альками (птица вроде нашего кулика). Хозяин держит порох и дробь на корабле, я знаю.

– Хорошо, я принесу, – сказал он и притащил большой кожаный мешок с порохом (фунта в полтора весом, если не больше) да другой с дробью, фунтов в пять или шесть. Он захватил также и пули. Все это мы отнесли на баркас. Кроме того, в хозяйской каюте нашлось еще немного пороху, который я пересыпал в одну из стоявших в ящике почти пустую бутылку, перелив из нее остатки вина в другую. Таким образом мы запаслись всем необходимым для путешествия и вышли из гавани на рыбную ловлю. В сторожевой башне, что стоит у входа в гавань, знали, кто мы такие, и наше судно не привлекло внимания. Отойдя от берега не больше как на милю, мы убрали парус и стали готовиться к ловле. Ветер был северо-восточный, что не отвечало моим планам, потому что, дуй он с юга, я мог бы наверняка доплыть до испанских берегов, по крайней мере до Кадикса; но откуда бы он ни дул, я твердо решил одно: убраться подальше от этого ужасного места, а потом будь что будет.

Поудив некоторое время и ничего не поймав, я нарочно не вытаскивал удочки, когда у меня рыба клевала, чтобы мавр ничего не видел, – я сказал:

– Туту нас дело не пойдет; хозяин не поблагодарит нас за такой улов. Надо отойти подальше.

Не подозревая подвоха, мавр согласился и поставил паруса, так как он

был на носу баркаса. Я сел за руль и, когда баркас отошел еще мили на три в открытое море, лег в дрейф как будто затем, чтобы приступить к рыбной ловле. Затем, передав мальчику руль, я подошел к мавру сзади, нагнулся, словно рассматривая что-то под ногами, вдруг обхватил его, поднял и швырнул за борт. Мавр мгновенно вынырнул, ибо плавал как пробка, и стал умолять, чтобы я взял его на баркас, клянясь, что поедет со мной хоть на край света. Он плыл так быстро, что догнал бы лодку очень скоро, тем более что ветра почти не было. Тогда я бросился в каюту, схватил охотничье ружье и, направив на него дуло, крикнул, что не желаю ему зла и не сделаю ему ничего дурного, если он оставит меня в покое.

– Ты хорошо плаваешь, – продолжал я, – на море тихо, и тебе ничего не стоит доплыть до берега; я тебя не трону; но только попробуй подплыть близко к баркасу, и я мигом прострелю тебе череп, потому что твердо решился вернуть себе свободу.

Тогда он повернул к берегу и, несомненно, доплыл до него без особого труда – пловец он был отличный.

Конечно, я мог бы бросить в море мальчика, а мавра взять с собою, но довериться ему было бы опасно. Когда он отплыл достаточно далеко, я повернулся к мальчику – его звали Ксури – и сказал:

– Ксури! Если ты будешь мне верен, я сделаю тебя большим человеком, но если ты не погладишь своего лица в знак того, что не изменишь мне, то есть не поклянешься бородой Магомета и его отца, я и тебя брошу в море.

Мальчик улыбнулся, глядя мне прямо в глаза, и отвечал так чистосердечно, что я не мог не поверить ему. Он поклялся, что будет мне верен и поедет со мной на край света.



Пока плывущий мавр не скрылся из вида, я держал прямо в открытое море, лавируя против ветра. Я делал это нарочно, чтобы показать, будто мы идем к Гибралтарскому проливу (как, очевидно, и подумал бы каждый здравомыслящий человек). В самом деле, можно ли было предположить, что мы намерены направиться на юг, к тем поистине варварским берегам, где целые полчища негров со своими челноками окружили и убили бы нас; где, стоило только ступить на землю, нас растерзали бы хищные звери или еще более кровожадные дикие существа в человеческом образе?

Но как только стало смеркаться, я изменил курс и стал править на юг, уклоняясь слегка к востоку, чтобы не слишком удалиться от берегов. Благодаря довольно свежему ветерку и спокойствию на море мы шли таким хорошим ходом, что на другой день в три часа пополудни, когда впереди в первый раз показалась земля, мы были не менее чем на полтораста миль южнее Сале, далеко за пределами владений марокканского султана, да и всякого другого из тамошних владык, потому что людей вообще не было видно.

Однако я набрался такого страху у мавров и так боялся снова попасться им в руки, что, пользуясь благоприятным ветром, целых пять дней плыл не останавливаясь, не приставая к берегу и не бросая якоря. Через пять дней ветер переменился на южный, и, по моим соображениям, если за нами и была погоня, то к этому времени преследователи уже должны были от нее

отказаться, поэтому я решился подойти к берегу и стал на якорь в устье какой-то маленькой речки. Какая это была речка и где она протекала, в какой стране, у какого народа и под какой широтой, я не имел понятия. Я не видал людей на берегу, да и не стремился увидеть; главное для меня было – запастись пресной водой. Мы вошли в эту речку под вечер и решили, когда стемнеет, добраться до берега и осмотреть местность. Но как только стемнело, мы услыхали с берега такие ужасные звуки, такой неистовый рев, лай и вой неведомых диких зверей, что бедный мальчик чуть не умер со страху и молил меня не сходить на берег до наступления дня.

– Хорошо, Ксури, – сказал я, – но, быть может, днем мы там увидим людей, которые для нас, пожалуй, опаснее, чем эти львы.

– А мы бух-бух из ружья, – сказал он со смехом, – они и убегут.

От невольников-англичан Ксури научился говорить на ломаном английском языке. Я был рад, что мальчик так весел, и, чтобы поддержать в нем эту бодрость духа, дал ему глоток вина из хозяйских запасов. Совет его, в сущности, был недурен, и я последовал ему. Мы бросили якорь и простояли всю ночь притаившись. Я говорю – притаившись, потому что мы ни минуты не спали. Часа через два-три, после того как мы бросили якорь, мы увидали на берегу огромных животных (каких – мы и сами не знали); они подходили к самому берегу, бросались в воду, плескались и барахтались, очевидно, чтобы освежиться, и при этом отвратительно визжали, ревели и выли; я в жизни не слыхал ничего подобного.

Ксури был страшно напуган, да, правду сказать, и я тоже. Но еще больше испугались мы оба, когда услыхали, что одно из этих страшилищ плывет к нашему баркасу; мы не видели его, но по тому, как оно отдувалось и фыркало, могли заключить, что это было свирепое животное чудовищных размеров. Ксури решил, что это лев (быть может, так оно и было, по крайней мере я не уверен в противном), и крикнул, что надо поднять якорь и уйти отсюда.

– Нет, Ксури, – отвечал я, – незачем подымать якорь; мы только вытравим канат подлиннее и выйдем в море; туда они за нами не погонятся. – Но не успел я это сказать, как увидал неизвестного зверя на расстоянии каких-нибудь двух весел от баркаса. Признаюсь, я немного оторопел, однако сейчас же схватил в каюте ружье, и как только я выстрелил, животное повернуло назад и поплыло к берегу.

Невозможно описать, что за адский рев, вопли и завывания поднялись на берегу и дальше, в глубине материка, когда раздался мой выстрел. Это давало мне некоторое основание предположить, что здешние звери никогда

не слыхали такого звука. Я окончательно убедился, что нам и думать нечего о высадке на берег ночью, но вряд ли возможно будет высадиться и днем: попасть в руки какого-нибудь дикаря не лучше, чем попасться в когти льву или тигру; по крайней мере эта опасность пугала нас нисколько не меньше.

Тем не менее здесь или в другом месте, но нам необходимо было сойти на берег, ибо у нас не оставалось ни пинты воды. Но опять загвоздка была в том, где и как высадиться. Ксури объявил, что, если я его пущу на берег с кувшином, он постарается разыскать и принести пресную воду. А когда я спросил его, отчего же идти ему, а не мне и отчего ему не остаться в лодке, в ответе мальчика было столько глубокого чувства, что он подкупил меня навеки.

– Коли там дикие люди, – сказал он, – они меня скушать, а ты уплывать.

– Тогда вот что, Ксури, – сказал я, – отправимся вместе, а если там дикие люди, мы убьем их, и они не съедят ни тебя, ни меня.

Я дал мальчику поесть сухарей и выпить глоток вина из хозяйского запаса, о котором я уже говорил; затем мы подтянулись поближе к земле и, соскочив в воду, направились к берегу вброд, не взяв с собой ничего, кроме оружия да двух кувшинов для воды.

Я не хотел удаляться от берега, чтобы не терять из виду баркаса, опасаясь, как бы вниз по реке к нам не спустились дикари в своих пирогах; но Ксури, заметив низинку на расстоянии приблизительно одной мили от берега, зашагал туда с кувшином. Вскоре я увидел, что он бежит назад. Подумав, что за ним гонятся дикари либо он испугался хищного зверя, я бросился к нему на помощь, но, подбежав ближе, увидел, что на плечах у него что-то лежит. Оказалось, он убил какого-то зверька вроде нашего зайца, но иной окраски и с более длинными ногами. Мы оба радовались такой удаче, и мясо убитого животного оказалось очень вкусным; но еще больше я обрадовался, услышав от Ксури, что он нашел хорошую пресную воду и не встретил диких людей.

Потом оказалось, что наши чрезмерные хлопоты о воде были напрасны: в той самой речке, где мы стояли, только немного повыше, куда не достигал прилив, вода была совершенно пресная, и мы, наполнив кувшины, устроили пиршество из убитого зайца и приготовились продолжать путь, так и не обнаружив в этой местности никаких следов человека.

Я уже побывал однажды в этих местах, и мне было хорошо известно, что Канарские острова и острова Зеленого Мыса отстоят недалеко от

материка. Но теперь у меня не было с собой приборов для наблюдений, и, следовательно, я не мог определить, на какой широте мы находимся; к тому же я не знал в точности или, во всяком случае, не помнил, на какой широте лежат эти острова, поэтому неизвестно было, где их искать и когда следует свернуть в открытое море, чтобы приплыть к ним; знай я это, мне было бы нетрудно добраться до какого-нибудь из островов. Но я надеялся, что если я буду держаться вдоль берега, покамест не дойду до той части страны, где англичане ведут береговую торговлю, то я, по всей вероятности, встречу какое-нибудь английское купеческое судно, совершающее свой обычный рейс, и оно нас подберет.

По всем своим расчетам, мы находились теперь против береговой полосы, что тянется между владениями марокканского султана и землями негров. Это пустынная, безлюдная область, где обитают одни только дикие звери: негры, боясь мавров, покинули ее и ушли дальше на юг, а мавры нашли невыгодным заселять эти бесплодные земли; вернее же, что тех или других распугали тигры, львы, леопарды и прочие хищники, которые водятся здесь в несметном количестве. Таким образом, для мавров эта область служит только местом охоты, на которую они отправляются целыми армиями, по две, по три тысячи человек. Неудивительно поэтому, что на протяжении чуть ли не ста миль мы видели днем лишь безлюдную пустыню, а ночью не слыхали ничего, кроме воя и рева диких зверей.

Два раза в дневную пору мне показалось, что я вижу вдали Тенерифский пик – высочайшую вершину горы Тенерифе, что на Канарских островах. Я даже пробовал сворачивать в море в надежде добраться туда, но оба раза противный ветер и сильное волнение, опасное для моего утлого суденышка, принуждали меня повернуть назад, так что в конце концов я решил не отступать более от моего первоначального плана и держаться вдоль берегов.

После того как мы вышли из устья речки, нам еще несколько раз пришлось приставать к берегу для пополнения запасов пресной воды. Однажды ранним утром мы стали на якорь под защитой довольно высокого мыска; прилив только еще начинался, и мы ждали полной его силы, чтобы подойти ближе к берегу. Вдруг Ксури, у которого, видно, глаза были зорче моих, тихонько окликнул меня и сказал, что нам лучше бы отойти от берега подальше.

– Глянь, какое страшилище вон там на пригорке крепко спит.

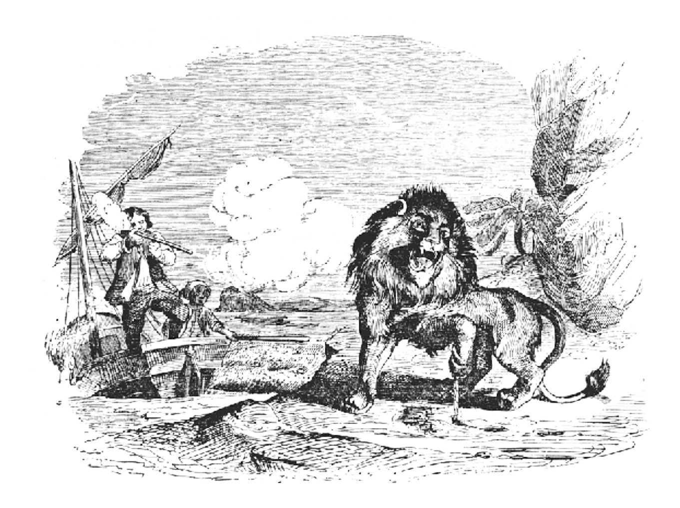
Я взглянул, куда он показывал, и действительно увидел страшилище. Это был огромной величины лев, лежавший на скате берега в тени нависшей скалы.

– Ксури, – сказал я, – ступай на берег и убей его.

Мальчик испугался.

– Я его убить? – проговорил он. – Он меня съест одной глоткой. – Он хотел сказать – одним глотком.

Я не стал возражать, велел только не шевелиться, и, взяв самое большое ружье, по калибру почти равнявшееся мушкету, зарядил его двумя кусками свинца и порядочным количеством пороху; в другое я вкатил две большие пули, а в третье (у нас было три ружья) – пять пуль поменьше. Взяв первое ружье и хорошенько прицелившись зверю в голову, я выстрелил; но он лежал, прикрыв морду лапой, и заряд попал ему в переднюю лапу и перебил кость выше колена. Зверь с рычанием вскочил, но, почувствовав боль, сейчас же свалился, потом опять поднялся на трех лапах и испустил такой ужасный рев, какого я в жизни своей не слышал. Я был немного удивлен тем, что не попал в голову, однако, не медля ни минуты, взял второе ружье и выстрелил зверю вдогонку, так как он заковылял быстро прочь от берега; на этот раз заряд попал прямо в цель. Я с удовольствием увидел, как лев упал и, издавая какие-то слабые звуки, начал корчиться в борьбе со смертью. Тут Ксури набрался храбрости и стал проситься на берег.



– Ладно, ступай, – сказал я.

Мальчик прыгнул в воду и поплыл к берегу, работая одной рукой и держа в другой ружье. Подойдя вплотную к распростертому зверю, он приставил дуло ружья к его уху и выстрелил, прикончив зверя.

Дичь была знатная, но несъедобная, и я очень жалел, что мы истратили даром три заряда. Но Ксури объявил, что он поживится кое-чем от убитого льва, и когда мы вернулись на баркас, попросил у меня топор.

– Зачем тебе топор? – спросил я.

– Отрубить ему голову, – ответил Ксури. Однако головы отрубить он не смог, а отрубил только лапу, которую и притащил с собой. Она была чудовищных размеров.

Тут мне пришло в голову, что, может быть, нам пригодится шкура льва, и я решил попытаться снять ее. Мы с Ксури подошли ко льву, но я не знал, как взяться за дело. Ксури оказался гораздо ловчее меня. Эта работа заняла у нас целый день. Наконец шкура была снята; мы растянули ее на крыше нашей каютки; дня через два солнце как следует просушило ее, и впоследствии она служила мне постелью.

Глава 4

Встреча с дикарями

После этой остановки мы еще дней десять – двенадцать продолжали держать курс на юг, стараясь как можно экономнее расходовать наши запасы, начинавшие быстро таять, и сходили на берег только за пресной водой. Я хотел дойти до устьев Гамбии или Сенегала, иначе говоря, приблизиться к Зеленому Мысу, где надеялся встретить какое-нибудь европейское судно: я знал, что, если этого не случится, мне останется либо блуждать в поисках островов, либо погибнуть здесь среди негров. Мне было известно, что все европейские суда, куда бы они ни направлялись – к берегам ли Гвинеи, в Бразилию или в Ост-Индию, – проходят мимо Зеленого Мыса или островов того же названия; словом, я поставил всю свою судьбу на эту карту, понимая, что либо я встречу европейское судно, либо погибну.

Итак, еще дней десять я продолжал стремиться к этой единственной цели. Постепенно я стал замечать, что побережье обитаемо: в двух-трех местах, проплывая мимо, мы видели на берегу людей, которые глазели на нас. Мы могли также различить, что они были черные как смоль и совсем голые. Один раз я хотел было сойти к ним на берег, но Ксури, мой мудрый советчик, сказал: «Не ходи, не ходи». Тем не менее, я стал держать ближе к берегу, чтобы можно было вступить с ними в разговор. Они, должно быть, поняли мое намерение и долго бежали вдоль берега за нашим баркасом. Я заметил, что они не были вооружены, кроме одного, державшего в руке длинную тонкую палку. Ксури сказал мне, что это копье и что дикари мечут копья очень далеко и замечательно метко; поэтому я держался в некотором отдалении от них и, как умел, объяснялся с ними знаками,

стараясь главным образом дать им понять, что мы нуждаемся в пище. Они знаками показали мне, чтобы я остановил лодку и что они принесут нам мяса. Как только я спустил парус и лег в дрейф, двое чернокожих побежали куда-то и через полчаса или того меньше принесли два куска вяленого мяса и немного зерна какого-то местного злака. Мы не знали, что это было за мясо и что за зерно, однако изъявили полную готовность принять и то и другое. Но тут мы стали в тупик: как получить все это? Мы не решались сойти на берег, боясь дикарей, а они, в свою очередь, боялись нас нисколько не меньше. Наконец они придумали выход из этого затруднения, одинаково безопасный для обеих сторон: сложив на берегу зерно и мясо, они отошли подальше и стояли неподвижно, пока мы не переправили все это на баркас, а затем воротились на прежнее место.

Мы благодарили их знаками, потому что больше нам было нечем отблагодарить. Но в ту же минуту нам представился случай оказать им большую услугу. Мы еще стояли у берега, как вдруг со стороны гор выбежали два огромных зверя и бросились к морю. Один из них, как нам показалось, гнался за другим: был ли это самец, преследовавший самку, играли ли они между собою или грызлись, мы не могли разобрать, как не могли бы сказать и того, было ли это обычное явление в тех местах или исключительный случай; я думаю, впрочем, что последнее было вернее, так как, во-первых, хищные звери редко показываются днем, а во-вторых, мы заметили, что люди на берегу, особенно женщины, сильно перепугались… Только человек, державший копье или дротик, остался на месте; остальные пустились бежать. Но звери мчались прямо к морю и не намеревались нападать на негров. Они бросились в воду и стали плавать, словно купание было единственной целью их появления. Вдруг один из них подплыл довольно близко к баркасу. Я этого не ожидал; тем не менее, зарядив поскорее ружье и приказав Ксури зарядить оба других, я приготовился встретить хищника. Как только он приблизился на расстояние ружейного выстрела, я спустил курок, и пуля попала ему прямо в голову; он мгновенно погрузился в воду, потом вынырнул и поплыл назад к берегу, то исчезая под водой, то снова появляясь на поверхности. Видимо, он был в агонии – он захлебывался водой и кровью из смертельной раны и, не доплыв немного до берега, околел.

Невозможно передать, сколь поражены были бедные дикари, когда услышали треск и увидали огонь ружейного выстрела; некоторые из них едва не умерли со страху и упали на землю, точно мертвые. Но, видя, что зверь пошел ко дну и что я делаю им знаки подойти ближе, они ободрились и вошли в воду, чтобы вытащить убитого зверя. Я нашел его по кровавым

пятнам на воде и, закинув на него веревку, перебросил конец ее неграм, а те притянули ее к берегу. Животное оказалось леопардом редкой породы с пятнистой шкурой необычайной красоты. Негры, стоя над ним, воздевали вверх руки в изумлении; они не могли понять, чем я его убил.

Второй зверь, испуганный огнем и треском моего выстрела, выскочил на берег и убежал в горы; за дальностью расстояния я не мог разобрать, что это был за зверь. Между тем я понял, что неграм хочется поесть мяса убитого леопарда; я охотно оставил его им в дар и показал знаками, что они могут взять его себе. Они всячески выражали свою благодарность и, не теряя времени, принялись за работу. Хотя ножей у них не было, однако, действуя заостренными кусочками дерева, они сняли шкуру с мертвого зверя так быстро и ловко, как мы не сделали бы этого и ножом. Они предложили мне мясо, но я отказался, объяснив знаками, что отдаю его им, и попросил только шкуру, которую они мне отдали весьма охотно. Кроме того, они принесли для меня новый запас провизии, гораздо больше прежнего, и я его взял, хоть и не знал, какие это были припасы. Затем я знаками попросил у них воды, протянув один из наших кувшинов, я опрокинул его кверху дном, чтобы показать, что он пуст и что его надо наполнить. Они сейчас же прокричали что-то своим. Немного погодя появились две женщины с большим сосудом воды из обожженной (должно быть, на солнце) глины и оставили его на берегу, как и провизию. Я отправил Ксури со всеми нашими кувшинами, и он наполнил водой все три. Женщины были совершенно голые, как и мужчины.

Запасшись таким образом водой, кореньями и зерном, я расстался с гостеприимными неграми и в течение еще одиннадцати дней продолжал путь в прежнем направлении, не приближаясь к берегу. Наконец милях в пятнадцати впереди я увидел узкую полосу земли, далеко выступавшую в море. Погода была тихая, и я свернул в открытое море, чтобы обогнуть эту косу. В тот момент, когда мы поравнялись с ее оконечностью, я ясно различил милях в двух от берега со стороны океана другую полосу земли и заключил вполне основательно, что узкая коса – Зеленый Мыс, а полоса земли – острова того же названия. Но они были очень далеко, и, не решаясь направиться к ним, я не знал, что делать. Я понимал, что если меня застигнет свежий ветер, то я, пожалуй, не доплыву ни до острова, ни до мыса.

Ломая голову над этой дилеммой, я присел на минуту в каюте, предоставив Ксури править рулем, как вдруг я услышал его крик: «Хозяин! Хозяин! Парус! Корабль!» Глупенький мальчишка перепугался до смерти, вообразив, что это непременно один из кораблей его хозяина, посланных за

нами в погоню; но я знал, как далеко ушли мы от мавров, и был уверен, что нам не может угрожать эта опасность. Я выскочил из каюты и тотчас же не только увидел корабль, но даже определил, что он был португальский и направлялся, как я поначалу решил, к берегам Гвинеи за неграми. Но, присмотревшись внимательнее, я убедился, что судно идет в другом направлении и не думает сворачивать к земле. Тогда я поднял все паруса и повернул в открытое море, решившись сделать все возможное, чтобы вступить с ним в переговоры.

Я, впрочем, скоро убедился, что, даже идя полным ходом, мы не успеем подойти к нему близко и что оно пройдет мимо, прежде чем мы успеем подать ему сигнал; мы выбивались из сил; но, когда я уже почти отчаялся, нас, очевидно, разглядели с корабля в подзорную трубу и приняли за лодку какого-нибудь погибшего европейского судна. Корабль убавил паруса, чтобы дать нам возможность подойти. Я воспрянул духом. У нас на баркасе был кормовой флаг с корабля нашего бывшего хозяина, и я стал махать этим флагом в знак того, что мы терпим бедствие, и, кроме того, выстрелил из ружья. На корабле увидели флаг и дым от выстрела (самого выстрела они не слыхали); корабль лег в дрейф, ожидая нашего приближения, и спустя три часа мы причалили к нему.

По-португальски, по-испански и по-французски меня стали спрашивать, кто я, но ни одного из этих языков я не знал. Наконец один матрос, шотландец, заговорил со мной по-английски, и я объяснил ему, что я англичанин и убежал от мавров из Сале, где меня держали в неволе. Тогда меня и моего спутника пригласили на корабль со всем нашим грузом и приняли весьма любезно.

Легко себе представить, какой невыразимой радостью наполнило меня сознание свободы после того бедственного и почти безнадежного положения, в котором я находился. Я немедленно предложил все свое имущество капитану в благодарность за мое избавление, но он великодушно отказался, сказав, что ничего с меня не возьмет и что все будет возвращено мне в целости, как только мы придем в Бразилию.

– Спасая вам жизнь, – прибавил он, – я поступлю с вами так же, как хотел бы, чтоб поступили со мной, будь я на вашем месте. А это всегда может случиться. Кроме того, ведь мы завезем вас в Бразилию, а от вашей родины это очень далеко, и вы умрете там с голоду, если я отниму все, что у вас есть. Для чего же тогда мне было вас спасать? Нет, нет, сеньор инглезе (то есть англичанин), я довезу вас даром до Бразилии, а ваше имущество даст вам возможность прожить там и оплатить проезд на родину.

Глава 5

Плантация в Бразилии. — Снова в море. — Кораблекрушение

Капитан оказался великодушным не только на словах, но и на деле. Он распорядился, чтобы никто из матросов не смел прикасаться к моему имуществу, затем составил подробную его опись и взял все это под присмотр, а опись передал мне, чтобы потом, по прибытии в Бразилию, я мог получить по ней каждую вещь, вплоть до трех глиняных кувшинов.

Что касается моего баркаса, то капитан, видя, что он очень хорош, сказал, что охотно купит его для своего корабля, и спросил, сколько я хочу получить за него. На это я ответил, что он поступил со мной так великодушно во всех отношениях, что я ни в коем случае не стану назначать цену за свою лодку, а всецело предоставляю это ему. Тогда он сказал, что выдаст мне письменное обязательство уплатить за нее восемьдесят серебряных «восьмериков» в Бразилии, но что если по приезде туда кто-нибудь предложит мне больше, то и он даст мне больше. Кроме того, он предложил мне шестьдесят «восьмериков» за мальчика Ксури. Мне очень не хотелось брать эти деньги, и не потому чтобы я боялся отдать мальчика капитану, а потому что мне было жалко продавать свободу бедняги, который так преданно помогал мне самому добыть ее. Я изложил капитану все эти соображения, и он признал их справедливость, но советовал не отказываться от сделки, говоря, что он выдаст мальчику обязательство отпустить его на волю через десять лет, если он примет христианство. Это меняло дело, а так как к тому же сам Ксури выразил желание перейти к капитану, то я и уступил его.

Наш переезд до Бразилии совершился вполне благополучно, и после двадцатидвухдневного плавания мы вошли в залив де Тодос-лос-Сантос, иначе – залив Всех Святых. Итак, я еще раз был избавлен от самого бедственного положения, в какое только может попасть человек, и теперь мне оставалось решить, что делать с собою.

Я никогда не забуду, как великодушно отнесся ко мне капитан португальского корабля. Он ничего не взял с меня за проезд, аккуратнейшим образом возвратил мне все мои вещи, дал мне двадцать дукатов за шкуру леопарда и сорок за львиную шкуру и купил все, что мне хотелось продать, в том числе ящик с винами, два ружья и остаток воску (часть его пошла у нас на свечи). Одним словом, я выручил около двухсот

«восьмериков» и с этим капиталом сошел на берег Бразилии.



Вскоре капитан ввел меня в дом одного своего знакомого, такого же доброго и честного человека, как он сам. Это был владелец «инхеньо», то есть, по местному наименованию, плантации сахарного тростника и сахарного завода при ней. Я прожил у него довольно долгое время и благодаря этому познакомился с культурой сахарного тростника и сахарным производством. Видя, как хорошо живется плантаторам и как быстро они богатеют, я решил хлопотать о разрешении поселиться здесь окончательно, чтобы самому заняться этим делом. В то же время я старался придумать какой-нибудь способ выписать из Лондона хранившиеся у меня там деньги. Когда мне удалось получить бразильское подданство, я на все мои наличные деньги купил участок невозделанной земли и стал составлять план моей будущей плантации и усадьбы, сообразуясь с размерами той денежной суммы, которую я рассчитывал получить из Англии.

Был у меня сосед, португалец из Лиссабона, по происхождению англичанин, по фамилии Уэллс. Он находился приблизительно в таких же условиях, как и я. Я называю его соседом, потому что его плантация прилегала к моей и мы с ним были в самых приятельских отношениях. У меня, как и у него, оборотный капитал был весьма невелик, и первые два года мы оба еле-еле могли прокормиться с наших плантаций. Но, по мере того как земля возделывалась, мы богатели, так что на третий год часть земли была у нас засажена табаком, и мы разделали по большому участку под сахарный тростник к будущему году. Но мы оба нуждались в рабочих руках, и тут мне стало ясно, как неразумно я поступил, расставшись с мальчиком Ксури.

Но увы! Благоразумием я никогда не отличался, и неудивительно, что я

так плохо рассчитал и в этот раз. Теперь мне не оставалось ничего более, как продолжать в том же духе. Я навязал себе на шею дело, к которому у меня никогда не лежала душа, прямо противоположное той жизни, о какой я мечтал, ради которой я покинул родительский дом и пренебрег отцовскими советами. Более того, я сам пришел к той золотой середине, к той высшей ступени скромного существования, которую советовал мне избрать мой отец и которой я мог бы достичь с таким же успехом, оставаясь на родине и не утомляя себя скитаниями по белу свету. Как часто теперь говорил я себе, что мог бы делать то же самое и в Англии, живя среди друзей, не забираясь за пять тысяч миль от родины, к чужеземцам и дикарям, в дикую страну, куда до меня никогда не дойдет даже весточка из тех частей земного шара, где меня немного знают!

Вот каким горьким размышлениям о своей судьбе предавался я в Бразилии. Кроме моего соседа-плантатора, с которым я изредка виделся, мне не с кем было перекинуться словом; все работы мне приходилось исполнять собственными руками, и я, бывало, постоянно твердил, что живу точно на необитаемом острове, и жаловался, что кругом нет ни одной души человеческой. Как справедливо покарала меня судьба, когда впоследствии и в самом деле забросила меня на необитаемый остров, и как полезно было бы каждому из нас, сравнивая свое настоящее положение с другим, еще худшим, помнить, что Провидение во всякую минуту может совершить обмен и показать нам на опыте, как мы были счастливы прежде! Да, повторяю, судьба наказала меня по заслугам, когда обрекла на ту действительно одинокую жизнь на безотрадном острове, с которой я так несправедливо сравнивал свое тогдашнее житье, каковое, если б у меня хватило терпения продолжать начатое дело, вероятно, привело бы меня к богатству и процветанию.

Мои планы продолжать разделывать плантацию приняли уже некоторую определенность к тому времени, когда мой благодетель – капитан, подобравший меня в море, должен был отплыть обратно на родину (его судно простояло в Бразилии около трех месяцев, пока он готовил новый груз на обратный путь). И вот, когда я рассказал ему, что у меня остался в Лондоне небольшой капитал, он дал мне следующий дружеский и чистосердечный совет.

– Сеньор инглезе, – так он всегда меня величал, – дайте мне формальную доверенность и напишите в Лондон тому лицу, у которого хранятся ваши деньги. Напишите, чтобы для вас там закупили товаров, таких, какие находят сбыт в здешних краях, и переслали бы их в Лиссабон, по адресу, который я вам укажу; а я, если Бог даст, вернусь и доставлю вам

их в целости. Но так как дела человеческие подвержены всяким превратностям и бедам, то на вашем месте я взял бы на первый раз всего лишь сто фунтов стерлингов, то есть половину вашего капитала. Рискните сначала только этим. Если эти деньги вернутся к вам с прибылью, вы можете таким же образом пустить в оборот и остальной капитал, а если пропадут, так у вас по крайней мере останется хоть что-нибудь в запасе.

Совет был так хорош и так дружествен, что лучшего, казалось мне, нельзя и придумать, и мне оставалось только последовать ему. Поэтому я не колеблясь выдал капитану доверенность, как он того желал, и приготовил письма к вдове английского капитана, которой когда-то отдал на сохранение свои деньги.

Я подробно описал ей все мои приключения: рассказал, как я попал в неволю, как убежал, как встретил в море португальский корабль и как человечно обошелся со мною капитан. В заключение я описал ей настоящее мое положение и дал необходимые указания насчет закупки для меня товаров. Мой друг капитан тотчас по прибытии своем в Лиссабон через английских купцов переслал в Лондон одному тамошнему купцу заказ на товары, присоединив к нему подробнейшее описание моих похождений. Лондонский купец немедленно передал оба письма вдове английского капитана, и она не только выдала ему требуемую сумму, но еще послала от себя португальскому капитану довольно кругленькую сумму в виде подарка за его гуманное и участливое отношение ко мне.

Закупив на все мои сто фунтов английских товаров по указанию моего приятеля капитана, лондонский купец переслал их ему в Лиссабон, а тот благополучно доставил их мне в Бразилию. В числе других вещей он уже по собственному почину (ибо я был настолько новичком в моем деле, что мне это даже не пришло в голову) привез мне всевозможных земледельческих орудий, а также всякой хозяйственной утвари. Все это были вещи, необходимые для работ на плантации, и все они очень мне пригодились.

Когда прибыл мой груз, я был вне себя от радости и считал свою будущность отныне обеспеченной. Мой добрый опекун капитан, кроме всего прочего, привез мне работника, которого нанял с обязательством прослужить мне шесть лет. Для этой цели он истратил собственные пять фунтов стерлингов, полученные в подарок от моей покровительницы, вдовы английского капитана. Он наотрез отказался от всякого возмещения, и я уговорил его только принять небольшой тюк взращенного мною табака.

И это было не все. Так как все мои товары состояли из английских мануфактурных изделий – полотен, байки, сукон, вообще вещей, которые

особенно ценились и требовались в этой стране, то я имел возможность распродать их с большой прибылью; словом, когда все было распродано, мой капитал учетверился. Благодаря этому я далеко опередил моего бедного соседа по разработке плантации, ибо первым моим делом после распродажи товаров было купить невольника-негра и нанять еще одного работника-европейца, кроме того, которого привез мне капитан из Лиссабона.

Но дурное употребление материальных благ часто является вернейшим путем к величайшим невзгодам. Так было и со мной. В следующем году я продолжал возделывать свою плантацию с большим успехом и собрал пятьдесят тюков табаку сверх того количества, которое я уступил соседям в обмен на предметы первой необходимости. Все эти пятьдесят тюков весом по сотне с лишним фунтов каждый лежали у меня просушенные, совсем готовые к приходу судов из Лиссабона. Итак, дело мое разрасталось; но, по мере того как я богател, голова моя наполнялась планами и проектами, совершенно несбыточными при тех средствах, какими я располагал: короче, это были такого рода проекты, которые нередко разоряют самых лучших дельцов.

Останься я на поприще, мною же самим избранном, я, вероятно, дождался бы тех радостей жизни, о которых так убедительно говорил мне отец как о неизменных спутниках тихого, уединенного существования среднего общественного положения. Но мне была уготована иная участь: мне по-прежнему суждено было самому быть виновником всех моих несчастий. И, точно для того чтобы усугубить мою вину и подбавить горечи в размышления над моей участью, на что в моем печальном будущем мне было отпущено слишком много досуга, все мои неудачи вызывались исключительной моей страстью к скитаниям, каковой я предавался с безрассудным упрямством, тогда как передо мной открывалась светлая будущность полезной и счастливой жизни, стоило мне только продолжать начатое, воспользоваться теми житейскими благами, которые так щедро расточали мне природа и Провидение, и исполнять свой долг.

Как когда-то, когда я убежал из родительского дома, так и теперь я не мог удовлетвориться настоящим. Я отказался от видов на будущее мое благосостояние, быть может, богатство, которое принесла бы работа на плантации, – и все оттого, что меня одолевало жгучее желание обогатиться скорее, чем допускали обстоятельства. Таким образом, я вверг себя в глубочайшую бездну бедствий, в какую, вероятно, не попадал еще ни один человек и из какой едва ли можно выйти живым и здоровым.

Перехожу теперь к подробностям этой части моих похождений. Прожив в Бразилии почти четыре года и значительно увеличив свое благосостояние, я, само собою разумеется, не только изучил местный язык, но и завязал большие знакомства с моими соседями – плантаторами, а равно и с купцами из Сан-Сальвадора, ближайшего к нам портового города. Встречаясь с ними, я часто рассказывал им о двух моих поездках к берегам Гвинеи, о том, как ведется торговля с тамошними неграми и как легко там за безделицу – за какие-нибудь бусы, игрушки, ножи, ножницы, топоры, стекляшки и тому подобные мелочи – приобрести не только золотой песок и слоновую кость и прочее, но даже в большом количестве негров-невольников для работы в Бразилии.

Мои рассказы они слушали очень внимательно, в особенности когда речь заходила о покупке негров. В то время, надо заметить, торговля невольниками была весьма ограниченна, и для нее требовалось так называемое «асьенто», то есть разрешение от испанского или португальского короля; поэтому негров-невольников было мало и стоили они чрезвычайно дорого.

Как-то раз собралась большая компания: я и несколько человек моих знакомых – плантаторов и купцов, и мы оживленно беседовали на эту тему. На следующее утро трое из моих собеседников явились ко мне и объявили, что, пораздумав хорошенько над тем, что я им рассказал накануне, они пришли ко мне с секретным предложением. Затем, взяв с меня слово, что все, что я от них услышу, останется между нами, они сказали, что у всех у них, как и у меня, есть плантации и что ни в чем они так не нуждаются, как в рабочих руках. Поэтому они хотят снарядить корабль в Гвинею за неграми. Но так как торговля невольниками связана с затруднениями и им невозможно будет открыто продавать негров по возвращении в Бразилию, то они думают ограничиться одним рейсом, привезти негров тайно, а затем поделить их между собой для своих плантаций. Вопрос был в том, соглашусь ли я поступить к ним на судно в качестве судового приказчика, то есть взять на себя закупку негров в Гвинее. Они предложили мне одинаковое с другими количество негров, причем мне не нужно было вкладывать в это предприятие ни гроша.

Нельзя отрицать заманчивости этого предложения, если бы оно было сделано человеку, не имеющему собственной плантации: за ней нужен был присмотр, в нее вложен был значительный капитал, и со временем она обещала приносить большой доход. Но для меня, владельца такой плантации, кому стоило только еще года три-четыре продолжить начатое, вытребовав из Англии остальную часть своих денег – вместе с этим

маленьким добавочным капиталом мое состояние достигло бы трех-четырех тысяч фунтов стерлингов и продолжало бы возрастать, – для меня помышлять о подобном путешествии было величайшим безрассудством.

Но мне на роду было написано стать виновником собственной гибели. Как прежде я оказался не в силах побороть своих бродяжнических наклонностей и добрые советы отца пропали втуне, так и теперь я не мог устоять против сделанного мне предложения. Короче говоря, я отвечал плантаторам, что с радостью поеду в Гвинею, если в мое отсутствие они возьмут на себя присмотр за моим имуществом и распорядятся им по моим указаниям в случае, если я не вернусь. Они торжественно обещали мне это, скрепив наш договор письменным обязательством, я же, со своей стороны, сделал формальное завещание на случай моей смерти: свою плантацию и движимое имущество я отказывал португальскому капитану, который спас мне жизнь, но с оговоркой, чтобы он взял себе только половину моей движимости, а остальное отослал в Англию.



Словом, я принял все меры для сохранения моей движимости и поддержания порядка на моей плантации. Прояви я хоть малую часть столь мудрой предусмотрительности в вопросе о собственной выгоде, составь я столь же ясное суждение о том, что я должен и чего не должен делать, я, наверное, никогда бы не бросил столь удачно начатого и многообещающего предприятия, не пренебрег бы столь благоприятными видами на успех и не пустился бы в море, с которым неразлучны опасности и риск, не говоря уже о том, что у меня были особые причины ожидать от предстоящего путешествия всяких бед.

Но меня торопили, и я слепо повиновался внушениям моей фантазии, а не голосу рассудка. Итак, корабль был снаряжен, нагружен подходящим товаром, и все устроено по взаимному соглашению участников экспедиции. В недобрый час, 1 сентября 1659 года, я взошел на корабль.

Это был тот самый день, в который восемь лет тому назад я убежал от отца и матери в Гулле, тот день, когда я восстал против родительской власти и так неразумно распорядился своею судьбой.

Наше судно было вместимостью около ста двадцати тонн; на нем было шесть пушек и четырнадцать человек экипажа, не считая капитана, юнги и меня. Тяжелого груза у нас не было; весь он состоял из разных мелких вещиц, какие обыкновенно употребляются для меновой торговли с неграми: из ножниц, ножей, топоров, зеркалец, стекляшек, раковин, бус и тому подобной дешевки.

Как уже сказано, я сел на корабль 1 сентября, и в тот же день мы снялись с якоря. Сначала мы направились к северу вдоль побережья, рассчитывая свернуть к Африканскому материку, когда пойдем до десятого или двенадцатого градуса северной широты: таков в те времена был обыкновенный курс судов. Все время, покуда мы держались наших берегов, до самого мыса Святого Августина, стояла прекрасная погода, было только чересчур жарко. От мыса Святого Августина мы повернули в открытое море, как если бы держали курс на остров Фернандо ди Норонья, то есть на северо-восток, и вскоре потеряли из виду землю. Остров Фернандо остался у нас по правой руке. После двенадцатидневного плавания мы пересекли экватор и находились, по последним наблюдениям, под 7°22′ северной широты, когда на нас неожиданно налетел жестокий торнадо, то есть ураган. Он начался с юго-востока, потом пошел в обратную сторону и наконец задул с северо-востока с такою ужасающей силой, что в течение двенадцати дней мы могли только носиться по ветру и, отдавшись на волю судьбы, плыть, куда нас гнала ярость стихий. Нечего и говорить, что все эти двенадцать дней я ежечасно ожидал смерти, да и никто на корабле не чаял остаться в живых.

Но наши беды не ограничились страхом бури: один из наших матросов умер от тропической лихорадки, а двоих – матроса и юнгу – смыло с палубы. На двенадцатый день шторм стал стихать, и капитан произвел по возможности точное вычисление. Оказалось, что мы находимся приблизительно под 11° северной широты, но что нас отнесло на 22° к западу от мыса Святого Августина. Мы были теперь недалеко от берегов Гвианы или северной части Бразилии, выше Амазонки и ближе к реке Ориноко, более известной в тех краях под именем Великой реки. Капитан спросил моего совета, куда нам взять курс. Ввиду того, что судно дало течь и едва ли годилось для дальнейшего плавания, он полагал, что лучше всего повернуть назад, к берегам Бразилии.

Но я решительно восстал против этого. В конце концов, рассмотрев

карты берегов Америки, мы пришли к заключению, что до самых Карибских островов не встретим ни одной населенной страны, где можно было бы найти помощь. Поэтому мы решили держать курс на Барбадос, до которого, по нашим расчетам, можно было добраться в две недели, так как нам пришлось бы немного уклониться от прямого пути, чтобы не попасть в течение Мексиканского залива. О том же, чтобы идти к берегам Африки, не могло быть и речи: наше судно нуждалось в починке, а экипаж – в пополнении.

Ввиду вышеизложенного мы изменили курс и стали держать на запад-северо-запад. Мы рассчитывали дойти до какого-нибудь из островов, принадлежащих Англии, и получить там помощь. Но судьба судила иначе. Когда мы достигли 12°18′ северной широты, нас захватил второй шторм. Так же стремительно, как и в первый раз, мы понеслись на запад и очутились далеко от торговых путей, так что, если бы даже мы не погибли от ярости волн, у нас все равно почти не было надежды вернуться на родину и мы, вероятнее всего, были бы съедены дикарями.

Однажды ранним утром, когда мы бедствовали таким образом, – ветер все еще не сдавал, – один из матросов крикнул: «Земля!» – но не успели мы выскочить из каюты в надежде узнать, где мы находимся, как судно село на мель. В тот же миг от внезапной остановки вода хлынула на палубу с такой силой, что мы уже считали себя погибшими; стремглав бросились мы вниз в закрытые помещения, где и укрылись от брызг и пены.

Тому, кто не бывал в подобном положении, трудно себе представить, до какого отчаяния мы дошли. Мы не знали, где находимся, к какой земле нас прибило, остров это или материк, обитаемая земля или нет. А так как буря продолжала бушевать, хоть и с меньшей силой, мы не надеялись даже, что наше судно продержится несколько минут, не разбившись в щепки: разве только каким-нибудь чудом ветер вдруг переменится. Словом, мы сидели, глядя друг на друга и ежеминутно ожидая смерти, и каждый готовился к переходу в иной мир, ибо в здешнем мире нам уже нечего было делать. Единственным нашим утешением было то, что вопреки всем ожиданиям судно было все еще цело, и капитан сказал, что ветер начинает стихать.

Но хотя нам показалось, что ветер немного стих, все же корабль так основательно сел на мель, что нечего было и думать сдвинуть его с места, и в этом отчаянном положении нам оставалось только позаботиться о спасении нашей жизни какой угодно ценой. У нас были две шлюпки; одна висела за кормой, но во время шторма ее разбило о руль, а потом сорвало и потопило или унесло в море. На нее нам нечего было рассчитывать.

Оставалась другая шлюпка, но как спустить ее на воду? Задача казалась неразрешимой. А между тем нельзя было мешкать: корабль мог каждую минуту расколоться надвое; некоторые даже говорили, что он уже дал трещину.

В этот критический момент помощник капитана подошел к шлюпке и с помощью остальных людей экипажа перебросил ее через борт; мы все, одиннадцать человек, вошли в шлюпку, отчалили и, поручив себя милосердию Божию, отдались на волю бушующих волн; хотя шторм значительно поулегся, все-таки на берег набегали страшные валы и море могло быть по справедливости названо den wild zee – дикое море, как выражаются голландцы.

Наше положение было поистине плачевным: мы ясно видели, что шлюпка не выдержит такого волнения и что мы неизбежно потонем. Идти на парусе мы не могли: у нас его не было, да и все равно он был бы нам бесполезен. Мы гребли к берегу с тяжелым сердцем, как люди, идущие на казнь, мы все отлично знали, что как только шлюпка подойдет ближе к земле, ее разнесет прибоем на тысячу кусков. И, подгоняемые ветром и течением, предавши душу свою милосердию Божию, мы налегли на весла, собственноручно приближая момент нашей гибели.

Какой был перед нами берег – скалистый или песчаный, крутой или отлогий, – мы не знали. Единственной для нас надеждой на спасение была слабая возможность попасть в какую-нибудь бухточку, или залив, или в устье реки, где волнение было слабее и где мы могли бы укрыться под берегом с наветренной стороны. Но впереди не было видно ничего похожего на залив, и чем ближе подходили мы к берегу, тем страшнее казалась земля, страшнее самого моря.

Когда мы отошли, или, вернее, нас отнесло примерно мили на четыре от застрявшего корабля, огромный вал, величиной с гору, неожиданно набежал с кормы на нашу шлюпку, словно для того, чтобы последним ударом прекратить наши страдания. В один миг опрокинул он нашу шлюпку. Мы не успели крикнуть: «Боже!» – как очутились под водой, далеко и от шлюпки, и друг от друга.



Ничем не выразить смятения в моих мыслях, когда я погрузился в воду. Я отлично плаваю, но я не мог вынырнуть на поверхность и набрать в грудь воздуху, пока подхватившая меня волна, пронеся меня изрядное расстояние по направлению к берегу, не разбилась и не отхлынула назад, оставив меня на мелком месте, полумертвого от воды, которой я нахлебался. У меня хватило самообладания и сил, увидев сушу гораздо ближе, чем я ожидал, подняться на ноги и опрометью пуститься бежать в надежде достичь берега прежде, чем нахлынет и подхватит меня другая волна, но скоро я увидел, что мне от нее не уйти: море шло горой и догоняло, как разъяренный враг, бороться с которым у меня не было ни сил, ни средств. Мне оставалось только, задержав дыхание, вынырнуть на гребень волны и плыть к берегу, насколько хватит сил. Главной моей заботой было справиться по возможности с новой волной так, чтобы, поднеся меня еще ближе к берегу, она не увлекла меня за собой в своем обратном движении к морю.

Набежавшая волна скрыла меня футов на двадцать – тридцать под водой. Я чувствовал, как меня подхватило и долго, с неимоверной силой и быстротой несло к берегу. Я задержал дыхание и поплыл по течению, изо всех сил помогая ему. Я уже почти задыхался, как вдруг почувствовал, что поднимаюсь кверху; вскоре, к великому моему облегчению, мои руки и голова оказались над водой, и хотя я мог продержаться на поверхности не больше двух секунд, однако успел перевести дух, и это придало мне силы и мужества. Меня снова захлестнуло, но на этот раз я пробыл под водой не так долго. Когда волна разбилась и пошла назад, я не дал ей увлечь себя обратно и скоро почувствовал под ногами дно. Я простоял несколько секунд, чтобы отдышаться, и, собрав остаток сил, снова опрометью пустился бежать к берегу. Но и теперь я еще не ушел от ярости моря: еще

два раза оно меня нагоняло, два раза меня подхватывало волной и несло все вперед, так как в этом месте берег был очень отлогий.

Последний вал едва не оказался для меня роковым: подхватив меня, он вынес, или, вернее, бросил, меня на скалу с такой силой, что я лишился чувств и оказался совершенно беспомощным: удар в бок и в грудь совсем отшиб у меня дыхание, и, если б море снова подхватило меня, я бы неминуемо захлебнулся. Но я пришел в себя как раз вовремя: увидев, что сейчас меня опять накроет волной, я крепко уцепился за выступ скалы и, задержав дыхание, решил переждать, пока волна не схлынет. Так как ближе к земле волны были уже не столь высоки, то я продержался до ее ухода. Затем я снова пустился бежать и очутился настолько близко к берегу, что следующая волна хоть и перекатилась через меня, но уже не могла поглотить и унести обратно в море. Пробежав еще немного, я, к великой моей радости, почувствовал себя на суше, вскарабкался на прибрежные скалы и опустился на траву. Здесь я был в безопасности: море не могло достать до меня.



Очутившись на земле целым и невредимым, я поднял взор к небу, возблагодарив Бога за спасение моей жизни, на что всего лишь несколько минут тому назад у меня почти не было надежды. Я думаю, что нет таких слов, которыми можно было бы изобразить с достаточной яркостью восторг души человеческой, восставшей, так сказать, из гроба, и я ничуть не удивляюсь тому, что, когда преступнику, уже с петлей на шее, в тот самый миг, как его должны вздернуть на виселицу, объявляют

помилование, – повторяю, я не удивляюсь, что при этом всегда присутствует и врач, чтобы пустить ему кровь, иначе неожиданная радость может слишком сильно потрясти помилованного и остановить биение его сердца.

Внезапная радость, как скорбь: приводит в растерянность разум.

Я ходил по берегу, воздевая руки к небу и делая тысячи других жестов и движений, которых не могу и описать. Все мое существо было, если можно так выразиться, поглощено размышлениями о спасении. Я думал о своих товарищах, которые все утонули, и о том, что, кроме меня, не спаслась ни одна душа; по крайней мере никого из них я больше не видел; от них и следов не осталось, кроме трех шляп, одной матросской шапки да двух башмаков, к тому же непарных.

Взглянув в ту сторону, где стоял на мели наш корабль, я едва мог рассмотреть его за высоким прибоем, – так он был далеко, и я сказал себе: «Боже! Каким чудом мог я добраться до берега?»

Утешившись этими мыслями о благополучном избавлении от смертельной опасности, я стал осматриваться кругом, чтобы узнать, куда я попал и что мне прежде всего делать. Мое радостное настроение разом упало: я понял, что хотя я и спасся, но не избавлен от дальнейших ужасов и бед. На мне не осталось сухой нитки, переодеться было не во что; мне нечего было есть, у меня не было даже воды, чтобы подкрепить свои силы, а в будущем мне предстояло или умереть голодной смертью, или быть растерзанным хищными зверями. Но что всего ужаснее – у меня не было оружия, так что я не мог ни охотиться за дичью для своего пропитания, ни обороняться от хищников, которым вздумалось бы напасть на меня. У меня вообще не было ничего, кроме ножа, трубки да коробочки с табаком. Это было все мое достояние. При мысли об этом я пришел в такое отчаяние, что долго как сумасшедший бегал по берегу. Когда настала ночь, я с замирающим сердцем спрашивал себя, что меня ожидает, если здесь водятся хищные звери, – ведь они всегда выходят на добычу по ночам.



Единственное, что я мог тогда придумать, это взобраться на росшее поблизости толстое, ветвистое дерево, похожее на ель, но с колючками, и просидеть на нем всю ночь, а когда придет утро, решить, какою смертью лучше умереть, ибо я не видел возможности жить в этом месте. Я прошел с четверть мили от берега вглубь посмотреть, нет ли пресной воды, и, к великой моей радости, нашел ручеек. Напившись и положив в рот немного табаку, чтобы заглушить голод, я вернулся к дереву, взобрался на него и постарался устроиться таким образом, чтобы не свалиться, в случае если засну. Затем я срезал для самозащиты коротенький сук вроде дубинки, устроился поудобнее в своей новой «квартире» и от крайнего утомления уснул. Я спал так сладко, как, я думаю, не многим спалось бы на моем месте, и никогда не пробуждался от сна таким свежим и бодрым.

Глава 6

Необитаемый остров. — Строительство жилья

Когда я проснулся, было совсем светло; погода прояснилась, ветер утих, и море больше не бушевало и не вздымалось. Но меня крайне поразило то, что корабль очутился на другом месте, почти у самой той скалы, о которую меня так сильно ударило волной: за ночь его приподняло с мели приливом и пригнало сюда. Теперь он стоял не дальше мили от того места, где я провел ночь, и так как держался он почти прямо, то я решил побывать на нем, чтобы запастись самыми необходимыми вещами.

Покинув свою «квартиру», я спустился с дерева и еще раз осмотрелся кругом; первое, что я увидел, была наша шлюпка, лежавшая милях в двух вправо, на берегу, куда ее выбросило море. Я поспешил было в том

направлении, думая дойти до нее, но оказалось, что путь преграждал глубоко врезывавшийся в берег заливчик шириною в полмили. Тогда я повернул назад, ибо мне было важнее попасть поскорей на корабль, где я надеялся найти что-нибудь для поддержания своего существования.

После полудня волнение на море совсем улеглось, и отлив был так низок, что мне удалось подойти к кораблю на четверть мили. Тут я снова почувствовал приступ глубокого горя, ибо мне стало ясно, что если б мы не покинули корабль, то все остались бы живы: переждав шторм, мы благополучно перебрались бы на берег и я не был бы, как теперь, несчастным существом, совершенно лишенным человеческого общества. При этой мысли слезы выступили у меня на глазах, но слезами горю не поможешь, и я решил все-таки добраться до корабля. Раздевшись (день был нестерпимо жаркий), я вошел в воду. Но, когда я подплыл к кораблю, возникло новое затруднение: как на него взобраться? Он стоял на мелководье, весь наружу, и уцепиться было не за что. Дважды я проплыл вокруг него и во второй раз заметил недлинный канат – удивительно, как он сразу не бросился мне в глаза. Он свешивался так низко над водой, что мне, хоть и не без труда, удалось поймать его конец и взобраться на бак корабля. Судно дало течь, и трюм был полон воды; однако оно так увязло килем в песчаной или, скорее, илистой отмели, что корма была приподнята, а нос почти касался воды. Таким образом, вся кормовая часть оказалась сухой, и все, что там находилось, не пострадало от воды. Я сразу обнаружил это, так как, разумеется, мне прежде всего хотелось узнать, что из корабельного имущества было попорчено и что уцелело. Оказалось, во-первых, что весь запас провизии был совершенно сухой, а так как меня мучил голод, то я отправился в кладовую, набил карманы сухарями и ел их на ходу, чтобы не терять времени. В кают-компании я нашел бутылку рому и отхлебнул из нее несколько хороших глотков, ибо очень нуждался в подкреплении сил для предстоящей работы.

Прежде всего мне нужна была лодка, чтобы перевезти на берег все то, что могло мне понадобиться. Однако бесполезно было сидеть сложа руки и мечтать о том, чего нельзя было получить. Нужда изощряет изобретательность, и я живо принялся за дело. На корабле были запасные мачты, стеньги и реи. Из них я решил построить плот. Выбрав несколько бревен полегче, я перекинул их за борт, привязав предварительно каждое веревкой, чтобы их не унесло. Затем я спустился с корабля, притянул к себе четыре бревна, крепко связал их между собою по обоим концам, скрепив еще сверху двумя или тремя коротенькими досками, положенными накрест. Мой плот отлично выдерживал тяжесть моего тела, но для

большего груза был слишком легок. Тогда я снова принялся за дело и с помощью пилы нашего корабельного плотника распилил запасную мачту на три куска, которые и приладил к своему плоту. Эта работа стоила мне неимоверных усилий, но желание запастись по возможности всем необходимым для жизни поддерживало меня, и я сделал то, что при других обстоятельствах мне было бы не под силу.

Теперь мой плот был достаточно крепок и мог выдержать порядочную тяжесть. Первым делом было нагрузить его и уберечь мой груз от морского прибоя. Над этим я раздумывал недолго. Прежде всего я положил на плот все доски, какие нашлись на корабле; на эти доски я спустил три сундука, принадлежащих нашим матросам, предварительно взломав в них замки и опорожнив их. Затем, прикинув в уме, что из вещей могло мне понадобиться больше всего, я отобрал эти вещи и наполнил ими все три сундука. В один я сложил съестные припасы: хлеб, рис, три круга голландского сыру, пять больших кусков вяленой козлятины, служившей нам главной пищей, и остатки зерна для домашней птицы, которую мы взяли с собой на судно и давно уже съели. Это был ячмень, перемешанный с пшеницей; к великому моему разочарованию, он, как выяснилось позднее, оказался попорченным крысами. Я нашел несколько ящиков бутылок, принадлежавших нашему шкиперу; в их числе несколько бутылок с крепкими напитками и в общей сложности около пяти или шести галлонов сухого испанского вина. Все эти ящики я поставил прямо на плот, так как в сундуках они бы не поместились, да и надобности не было их прятать. Между тем, пока я был занят погрузкой, начался прилив, и, к великому моему огорчению, я увидел, что мой камзол, рубашку и жилет, оставленные мною на берегу, унесло в море. Таким образом, у меня остались из платья только чулки да штаны (полотняные и коротенькие, до колен), которых я не снимал. Это заставило меня подумать о том, чтобы запастись одеждой. На корабле было немало всякой одежды, но я взял пока только то, что было необходимо в данную минуту: меня гораздо больше соблазняло многое другое, и прежде всего рабочие инструменты. После долгих поисков я нашел ящик нашего плотника, и это была для меня поистине драгоценная находка, которой я не отдал бы в то время за целый корабль с золотом. Я поставил на плот этот ящик, как он был, даже не заглянув в него, так как мне было приблизительно известно, какие в нем инструменты.

Теперь мне осталось запастись оружием и зарядами. В кают-компании я нашел два прекрасных охотничьих ружья и два пистолета, которые и переправил на плот вместе с пороховницей, небольшим мешком с дробью

и двумя старыми, заржавленными саблями. Я знал, что у нас было три бочонка пороху, но не знал, где их хранил наш канонир. Однако, поискав хорошенько, я нашел все три. Один оказался подмокшим, а два были совершенно сухи, и я перетащил их на плот вместе с ружьями и саблями. Теперь мой плот был достаточно нагружен, и я начал думать, как мне добраться до берега без паруса, без весел и без руля, – ведь довольно было самого слабого порыва ветра, чтобы опрокинуть все мое сооружение.

Три обстоятельства ободряли меня: во-первых, полное отсутствие волнения на море; во-вторых, прилив, который должен был гнать меня к берегу; в-третьих, небольшой ветерок, дувший тоже к берегу и, следовательно, попутный. Итак, разыскав два или три сломанных весла от корабельной шлюпки, прихватив еще две пилы, топор и молоток (кроме тех инструментов, что были в ящике), я пустился в море. С милю или около того мой плот шел отлично; я заметил только, что его относит от того места, куда накануне меня выбросило море. Это навело меня на мысль, что там, должно быть, береговое течение и что, следовательно, я могу попасть в какой-нибудь заливчик или речку, где мне будет удобно пристать с моим грузом.

Как я предполагал, так и вышло. Вскоре передо мной открылась маленькая бухточка, и меня быстро понесло к ней. Я правил, как умел, стараясь держаться середины течения. Но тут, будучи совершенно незнаком с фарватером этой бухточки, я чуть вторично не потерпел кораблекрушение, и, если бы это случилось, я, право, кажется, умер бы с горя. Мой плот неожиданно наскочил одним краем на отмель, а так как другой его край не имел точки опоры, то он сильно накренился; еще немного, и весь мой груз съехал бы в эту сторону и свалился бы в воду. Я изо всех сил уперся спиной и руками в мои сундуки, стараясь удержать их на месте, но не мог столкнуть плот, несмотря на все усилия. С полчаса, не смея шевельнуться, простоял я в этой позе, покамест прибывшая вода не приподняла немного опустившийся край плота, а спустя некоторое время вода поднялась еще выше, и плот сам сошел с мели. Тогда я оттолкнул плот веслом на середину фарватера и, отдавшись течению, которое было здесь очень быстрое, вошел наконец в бухточку, или, вернее, в устье небольшой реки с высокими берегами. Я стал осматриваться, отыскивая, где бы мне лучше пристать: мне не хотелось слишком удаляться от моря, ибо я надеялся когда-нибудь увидеть на нем корабль, и потому решил обосноваться как можно ближе к берегу.

Наконец на правом берегу я высмотрел крошечный заливчик, к которому и направил свой плот. С большим трудом провел я его поперек

течения и вошел в заливчик, упираясь в дно веслами. Но здесь я снова рисковал вывалить весь мой груз: берег был настолько крут, что если б только мой плот наехал на него одним концом, то неминуемо бы наклонился к воде другим и моя поклажа была бы в опасности. Мне оставалось только ждать полного прилива. Высмотрев удобное местечко, где берег заканчивался ровной площадкой, я пододвинул туда плот и, упираясь в дно веслом, держал его на якоре; я рассчитывал, что прилив покроет эту площадку водой. Так и случилось. Когда вода достаточно поднялась – мой плот сидел в воде на целый фут, – я втолкнул его на площадку, укрепил с двух сторон при помощи весел, воткнув их в дно, и стал дожидаться отлива. Таким образом, мой плот со всем грузом оказался на сухом берегу.



Следующей моей заботой было осмотреть окрестности и выбрать себе защищенное от всяких случайностей удобное местечко для жилья, где бы я мог сложить свое добро. Я все еще не знал, куда я попал: на материк или на остров, в населенную или в необитаемую страну; не знал, грозит ли мне опасность со стороны хищных зверей или нет. Приблизительно в полумиле от меня виднелся холм, крутой и высокий, по-видимому, господствовавший над грядою возвышенностей, тянувшейся к северу. Захватив охотничье ружье, пистолет и пороховницу, я отправился на разведку. Когда я взобрался на вершину холма (что стоило мне немалых усилий), мне стала ясна моя горькая участь: я был на острове, со всех сторон простиралось море и вокруг не было и признака земли, если не считать нескольких торчавших в отдалении скал да двух маленьких островов, поменьше моего, лежавших милях в десяти к западу.

Я сделал и другие открытия: мой остров был совершенно невозделан и, судя по всем признакам, необитаем. Может быть, на нем и жили хищные

звери, но пока я ни одного не видел. Зато пернатые водились во множестве, но все неизвестных мне пород, так что потом, когда мне случалось убить дичь, я никогда не мог определить по виду, годится ли она в пищу или нет. Спускаясь с холма, я подстрелил большую птицу, сидевшую на дереве у опушки леса. Я думаю, что это был первый выстрел, раздавшийся здесь с сотворения мира: не успел я выстрелить, как над рощей взвилась туча птиц; каждая из них кричала по-своему, но ни один из криков не походил на крики, известные мне. Что касается убитой мною птицы, по-моему, это была разновидность нашего ястреба: она очень напоминала его окраской перьев и формой клюва, только когти у нее были гораздо короче. Ее мясо отдавало падалью и не годилось в пищу.

Удовольствовавшись этими открытиями, я воротился к плоту и принялся перетаскивать вещи на берег. Это заняло у меня весь остаток дня. Я не знал, как и где устроиться мне на ночь. Лечь прямо на землю я боялся, не будучи уверен, что меня не загрызет какой-нибудь хищник. Впоследствии оказалось, что эти страхи были напрасны.

Наметив на берегу местечко для ночлега, я загородил его со всех сторон сундуками и ящиками, а внутри этой ограды соорудил из досок нечто вроде шалаша. Что касается пищи, то я не знал еще, как буду добывать себе впоследствии пропитание: кроме птиц да двух каких-то зверьков вроде нашего зайца, выскочивших из рощи при звуке моего выстрела, никакой живности я здесь не видел. Но теперь я думал только о том, как бы забрать с корабля все, что там оставалось и что могло мне пригодиться, и прежде всего паруса и канаты. Поэтому я решил, если ничто не помешает, предпринять второй рейс на корабль. А так как я знал, что при первой же буре его разобьет в щепки, то предпочел отложить другие дела, пока не переправлю на берег все, что только смогу взять. Я стал держать совет (с самим собой, конечно), брать ли мне плот. Это показалось мне непрактичным, и, дождавшись отлива, я пустился в путь, как в первый раз. Только теперь я разделся в шалаше, оставшись в одной нижней клетчатой рубахе, в полотняных кальсонах и в туфлях на босу ногу.

Как и в первый раз, я взобрался на корабль по канату; затем построил новый плот. Но, умудренный опытом, я сделал его не таким неповоротливым, как первый, и не так тяжело нагрузил. Впрочем, я все-таки перевез на нем много полезных вещей. Во-первых, все, что нашлось в запасах нашего плотника, а именно: два или три мешка с гвоздями (большими и мелкими), отвертку, десятка два топоров, а главное, такую полезную вещь, как точило. Затем я взял несколько вещей из склада

нашего канонира, в том числе три железных лома, два бочонка с ружейными пулями, семь мушкетов, еще одно охотничье ружье и немного пороху, затем большой мешок с дробью и сверток листового свинца. Впрочем, последний оказался таким тяжелым, что у меня не хватило силы поднять и спустить его на плот.

Кроме перечисленных вещей, я взял с корабля всю одежду, какую нашел, да прихватил еще запасной парус, подвесную койку и несколько тюфяков и подушек. Все это я погрузил на плот и, к великому моему удовольствию, перевез на берег в целости.

Отправляясь на корабль, я немного побаивался, как бы в мое отсутствие какие-нибудь хищники не уничтожили моих съестных припасов. Но, воротившись на берег, я не заметил никаких следов непрошеных гостей. Только на одном из сундуков сидел какой-то зверек, очень похожий на дикую кошку. При моем приближении он отбежал в сторону и остановился, потом присел на задние лапы совершенно спокойно, без всякого страха, смотрел мне прямо в глаза, точно выражая желание познакомиться со мной. Я прицелился в него из ружья, но это движение было, очевидно, ему непонятно; он нисколько не испугался, даже не тронулся с места. Тогда я бросил ему кусочек сухаря, хотя не особенно-то мог быть расточительным, так как мой запас провизии был очень невелик. Тем не менее я уделил ему этот кусочек. Он подошел, обнюхал его, съел, облизнулся и с довольным видом ждал повторного угощения, но я поблагодарил за честь и больше ничего ему не дал; тогда он ушел.

Доставив на берег свой второй груз, я хотел открыть тяжелые бочонки с порохом и перенести его частями, однако принялся сначала за сооружение палатки. Я сделал ее из паруса и жердей, которые для этой цели нарезал в роще. В палатку я перенес все, что могло испортиться от солнца и дождя, а вокруг нее нагромоздил пустые ящики и бочки на случай внезапного нападения людей или зверей.

Вход в палатку я загородил снаружи большим сундуком, поставив его боком, а изнутри заложил досками. Затем разостлал на земле постель, в головах положил два пистолета, рядом с тюфяком – ружье и лег. Со дня кораблекрушения я в первый раз провел ночь в постели. От изнеможения я проспал до утра как убитый, и не мудрено: в предыдущую ночь я почти не спал, а весь день работал, сперва над погрузкой вещей с корабля на плот, а потом переправляя их на берег.

Никто, я думаю, не устраивал для себя такого огромного склада, какой был устроен мною. Но мне все было мало: пока корабль был цел и стоял на прежнем месте, пока на нем оставалась хоть одна вещь, которой я мог

воспользоваться, я считал необходимым пополнять свои запасы. Каждый день с наступлением отлива я отправлялся на корабль и что-нибудь привозил с собою. Особенно удачным было третье мое путешествие. Я разобрал все снасти, взял с собою весь мелкий такелаж (и трос, и бечевки, какие могли уместиться на плоту). Я захватил также большой кусок запасной парусины, служившей у нас для починки парусов, и бочонок с подмокшим порохом, который я было оставил на корабле. В конце концов я переправил на берег все паруса до последнего; только мне пришлось разрезать их на куски и перевозить по частям; как паруса они были уже непригодны, и вся их ценность для меня заключалась в парусине.

Но вот чему я обрадовался еще больше. После пяти или шести таких экспедиций, когда я думал, что на корабле уже нечем больше поживиться, я неожиданно нашел в трюме большую кадку с сухарями, три бочонка рому, ящик с сахаром и бочонок превосходной муки. Это был приятный сюрприз: я больше не рассчитывал найти на корабле какую-нибудь провизию, будучи уверен, что все оставшиеся там запасы подмокли. Сухари я вынул из бочки и перенес на плот по частям, завертывая в парусину. Все это мне удалось благополучно доставить на берег.

На следующий день я предпринял новую поездку. Теперь, забрав с корабля решительно все вещи, какие под силу поднять одному человеку, я принялся за канаты. Каждый канат я разрезал на куски такой величины, чтобы мне было не слишком трудно управиться с ними, и перевез на берег два каната и швартовы. Кроме того, я взял с корабля все железные части, какие мог отделить. Затем, обрубив оставшиеся реи, я построил из них плот побольше, погрузил на него все эти тяжелые вещи и пустился в обратный путь. Но на этот раз счастье мне изменило: мой плот был так неповоротлив и так сильно нагружен, что мне было очень трудно им управлять. Войдя в бухточку, где было выгружено мое остальное имущество, я не сумел провести его так искусно, как прежние: плот опрокинулся, и я упал в воду со всем своим грузом. Что касается меня, то беда была невелика, так как это случилось почти у самого берега, но груз мой, по крайней мере значительная часть его, пропал, главное – железо, которое очень бы мне пригодилось и о котором я особенно жалел. Впрочем, когда вода спала, я вытащил на берег почти все куски каната и несколько кусков железа, хотя и с великим трудом: я принужден был нырять за каждым куском, и это меня очень утомляло. В дальнейшем мои посещения корабля повторялись ежедневно, и каждый раз я привозил новую добычу.

Уже тринадцать дней я жил на острове и за это время побывал на

корабле одиннадцать раз, переправив на берег решительно все, что в состоянии перетащить пара человеческих рук. Если бы тихая погода продержалась подольше, я убежден, что перевез бы весь корабль по кусочкам, но, делая приготовления к двенадцатому рейсу, я заметил, что подымается ветер. Тем не менее, дождавшись отлива, я отправился на корабль. Я уже так основательно обшарил нашу каюту, что казалось, там ничего невозможно было найти; но тут я заметил шкафчик с двумя ящиками: в одном я нашел две-три бритвы, большие ножницы и с дюжину хороших вилок и ножей; в другом оказались деньги – около тридцати шести фунтов частью европейской, частью бразильской серебряной и золотой монетой.



Я улыбнулся при виде этих денег. «Ненужный хлам, – проговорил я, – зачем ты мне теперь? Ты и того не стоишь, чтобы нагнуться и поднять тебя с полу. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из этих ножей. Мне нечего с тобой делать. Так оставайся же, где лежишь, отправляйся на дно морское, как существо, чью жизнь не стоит спасать!» Однако ж, поразмыслив, я все же взял деньги с собой; и, завернув их в кусок парусины, стал обдумывать, как соорудить еще один плот. Но пока я собирался, небо нахмурилось, ветер, дувший с берега, начал крепчать, и через четверть часа совсем засвежело. При береговом ветре плот был бы мне не нужен; к тому же надо было спешить добраться до берега, пока не началось большое волнение, ибо иначе мне бы и совсем на него не попасть. Я, не теряя времени, спустился в воду и поплыл. То ли от тяжести бывших на мне вещей, то ли оттого, что мне приходилось бороться со встречным течением, у меня едва хватило сил переплыть полосу воды, отделявшую корабль от моей бухточки. Ветер крепчал с каждой минутой и еще до начала отлива превратился в настоящий шторм.

Но к этому времени я был уже дома, в безопасности, со всем моим богатством, и лежал в палатке. Всю ночь ревела буря, и когда поутру я выглянул из палатки, от корабля не осталось и следов! В первую минуту это неприятно меня поразило, но я утешился мыслью, что, не теряя времени и не щадя сил, достал оттуда все, что могло мне пригодиться; будь даже в моем распоряжении больше времени, мне уже почти нечего было бы взять с корабля.

Итак, я больше не думал ни о корабле, ни о вещах, какие на нем еще остались. Правда, после бури могло прибить к берегу кое-какие обломки. Так оно потом и случилось. Но от всего этого мне было мало пользы.

Мои мысли были теперь всецело поглощены тем, как мне обезопасить себя от дикарей, если таковые окажутся, и от зверей, если они водятся на острове. Я долго раздумывал, каким способом достигнуть этого и какое мне лучше устроить жилье: выкопать ли в земле пещеру или поставить на земле палатку? В конце концов я решил сделать и то и другое и полагаю, будет нелишним рассказать о моих работах и описать мое жилище.

Я скоро убедился, что выбранное мною место на берегу не годится для поселения: это была низина, у самого моря, с болотистой почвой и, вероятно, нездоровая, но главное, поблизости не было пресной воды. Поэтому я решил поискать другое место, более здоровое и более удобное для жилья.

При этом я должен был сообразоваться с некоторыми необходимыми в моем положении условиями. Во-первых, мое жилище должно быть расположено в здоровой местности и поблизости от пресной воды; во-вторых, оно должно укрывать от солнечного зноя; в-третьих, должно быть защищено от нападения хищников, как двуногих, так и четвероногих, и наконец, в-четвертых, из него должно быть видно море, чтобы мне не упустить случая спастись, если Бог пошлет какой-нибудь корабль, ибо мне не хотелось отказаться от надежды на избавление.

После довольно долгих поисков я нашел наконец небольшую ровную полянку на скате высокого холма, под крутым, отвесным, как стена, обрывом, так что ничто мне не грозило сверху. В этой отвесной стене было небольшое углубление, как будто бы вход в пещеру, но никакой пещеры или входа в скалу дальше не было.

Вот на этой-то зеленой полянке, возле самого углубления, я и решил разбить свою палатку. Площадка имела не более ста ярдов в ширину и ярдов двести в длину, так что перед моим жильем тянулась как бы лужайка, в конце ее холм спускался неправильными уступами в низину, к берегу моря. Расположен был этот уголок на северо-западном склоне

холма. Таким образом, он был в тени весь день до вечера, когда солнце переходит на юго-запад, то есть близится к закату (я разумею, в тех широтах).



Прежде чем ставить палатку, я начертил перед углублением полукруг радиусом ярдов в десять, следовательно, ярдов двадцать в диаметре.

Затем по всему полукругу я набил в два ряда крепкие колья, прочно, как сваи, заколотив их в землю. Верхушки кольев я заострил. Мой частокол вышел около пяти с половиной футов вышиной; между двумя рядами кольев я оставил не более шести дюймов свободного пространства.

Весь этот промежуток между кольями я заполнил до самого верху обрезками канатов, взятых с корабля, сложив их рядами один на другой, а изнутри укрепил ограду подпорками, для которых приготовил колья потолще и покороче (около двух с половиной футов длиной). Ограда вышла у меня прочная: ни пролезть сквозь нее, ни перелезть через нее не могли ни человек, ни зверь. Эта работа потребовала от меня много времени и труда; особенно тяжело было рубить колья в лесу, перетаскивать их на место постройки и вколачивать в землю.

Для входа в это огороженное место я устроил не дверь, но короткую лестницу через частокол; входя к себе, я убирал лестницу и в этом укреплении чувствовал себя накрепко отгороженным от внешнего мира и спокойно спал ночью, что при иных условиях, как мне казалось, было бы невозможно; впрочем, впоследствии выяснилось, что не было никакой нужды принимать столько предосторожностей против врагов, созданных моим воображением.

Глава 7

Новоселье. — Коза и козлёнок

С неимоверным трудом перетащил я к себе в загородку, или в крепость, все свои богатства: провизию, оружие и прочее, перечисленное выше. Затем я поставил в ней большую палатку. Чтобы укрываться от дождей, которые в тропических странах в известное время года бывают очень сильны, я сделал палатку двойную, то есть сначала разбил одну палатку, поменьше, а над ней поставил другую, побольше, которую накрыл сверху брезентом, захваченным мною с корабля вместе с парусами.

Теперь я спал уже не на подстилке, брошенной прямо на землю, а на удобной подвесной койке, принадлежавшей помощнику нашего капитана. Я перенес в палатку съестные припасы и все, что могло испортиться от дождя, и только когда добро мое было укрыто внутри ограды, я наглухо заделал отверстие, через которое входил и выходил, и стал пользоваться приставной лестницей.

Заделав ограду, я принялся рыть пещеру в горе. Вырытые камни и землю я стаскивал через палатку в дворик и делал из них внутри ограды род насыпи, так что почва в дворике поднялась фута на полтора. Пещера приходилась как раз за палаткой и служила мне погребом.

Понадобилось много дней и много труда, чтобы довести до конца все эти работы. За это время многое другое занимало мои мысли и случилось несколько происшествий, о которых я хочу рассказать. Как-то раз, когда я приготовился ставить палатку и рыть пещеру, вдруг из большой темной тучи хлынул проливной дождь. Потом блеснула молния и раздался страшный раскат грома. В этом, конечно, не было ничего необыкновенного, и меня испугала не столько сама молния, сколько мысль, быстрее молнии промелькнувшая в моем мозгу: «Мой порох!» У меня замерло сердце, когда я подумал, что весь мой порох может быть уничтожен одним ударом молнии, а ведь от него зависит не только моя безопасность, но и возможность добывать себе пищу. Мне даже в голову не пришло, какой опасности в случае взрыва подвергался я сам, хотя, если бы порох взорвался, я уже, наверное, никогда бы об этом не узнал.

Этот случай произвел на меня такое сильное впечатление, что, как только гроза прекратилась, я отложил на время все работы по устройству и укреплению моего жилища и принялся делать мешочки и ящики для пороха. Я решил разделить его на части и хранить понемногу в разных

местах, чтобы он ни в коем случае не мог вспыхнуть весь сразу и самые части не могли бы воспламениться друг от друга. Эта работа заняла у меня почти две недели. Всего пороху у меня было около двухсот сорока фунтов. Я разложил его по мешочкам и по ящикам, разделив по меньшей мере на сто частей. Мешочки и ящики я запрятал в расселины горы в таких местах, куда никоим образом не могла проникнуть сырость, и тщательно отметил каждое место. За бочонок с подмокшим порохом я не боялся и потому поставил его в свою пещеру, или «кухню», как я ее мысленно называл.

Занимаясь возведением своей ограды, я по крайней мере раз в день выходил из дому с ружьем, отчасти ради развлечения, отчасти чтоб подстрелить какую-нибудь дичь и поближе ознакомиться с природными богатствами острова. В первую же свою прогулку я сделал открытие, что на острове водятся козы, и очень этому обрадовался; беда лишь в том, что эти козы были столь пугливы, столь чутки и проворны, что подкрасться к ним было труднейшим на свете делом. Меня, однако, это не обескуражило, я не сомневался, что рано или поздно подстрелю одну из них, что вскорости и случилось. Когда я выследил места, служившие им привалом, то подметил следующее: если они были на горе, а я появлялся под ними в долине, все стадо в испуге кидалось прочь от меня; но если случалось, что я был на горе, а козы паслись в долине, тогда они не замечали меня. Это привело меня к заключению, что глаза этих животных не приспособлены для того, чтобы смотреть вверх, и что, следовательно, они часто не видят того, что происходит над ними. С этих пор я стал придерживаться такого способа: я всегда взбирался сначала на какую-нибудь скалу, чтобы быть над ними, и тогда мне часто удавалось подстрелить животное.

Первым же выстрелом я убил козу, которая, как оказалось, кормила козленка; это очень меня огорчило; когда мать упала, козленок так и остался смирно стоять рядом с нею. Мало того, когда я подошел к убитой козе, взвалил ее на плечи и понес домой, козленок побежал за мной, и так мы дошли до самого дома. У ограды я положил козу на землю, взял в руки козленка и перенес его через частокол в надежде вырастить его и приручить, но он еще не умел жевать, и я был принужден зарезать и съесть его. Мне надолго хватило мяса этих двух животных, потому что ел я мало, стараясь по возможности сберечь свои запасы, в особенности хлеб.



После того как я окончательно обосновался в своем новом жилище, самым неотложным для меня делом было устроить какой-нибудь очаг, в котором можно было бы разводить огонь, а также запастись дровами. О том, как я справился с этой задачей, а равно о том, как я пополнил запасы в своем погребе и как постепенно окружил себя некоторыми удобствами, я подробно расскажу в другой раз, теперь же мне хотелось бы поговорить о себе, рассказать, какие мысли в то время меня посещали. А их, само собой разумеется, было немало.

Мое положение представлялось мне в самом мрачном свете. Меня забросило бурей на необитаемый остров, который лежал далеко от места назначения нашего корабля и за много сотен миль от обычных торговых морских путей, и я имел все основания прийти к заключению, что так было предопределено небом, чтобы здесь, в этом печальном месте, в безысходной тоске одиночества я и окончил свои дни. Глаза мои наполнялись слезами, когда я думал об этом, и не раз недоумевал я, почему Провидение губит им же созданные существа, бросает их на произвол судьбы, оставляет без всякой поддержки и делает столь безнадежно несчастными, повергает в такое отчаяние, что едва ли можно быть признательным за подобную жизнь.

Но всякий раз что-то быстро останавливало во мне мысли и укоряло за них. Особенно запомнился мне один такой день, когда я в глубокой задумчивости бродил с ружьем по берегу моря и думал о своей горькой

доле. И вдруг во мне заговорил голос разума. «Да, – сказал этот голос, – положение твое незавидно: ты одинок – это правда. Но вспомни: где ты, что было с тобой? Ведь в лодку сели одиннадцать человек, где же остальные десять? Почему они не спаслись, а ты не погиб? За что тебе такое предпочтение? И как ты думаешь, где лучше – здесь или там?» И я взглянул на море. Стало быть, во всяком зле можно найти добро, стоит только подумать, что могло быть и хуже.

Тут мне снова ясно представилось, как хорошо я обеспечил себя всем необходимым и что было бы со мной, если бы – а так и должно было случиться в девяноста девяти случаях из ста – наш корабль не сдвинуло с того места, где он сначала сел на мель, и не пригнало близко к берегу, и я не успел бы захватить все нужные мне вещи. Что было бы со мной, если б мне пришлось жить на этом острове так, как я провел на нем первую ночь, – без крова, без пищи и без всяких средств добыть то и другое?

– В особенности, – произнес я вслух (самому себе, конечно), – что стал бы я делать без ружья и без зарядов, без инструментов? Как бы я жил здесь один, если бы у меня не было ни постели, ни одежды, ни палатки, где бы можно было укрыться?

Теперь же всего этого было у меня вдоволь, и я даже не боялся смотреть в глаза будущему: я знал, что к тому времени, когда выйдут мои запасы зарядов и пороха, у меня будет в руках другое средство добывать себе пищу. Я спокойно проживу без ружья до самой смерти, ибо с первых же дней моего житья на острове я задумал обеспечить себя всем необходимым на то время, когда у меня не только истощится весь мой запас пороха и зарядов, но и начнут мне изменять здоровье и силы.

Сознаюсь: я совершенно упустил из виду, что мои огнестрельные запасы могут быть уничтожены одним ударом, что молния может поджечь и взорвать мой порох. Вот почему я был так поражен, когда у меня мелькнула эта мысль во время грозы.

Глава 8

Календарь. — Обустройство жилища

И теперь, приступая к печальному повествованию об отшельнической жизни, быть может, самой удивительной из когда-либо описанных, я начну с самого начала и буду рассказывать по порядку.

Было, по моему счету, 30 сентября, когда нога моя впервые ступила на

ужасный остров. Произошло это, стало быть, во время осеннего равноденствия; а в тех широтах (то есть, по моим вычислениям, на 9°22′ к северу от экватора) солнце в этом месяце стоит почти прямо над головой.

Прошло дней десять-двенадцать моего житья на острове, и я вдруг сообразил, что потеряю счет времени из-за отсутствия книг, перьев и чернил и что в конце концов я даже перестану отличать будни от воскресных дней. Чтобы избежать этого, я водрузил большой деревянный столб на том месте берега, куда меня выбросило море, и вырезал на доске ножом крупными буквами надпись: «Здесь я ступил на берег 30 сентября 1659 года», которую прибил накрест к столбу. По сторонам этого столба я каждый день делал ножом зарубку, а через каждые шесть зарубок делал одну подлиннее: это означало воскресенье; зарубки же, обозначавшие первое число каждого месяца, я делал еще длиннее. Таким образом я вел мой календарь, отмечая дни, недели, месяцы и годы.

Перечисляя предметы, привезенные мною с корабля, как было сказано выше, в несколько приемов, я не упомянул о многих мелких вещах, хотя и не особенно ценных, но сослуживших мне тем не менее хорошую службу. Так, например, в каютах капитана, его помощника, артиллериста и плотника я нашел чернила, перья и бумагу, три или четыре компаса, некоторые астрономические приборы, хронометры, подзорные трубы, географические карты и книги по навигации. Все это я сложил в один из сундуков на всякий случай, не зная даже, понадобится ли мне что-нибудь из этих вещей. Кроме того, в моем собственном багаже оказались три Библии в хороших изданиях (я получил их из Англии вместе с выписанными мною товарами и, отправляясь в плавание, уложил вместе со своими вещами). Затем мне попалось несколько книг на португальском языке, в том числе три католических молитвенника, и еще какие-то книги. Их я тоже забрал. Я должен еще упомянуть, что у нас на корабле были собака и две кошки (я расскажу в свое время любопытную историю жизни этих животных на острове). Кошек я перевез на берег на плоту, собака же еще в первую мою экспедицию на корабль сама спрыгнула в воду и поплыла следом за мной. Много лет она была мне верным товарищем и слугой. Она делала для меня все, что могла, и почти заменяла мне человеческое общество. Мне хотелось бы только, чтобы она могла говорить, но это ей не было дано. Как уже сказано, я взял с корабля перья, чернила и бумагу. Я экономил их до последней возможности и, пока у меня были чернила, аккуратно записывал все, что случалось со мной; но когда они вышли, мне пришлось прекратить мои записи, так как я не умел делать чернила и не мог придумать, чем их заменить.



Это напомнило мне, что, несмотря на огромный склад всевозможных вещей, мне, кроме чернил, недоставало еще очень многого: у меня не было ни лопаты, ни заступа, ни кирки, и мне нечем было копать или взрыхлять землю, не было ни иголок, ни булавок, ни ниток. Не было у меня и белья, но я скоро научился обходиться без него, не испытывая больших лишений.

Из-за недостатка инструментов всякая работа шла у меня медленно и трудно. Чуть не целый год понадобился мне, чтоб довести до конца ограду, которой я вздумал обнести свое жилье. Нарубить в лесу толстых жердей, вытесать из них колья, перетащить эти колья к моей палатке – на все это нужно было много времени. Колья были так тяжелы, что я не мог поднять более одной штуки сразу, а иногда у меня уходило два дня только на то, чтобы обтесать кол и принести его домой, а третий день – на то, чтобы вбить его в землю. Для этой последней работы я пользовался сначала тяжелой деревянной дубиной, а потом вспомнил о железных ломах, привезенных мною с корабля, и заменил дубину ломом, но тем не менее вбивание кольев осталось для меня одной из самых утомительных и кропотливых работ.

Но что из того, если мне все равно некуда было девать время? А по окончании постройки я не предвидел для себя другого дела, кроме как скитаться по острову в поисках пищи, чем я и без того занимался почти

каждый день.

Настало время, когда я принялся серьезно и обстоятельно обдумывать свое положение и вынужденные обстоятельства моей жизни и начал записывать свои мысли – не для того, чтобы увековечить их в назидание людям, которым придется претерпевать то же, что и мне (ибо едва ли нашлось бы много таких людей), а просто чтобы высказать словами все, что меня терзало и мучило, и тем хоть сколько-нибудь облегчить свою душу. Но как ни тягостны были мои размышления, рассудок мой начинал мало-помалу брать верх над отчаянием. По мере сил я старался утешить себя тем, что могло бы случиться и нечто худшее, и противопоставлял злу добро. С полным беспристрастием я, словно должник и кредитор, записывал все претерпеваемые мной горести, а рядом – все, что случилось со мной отрадного.

ЗЛО

Я заброшен судьбой на мрачный, необитаемый остров и не имею никакой надежды на избавление.

Я как бы выделен и отрезан от всего мира и обречен на горе.

Я отдален от всего человечества; я отшельник, изгнанный из общества людей.

У меня мало одежды, и скоро мне будет нечем прикрыть свое тело.

Я беззащитен против нападения людей и зверей.

Мне не с кем перемолвиться словом, и некому утешить меня.

ДОБРО

Но я жив, я не утонул, подобно всем моим товарищам.

Но зато я выделен из всего нашего экипажа, смерть пощадила меня, и Тот, кто столь чудесным образом спас меня от смерти, вызволит и из этого безотрадного положения.

Но я не умер с голоду и не погиб, попав в совершенно бесплодное место, где человеку нечем пропитаться.

Но я живу в жарком климате, где я не носил бы одежду, даже если бы она у меня была.

Но остров, куда я попал, безлюден, и я не видел на нем ни одного хищного зверя, как на берегах Африки. Что было бы со мной, если б меня выбросило туда?

Но Бог сотворил чудо, пригнав наш корабль так близко к берегу, что я не только успел запастись всем необходимым для удовлетворения моих потребностей, но и получил возможность добывать себе пропитание до конца моих дней.

Запись эта непреложно свидетельствует о том, что едва ли кто на свете попадал в более бедственное положение, и тем не менее оно содержало в себе как отрицательные, так и положительные стороны, за которые следовало быть благодарным: горький опыт человека, изведавшего худшее несчастье на земле, показывает, что у нас всегда найдется какое-нибудь утешение, которое в счете наших бед и благ следует записать в графу прихода.

Итак, вняв голосу рассудка, я начинал мириться со своим положением. Прежде я поминутно смотрел на море в надежде, не покажется ли где-нибудь корабль; теперь я уже покончил с напрасными надеждами и все свои помыслы направил на то, чтобы по возможности облегчить свое существование.

Я уже описал свое жилище. Это была палатка, разбитая на склоне горы и обнесенная частоколом. Но теперь мою ограду можно было назвать скорее стеной, потому что вплотную к ней, с наружной ее стороны, я возвел земляную насыпь фута в два толщиной. А спустя еще некоторое время (насколько помню, года через полтора) я поставил на насыпь жерди, прислонив их к откосу, а сверху сделал настил из разных ветвей. Таким образом, мой дворик оказался под крышей, и я мог не бояться дождей, которые, как я уже говорил, в известное время года лили на моем острове непрерывно.

Я уже упоминал, что все свое добро принес в ограду и в пещеру, которую я выкопал за палаткой. Но должен заметить, что первое время вещи были свалены в кучу, перемешаны как попало и загромождали все пространство, так что мне негде было повернуться. По этой причине я

решил углубить мою пещеру. Сделать это было нетрудно, так как гора была рыхлой, песчаной породы, которая легко поддавалась моим усилиям. Итак, когда я увидел, что мне не угрожает опасность от хищных зверей, я принялся копать вбок, с правой стороны пещеры, а потом повернул еще правее и вывел ход наружу, за пределы моего укрепления.

Эта галерея служила не только черным ходом к моей палатке, дававшим мне возможность свободно уходить и возвращаться, но также значительно увеличивала мою кладовую.



Покончив с этой работой, я принялся за изготовление самых необходимых предметов обстановки, прежде всего стола и стула: без них я не мог вполне наслаждаться даже теми скромными удовольствиями, какие были мне отпущены на земле: я не мог ни есть, ни писать с полным удобством.

И вот я принялся столярничать. Тут я должен заметить, что разум есть основа и источник математики, а потому, определяя и измеряя разумом вещи и составляя о них толковое суждение, каждый может через известное время овладеть любым ремеслом. Ни разу в жизни до тех пор я не брал в руки столярного инструмента, и тем не менее благодаря трудолюбию и прилежанию я мало-помалу так наловчился, что, несомненно, мог бы сделать что угодно, в особенности если бы у меня были инструменты. Но даже и без инструментов или почти без инструментов, с одним только топором да рубанком я смастерил множество предметов, хотя, вероятно, никто еще не делал их таким способом и не затрачивал на это столько

труда. Так, например, когда мне нужна была доска, я должен был срубить дерево, очистить ствол от ветвей и, поставив его перед собой, обтесывать с обеих сторон до тех пор, пока он не приобретал необходимую форму. А потом доску надо было еще выстругать рубанком. Правда, при таком методе из целого дерева выходила только одна доска, и выделка этой доски отнимала у меня массу времени и труда. Но против этого у меня было лишь одно средство – терпение. К тому же мое время и мой труд стоили недорого, и не все ли было равно, куда и на что они шли?

Итак, я прежде всего сделал себе стол и стул. Я употребил на них короткие доски, которые привез на плоту с корабля. Когда же затем я натесал длинных досок вышеописанным способом, то приладил в моем погребе, по одной его стене, несколько полок одну над другой фута по полтора шириною и сложил на них свои инструменты, гвозди, железо и прочий мелкий скарб – словом, распределил все по местам, чтобы легко находить каждую вещь. Я вбил также колышки в стенку погреба и развесил на них ружья и все, что можно было повесить.



Кто увидал бы после этого мою пещеру, тот, наверно, принял бы ее за склад предметов первой необходимости. Все было у меня под руками, и мне доставляло истинное удовольствие заглядывать в этот склад: такой образцовый порядок царил там и столько там было всякого добра.

Только по окончании этой работы я начал вести свой дневник и записывал туда все сделанное мной в течение дня. Первое время я был охвачен такой торопливостью и так удручен, что мое мрачное настроение неизбежно отразилось бы в моем дневнике. Вот, например, какую запись пришлось бы мне сделать 30 сентября: «Когда я выбрался на берег и таким образом спасся от смерти, меня стошнило соленой водой, которой я наглотался. Мало-помалу я пришел в себя, но вместо того чтобы возблагодарить Создателя за мое спасение, принялся в отчаянии бегать по берегу. Я ломал руки, бил себя по голове и по лицу и кричал в исступлении: «Я погиб, погиб!» – пока не свалился на землю, выбившись из сил. Но я не смыкал глаз, боясь, чтобы меня не растерзали дикие звери».

В течение еще многих дней после этого (уже после всех моих экспедиций на корабль, когда все вещи с него были перевезены) я то и дело взбегал на пригорок и смотрел на море в надежде увидеть на горизонте корабль. Сколько раз мне казалось, будто вдали белеет парус, и я предавался радостным надеждам! Я смотрел, смотрел, пока у меня не туманилось в глазах, потом впадал в отчаяние, бросался на землю и плакал, как дитя, только усугубляя свое несчастье собственной глупостью.

Но когда наконец я до известной степени совладал с собой, когда я устроил свое жилье, привел в порядок домашний скарб, сделал себе стол и стул и обставил себя какими мог удобствами, то принялся за дневник. Привожу его здесь полностью, хотя описанные в нем события во многом уже известны читателю. Я вел его, пока у меня были чернила, когда же они вышли, дневник поневоле пришлось прекратить.

Глава 9

Дневник. — Землетрясение

30 сентября 1659 года. Я, несчастный Робинзон Крузо, потерпев кораблекрушение во время страшной бури, был выброшен на берег этого угрюмого, злополучного острова, который я назвал *островом Отчаяния.* Все мои спутники с нашего корабля потонули, и сам я был полумертв.

Весь остаток дня я провел в слезах и жалобах на свою злосчастную судьбу. У меня не было ни пищи, ни крова, ни одежды, ни оружия; мне негде было укрыться; отчаявшись получить откуда-нибудь избавление, я видел впереди только смерть. Мне казалось, что меня или растерзают хищные звери, или убьют дикари, или я умру с голоду, не найдя никакой

еды. С приближением ночи я взобрался на дерево из боязни хищных зверей. Однако я отлично выспался, несмотря на то, что всю ночь шел дождь.

1 октября. Проснувшись поутру, я увидел, к великому моему изумлению, что наш корабль сняло с мели приливом и пригнало гораздо ближе к берегу. С одной стороны, это было весьма утешительно (корабль был цел, не опрокинулся, так что у меня появилась надежда добраться до него, когда ветер утихнет, и запастись едой и другими необходимыми вещами); но, с другой стороны, еще сильнее стала и моя скорбь по погибшим товарищам. Останься мы на корабле, мы могли бы спасти его или, по крайней мере, сами остались бы в живых. Тогда мы могли бы построить лодку из обломков корабля, и нам удалось бы добраться до какой-нибудь населенной земли. Эти мысли не давали мне покоя весь день. Тем не менее, как только начался отлив, я отправился на корабль; подойдя к нему поближе по обнажившемуся морскому дну, я пустился потом вплавь. Весь этот день дождь не прекращался, но ветер совершенно утих.

С 1 по 24 октября. Все эти дни я был занят перевозкой с корабля всего, что можно было снять оттуда. С началом прилива я на плотах переправлял свой груз на берег. Все это время шли дожди с небольшими промежутками ясной погоды: вероятно, здесь сейчас дождливое время года.

20 октября. Мой плот опрокинулся, и весь груз затонул; но так как это случилось на мелком месте, а вещи были тяжелые, то с наступлением отлива мне удалось спасти большую их часть.

25 октября. Всю ночь и весь день шел дождь и дул порывистый ветер. Корабль за ночь разнесло в щепки; на том месте, где он стоял, торчат какие-то жалкие обломки, да и те видны только во время отлива. Весь этот день я укрывал и защищал спасенное мною добро, чтобы его не попортил дождь.

26 октября. Почти весь день бродил по берегу, отыскивая удобное место для жилья. Больше всего заботился о том, чтобы обезопасить себя от ночных нападений диких зверей и людей. К вечеру нашел наконец подходящее место на крутом склоне холма. Обведя полукругом по земле нужную мне площадь, я решил укрепить ее оградой, состоящей из двух рядов кольев, обложенных снаружи дерном; промежуток между рядами кольев я собирался заполнить корабельными канатами.

С 26 по 30 октября. Усиленно работал: перетаскивал свое имущество в новое жилище, несмотря на то что почти все время лил сильный дождь.

31 октября. Утром ходил по острову с ружьем в расчете подстрелить какую-нибудь дичь и осмотреть местность. Убил козу, ее козленок побежал

за мной и проводил меня до самого дома, но мне пришлось убить и его, так как он еще не умел есть.

1 ноября. Разбил под самой скалой палатку, постаравшись сделать ее как можно более обширной, повесил на кольях койку и впервые переночевал в ней.

2 ноября. Собрал все ящики и доски, а также куски бревен от плотов и соорудил из них баррикаду вокруг палатки на площадке, отведенной для моего укрепления.

3 ноября. Ходил с ружьем. Убил двух птиц, похожих на уток. Их мясо оказалось очень вкусным. После обеда начал делать стол.

4 ноября. Распределил свое время, назначив определенные часы для физических работ, для охоты, для сна и для развлечений. Вот порядок моего дня: сутра, если нет дождя, часа два-три хожу по острову с ружьем, затем до одиннадцати работаю, а в одиннадцать завтракаю чем придется, с двенадцати до двух ложусь спать (так как это самая жаркая пора дня), затем к вечеру опять принимаюсь за работу. Все рабочие часы в последние два дня трудился над изготовлением стола. Я был тогда еще весьма неумелым столяром. Но время и нужда вскоре сделали из меня мастера на все руки. Так было бы, конечно, и со всяким другим на моем месте.

5 ноября. Сегодня ходил с ружьем и с собакой. Убил дикую кошку; шкурка довольно мягкая, но мясо никуда не годится. Я сдирал шкуру с каждого убитого мною животного и прятал в свой склад. Возвращаясь домой берегом моря, видел много морских птиц неизвестных мне пород. Видел еще двух или трех тюленей. В первый момент я даже испугался, не распознав, что это за животные. Но, когда я к ним присматривался, они нырнули в воду и таким образом ускользнули от меня на этот раз.

6 ноября. После утренней прогулки работал над столом и докончил его, хотя и недоволен своей работой. Вскоре, однако, я так наловчился, что мог его исправить.

7 ноября. Устанавливается ясная погода. Все дни – 7, 8, 9, 10 и частью 12 ноября (11-го было воскресенье) – я делал стул. Мне стоило большого труда придать ему сносную форму. Несколько раз я разбирал его на части и сызнова принимался за работу. И все-таки недоволен результатом.

Примечание. Я скоро перестал соблюдать воскресные дни, ибо, перестав отмечать их на моем столбе, я сбился в счете.

13 ноября. Сегодня шел дождь; он очень освежил меня и охладил землю, но все время гремел страшный гром и сверкала молния, так что я перепугался за свой порох. Когда гроза прекратилась, я решил мой запас пороха разделить на мелкие части, чтоб он не взорвался весь разом.

14, 15 и 16 ноября. Все эти дни делал ящички для пороха, чтобы в каждый ящичек вошло от одного до двух фунтов. Сегодня разложил весь порох по ящичкам и запрятал их в расселины скалы как можно дальше один от другого. Вчера убил большую птицу. Мясо ее очень вкусно. Как она называется – не знаю.

17 ноября. Сегодня начал копать углубление в скале за палаткой, чтобы поудобнее разложить свое имущество.

Примечание. Для этой работы крайне необходимы три вещи: кирка, лопата и тачка или корзина, а у меня их нет. Пришлось отказаться от работы. Долго думал, чем бы заменить эти инструменты или как их сделать. Вместо кирки попробовал работать железным ломом; он годится, только слишком тяжел. Затем остается лопата (или заступ). Без нее никак не обойтись, но я решительно не придумаю, как ее сделать.

18 ноября. Отыскивая в лесу материал для своих построек, нашел то дерево (или похожее на него), которое в Бразилии называют железным за его необыкновенную твердость. С большим трудом и сильно попортив свой топор, отрубил от него кусок и притащил домой: он оказался неимоверно тяжелым. Я решил сделать из него лопату. Дерево было так твердо, что эта работа отняла у меня много времени, но другого выхода у меня не было. Мало-помалу придал обрубку форму лопаты, причем рукоятка вышла не хуже, чем делают у нас в Англии, но широкая часть, не будучи обита железом, прослужила мне недолго. Впрочем, я достаточно воспользовался ею для земляных работ, и она очень мне пригодилась, но, я думаю, ни одна лопата на свете не изготовлялась таким способом и так долго.

Мне недоставало еще тачки или корзины. О корзине нечего было и мечтать, так как у меня не было гибких прутьев, по крайней мере мне не удалось до сих пор найти их. Что же касается тачки, то мне казалось, что я сумею сделать ее. Затруднение было только в колесе: я не имел никакого представления о том, как делаются колеса; кроме того, для оси нужен был железный стержень, которого у меня тоже не было. Пришлось оставить это. Чтоб выносить вырытую землю, я сделал нечто вроде корытца, в каких каменщики держат известку.

Корытце было легче сделать, чем лопату; тем не менее все вместе – корытце, заступ и бесплодные попытки смастерить тачку – отняло у меня по меньшей мере четыре дня, не считая утренних экскурсий с ружьем. Редкий день я не выходил на охоту, и почти не было случая, чтобы я не принес себе что-нибудь на обед.

23 ноября. Пока я изготовлял эти орудия, вся остальная моя работа

стояла. Докончив их, я опять принялся рыть пещеру. Копал весь день, насколько позволяли время и силы, и у меня ушло на эту работу целых восемнадцать дней. Мне нужно было, чтобы в моем погребе могло удобно разместиться все мое имущество.

Примечание. Все это время я трудился над расширением помещения, то есть пещеры, чтобы оно могло служить мне складом, кухней, столовой и погребом; помещался же я по-прежнему в палатке, кроме тех дней в дождливое время года, когда палатку пробивало дождем. Впрочем, впоследствии я устроил над своим двориком нечто вроде соломенной крыши: от ограды до откоса горы я проложил жерди, которые прикрыл водорослями и крупными листьями.

10 декабря. Я думал, что покончил со своей пещерой, или погребом, как вдруг (должно быть, я сделал ее слишком широкой) сверху с одного боку обвалилась земля. Обвал был так велик, что я испугался, и не без основания: находись я там в эту минуту, мне, уж наверное, не понадобилось бы могильщика. Этот прискорбный случай причинил мне много хлопот и задал новую работу: нужно было удалить обвалившуюся землю, а главное, пришлось подпирать свод, иначе я не мог быть уверен, что обвал не повторится.

11 декабря. С сегодняшнего дня принялся за эту работу. Покамест поставил в виде подпоры два столба; на верху каждого из них укрепил крест-накрест по две доски. Эту работу я окончил на следующий день. Поставив еще несколько таких же столбов с досками, я через неделю окончательно укрепил свод. Столбы стоят в ряд и служат в моем погребе перегородкой.

17 декабря. С этого дня по 20-е число прилаживал в погребе полки, вбивал гвозди в столбы и развешивал все, что можно повесить. Теперь у меня будет хоть какой-то порядок.

20 декабря. Перенес все вещи и разложил по местам. Прибил несколько маленьких полочек для провизии: вышло нечто вроде буфета. Досок остается очень мало, и я сделал себе еще один стол.

24 декабря. Проливной дождь всю ночь и весь день; не выходил из дому.

25 декабря. Дождь льет непрерывно.

26 декабря. Дождь перестал. Стало гораздо прохладнее; очень приятная погода.

27 декабря. Подстрелил двух козлят; одного убил, а другого ранил в ногу, так что он не мог убежать; я поймал его и привел домой на веревке. Дома осмотрел ему ногу; она была перебита, и я забинтовал ее.



Примечание. Я выходил этого козленка: сломанная нога срослась, и он отлично бегал. Я так долго ухаживал за ним, что он стал ручным и не хотел уходить. Он пасся у меня на лужке перед палаткой. Тогда-то мне в первый раз пришло в голову завести домашний скот, чтобы обеспечить себе пропитание к тому времени, когда у меня выйдут заряды и порох.

28, 29, 30 и 31 декабря. Сильная жара при полном безветрии. Выходил из дому только по вечерам на охоту. Посвятил эти дни окончательному приведению в порядок своего хозяйства.

1 января. Жара не спадает; тем не менее сегодня ходил на охоту два раза: рано утром и вечером. В полдень отдыхал. Вечером прошел по долине подальше, в глубь острова, и видел очень много коз; но они крайне пугливы и не подпускают к себе близко. Хочу попробовать охотиться на них с собакой.

2 января. Сегодня взял с собой собаку и натравил на коз; но опыт не удался: все стадо повернулось навстречу собаке, и она, очевидно, отлично поняла опасность, потому что ни за что не хотела подойти к ним.

3 января. Начал строить ограду или, вернее, вал. Все еще опасаясь неожиданных нападений, я решил сделать ее как можно прочнее и толще.

Примечание. Моя ограда уже описана на предыдущих страницах, и потому я опускаю все, что говорится о ней в моем дневнике. Довольно будет заметить, что я провозился над ней (считая с начала работы до полного ее завершения) *с 3 января по 14 апреля,* хотя вся ее длина не превышала двадцати четырех ярдов. Я уже говорил, что ограда моя шла полукругом, концы которого упирались в гору. От середины ее до горы было около восьми ярдов, и как раз посередине я устроил вход в пещеру.

Все это время я работал не покладая рук. Случалось, что дожди прерывали мою работу на несколько дней и даже недель, но мне казалось, что до окончания вала нельзя чувствовать себя в полной безопасности. Трудно представить себе, сколько труда я положил на эту работу, особенно тяжело достались мне переноска из лесу бревен и вбивание их в землю, так как я делал гораздо более толстые колья, чем было нужно.

Когда ограда была окончена и укреплена с наружной стороны земляной насыпью, я успокоился. Мне казалось, что если бы на острове появились люди, они не заметили бы ничего похожего на человеческое жилье. Во всяком случае, я хорошо сделал, замаскировав свое жилище, как то покажет один примечательный случай, о котором будет рассказано ниже.

В это время я продолжал ежедневные обходы леса в поисках дичи, разумеется, когда позволяла погода, и во время этих прогулок сделал много полезных открытий. Так, например, я высмотрел особую породу диких голубей, которые вьют гнезда не на деревьях, как наши дикие голуби, а в расселинах скал. Как-то раз я вынул из гнезда птенцов, с тем чтобы выкормить их дома и приручить. Мне удалось их вырастить, но, как только у них отросли крылья, они улетели, быть может, оттого, что у меня не было для них подходящего корма. Как бы то ни было, я часто находил их гнезда и брал птенцов, которые были для меня лакомым блюдом.

Когда я начал обзаводиться хозяйством, я увидел, что мне недостает многих необходимых вещей. Сделать их самому я вначале считал невозможным, да и действительно кое-что (например бочки) так и не смог никогда сделать. У меня были, как уже говорил, два или три бочонка с корабля, но, как я ни бился, мне не удалось смастерить ни одного, хотя я потратил на эту работу несколько недель. Я не мог ни вставить днища, ни сколотить дощечки настолько плотно, чтобы они не пропускали воды; так и пришлось отказаться от этой затеи.

Затем мне очень недоставало свечей. Как только начинало темнеть – смеркалось обычно около семи часов, – мне приходилось ложиться спать. Я часто вспоминал про тот кусок воска, из которого делал свечи во время моих приключений у берегов Африки, но воска у меня не было. Единственным выходом было воспользоваться жиром коз, которых я убивал на охоте. Я устроил себе светильник из козьего жиру: плошку собственноручно вылепил из глины, а потом обжег на солнце, на фитиль же взял пеньку от старой веревки. Светильник горел хуже, чем свеча, свет его был неровный и тусклый. В разгар этих работ, шаря однажды в своих вещах, я нашел небольшой мешок с зерном для птицы, которую корабль вез не в этот свой рейс, а раньше, должно быть, когда он шел из Лиссабона.

Я уже упоминал, что остатки этого зерна в мешке были изъедены крысами (по крайней мере, когда я заглянул в мешок, мне показалось, что там одна труха); а так как мешок мне был нужен для чего-то другого (кажется, под порох: это было как раз в то время, когда я решил разделить его на небольшие части, испугавшись грозы), то я вытряхнул его на землю под скалой.

Это было незадолго до начала проливных дождей, о которых я уже говорил. Я давно забыл про это, не помнил даже, что я вытряхнул мешок. Но вот прошло около месяца, и я увидел несколько зеленых стебельков, только что вышедших из-под земли. Сначала я думал, что это какое-нибудь неизвестное мне растение. Но каково же было мое изумление, когда спустя еще несколько недель зеленые стебельки (их было всего штук десять-двенадцать) выпустили колосья, оказавшиеся колосьями отличного ячменя, того самого, который растет на материке Европы и у нас в Англии!

Невозможно передать, в какое смятение повергло меня это открытие! До тех пор мною никогда не руководили религиозные помыслы. Религиозных понятий у меня было очень немного, и все события моей жизни – крупные и мелкие – я приписывал простому случаю или, как все мы говорим легкомысленно, воле Божьей. Я никогда не задавался вопросом, какие цели преследует Провидение, как Бог управляет ходом событий в этом мире. Но когда я увидел этот ячмень, выросший, как я знал, в несвойственном ему климате, а главное, неизвестно как попавший сюда, я был потрясен до глубины души и стал верить, что это Бог чудесным образом произрастил его без семян только для того, чтобы прокормить меня на этом диком, безотрадном острове.



Мысль эта немного растрогала меня и вызвала слезы; я был счастлив сознанием, что такое чудо совершилось ради меня. Но удивление мое этим не кончилось: вскоре я заметил, что рядом, на той же полянке, между стеблями ячменя показались редкие стебельки растения, оказавшиеся стебельками риса; я их легко распознал, так как во время пребывания в Африке часто видел рис на полях.

Я не только подумал, что этот рис и этот ячмень посланы мне самим Провидением, но не сомневался, что он растет здесь еще где-нибудь. Я обошел всю эту часть острова, где уже бывал раньше, обшарил все уголки, заглядывал под каждую кочку, но нигде не нашел ни риса, ни ячменя. Тогда наконец я вспомнил про мешок с птичьим кормом, который я вытряхнул на землю подле своего жилища. Чудо исчезло, а вместе с открытием, что все это произошло самым естественным путем, я должен сознаться, значительно поостыла и моя горячая благодарность к Провидению. А между тем то, что случилось со мной, было почти так же непредвиденно, как чудо, и, уж во всяком случае, заслуживало не меньше признательности. В самом деле: не перст ли Провидения виден был в том, что из многих тысяч ячменных зерен, попорченных крысами, десять или двенадцать зернышек уцелели и, стало быть, все равно что упали мне с неба? И надо же было мне вытряхнуть мешок на этой лужайке, куда падала тень от скалы и где семена могли сразу же взойти! Ведь стоило мне бросить их немного подальше, и они были бы сожжены солнцем.

Читатель может себе представить, как тщательно собрал я колосья, когда они созрели (это было в конце июня). Я подобрал каждое зернышко и решил снова посеять весь урожай в надежде накопить со временем столько зерна, чтобы его хватило мне на пропитание. Но только на четвертый год я мог позволить себе уделить весьма скромную часть этого зерна на еду, о чем я расскажу своевременно. Дело в том, что у меня пропал весь сбор от первого посева; я плохо рассчитал время, посеял перед самой засухой, и семена не взошли в том количестве, как должны были бы взойти. Но об этом после.

Кроме ячменя, у меня, как уже сказано, выросли двадцать или тридцать стеблей риса, который я собрал так же старательно и для этой же цели – чтобы готовить из него хлеб или, вернее, еду, так как я открыл способ обходиться без печки. Но это было уже потом. Возвращаюсь к моему дневнику.

Все те четыре или три с половиною месяца, когда я был занят возведением ограды, я работал не покладая рук. *14 апреля* ограда была

кончена, и я решил, что буду входить и выходить через стену по приставной лестнице, чтобы снаружи не было никаких признаков жилья.

16 апреля. Кончил лестницу; перелезаю через стену и каждый раз убираю лестницу за собой. Теперь я огорожен со всех сторон. В моей крепости довольно простора, и проникнуть в нее нельзя иначе, как через стену.

Но на другой же день, после того как я окончил свою ограду, весь мой труд чуть не пропал даром, да и сам я едва не погиб. Вот что произошло. Я чем-то был занят в ограде, за палаткой, у входа в пещеру, как вдруг надо мной посыпалась земля со свода пещеры и с вершины горы, и два передних столба, поставленных мною, рухнули со страшным треском. Я очень испугался, но не догадался о настоящей причине случившегося, а просто подумал, что свод обвалился, как это было раньше. Боясь, чтобы меня не засыпало новым обвалом, я побежал к лестнице и, не считая себя в безопасности, перелез через стену. Но не успел сойти на землю, как мне стало ясно, что на этот раз причиной обвала в пещере было страшное землетрясение. Земля подо мной колебалась, и в течение каких-нибудь восьми минут было три таких сильных толчка, что от них рассыпалось бы самое прочное здание, если бы оно стояло здесь. Я видел, как у скалы, находившейся у моря в полумиле от меня, отвалилась вершина и рухнула с таким грохотом, какого я в жизни своей не слыхал. Море тоже яростно забушевало; мне даже казалось, что в море подземные толчки были сильнее, чем на острове.

Никогда еще мне не приходилось ни видеть такого, ни даже слышать о чем-либо подобном, и я был так ошеломлен, что все во мне словно окаменело. От колебаний почвы со мной сделалась морская болезнь, как от качки: мне казалось, что я умираю; однако грохот падающего утеса вывел меня из оцепенения и вверг в ужас. Я думал только о том, что гора обрушится на мою палатку и погребет под собой все мое хозяйство, и от этой мысли я обмер второй раз.

Когда после третьего толчка наступило затишье, я начал приходить в себя, однако у меня не хватило мужества перелезть через ограду, ибо я боялся быть похороненным заживо, и сидел на земле в полном унынии, не зная, как быть. И за все это время у меня не мелькнуло ни одной серьезной мысли о Боге, ничего, кроме обычных слов: «Господи, помилуй меня». Но как только опасность миновала, забылись и они.

Между тем собрались тучи; потемнело, как перед дождем. Задул ветер, сначала слабо, потом все сильнее, и через полчаса разразился страшнейший ураган. Море запенилось, забурлило и с ревом билось о

берега; деревья вырывало с корнями; картина была ужасная. Так продолжалось часа три; потом буря стала стихать, и еще часа через два наступил мертвый штиль и полил дождь.

Все время, покуда свирепствовал ураган, я сидел на земле, подавленный страхом и отчаянием, но вдруг мне пришло в голову, что этот ливень и ветер, должно быть, последствия землетрясения; стало быть, оно кончилось, и я могу рискнуть вернуться в мое жилище. Эта мысль придала мне решимости, а может быть, тому способствовал и дождь, но я перелез через ограду и уселся в палатке; однако ливень был настолько силен, что палатку захлестывало водой, и я был вынужден перейти в пещеру, хотя и боялся, как бы она не обвалилась мне на голову.

Этот ливень задал мне новую работу: пришлось проделать в ограде отверстие для стока воды, иначе затопило бы мою пещеру. Просидев там некоторое время и видя, что подземные толчки больше не повторяются, я стал успокаиваться. Для поддержания бодрости, что было мне крайне необходимо, я подошел к своему «буфету» и отхлебнул маленький глоток рома. Я всегда расходовал ром весьма экономно, зная, что, когда выйдет весь мой запас, мне неоткуда будет его пополнить.

Дождь лил всю эту ночь и почти весь следующий день, и я не выходил наружу. Немного успокоившись, я начал обдумывать, что делать дальше. Я пришел к заключению, что, коль скоро этот остров подвержен землетрясениям, мне нельзя жить в пещере. Следовало построить шалаш где-нибудь на открытом месте, а чтобы обезопасить себя от нападения животных и людей, огородить его стеной, как я это сделал здесь. Ибо если я останусь в пещере, то рано или поздно буду похоронен заживо.

В самом деле, моя палатка стояла на опасном месте – под выступом горы, которая в случае нового землетрясения легко могла обрушиться на нее. Поэтому я решил перекочевать на другое место вместе с палаткой. Два следующих дня – *19 и 20 апреля* – я провел, ломая себе голову, где и как построить новое жилище.

От страха, что меня может засыпать заживо, я не мог спать по ночам; ночевать на открытом месте за оградой я тоже не решался. А вместе с тем, когда я оглядывал свое жилье и видел, как я уютно устроился, в каком порядке у меня хозяйство и как хорошо я укрыт от всякой опасности извне, я с крайней неохотой думал о переселении.

Затем у меня явилась мысль, что на переселение понадобится очень много времени и что, стало быть, все равно придется мириться с опасностью обвала, пока я не укреплю новое место так, чтобы можно было перебраться туда. Придя к такому выводу, я успокоился, но все-таки

решился приняться, не теряя времени, за возведение ограды на новом месте с помощью частокола и канатов, но в форме окружности, и, как только она будет готова, перенести в нее свою палатку; до того же времени оставаться там, где я был, и готовиться к переезду. Это было *21 апреля*.

22 апреля. На следующее утро я начал думать о том, как мне осуществить свое решение. Главная трудность для меня была в инструментах. У меня имелось три больших топора и множество маленьких (мы их взяли для меновой торговли с индейцами); но от частого употребления и оттого, что приходилось рубить чрезвычайно твердые, суковатые деревья, все они зазубрились и затупились. Правда, у меня было точило, но я не мог одновременно приводить в движение рукой камень и точить на нем. Вероятно, ни один государственный муж, ломая голову над важным политическим вопросом, и ни один судья, решая жить или умереть человеку, не тратил столько умственной энергии, сколько потратил я, чтобы выйти из этого положения. В конце концов мне удалось приладить к точилу колесо с ремнем, которое приводилось в движение ногой и вращало точильный камень, оставляя свободными обе руки.



Примечание. До тех пор я никогда не видел таких точил или, во всяком случае, не рассматривал, как они устроены, хотя в Англии точило такого устройства очень распространено. Кроме того, мой точильный камень был очень велик и тяжел. Устройство этого приспособления заняло у меня целую неделю.

28 и 29 апреля. Два последних дня точил инструменты: мое приспособление действует очень хорошо.

30 апреля. Сегодня заметил, что мой запас сухарей на исходе. Пересчитал все мешки и, как это ни грустно, постановил съедать не более

одного сухаря в день.

Глава 10

Вещи с корабля. — Болезнь

1 мая. Сегодня утром во время отлива заметил издали на берегу какой-то крупный предмет, похожий на бочку. Пошел посмотреть, и оказалось, что это небольшой бочонок. Тут же валялось два-три деревянных обломка от корабля. Должно быть, все это было выброшено на берег в последнюю бурю. Я взглянул в ту сторону, где торчал остов корабля, и мне показалось, что он выступает над водой больше обыкновенного. Осмотрел выброшенный морем бочонок; он оказался с порохом, но порох весь подмок и сбился в камень. Тем не менее я выкатил бочонок повыше, а сам по отмели отправился к остову корабля.

Подойдя поближе, я заметил, что он как-то странно переместился. Носовая часть, которою прежде он почти зарывался в песок, приподнялась по крайней мере на шесть футов, а корма, разбитая на куски и совершенно отделившаяся (это случилось давно, вскоре после последней моей экспедиции на корабль), была отброшена в сторону и лежала боком. Кроме того, в этом месте образовался такой высокий нанос песку, что я мог вплотную подойти к кораблю, тогда как раньше еще за четверть мили до него начиналась вода и я должен был пускаться вплавь. Такая перемена в положении корабля сначала меня удивила, но вскоре я сообразил, что это объясняется землетрясением. От этого же корабль разломался еще более, так что к берегу ежедневно прибивало ветром и течением разные предметы, которые уносило водой из открытого трюма.

Происшествие с кораблем совершенно отвлекло мои мысли от намерения переселиться на новое место. Весь день я делал попытки проникнуть во внутренние помещения корабля, но это оказалось невозможным, так как все они были забиты песком. Однако это меня не смутило; я уже научился ни в чем не отчаиваться. Я стал растаскивать корабль по кусочкам, зная, что мне в моем положении так или иначе все пригодится.

3 мая. Сегодня начал работать пилой. Перепилил в корме бимс, на котором, по моим соображениям, держалась часть шканцев, и, отодрав несколько досок, выгреб песок с того бока кормы, которым она лежит кверху. Принужден был отложить работу, потому что начался прилив.

4 мая. Удил рыбу, но ни одной съедобной не поймал. Соскучившись, хотел было уже уходить, но, закинув удочку в последний раз, поймал маленького дельфина. Удочка у меня была самодельная: лесу я сделал из пеньки от старой веревки, а крючков у меня совсем не было. Тем не менее на мою удочку ловилось столько рыбы, что я мог есть ее вволю. Ел я ее вяленою, просушивая на солнце.

5 мая. Работал на корабле. Распилил другой бимс. Отодрал от палубы три большие сосновые доски, связал их вместе и, дождавшись прилива, переправил на берег.

6 мая. Работал на корабле. Отделил кое-какие железные части, в том числе несколько болтов. Работал изо всех сил, вернулся домой совсем измученный. Подумываю, не бросить ли это.

7 мая. Опять ходил к кораблю, но не с тем, чтобы работать. Так как бимсы были перепилены, палуба окончательно расселась от собственной тяжести, и я мог заглянуть в трюм; но он почти доверху наполнен песком и водой.

8 мая. Ходил на корабль с железным ломом: решил разворотить всю палубу, которая теперь совсем очистилась от песка. Отодрал две доски и пригнал их к берегу с приливом. Лом оставил на корабле для завтрашней работы.

9 мая. Был на корабле. Взломал еще несколько досок и пробрался в трюм. Нащупал там пять или шесть бочек. Высвободил их ломом, но вскрыть не мог. Нащупал даже сверток английского листового свинца и приподнял немного, но вытащить не хватило силы.

С 10 по 14 мая. Все эти дни бывал на корабле. Добыл много кусков дерева, досок, брусьев и т. п., а также два-три центнера железа.

15 мая. Сегодня брал с собой на корабль два маленьких топора: хотел попробовать отрубить кусок листового свинца (один топор должен был служить мне ножом, а другой – молотком для него). Но так как свинец лежит фута на полтора под водой, то я не мог ударить с надлежащей силой.

16 мая. Ночью поднялся сильный ветер. Остов корабля еще больше расшатало волнами. Я долго искал в лесу голубей на обед, замешкался и уж не мог попасть на корабль из-за прилива.

17 мая. Сегодня видел несколько обломков корабля, прибитых к берегу милях в двух от моего жилья. Я решил взглянуть, что это такое; оказалось: кусок от носовой части, но такой большой и тяжелый, что я не мог его поднять.

24 мая. Все эти дни работал на корабле. С величайшим трудом так сильно расшатал ломом несколько предметов, что с первым же приливом

всплыли наверх несколько бочек и два матросских сундука. Но ветер дул с берега, так что их угнало в море. Зато сегодня прибило к берегу несколько обломков и большую бочку с остатками бразильской свинины, которая, впрочем, была совсем попорчена соленой водой и песком.

Я продолжал эту работу *с 25 мая по 15 июня* ежедневно, кроме тех часов, когда приходилось добывать пропитание. Но с тех пор, как возобновились мои работы, я охочусь только во время прилива, чтобы к началу отлива уже ничто не мешало мне идти к кораблю. За эти три недели набрал такую кучу дерева и железа, что их хватило бы на хорошую лодку, если б я сумел ее сделать. Кроме того, мне удалось все же нарезать в несколько приемов до центнера листового свинца.

16 июня. Нашел на берегу большую черепаху. Раньше я никогда их здесь не видел, что объясняется просто случайностью, так как черепахи на моем острове были совсем не редкость, и, если бы я попал на другую сторону острова, я мог бы ловить их сотнями каждый день. Впоследствии я убедился в этом, хотя и дорого заплатил за свое открытие.

17 июня. Весь день жарил черепаху на угольях. Нашел в ней штук шестьдесят яиц. Никогда в жизни я, кажется, не едал такого вкусного мяса, да и неудивительно: с тех пор как я оказался на этом ужасном острове, мою мясную пищу составляли исключительно козы да птицы.

18 июня. С утра до вечера шел дождь, и я не выходил. Должно быть, я простудился, и весь день меня знобит, хотя, насколько мне известно, в здешних широтах холодов не бывает.

19 июня. Мне очень нездоровится: так зябну, точно на дворе зима.

20 июня. Всю ночь не сомкнул глаз: сильная головная боль и озноб.

21 июня. Совсем плохо. Смертельно боюсь занемочь всерьез: каково будет тогда мое положение без всякой помощи! Молился Богу – в первый раз с того дня, когда мы попали в бурю под Гуллем, – но слова молитвы повторял бессознательно, так путаются мысли в голове.

22 июня. Сегодня мне получше, но страх болезни не покидает меня.

23 июня. Опять нехорошо: весь день знобило и сильно болела голова.

24 июня. Гораздо лучше.

25 июня. Был сильный приступ лихорадки; в течение часов семи меня бросало то в холод, то в жар. Закончился приступ легкой испариной.

26 июня. Лучше. У меня вышел весь запас мяса, и я ходил на охоту, хотя чувствовал страшную слабость. Убил козу, через силу дотащил ее до дому, изжарил кусочек на угольях и поел. Мне очень хотелось сварить из нее супу, но у меня нет горшка.

27 июня. Опять лихорадка, настолько сильная, что я весь день пролежал

в постели, не ел и не пил. Я умирал от жажды, но не в силах был встать и сходить за водой. Опять молился Богу, но в голове такая тяжесть, что я не мог припомнить ни одной молитвы и только твердил: «Господи, сжалься надо мной! Воззри на меня, Господи! Помилуй меня, Господи!» Так я метался часа два или три, покуда приступ не прошел, и я уснул и не просыпался до поздней ночи. Проснувшись, почувствовал себя гораздо бодрее, хотя был все-таки очень слаб. Меня мучила жажда, но так как ни в палатке, ни в погребе не было ни капли воды, то пришлось лежать до утра. Под утро снова уснул и видел страшный сон.

Мне снилось, будто я сижу на земле за оградой, на том самом месте, где сидел после землетрясения, когда разразился ураган, и вдруг вижу, что сверху, с большого черного облака, весь объятый пламенем, спускается человек. От него самого исходил столь яркий свет, что на него едва можно было смотреть. Нет слов передать, как страшно было его лицо.

Когда ноги его коснулись земли, мне показалось, что почва задрожала, как раньше от землетрясения, и весь воздух, к ужасу моему, озарился словно несметными вспышками молний. Едва ступив на землю, незнакомец двинулся ко мне с длинным копьем в руке, как бы с намерением убить меня. Немного не дойдя до меня, он поднялся на пригорок, и я услышал голос, неизъяснимо грозный и страшный. Из всего, что говорил незнакомец, я понял только одно: «Несмотря на все ниспосланные тебе испытания, ты не раскаялся: так умри же!» И я видел, как после этих слов он поднял копье, чтобы убить меня.

Конечно, все, кому случится читать эти записки, поймут, что я не способен описать, как потрясена была душа моя этим ужасным сном даже в то время, как я спал. Также невозможно описать произведенное им на меня впечатление, когда я уже проснулся и понял, что это был только сон.

Увы! Моя душа не знала Бога: благие наставления моего отца изгладились из памяти за восемь лет непрерывных скитаний по морям в постоянном общении с такими же, как сам я, нечестивцами, до последней степени равнодушными к вере. Не помню, чтобы за все это время моя мысль хоть раз воспарила к Богу или чтобы хоть раз я оглянулся на себя, задумался над своим поведением. Я находился в некоем нравственном отупении: стремление к добру и сознание зла были мне равно чужды. По своей закоснелости, легкомыслию и нечестию я ничем не отличался от самого невежественного из наших матросов. Я не имел ни малейшего понятия ни о страхе Божием в опасности, ни о чувстве благодарности к Творцу за избавление от нее.

Тем, кто уже прослушал эту часть моего рассказа, нетрудно поверить,

что у меня и в мыслях не было приписать все те разнообразные несчастья, которые до сего дня обрушились на меня, карающей руке Божьей или полагать, что это было справедливое возмездие за мой грех, то есть за то, что я пошел наперекор советам отца, или за мои нынешние великие прегрешения, или что это вообще было наказанием за всю мою порочную жизнь. Когда я пустился в отчаянное плавание вдоль пустынных берегов Африки, я и не думал о том, что станется со мною, я не просил Бога направить мой путь или защитить меня от опасностей, которые грозили мне отовсюду, равно как от хищных зверей, так и от свирепых туземцев. Нет, я даже и не думал о Боге и Провидении, я действовал, как неразумное животное, руководясь природным инстинктом, внимая лишь повелениям здравого смысла, хотя, пожалуй, вряд ли это можно назвать здравым смыслом.

Когда я был спасен и взят на борт корабля португальским капитаном, который отнесся ко мне очень хорошо, поступил со мной по чести и справедливости и оказался для меня благодетелем, – и тогда чувство благодарности ни на миг не заговорило во мне. Когда, наконец, я был выброшен после кораблекрушения на этот остров, чуть не погибнув в волнах, я тоже не испытал никаких угрызений совести и не счел это справедливым возмездием. Я только повторял себе все время, что я неудачник и что мне на роду написаны лишь бедствия и муки.

Правда, когда я впервые ступил на берег этого острова, когда понял, что весь экипаж корабля утонул и один только я был пощажен, на меня нашло что-то вроде экстаза, восторга души, который с помощью Божьей благодати мог бы перейти в подлинное чувство благодарности. Но восторг этот разрешился, если можно так выразиться, простой животной радостью существа, спасшегося от смерти; он не повлек за собой ни размышлений об исключительной благости руки, отличившей меня и даровавшей мне спасение, когда все другие погибли, ни вопроса о том, почему Провидение было столь милостиво именно ко мне. Радость моя была той обычной радостью, которую испытывает каждый моряк, выбравшись невредимым на берег после кораблекрушения, и которую он топит в первой же чарке вина, а вслед за тем забывает… И так-то я жил все время до сих пор.

Даже потом, когда, по должном раздумье, я осознал свое положение – то, что я выброшен на этот ужасный остров, мое полное одиночество без всякой возможности общаться с людьми, без проблеска надежды на избавление, – даже и тогда, как только открылась возможность остаться в живых, не умереть с голоду, все мое горе как рукой сняло: я успокоился, начал работать для удовлетворения своих насущных потребностей и для

сохранения своей жизни, и если сокрушался о своей участи, то менее всего видел в ней возмездие свыше, карающую десницу Божью. Такие мысли очень редко приходили мне в голову.

Прорастание зерна, как уже было отмечено в моем дневнике, оказало было на меня благодетельное влияние, и до тех пор, пока я приписывал его чуду, серьезные, благоговейные мысли не покидали меня; но как только мысль о чуде отпала, улетучилось, как я уже говорил, и мое благоговейное настроение.

Даже землетрясение – хотя в природе нет явления более грозного, более непосредственно указывающего на невидимую высшую силу, ибо только ею одной могут совершаться такие явления, – даже землетрясение не оказало на меня могущественного влияния: прошли первые минуты испуга, изгладилось и первое впечатление. Я не чувствовал ни Бога, ни Божьего суда над собой; я так же мало усматривал карающую десницу в постигших меня бедствиях, как если б я был счастливейшим человеком на свете.

Но теперь, когда я захворал и на досуге картина смерти представилась мне очень живо, – теперь, когда дух мой стал изнемогать под бременем недуга, а тело ослабело от жестокой лихорадки, совесть, так долго спавшая во мне, пробудилась. Я стал горько упрекать себя за прошлое; я понял, что своим беспримерно греховным поведением навлек на себя Божий гнев и что беспримерные удары судьбы были лишь справедливым мне возмездием.

Особенно сильно терзали меня мысли на второй и на третий день моей болезни, и в жару лихорадки, под гнетом жестоких угрызений, из уст моих вырывались слова, похожие на молитву, хотя молитвой их нельзя было назвать. В них не выражалось ни надежд, ни желаний; то был скорее вопль слепого страха и отчаяния. Мысли были спутаны, самообличение – беспощадно; страх смерти в моем жалком положении туманил мой ум и леденил душу; и я, в смятении своем, сам не знал, что говорит мой язык. То были скорее бессвязные восклицания в таком роде: «Господи, что я за несчастное существо! Если я расхвораюсь, то, конечно, умру, потому что кто же мне поможет! Боже, что станется со мной?» Из глаз моих полились обильные слезы, и долго потом я не мог вымолвить ни слова.

Тут припомнились мне благие советы моего отца и пророческие слова его, которые я приводил в начале своего рассказа, а именно, что, если я не откажусь от своей безумной затеи, на мне не будет благословения Божия; придет пора, когда я пожалею, что пренебрег его советом, но тогда, может статься, некому будет помочь мне исправить содеянное зло. Я вспомнил

эти слова и громко сказал: «Вот когда сбывается пророчество моего дорогого батюшки! Кара Господня постигла меня, и некому помочь мне, некому услышать меня!.. Я не внял голосу Провидения, милостиво поставившего меня в такие условия, что я мог быть счастлив всю мою жизнь. Но я не захотел понять это сам и не внял наставлениям своих родителей. Я оставил их оплакивать мое безрассудство, а теперь сам плачу от последствий его. Я отверг их помощь и поддержку, которая вывела бы меня на дорогу и облегчила бы мне первые шаги; теперь же мне приходится бороться с трудностями, превышающими человеческие силы, – бороться одному, без поддержки, без слова утешения и совета!» И я воскликнул: «Господи, будь мне защитой, ибо велика печаль моя!» Это была моя первая молитва, если только я могу назвать ее так, за много, много лет.

Но возвращаюсь к дневнику.

28 июня. Наутро, немного освеженный сном, я встал; моя лихорадка совершенно прошла; и хотя страх и ужас, в которые повергло меня сновидение, были велики, все же я рассудил, что на другой день приступ может повториться, и потому решил заранее припасти все необходимое, чтобы облегчить свое положение на случай, если повторится болезнь. Первым делом я наполнил водой большую четырехугольную бутыль и поставил ее на стол на таком расстоянии от постели, чтобы до нее можно было достать не вставая; а чтобы обезвредить воду, лишив ее свойств, вызывающих простуду или лихорадку, я влил в нее около четверти пинты рому и взболтал. Затем я отрезал козлятины и изжарил ее на угольях, но съел самый маленький кусочек – больше не мог. Пошел было прогуляться, но от слабости еле передвигал ноги; к тому же меня очень угнетало сознание моего бедственного положения и страх возврата болезни на другой день. Вечером поужинал черепашьими яйцами: я испек их в золе, что называется «в мешочек»; насколько могу припомнить, это была первая трапеза в моей жизни, освященная молитвою.

После еды снова пытался пройтись, но был так слаб, что с трудом мог нести ружье (я никогда не выхожу без ружья). Прошел недалеко, сел на землю и стал смотреть на расстилавшееся передо мной гладкое и спокойное море. И пока я сидел, вот какие мысли проносились у меня в голове: «Что такое эта земля и море, которые мне так знакомы? Откуда они произошли? Что такое я сам и все другие земные создания, дикие и ручные, люди и звери? Откуда мы произошли? Очевидно, все мы были сотворены какой-то таинственной силой, которая создала землю и море, воздух и небо. Но что это за сила?»

На это следовал вполне естественный ответ: это Бог, который сотворил все. Но тогда, как ни странно, получалось следующее: если Бог сотворил все это, то он и держит в своей деснице нашу судьбу, ибо если у Провидения хватило сил сотворить все сущее, то оно, несомненно, может и управлять своим созданием.

А если так, то ничто не может произойти в жизни Божьих творений без его ведома и соизволения.

А если ничто не происходит без его ведома, он знает, что я здесь и терплю бедствия; и если ничто не происходит без его соизволения, значит, по его воле выпали мне на долю все эти несчастья.

Ничто не противоречило этому моему рассуждению; и таким образом я с неопровержимой ясностью понял, что постигшее меня несчастье послано мне по воле Божьей, ибо он один властен не только над моей судьбой, но и над судьбами всего мира. И непосредственно за этим выводом явился вопрос: за что же Бог меня так покарал? Что я сделал? Чем провинился?

Но при этом вопросе я ощутил острый укол совести, как если бы язык мой произнес богохульство, и точно чей-то посторонний голос сказал мне: «Презренный! И ты еще спрашиваешь, что ты сделал? Оглянись назад, на свою беспутную жизнь, и спроси лучше, чего ты не сделал? Спроси, почему могло случиться, что ты давно не погиб, почему ты не утонул на Ярмутском рейде? Не был убит в стычке с салескими маврами, когда ваш корабль был ими взят на абордаж? Почему тебя не растерзали хищные звери на африканском берегу? Почему, наконец, не утонул ты здесь вместе со всем экипажем? И ты еще спрашиваешь, что ты сделал?»

Я был поражен этими мыслями и не находил ни одного слова в опровержение их, ничего не мог ответить себе. Задумчивый и грустный, поднялся я и побрел в свое убежище. Я перелез через ограду и хотел было лечь в постель, но горестное смятение, охватившее мою душу, разогнало мой сон. Я зажег светильник, так как уже начинало смеркаться, и опустился на стул у стола. Страх перед тем, что болезнь может вернуться, весь день не покидал меня, и вдруг я вспомнил, что жители Бразилии от всех почти болезней лечатся табаком; между тем в одном из моих сундуков лежало несколько пачек: одна большая пачка готового табаку, а остальные листового.

Я встал и пошел за табаком в свою кладовую. Несомненно, моими действиями руководило Провидение, ибо, открыв сундук, я нашел в нем лекарство не только для тела, но и для души: во-первых – табак, который искал, во-вторых – Библию. Оказалось, что я сложил в этот сундук все книги, взятые мною с корабля, в том числе Библию, в которую до тех пор я

не удосужился или, вернее, не чувствовал желания заглянуть. Теперь я взял ее с собой, принес вместе с табаком в палатку и положил на стол.

Я не знал, как применяется табак против болезней, не знал даже, помогает ли он от лихорадки; поэтому я произвел несколько опытов в надежде, что так или иначе действие его должно проявиться. Прежде всего я отделил из пачки один лист, положил его в рот и разжевал. Табак был еще зеленый, очень крепкий; вдобавок я к нему не привык, так что сначала он почти одурманил меня. Затем я положил немного табаку в ром и настаивал его час или два с тем, чтобы выпить эту настойку перед сном. Наконец, я сжег немного табаку в жаровне и втягивал носом дым до тех пор, пока не начинал задыхаться; я повторил эту операцию несколько раз.



В промежутках пробовал читать Библию, но у меня так кружилась голова от табака, что я должен был скоро отказаться от чтения, по крайней мере на этот раз. Помню, однако, что, когда я раскрыл Библию наудачу, мне бросились в глаза следующие слова: «Призови Меня в день печали, и Я избавлю тебя, и ты прославишь имя Мое».

Эти слова как нельзя более подходили к моему положению. Они произвели на меня впечатление, хотя и не такое глубокое, как потом, причем слово «избавление» не встретило отклика в моей душе. Мое освобождение было так далеко и так невозможно даже в воображении, что я заговорил языком сынов Израиля, когда они, узнав об обещании Бога дать им мясную пищу, спрашивали: «Разве может Бог поставить трапезу среди пустыни?» Подобно этим неверующим, я спрашивал Господа: «Разве может Бог освободить меня отсюда?» Это сомнение потом сильно

укрепилось во мне, так как прошли многие годы, прежде чем блеснул луч надежды на мое освобождение. Тем не менее приведенные слова глубоко запечатлелись в моем сердце, и я часто останавливался на них в раздумье.

Настала ночь, от табака голова моя отяжелела, и мне захотелось спать. Я не погасил светильника на случай, если мне что-нибудь понадобится ночью, и улегся в постель. Но прежде чем лечь, я сделал то, чего не делал никогда в жизни: опустился на колени и стал молиться Богу, чтобы Он исполнил обещание и освободил меня, если я призову Его в день печали. Кончив свою нескладную молитву, я выпил табачную настойку и лег. Настойка оказалась такой крепкой и противной на вкус, что я еле ее проглотил. Она сразу бросилась мне в голову, и я крепко уснул. Когда я проснулся на другой день, было, судя по солнцу, около трех часов пополудни; мне сильно сдается, что я проспал тогда не одну, а две ночи, и проснулся только на третий день; по крайней мере ничем другим я не могу объяснить, каким образом из моего счета выпал один день, как это обнаружилось спустя несколько лет: в самом деле, если бы я сбился в счете оттого, что пересек несколько раз меридиан, то потерял бы больше одного дня; между тем я потерял только один день, и мне никогда не удалось выяснить, как это произошло.

Но как бы то ни было, этот сон удивительно меня освежил: я встал бодрый и в веселом настроении духа. У меня заметно прибавилось сил, желудок, очевидно, поправился, ибо я чувствовал голод. Лихорадка в тот день не повторилась, и вообще с тех пор я начал быстро выздоравливать. Это было *29 июня*.

30-е число было, вероятно, счастливым для меня днем. Выходил с ружьем, но старался не слишком удаляться от дома. Убил несколько морских птиц, похожих на казарок. Принес их домой, но не решился съесть, ограничив свой обед черепашьими яйцами, которые были очень вкусны. Вечером повторил прием лекарства, которое так помогло мне накануне (я говорю о табачной настойке на роме). Только в этот раз я выпил его не так много, табачных листьев не жевал и не вдыхал табачного дыма. Однако на другой день, *1 июля*, чувствовал себя, вопреки ожиданиям, не так хорошо: меня опять знобило, хотя и не сильно.

2 июля. Снова принял табак всеми тремя способами, как в первый раз, удвоив количество выпитой настойки.

3 июля. Окончательно освободился от приступов лихорадки, однако полностью силы мои восстановились лишь по прошествии нескольких недель. В то время, когда я выздоравливал, я много думал об этих словах: «Я избавлю тебя», и мысль о несбыточности моего избавления так глубоко

укоренилась в моем уме, что уничтожила в нем всякую надежду. Но когда я упал духом от этих размышлений, мне вдруг пришло на ум, что, сосредоточившись полностью на мыслях об избавлении от главного моего несчастья, я не оценил избавления от беды, которое уже получил. И я вновь вопросил сам себя: разве не избавлен ты был от хворости, да еще самым чудесным образом? Не избавлен от страшной беды, которой ты смертельно боялся? И какой урок извлек ты из этого? Исполнил ли ты свою часть договора? Бог избавил тебя, ты же не славишь имя Его, то есть не испытываешь благодарности за сотворенное Им, а еще рассчитываешь на избавление от главного несчастья!

Эти мысли глубоко запали мне в душу, и я тотчас же встал на колени и возблагодарил Бога за избавление от болезни.

4 июля. Утром я взял Библию, раскрыл ее на Новом Завете и начал читать очень прилежно, положив себе за правило читать ее каждое утро и каждый вечер, не связывая себя определенным числом глав, а до тех пор, пока не утомится внимание. Вскоре я почувствовал, что гораздо глубже и искреннее раскаиваюсь в греховности своей прошлой жизни. Впечатление, произведенное на меня сном, возвратилось, и теперь я много размышлял над словами: «Несмотря на все ниспосланные тебе испытания, ты не раскаялся». Однажды, как раз после того, как я горячо молил Бога дать мне раскаяние, я вдруг, читая Священное Писание, напал на слова: «Сего Бог возвеличил, поставив Царем и Спасителем, дабы он давал покаяние и отпущение грехов». Я отложил книгу; сердце мое, как и руки, взмыло к небу в священном восторге, и я громко воскликнул: «О, Иисусе, сын Давидов! Иисусе, наш Царь и Спаситель, даруй мне раскаяние».

Можно сказать, впервые в жизни я по-настоящему молился – ведь теперь я осознал свои грехи и обращался к Богу с искренней надеждой, основанной на словах Священного Писания; и с тех пор, можно сказать, я стал уповать, что Бог услышит меня.

В приведенных выше словах: «Призови Меня в день печали, и Я избавлю тебя» – я видел теперь совсем иной смысл; прежде я понимал их как освобождение из заточения, в котором я находился, потому что, хоть на моем острове я находился на воле, он все же был настоящей тюрьмой, в худшем значении этого слова. Теперь же я научился толковать эти слова совсем иначе; теперь я оглядывался на прошлое с таким омерзением, так ужасался содеянному мною, что душа моя просила у Бога только избавления от бремени грехов, на ней тяготевшего и лишавшего ее покоя. Что значило в сравнении с этим мое одиночество? Об избавлении от него я больше не молился, я даже не думал о нем: таким пустяком стало оно мне

казаться. Говорю это с целью показать моим читателям, что человеку, постигшему истину, избавление от греха приносит больше счастья, чем избавление от страданий.

Но я оставляю эти рассуждения и возвращаюсь к своему дневнику.

Теперь положение мое, оставаясь внешне таким же бедственным, стало казаться мне гораздо более сносным. Постоянное чтение Библии и молитва направляли мои мысли к вопросам возвышенным, и я познал много душевных радостей, которые дотоле были совершенно чужды мне. Кроме того, как только ко мне вернулись здоровье и силы, я стал энергично работать над восполнением того, чего мне еще не хватало, и старался сделать свою жизнь как можно более правильной.

С 4 по 14 июля я большею частью ходил с ружьем, но каждый раз лишь понемногу, как положено человеку, который не совсем еще окреп после болезни, ибо трудно себе представить, как я отощал тогда и ослаб. Мое лечение табаком, вероятно, никогда еще до сих пор не применялось против лихорадки; испытав на себе, я не решусь никому рекомендовать его. Правда, оно остановило лихорадку, но вместе с тем страшно ослабило меня, и в течение некоторого времени я страдал судорогами во всем теле и нервною дрожью.

Кроме того, болезнь научила меня, что здесь пагубнее всего для здоровья оставаться под открытым небом во время дождей, особенно если они сопровождаются грозами и ураганами, и что поэтому не так опасны дожди, которые льют в дождливый сезон, то есть в сентябре и октябре, как те, что перепадают случайно в сухую пору.

Прошло десять с лишним месяцев моего житья на злосчастном острове. Я был твердо убежден, что никогда до меня человеческая нога не ступала на эти пустынные берега, так что приходилось, по-видимому, отказаться от всякой надежды на избавление. Теперь, когда я был спокоен за безопасность моего жилья, я решил более основательно обследовать остров и посмотреть, нет ли на нем еще каких-нибудь животных и растений, неизвестных мне до сей поры.

Я начал это обследование *15 июля*. Прежде всего я направился к той бухточке, где я причаливал с моими плотами. Пройдя мили две вверх по течению, я убедился, что прилив не доходит дальше, и, начиная с этого места и выше, вода в ручье была чистая и прозрачная, но из-за сухого времени года ручей местами если не пересох, то, во всяком случае, еле струился.

По берегам его тянулись красивые саванны, или луга, ровные, гладкие, покрытые травой, а дальше – там, где низина постепенно переходила в

возвышенность и куда, надо думать, не достигала вода, – я обнаружил обилие зеленого табака с высокими и толстыми стеблями. Там были и другие растения, каких я раньше никогда не видал; весьма возможно, что, знай я их свойства, я мог бы извлечь из них пользу для себя.

Я искал кассавы, из корня которой индейцы тех широт делают муку, но не нашел. Я увидел также большие растения вроде алоэ и сахарный тростник. Но я не знал, можно ли как-нибудь употреблять алоэ; что же касается сахарного тростника, то он рос в диком состоянии и потому вряд ли годился в пищу. На первый раз я удовольствовался этими открытиями и пошел домой, раздумывая по дороге о том, как бы мне научиться распознавать свойства и доброкачественность плодов и растений, которые я найду. Но мне не удалось ничего придумать. Во время пребывания в Бразилии я так мало обращал внимания на тамошнюю флору, что не знал даже самых обыкновенных полевых растений; во всяком случае, мои сведения почти не пригодились в теперешней моей бедственной жизни.

На другой день, *16-го,* я отправился той же дорогой, но прошел немного дальше, туда, где кончались ручей и луга и начиналась более лесистая местность. В этой части острова я нашел разные плоды, в числе прочих – дыни (в большом изобилии) и виноград. Виноградные лозы вились по стволам деревьев, и их роскошные гроздья только что созрели. Это неожиданное открытие удивило меня и обрадовало, однако, наученный опытом, я поел винограда с большой осторожностью, вспомнив, что во время пребывания моего в Берберии там умерло от дизентерии и лихорадки несколько невольников-англичан, объевшихся виноградом. Но я придумал великолепное употребление для этого винограда, а именно – высушить его на солнце и сделать из него изюм; я справедливо заключил, что он будет служить мне вкусным и полезным лакомством в то время, когда виноград уже сойдет.

Я не вернулся домой в этот день; к слову сказать, это была первая моя ночь на острове, проведенная вне дома. Я взобрался на дерево и отлично выспался, а наутро продолжал свой обход. Судя по длине долины, я прошел еще мили четыре в прежнем направлении, то есть на север, сообразуясь с грядами холмов на севере и на юге.

В конце этого пути было открытое место, заметно понижавшееся к западу. Родничок же, пробивавшийся откуда-то сверху, тек в противоположном направлении, то есть на восток. Вся окрестность зеленела, цвела и благоухала, точно сад, насажденный руками человека, в котором все блистало красой весеннего наряда.



Я спустился в эту очаровательную долину и с тайным удовольствием, хотя и не свободным от примеси никогда не покидавшей меня грусти, подумал, что все это моеа: я царь и хозяин этой земли; права мои на нее бесспорны, и, если б я мог перевести ее в обитаемую часть света, она стала бы таким же безусловным достоянием моего рода, как поместье английского лорда. Тут было множество кокосовых пальм, апельсинов, лимонов и цитронов, но все дикорастущие, и лишь на немногих из них были плоды, по крайней мере в то время. Тем не менее я нарвал зеленых лаймов, которые были не только приятны на вкус, но и очень мне полезны. Я пил потом воду с их соком, и она меня освежала и подкрепляла.

Мне предстояло теперь много работы со сбором плодов и переноской их домой, так как я решил запастись виноградом, лаймами и лимонами на приближавшееся дождливое время года.

С этой целью я набрал винограда и сложил его в большую кучу в одном месте и в кучу поменьше – в другом. Так же поступил я с лаймами и лимонами, сложив их в третью кучу. Затем, взяв с собой немного тех и других плодов, отправился домой, с тем чтобы захватить мешок и унести домой остальное.

Я вернулся домой (так я буду теперь называть мою палатку и пещеру) после трехдневного отсутствия; к концу этого путешествия мой виноград совершенно испортился. Сочные, тяжелые ягоды раздавили друг друга и оказались совершенно негодными. Лаймы хорошо сохранились, но я принес их очень немного.

На следующий день, 79-го, я снова пустился в путь с двумя

небольшими мешками, в которых собирался принести домой собранные плоды. Но как же я был поражен, когда увидел, что мои роскошные спелые гроздья разбросаны по земле и сочные ягоды частью объедены, частью растоптаны. Значит, здесь хозяйничали какие-то животные, но какие именно – я не знал.

Итак, убедившись, что складывать виноград в кучи и затем перетаскивать его в мешках невозможно, ибо мой сбор окажется частью уничтоженным, частью попорченным, я придумал другой способ. Нарвав порядочное количество винограда, я развесил его на деревьях так, чтобы он мог сохнуть на солнце. Что же касается лаймов и лимонов, то я унес их с собой, сколько был в силах поднять.

Вернувшись домой, я с удовольствием обращался мыслью к открытой мной плодоносной долине. Представляя себе ее живописное местоположение, я думал о том, как хорошо она защищена от ветров, какое в ней обилие воды и леса, и пришел к заключению, что выбрал для жилья одно из худших мест на острове. Естественно, я стал подумывать о переселении. Нужно было лишь подыскать в этой цветущей, плодоносной долине такое же безопасное местечко, как мое теперешнее жилище.

Эта мысль крепко засела у меня в голове, и некоторое время я тешился ею, прельщенный красотой долины. Но, поразмыслив и приняв в расчет, что теперь я живу в виду моря и, следовательно, имею хоть маленькую надежду на благоприятную для меня перемену, я решил отказаться от этого намерения. Тот самый злой рок, который занес меня на остров, мог забросить сюда и других несчастных. Конечно, такая случайность была маловероятна, но запереться среди холмов и лесов, в глубине острова, вдали от моря, значило заточить себя навеки и сделать освобождение для себя не только маловероятным, но и просто невозможным.

Однако я был так пленен этой долиной, что провел там почти весь конец июля, и хотя, по зрелом размышлении, решил не переносить своего жилья на новое место, но поставил там себе шалаш, огородил его наглухо двойным плетнем выше человеческого роста, на крепких столбах, а промежуток между плетнями заложил хворостом; входил же и выходил по приставленной лестнице, как и в старое жилье. Таким образом, я и здесь был в безопасности. Случалось, что я ночевал в своем шалаше по две, по три ночи подряд. Теперь у меня есть дом на берегу моря и дача в лесу, говорил я себе. Работы на ней заняли у меня все время до начала августа.



Я только что доделал ограду и начал наслаждаться плодами своих трудов, как полили дожди, и мне пришлось перебраться в мое старое гнездо. Правда, я и на новом месте поставил очень хорошую палатку, сделанную из паруса, но здесь у меня не было ни горы, которая защищала бы меня от ветров, ни пещеры, куда я мог бы укрыться, когда ливни становились чересчур сильными.

К началу августа, как сказано, я закончил постройку шалаша и начал наслаждаться плодами своих трудов. *3 августа* я заметил, что развешанные мною гроздья винограда совершенно высохли на солнце и превратились в превосходный изюм. С того же дня я начал снимать их с деревьев, и хорошо сделал, иначе их бы попортило дождем и я лишился бы большей части своих зимних запасов: у меня сушилось более двухсот больших кистей. Как только все было собрано и большею частью перенесено в пещеру, начались дожди и с 74 *августа* до половины октября шли почти безостановочно изо дня в день. Иногда дождь лил так сильно, что я по нескольку дней не высовывал носа из пещеры.

В этот период дождей я был удивлен неожиданным приращением моего семейства. Одна из моих кошек давно уже пропала; я не знал, сбежала ли она или околела, и очень о ней сокрушался, как вдруг в конце августа она вернулась стремя котятами. Это очень меня удивило, так как обе мои кошки были самки. Правда, я подстрелил одного из диких котов (как я их называл), но мне казалось, что эти зверьки совсем другой породы,

чем наши европейские кошки, а между тем котята, которых привела с собой моя кошка, были как две капли воды похожи на свою мать. От этих трех котят у меня развелось такое несметное потомство, что я был вынужден истреблять кошек как вредных зверей и гнать их подальше от своего дома.

С 14 по 26 августа дожди не прекращались, и я почти не выходил из дому, ибо теперь я очень боялся промокнуть. Между тем, пока я отсиживался в пещере, выжидая ясной погоды, мои запасы провизии стали истощаться, и два раза я даже рискнул выйти на охоту. В первый раз убил козу, а во второй, 26-го (это был последний день моего заточения), поймал огромную черепаху, и это было для меня настоящее пиршество. В то время моя еда распределялась так: завтрак – кисть винограда, на обед – кусок козлятины или черепашьего мяса, жареного (на мое несчастье, мне не в чем было варить или тушить мясо и овощи), на ужин – два или три черепашьих яйца.

В течение тех дней, что я просидел в пещере, прячась от дождя, я ежедневно по два-три часа посвящал земляным работам, расширяя свою пещеру. Я прокапывал ее все дальше в одну сторону до тех пор, пока не вывел ход наружу, за ограду. Я устроил там дверь, через которую мог свободно выходить и входить, не прибегая к приставной лестнице. Зато я не был так спокоен, как прежде: прежде мое жилье было со всех сторон загорожено, теперь доступ ко мне был открыт. Впрочем, мне некого бояться на моем острове, где я не видал ни одного животного крупнее козы.

30 сентября. Итак, я дожил до печальной годовщины моего пребывания на острове: я сосчитал зарубки на столбе, и оказалось, что я живу здесь уже триста шестьдесят пять дней. Я посвятил этот день строгому посту и молитвам.

Весь год я не соблюдал воскресных дней. Вначале у меня не было никакого религиозного чувства, и мало-помалу я перестал отмечать воскресенья более длинной зарубкой на столбе; таким образом у меня спутался счет недель, и я не помнил хорошенько, когда какой день. Но, подсчитав, как сказано, число дней, проведенных мною на острове, и увидев, что я прожил на нем ровно год, я разделил этот год на недели, отметив каждый седьмой день как воскресенье. Впоследствии обнаружилось, однако, что я пропустил один или два дня.

Около этого времени мой запас чернил стал подходить к концу. Приходилось расходовать их экономнее: я прекратил ежедневные записи и стал отмечать лишь выдающиеся события моей жизни.

Я обратил внимание, что дождливое время года совершенно правильно чередуется с периодом бездождья, и, таким образом, мог заблаговременно подготовиться к дождям и засухе. Но свои знания я покупал дорогою ценою; то, о чем я сейчас расскажу, служит одной из самых печальных иллюстраций этого. Я уже упоминал выше, как был поражен неожиданным появлением возле моего дома нескольких колосьев риса и ячменя, которые, как мне казалось, выросли сами собой. Помнится, было около тридцати колосьев риса и колосьев двадцать ячменя. И вот после дождей, когда солнце перешло в южное полушарие, я решил, что наступило самое подходящее время для посева.

Я вскопал, как мог, небольшой клочок земли деревянной лопатой, разделил его пополам и засеял одну половину рисом, а другую – ячменем; во время посева мне пришло в голову, что лучше на первый раз не высевать всех семян, – я же не знаю наверно, когда нужно сеять. И я посеял около двух третей всего запаса зерна, оставив по горсточке каждого сорта про запас.

Большим было для меня счастьем, что я принял эту меру предосторожности, ибо из первого моего посева ни одно зерно не взошло; наступили сухие месяцы, с того дня, как я засеял поле, влаги совсем не было, и зерно не могло взойти. Впоследствии же, когда начались дожди, оно взошло, как будто я только что посеял его.



Видя, что мой первый посев не всходит, что я вполне естественно объяснил засухой, я стал искать другого места с более влажной почвой, чтобы произвести новый опыт. Я разрыхлил новый клочок земли около моего шалаша и посеял здесь остатки зерна. Это было в феврале, незадолго до весеннего равноденствия. Мартовские и апрельские дожди щедро напоили землю: семена взошли великолепно и дали обильный урожай. Но так как семян у меня осталось очень мало и я не решался засеять их все, то

и сбор вышел невелик – не более половины пека каждого сорта зерна. Зато я был теперь опытным хозяином и точно знал, какая пора наиболее благоприятна для посева и что ежегодно я могу сеять дважды и, следовательно, получать два сбора.

Покуда рос мой хлеб, я сделал маленькое открытие, впоследствии оно очень мне пригодилось. Как только прекратились дожди и погода установилась – это было приблизительно в ноябре, – я отправился на свою лесную дачу, где нашел все в том же виде, как оставил, несмотря на то что не был там несколько месяцев. Двойной плетень, поставленный мной, был не только цел, но все его колья, на которые я брал росшие поблизости молодые деревца, пустили длинные побеги, совершенно так, как пускает их ива, если у нее срезать верхушку. Я не знал, что это за деревья, и был очень приятно изумлен, увидя, что моя ограда зазеленела. Я подстриг все деревца, постаравшись придать им по возможности одинаковую форму. Трудно описать, как красиво разрослись они за три года. Несмотря на то что отгороженное место имело до двадцати пяти ярдов в диаметре, деревья – так я могу их теперь называть – скоро покрыли его своими ветвями и давали густую тень, в которой можно было укрыться от солнца в период жары.

Это навело меня на мысль нарубить еще несколько таких же кольев и вбить их полукругом вдоль ограды моего старого жилья. Так я и сделал. Я втыкал их в два ряда, ярдов на восемь отступая от прежней ограды. Они принялись, и вскоре у меня образовалась живая изгородь; сначала она укрывала меня от зноя, а впоследствии послужила мне для защиты, о чем я расскажу в своем месте.

По моим наблюдениям, на моем острове времена года следует разделять не на холодные и теплые, как они делятся у нас в Европе, а на дождливые и сухие, приблизительно таким образом:

С половины февраля до половины апреля. Дожди: солнце стоит в зените или почти в зените.

С половины апреля до половины августа. Засуха: солнце перемещается к северу.

С половины августа до половины октября. Дожди: солнце снова стоит в зените.

С половины октября до половины февраля. Засуха: солнце перемещается к югу.

Таковы были мои наблюдения, хотя дождливое время года может быть длиннее или короче, в зависимости от направления ветра.

Глава 11

Исследование острова

Изведав на опыте, как вредно для здоровья пребывание под открытым небом во время дождя, я теперь всякий раз перед началом дождей заблаговременно запасался провизией, чтобы выходить пореже, и просиживал дома почти все дождливые месяцы.

Я пользовался этим временем для работ, которые можно было производить, не покидая жилища. В моем хозяйстве недоставало еще очень многих вещей, а чтобы сделать их, требовались упорный труд и неослабное прилежание. Я, например, много раз пытался сплести корзину, но все прутья, какие я мог достать, оказывались такими ломкими, что у меня ничего не выходило. В детстве я очень любил ходить к одному корзинщику, жившему по соседству от нас, и смотреть, как он работает. Теперь это мне очень пригодилось. Как все мальчишки, я был весьма наблюдателен и полон готовности помогать взрослым. Иной раз я помогал и корзинщику, так что теперь мне не хватало только материала, чтобы приступить к работе. Вдруг мне пришло в голову, не подойдут ли для корзины ветки тех деревьев, из которых я нарубил кольев и которые потом проросли; ведь у них должны быть упругие, гибкие ветки, как у нашей английской вербы, ивы или лозняка. И я решил попробовать.

На другой же день я отправился на свою дачу, как я называл мое жилье в долине, нарезал там несколько веточек, выбирая самые тонкие, и убедился, что они как нельзя лучше годятся для моей цели. В следующий раз я пришел с топором, чтобы сразу нарубить, сколько мне нужно. Мне не пришлось искать, так как деревья той породы росли здесь в изобилии. Нарубив прутьев, я сволок их за ограду и принялся сушить, а когда они подсохли, перенес их в пещеру. В ближайший дождливый сезон я принялся за работу и наплел много корзин для носки земли, для укладки всяких вещей и для разных других надобностей. Правда, у меня они не отличались изяществом, но, во всяком случае, годились для моих целей. С тех пор я никогда не забывал пополнять свой запас корзин: по мере того как старые разваливались, я плел новые. Особенно я запасался прочными глубокими корзинами для хранения в них зерна, на тот случай, если у меня накопится большое его количество.

Разрешив эту задачу, на что у меня ушла уйма времени, я стал придумывать, как мне восполнить нехватку еще двух вещей. У меня не было посуды для хранения жидкости, если не считать двух бочонков, занятых ромом, да нескольких бутылок и бутылей, в которых я держал

воду и спирт. У меня не было ни одного горшка, в котором можно было бы что-нибудь сварить. Правда, я захватил с корабля большой котел, но он был слишком велик, чтобы варить в нем суп и тушить мясо. Другая вещь, о которой я часто мечтал, была трубка, но я не умел сделать ее. Однако в конце концов я придумал, чем ее заменить.

Все лето, иначе говоря, все сухое время года, я был занят устройством живой изгороди вокруг своего старого жилья и плетением корзин. Но меня отвлекло новое дело, отнявшее у меня гораздо больше времени, чем я рассчитывал.

Выше я уже говорил, что мне давно хотелось обойти весь остров и что я несколько раз доходил до ручья и дальше, до того места долины, где я построил свой шалаш и откуда открывался вид на море по другую сторону острова. И вот я наконец решился пройти весь остров поперек и добраться до противоположного берега. Я взял ружье, топорик, больше, чем обычно, пороха, дроби и пуль, прихватил про запас два сухаря и большую кисть винограда и пустился в путь в сопровождении собаки. Пройдя то место долины, где стоял мой шалаш, я увидел впереди на западе море, а дальше виднелась полоса земли. Был яркий, солнечный день, и я хорошо различал землю, но не мог определить, материк это или остров. Эта земля представляла собою высокое плоскогорье, тянулась с запада на юго-запад и отстояла очень далеко (по моему расчету, миль на сорок или на шестьдесят) от моего острова.

Я не имел понятия, что это за земля, и мог сказать только одно – должно быть, это какая-нибудь часть Америки, лежащая, по всей вероятности, недалеко от испанских владений. Весьма возможно, что она населена дикарями и что, если б я попал туда вместо моего острова, мое положение было бы еще хуже. И как только у меня явилась эта мысль, я перестал терзаться бесплодными сожалениями, зачем меня выбросило именно сюда, и преклонился перед волей Провидения, которое, как я начинал теперь верить и сознавать, всегда и все устраивает к лучшему. Повторяю, я успокоил себя этой мыслью и перестал сокрушаться из-за невозможности попасть туда.

К тому же, подумав как следует, я сообразил, что если новооткрытая мною земля составляет часть испанских владений, то рано или поздно я непременно увижу какой-нибудь корабль, идущий туда или оттуда. Если же это не испанские владения, то, стало быть, это береговая полоса, лежащая между испанскими владениями и Бразилией, населенная исключительно дикарями, и притом самыми свирепыми – каннибалами, или людоедами, которые убивают и съедают всех, кто попадает им в руки.

Погрузившись в такие размышления, я не спеша подвигался вперед. Эта часть острова показалась мне гораздо привлекательнее той, в которой я поселился: везде, куда ни взглянешь, зеленые луга, пестреющие цветами, красивые рощи. Я заметил здесь множество попугаев, и мне захотелось поймать хоть одного, чтобы приручить его и научить разговаривать. После многих бесплодных попыток мне удалось изловить птенца, сбив его палкой; он быстро оправился, и я принес его домой. Но понадобилось несколько лет, прежде чем он заговорил; тем не менее я все-таки добился, что он стал называть меня по имени. С ним произошел один забавный случай, о котором будет рассказано в свое время.

Я остался как нельзя более доволен моим обходом. В низине, на лугах, мне попадались зайцы (или похожие на них животные) и много лисиц; но эти лисицы резко отличались от своих родичей, которых мне случалось видеть раньше. Мне не нравилось мясо этих животных, хотя я и подстрелил их несколько штук. Да, впрочем, в этом не было и надобности: в пище я не терпел недостатка; можно даже сказать, что я питался очень хорошо. Я всегда мог иметь любой из трех сортов мяса: козлятину, голубей или черепаху, а с прибавкой изюма получался совсем роскошный стол, какого, пожалуй, не поставляет и Лиденхоллский рынок. Таким образом, как ни плачевно было мое положение, все-таки у меня было за что благодарить Бога: я не только не терпел голода, но ел вдоволь и мог даже лакомиться.

Во время этого путешествия я делал не более двух миль в день, если считать по прямому направлению; но я так много кружил, осматривая местность в надежде, не встречу ли чего нового, что добирался до ночлега очень усталым. Спал я обыкновенно на дереве, а иногда, если находил подходящее место между деревьями, устраивал ограду из кольев, втыкая их от дерева до дерева, так что никакой хищник не мог подойти ко мне, не разбудив меня.

Дойдя до берега моря, я окончательно убедился, что выбрал для поселения самую худшую часть острова. На моей стороне я за полтора года поймал только трех черепах; здесь же весь берег был усеян ими. Кроме того, здесь было несметное множество птиц всевозможных пород, в числе прочих пингвины. Были такие, каких я не знал. Мясо многих из них оказалось очень вкусным.

Я мог, если бы хотел, настрелять пропасть птиц, но я берег порох и дробь и предпочел бы застрелить козу, если удастся, так как ее мясо лучше обеспечило бы меня пищей. Но хотя здесь обитало много коз – гораздо больше, чем в моей части острова, – к ним было очень трудно подобраться,

потому что местность здесь была ровная и они замечали меня гораздо скорее, чем когда я был на холмах.

Бесспорно, тот берег был много привлекательнее моего, и тем не менее я не имел ни малейшего желания переселяться. Дело в том, что я привык к своему жилищу, здесь же чувствовал себя как бы на чужбине, и меня тянуло домой. Пройдя вдоль берега к востоку, должно быть, миль двенадцать или около того, я решил, что пора возвращаться. Я воткнул в землю высокую веху, чтобы заметить место, так как решил, что в следующий раз я приду с другой стороны, то есть с востока от моего жилища, и, таким образом, докончу обозрение моего острова. Об этом я расскажу в надлежащем месте.

Я хотел вернуться домой новой дорогой, полагая, что я всегда могу окинуть взглядом весь остров и не собьюсь с пути к моему жилищу. Однако я ошибся, ибо, отойдя от берега не больше двух-трех миль, я спустился в широкую котловину, которую со всех сторон так тесно обступали холмы, поросшие густым лесом, что не было никакой возможности осмотреться. Я мог бы держать путь по солнцу, так как я отлично знал его положение в это время дня.

Но, на мое горе, погода была пасмурная. Не видя солнца в течение трех или четырех дней, я плутал, тщетно отыскивая дорогу. В конце концов я принужден был выйти опять к берегу моря, на то место, где стояла моя веха, и оттуда вернулся домой прежним путем. Шел я не спеша, часто отдыхая, так как стояли необычайно жаркие дни, а ружье, заряды и топор составляли довольно тяжелую поклажу.

Глава 12

Возвращение в пещеру. — Полевые работы

Во время этого путешествия моя собака вспугнула козленка и бросилась на него, но я успел вовремя подбежать и спас его от собачьих клыков. Мне захотелось взять его с собой; я давно уже мечтал приручить пару козлят и развести стадо ручных коз, чтобы обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут все запасы пороха и дроби.

Я сделал козленку ошейник и с некоторым трудом повел его на веревке (веревку я свил из пеньки от старых канатов и всегда носил ее с собою). Добравшись до своего шалаша, я пересадил козленка за ограду и там оставил, ибо мне не терпелось добраться поскорее до дому, где я не был

уже больше месяца.

Не могу выразить, с каким чувством удовлетворения я вернулся к своей старой хижине и растянулся на подвесной койке. Это путешествие и бесприютная жизнь так меня утомили, что мой «дом», как я его называл, показался мне вполне благоустроенным жилищем: здесь меня окружало столько удобств и было так уютно, что я решил никогда больше не уходить из него далеко, покуда мне суждено будет оставаться на этом острове.



С неделю я отдыхал и отъедался после моих скитаний. Большую часть этого времени я был занят трудным делом: устраивал клетку для моего Попки; он становился совсем ручным и очень со мной подружился. Затем я вспомнил о своем бедном козленке, которого оставил в ограде, и решился сходить за ним. Я застал его там, где оставил, да он и не мог уйти; но он почти умирал с голоду. Я нарубил сучьев и веток, какие мне попались под руку, и перебросил ему за ограду. Когда он поел, я хотел было вести его на веревке, как раньше, но от голода он до того присмирел, что побежал за мной, как собака. Я всегда кормил его сам, и он сделался таким ласковым и ручным, что вошел в семью моих домашних животных и никогда не пытался сбежать от меня.

Опять настала дождливая пора осеннего равноденствия, и опять я торжественно отпраздновал 30 сентября – вторую годовщину моего пребывания на острове. Надежды на избавление у меня было так же мало, как и в момент моего прибытия сюда. Весь день 30 сентября я провел в

благочестивых размышлениях, смиренно и с благодарностью вспоминая многие милости, которые были ниспосланы мне в моем уединении и без которых мое положение было бы бесконечно печально. Смиренно и искренне благодарил я Бога, по милости своей открывшего мне, что и в моей одинокой жизни можно быть счастливее, чем наслаждаясь человеческим обществом и всеми благами мира: ведь отсутствие человеческого общества и все тяготы моего положения с избытком искупаются его Божественным присутствием; благодарил я Создателя и за его неизменную благость ко мне, воодушевляющую меня уповать и на Господен Промысел здесь, на земле, и на его милосердие в вечном мире.

Теперь наконец я ясно ощущал, насколько моя теперешняя жизнь, со всеми ее страданиями и невзгодами, счастливее той позорной, исполненной греха, омерзительной жизни, какую я вел прежде. Все во мне изменилось: горе и радость я понимал теперь совершенно иначе; не те были у меня желания, страсти потеряли свою остроту; то, что в момент моего прибытия сюда и даже в течение этих двух лет доставляло мне наслаждение, теперь для меня не существовало.

Когда в первое время я выходил на охоту или для осмотра местности и перед моими глазами открывались леса, горы и пустыни, где я осужден был жить один, без помощи и надежды на освобождение, окруженный вечными заставами и затворами океана, тогда мною овладевала мучительная смертельная тоска и сердце обливалось кровью. Не раз, в самом покойном состоянии духа, мысль эта вихрем проносилась в моей несчастной голове, и тогда, в порыве отчаяния, я ломал руки и плакал, как дитя. Иногда, среди занятий, я вдруг останавливался и, под гнетом тех же тяжких дум, бросал работу, садился на землю и с неподвижным взором и глубокими стонами оставался в таком положении час или два. Это немое отчаяние было невыносимо, потому что всегда легче излить горе словами или слезами, чем таить его в себе.

Но теперь я стал приучать себя к новым мыслям. Ежедневно читал я Священное Писание и применял к себе звучащие в нем слова утешения. Однажды утром в подавленном настроении я раскрыл Библию и прочел: «Я никогда тебя не оставлю и не покину тебя». Я сразу понял, что слова эти обращены ко мне – иначе зачем бы попались они мне на глаза именно в тот момент, когда я оплакивал свое положение – положение человека, забытого Богом и людьми? «А раз так, – сказал я себе, – раз Господь не покинет меня, то стоит ли горевать – пусть даже весь мир покинет меня? С другой стороны, если бы даже весь мир был у ног моих, но я лишился бы поддержки и благословения Господня – не очевидно ли, что вторая потеря

была бы во сто крат страшнее?»

И тут я решил, что в этом заброшенном и пустынном месте я смогу быть счастливее, чем в каком-либо другом. И с этой мыслью я уж готов был возблагодарить Бога за то, что он привел меня сюда, но что-то – не знаю, что это было, – возмутилось во мне и не позволило произнести слова молитвы. «Как можешь ты так лицемерить, – произнес я прямо вслух, – притворяться благодарным за то положение, от которого, несмотря на все твои благие намерения быть им довольным, ты бы пламенно молил Бога избавить тебя?» Поэтому я и остановился. Но хотя я и не мог возблагодарить Бога за то, что оказался на острове, я искренне благодарил его за то, что глаза мои наконец открылись – пусть благодаря обрушившимся на меня несчастьям – на мою прошлую жизнь, что я способен оплакать мои старые грехи и раскаяться. И не было случая, чтобы я открывал Библию или закрывал ее, не возблагодарив Создателя, направлявшего руку моей старой лондонской приятельницы, когда она – без всякой просьбы с моей стороны – упаковала Библию вместе с товарами, и помогшего мне впоследствии спасти ее с затонувшего корабля.

Таково было состояние моего духа, когда начался третий год моего заточения. Я не хотел утомлять читателя мелочными подробностями, а потому второй год моей жизни на острове описан у меня не так обстоятельно, как первый. Все же нужно сказать, что я и в этот год редко оставался праздным. Я строго распределил свое время соответственно занятиям, которым я предавался в течение дня. На первом плане стояли религиозные обязанности и чтение Священного Писания – им я неизменно отводил известное время три раза в день. Вторым из ежедневных моих дел была охота, занимавшая у меня часа по три каждое утро, когда не было дождя. Третьим делом была сортировка, сушка и приготовление убитой или пойманной дичи; на эту работу уходила большая часть дня. При этом следует принять в расчет, что, начиная с полудня, когда солнце подходило к зениту, наступал такой гнетущий зной, что не было возможности даже двигаться; затем оставалось еще не более четырех вечерних часов, которые я мог уделить работе. Случалось и так, что я менял часы охоты и домашних занятий: поутру работал, а перед вечером выходил на охоту.

У меня не только было мало времени, которое я мог посвящать работе, но она стоила мне также невероятных усилий и подвигалась очень медленно. Сколько часов терял я из-за отсутствия инструментов, помощников и недостатка сноровки! Так, например, я потратил сорок два дня только на то, чтобы сделать доску для длинной полки в моем погребе, между тем как два плотника, имея необходимые инструменты, выпиливают

из одного дерева шесть таких досок в полдня.

Я действовал так: выбрал большое дерево, ибо мне была нужна широкая доска. Три дня я рубил это дерево и два дня обрубал с него ветки, чтобы получить бревно. Уж я не знаю, сколько времени я обтесывал его с обеих сторон, покуда тяжесть его не уменьшилась настолько, что его можно было сдвинуть с места. Тогда я обтесал одну сторону начисто по всей длине бревна, затем перевернул его этой стороной вниз и обтесал таким же образом другую. Работу я продолжал до тех пор, пока не получил ровной и гладкой доски толщиною около трех дюймов. Читатель может судить, какого труда стоила мне эта доска. Но упорство и труд помогли мне довести до конца как эту работу, так и много других. Я привел здесь подробности, чтобы объяснить, почему у меня уходило так много времени на сравнительно небольшую работу, то есть небольшую при условии, если у вас есть помощник и инструменты, но требующую огромного времени и усилий, если делать ее одному и чуть не голыми руками.

Несмотря на все это, я терпением и трудом довел до конца все работы, к которым был вынужден обстоятельствами, как видно будет из последующего.

В ноябре и декабре я ждал урожай ячменя и риса. Засеянный мной участок был невелик, ибо, как было сказано выше, у меня вследствие засухи пропал весь посев первого года и оставалось не более половины пека каждого сорта зерна. На этот раз урожай обещал быть превосходным, как вдруг я сделал открытие, что снова рискую потерять весь сбор, так как мое поле опустошается многочисленными врагами, от которых трудно уберечься. Эти враги были, во-первых, козы, во-вторых, те зверьки, которых я назвал зайцами. Очевидно, стебельки риса и ячменя пришлись им по вкусу: они дневали и ночевали на моем поле и начисто уничтожали всходы, не давая им возможности выкинуть колос.

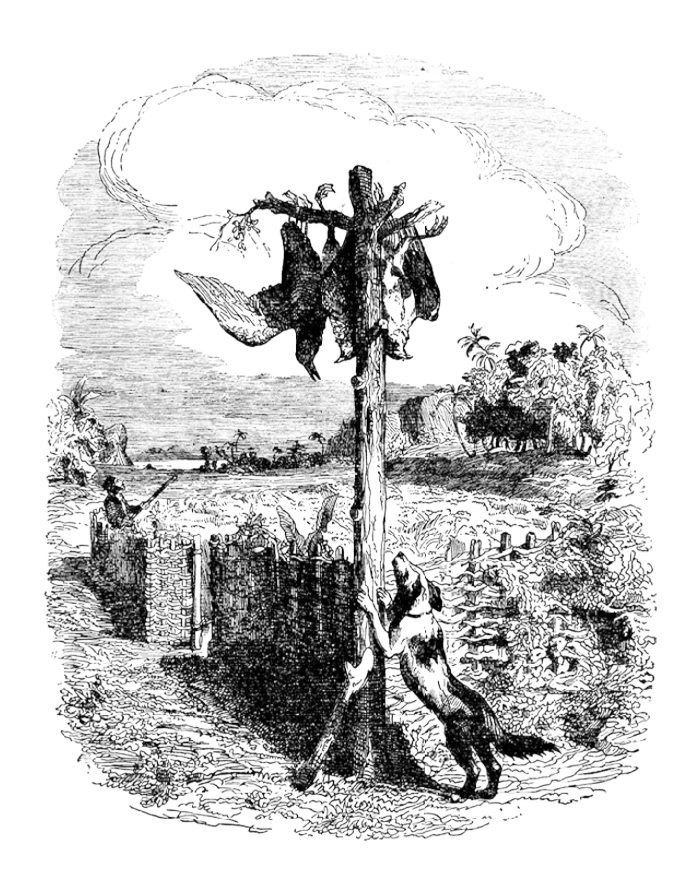
Против этого было лишь одно средство: огородить все поле, что я и сделал. Но эта работа стоила мне большого труда, главным образом потому, что надо было спешить. Впрочем, мое поле было таких скромных размеров, что через три недели изгородь была готова. Днем я отпугивал врагов выстрелами, а на ночь привязывал к изгороди собаку, которая лаяла всю ночь напролет. Благодаря этим мерам предосторожности прожорливые животные ушли от этого места; мой хлеб отлично выколосился и стал быстро созревать.

Но как прежде, пока хлеб был в зеленях, меня разоряли четвероногие, так начали разорять меня птицы теперь, когда он заколосился. Как-то раз, обходя свою пашню, я увидел, что над ней кружатся целые стаи пернатых,

видимо карауливших, когда я уйду. Я сейчас же выпустил в них заряд дроби (я всегда носил с собой ружье), но не успел я выстрелить, как с самой пашни поднялась другая стая, которой я сначала не заметил.

Это не на шутку взволновало меня. Я предвидел, что еще несколько дней такого грабежа – и пропадут все мои надежды; я, значит, буду голодать, и мне никогда не удастся собрать урожай. Я не мог придумать, чем помочь горю. Тем не менее я решил во что бы то ни стало отстоять свой хлеб, хотя бы мне пришлось караулить его день и ночь. Но сначала я обошел все поле, чтобы установить, много ли ущерба причинили мне птицы. Оказалось, что хлеб порядком попорчен, но так как зерно еще не совсем созрело, то потеря была бы невелика, если б удалось сберечь остальное.

Я зарядил ружье и сделал вид, что ухожу с поля (я видел, что птицы притаились на ближайших деревьях и ждут, чтобы я ушел). Действительно, едва я скрылся у них из виду, как эти воришки стали спускаться на поле один за другим. Это так меня рассердило, что я не мог утерпеть и не дождался, пока их спустится побольше. Я знал, что каждое зерно, которое они съедят теперь, может принести со временем целый пек хлеба. Подбежав к изгороди, я выстрелил; три птицы остались на месте. Того только мне и нужно было; я поднял всех трех и поступил с ними, как поступают у нас в Англии с отъявленными ворами, а именно: повесил их для острастки других. Невозможно описать, какое поразительное действие произвела эта мера: не только ни одна птица не села больше на поле, но все улетели из моей части острова, по крайней мере, я не видел ни одной за все время, пока мои три пугала висели на шесте.



Легко представить, как я был этому рад. К концу декабря – время второго сбора хлебов – мои ячмень и рис поспели, и я снял урожай.

Перед жатвой я был в большом затруднении, не имея ни косы, ни серпа, единственное, что я мог сделать, – воспользоваться для этой работы широким тесаком, взятым мною с корабля в числе другого оружия. Впрочем, урожай мой был так невелик, что убрать его не составляло большого труда, да и убирал я его особенным способом: я срезал только колосья, которые и уносил в большой корзине, а затем перетирал руками. В результате из половины пека семян каждого сорта вышло около двух бушелей риса и два с половиной бушеля ячменя, конечно, по приблизительному подсчету, так как у меня не было мер.

Такая удача очень меня ободрила: теперь я мог надеяться, что со временем у меня будет, с Божьей помощью, постоянный запас хлеба. Но передо мной явились новые затруднения. Как измолоть зерно или превратить его в муку? Как просеять муку? Как сделать из муки тесто? Как, наконец, испечь из теста хлеб? Ничего этого я не умел. Все эти затруднения в соединении с желанием отложить про запас побольше семян, чтобы обеспечить себя хлебом, привели меня к решению не трогать урожая этого года, оставив его весь на семена, а тем временем посвятить все рабочие часы и приложить все старания для разрешения главной

задачи, то есть превращения зерна в хлеб.

Теперь про меня можно было буквально сказать, что я своими руками добываю свой хлеб. Удивительно, что почти никто не задумывается над тем, какое множество мелких работ надо произвести, чтобы вырастить, сохранить, собрать, приготовить и выпечь обыкновенный кусок хлеба.

Оказавшись в самых первобытных условиях жизни, я ежедневно приходил в отчаяние, ибо трудности давали себя знать все сильнее и сильнее, начиная стой минуты, когда я собрал первую горсть зерен ячменя и риса, так неожиданно выросших у моего дома.

Во-первых, у меня не было ни плуга для вспашки, ни даже заступа или лопатки, чтобы хоть как-нибудь вскопать землю. Как уже было сказано, я преодолел это препятствие, сделав себе деревянную лопату. Но каков инструмент, такова и работа. Не говоря уже о том, что моя лопата, не будучи обита железом, служила очень недолго (хотя, чтобы сделать ее, мне понадобилось много дней), работать ею было тяжелее, чем железной, и сама работа выходила много хуже.

Однако я с этим примирился: вооружившись терпением и не смущаясь качеством своей работы, я продолжал копать. Когда зерно было посеяно, нечем было забороновать его. Пришлось вместо бороны возить по полю большой тяжелый сук, который, впрочем, только царапал землю.

А сколько разнообразных дел мне пришлось переделать, пока мой хлеб рос и созревал! Надо было обнести поле оградой, караулить его, потом жать, убирать, молотить (то есть перетирать в руках колосья, чтобы отделить зерно от мякины). Затем мне понадобились: мельница, чтобы смолоть зерно, сита, чтобы просеять муку, соль и дрожжи, чтобы замесить тесто, печь, чтобы выпечь хлеб. И однако, как увидит читатель, я обошелся без всех этих вещей. Иметь хлеб было для меня неоценимой наградой и наслаждением. Все это требовало от меня тяжелого и упорного труда, но иного выхода не было. Время мое было распределено, и я занимался этой работой несколько часов ежедневно. А так как я решил не расходовать зерна до тех пор, пока его не накопится побольше, то у меня было впереди шесть месяцев, которые я мог всецело посвятить изобретению и изготовлению орудий, необходимых для переработки зерна в хлеб.

Но сначала надо было приготовить под посев более обширный участок земли, так как теперь у меня было столько семян, что я мог засеять больше акра. Еще прежде я сделал лопату, что отняло у меня целую неделю. Новая лопата доставила мне одно огорчение: она была тяжела, и ею было вдвое труднее работать. Как бы то ни было, я вскопал свое поле и засеял два больших и ровных участка земли, которые я выбрал как можно ближе к

моему дому и обнес частоколом из того дерева, которое так легко принималось. Таким образом, через год мой частокол должен был превратиться в живую изгородь, почти не требующую исправления. Все вместе – распашка земли и сооружение изгороди – заняло у меня не менее трех месяцев, так как большая часть работы пришлась на дождливую пору, когда я не мог выходить из дома.

Глава 13

Изготовление посуды

В те дни, когда шел дождь и мне приходилось сидеть в пещере, я делал другую необходимую работу, стараясь между делом развлекаться разговорами со своим попугаем. Скоро он уже знал свое имя, а потом научился довольно громко произносить его. «Попка» было первое слово, какое я услышал на моем острове, так сказать, из чужих уст. Но разговоры с Попкой, как уже сказано, были для меня не работой, а только развлечением в труде. В то время я был занят очень важным делом. Давно уже я старался тем или иным способом изготовить себе глиняную посуду, в которой я сильно нуждался, но совершенно не знал, как осуществить это. Я не сомневался, что сумею вылепить что-нибудь вроде горшка, если только мне удастся найти хорошую глину. Что же касается обжигания, то я считал, что в жарком климате для этого достаточно солнечного тепла и что, посохнув на солнце, посуда станет настолько крепкой, что можно будет брать ее в руки и хранить в ней все припасы, которые надо держать в сухом виде. И вот я решил вылепить несколько кувшинов возможно большего размера, чтобы хранить в них зерно, муку и т. п.



Воображаю, как пожалел бы меня читатель (а может, и посмеялся бы надо мной), если б я рассказал, как неумело я замесил глину, какие нелепые, неуклюжие, уродливые произведения выходили у меня, сколько моих изделий развалилось оттого, что глина была слишком рыхлая и не выдерживала собственной тяжести, сколько других потрескалось оттого, что я поспешил выставить их на солнце, а сколько рассыпалось на мелкие куски при первом же прикосновении к ним как до, так и после просушки. Довольно сказать, что после двухмесячных неутомимых трудов, когда я наконец нашел глину, накопал ее, принес домой и начал работать, у меня получилось только две больших безобразных глиняных посудины, потому что кувшинами их нельзя было назвать.

Когда мои горшки хорошо высохли и затвердели на солнце, я осторожно приподнял их один за другим и поставил каждый в одну из больших корзин, которые я сплел специально для них. В пустое пространство между горшками и корзинами я напихал рисовой и ячменной соломы. Чтобы горшки эти не отсырели, я предназначил их для хранения сухого зерна, а со временем, когда оно будет перемолото, под муку.

Хотя крупные изделия из глины вышли у меня неудачными, дело пошло значительно лучше с мелкой посудой: круглыми горшочками, тарелками, кружками, котелками и тому подобными вещицами. Солнечный жар обжигал их и делал достаточно прочными.

Но моя главная цель все же не была достигнута: мне нужна была посуда, которая не пропускала бы воду и выдерживала бы огонь, а этого-то я и не мог добиться. Но вот как-то раз я развел большой огонь, чтобы приготовить себе мясо. Когда мясо изжарилось, я хотел загасить уголья и нашел между ними случайно попавший в огонь черепок от разбившегося глиняного горшка; он затвердел, как камень, и стал красным, как кирпич. Я был приятно поражен этим открытием и сказал себе, что если черепок так затвердел от огня, то, значит, с таким же успехом можно обжечь на огне и целую посудину.

Это заставило меня подумать о том, как развести огонь для обжигания моих горшков. Я не имел никакого понятия о печах для обжигания извести, какими пользуются гончары, и ничего не слыхал о муравлении свинцом, хотя у меня нашлось бы для этой цели немного свинца. Поставив на кучу горячей золы три больших глиняных горшка и на них три поменьше, я обложил их кругом и сверху дровами и хворостом и развел огонь. По мере того как дрова прогорали, я подкладывал новые поленья, пока мои горшки не прокалились насквозь, причем ни один из них не раскололся. В этом

раскаленном состоянии я держал их в огне часов пять или шесть, как вдруг заметил, что один из них начал плавиться, хотя остался цел; это расплавился от жара смешанный с глиной песок, который превратился бы в стекло, если бы я продолжал накалять его. Я постепенно убавил огонь, и красный цвет горшков стал менее ярок. Я сидел подле них всю ночь, чтобы не дать огню слишком быстро погаснуть, и к утру в моем распоряжении было три очень хороших, хотя и не очень красивых, глиняных кувшина и три горшка, так хорошо обожженных, что лучше нельзя и желать, и в том числе один муравленный расплавившимся песком.



Нечего и говорить, что после этого опыта у меня уже не было недостатка в глиняной посуде. Но должен сознаться, что внешний вид моей посуды оставлял желать многого. Да и можно ли этому удивляться? Ведь я делал ее таким же способом, как дети делают куличи из грязи или как делают пироги женщины, которые не умеют замесить тесто.

Я думаю, ни один человек в мире не испытывал такой радости по поводу столь заурядной вещи, какую испытал я, когда убедился, что мне удалось сделать вполне огнеупорную глиняную посуду. Я едва мог дождаться, когда мои горшки остынут, чтобы можно было налить в один из них воды и сварить в нем мясо. Все вышло превосходно: я сварил себе из куска козленка очень хорошего супу, хотя у меня не было ни овсяной муки, ни других приправ, какие обыкновенно кладутся туда.

Следующей моей заботой было придумать, как сделать каменную ступку, чтобы размалывать или, вернее, толочь в ней зерно; располагая только собственными руками, нельзя было и думать о таком сложном произведении искусства, как мельница. Я тщетно ломал себе голову, как выйти из этого положения; в ремесле каменотеса я был круглым невеждой и, кроме того, не имел инструментов. Не один день потратил я на поиски

подходящего камня, то есть достаточно твердого и такой величины, чтобы в нем можно было выдолбить углубление, но ничего не нашел. На моем острове были, правда, большие утесы, но от них я не мог ни отколоть, ни отломать нужный кусок. К тому же эти утесы были из довольно хрупкого песчаника; при толчении тяжелым пестом камень стал бы непременно крошиться, и зерно засорялось бы песком. Таким образом, потеряв много времени на бесплодные поиски, я отказался от каменной ступки и решил приспособить для этой цели большую колоду из твердого дерева, которую мне удалось найти гораздо скорее. Остановив свой выбор на чурбане такой величины, что я с трудом мог его сдвинуть, я обтесал его топором, чтобы придать ему нужную форму, а затем, с величайшим трудом, выжег в нем углубление вроде того, как бразильские краснокожие делают свои лодки. Покончив со ступкой, я вытесал большой, тяжелый пест из так называемого железного дерева. И ступку и пест я приберег до следующего урожая, который я решил уже перемолоть или, вернее, перетолочь на муку, чтобы готовить из нее хлеб.

Дальнейшее затруднение заключалось в том, как сделать сито или решето для очистки муки от мякины и сора, без чего невозможно было готовить хлеб. Задача была очень трудная, и я не знал даже, как к ней приступиться. У меня не было для этого никакого материала: ни кисеи, ни редкой ткани, через которую можно было бы пропускать муку. От полотняного белья у меня остались одни лохмотья; была козья шерсть, но я не умел ни прясть, ни ткать, а если б и умел, то все равно у меня не было ни прялки, ни станка. На несколько месяцев дело остановилось совершенно, и я не знал, что предпринять. Наконец я вспомнил, что между матросскими вещами, взятыми мною с корабля, было несколько шейных платков из коленкора или муслина. Из этих-то платков я и сделал себе три сита, правда, маленьких, но вполне годных для работы. Ими я обходился несколько лет; о том, как я устроился впоследствии, будет рассказано позже.

Теперь надо было подумать, как я буду печь свои хлебы, когда приготовлю муку. Прежде всего у меня совсем не было закваски; заменить ее было нечем, и я перестал ломать голову над этим. Но устройство печи сильно затрудняло меня. Тем не менее, я наконец, нашел выход. Я вылепил из глины несколько больших круглых посудин, очень широких, но мелких, а именно: около двух футов в диаметре и не более девяти дюймов в глубину; блюда эти я хорошенько обжег на огне и спрятал в кладовую. Когда пришла пора печь хлеб, я развел большой огонь на очаге, который выложил четырехугольными, хорошо обожженными плитами также моего

собственного приготовления. Впрочем, четырехугольными их, пожалуй, лучше не называть. Дождавшись, чтобы дрова прогорели, я разгреб уголья по всему очагу и дал им полежать несколько времени, пока очаг не раскалился. Тогда я отгреб весь жар в сторонку, поместив на очаге свои хлебы, накрыл их глиняным блюдом, опрокинув его кверху дном, и завалил горячими угольями. Мои хлебы испеклись, как в самой лучшей печке. Я научился печь лепешки из риса и пудинги и стал хорошим пекарем; только пирогов я не делал, да и то потому, что, кроме козлятины да птичьего мяса, их было нечем начинять.

Неудивительно, что на все эти работы ушел почти целиком третий год моего житья на острове, особенно если принять во внимание, что в промежутках мне нужно было убрать новый урожай и исполнять текущие работы по хозяйству. Хлеб я убрал своевременно, сложил в большие корзины и перенес домой, оставив его в колосьях, пока у меня найдется время перетереть их. Молотить я не мог за неимением гумна и цепа.



Между тем с увеличением моего запаса зерна у меня явилась потребность в более обширном амбаре. Последняя жатва дала мне около двадцати бушелей ячменя и столько же, если не больше, риса, так что для всего зерна не хватало места. Теперь я мог, не стесняясь, расходовать его на еду, что было приятно, так как мои сухари давно уже вышли. Я решил при этом рассчитать, какое количество зерна потребуется для моего продовольствия в течение года, чтобы сеять только раз в год. Оказалось, что сорока бушелей риса и ячменя мне с избытком хватает на год, и я решил сеять ежегодно столько, сколько посеял в этом году, рассчитывая, что мне будет достаточно и на хлеб, и на лепешки, и т. п.

Глава 14

Строительство лодки и шитьё одежды

За этой работой я постоянно вспоминал про землю, которую видел с другой стороны моего острова, и в глубине души не переставал лелеять надежду добраться до этой земли, воображая, что, в виду материка или вообще населенной страны, я как-нибудь найду возможность проникнуть дальше, а может быть, и вовсе вырваться отсюда.

Но я упускал из виду опасности, которые могли грозить мне в таком предприятии; я не думал о том, что могу попасть в руки дикарей, а они, пожалуй, будут похуже африканских тигров и львов: очутись я в их власти, была бы тысяча шансов против одного, что я буду убит, а может быть, и съеден. Ибо я слышал, что обитатели Караибского берега – людоеды, а судя по широте, на которой находился мой остров, он не мог быть особенно далеко от этого берега. Но даже если обитатели той земли не были людоедами, они все равно могли убить меня, как убивали многих попавших к ним европейцев, даже когда тех бывало десять-двадцать человек. А ведь я был один, и беззащитен. Все это, повторяю, я должен был бы принять в соображение. Потом-то я понял всю несообразность своей затеи, но в то время меня не пугали никакие опасности: моя голова всецело была занята мыслями, как бы попасть на отдаленный берег.

Вот когда я пожалел о моем маленьком приятеле Ксури и о парусном боте, на котором я прошел вдоль африканских берегов с лишком тысячу миль! Но что толку было вспоминать?.. Я решил сходить взглянуть на нашу корабельную шлюпку; еще в ту бурю, когда мы потерпели крушение, ее выбросило на остров в нескольких милях от моего жилья. Шлюпка лежала не совсем на прежнем месте: ее опрокинуло прибоем кверху дном и отнесло немного повыше, на самый край песчаной отмели, и воды около нее не было.

Если б мне удалось починить и спустить на воду шлюпку, она выдержала бы морское путешествие, и я без особенных затруднений добрался бы до Бразилии. Но для такой работы было мало одной пары рук. Я упустил из виду, что перевернуть и сдвинуть с места эту шлюпку для меня такая же непосильная задача, как сдвинуть с места мой остров. Но, невзирая ни на что, я решил сделать все, что было в моих силах: отправился в лес, нарубил жердей, которые должны были служить мне рычагами, и перетащил их к шлюпке. Я тешил себя мыслью, что, если мне

удастся перевернуть шлюпку на дно, я исправлю ее повреждения, и у меня будет такая лодка, в которой смело можно пуститься в море.

И я не пожалел сил на эту бесплодную работу, потратив на нее недели три или четыре. Убедившись под конец, что с моими слабыми силами мне не поднять такую тяжесть, я принялся подкапывать песок с одного бока шлюпки, чтобы она упала и перевернулась сама; при этом я то здесь, то там подкладывал под нее обрубки дерева, чтобы направить ее падение куда нужно.

Но, когда я закончил эти подготовительные работы, я все же был не способен ни пошевелить шлюпку, ни подвести под нее рычаги, а тем более спустить ее на воду, так что мне пришлось отказаться от своей затеи. Несмотря на это, мое стремление пуститься в океан не только не ослабевало, но, напротив, возрастало вместе с ростом препятствий на пути к его осуществлению.

Наконец я решил попытаться сделать челнок или, еще лучше, пирогу, какие делают туземцы в этих странах, почти без всяких инструментов и без помощников, прямо из ствола большого дерева. Я считал это не только возможным, но и легким делом, и мысль об этой работе очень увлекала меня. Мне казалось, что у меня больше средств для выполнения ее, чем у негров или индейцев. Я не принял во внимание большого неудобства моего положения сравнительно с положением дикарей, а именно – недостатка рук, чтобы спустить пирогу на воду, а между тем это препятствие было гораздо серьезнее, чем недостаток инструментов. Допустим, я нашел бы в лесу подходящее толстое дерево и с великим трудом свалил его; допустим даже, что с помощью своих инструментов я обтесал бы его снаружи и придал ему форму лодки, затем выдолбил или выжег внутри, словом, сделал бы лодку. Какая была мне от этого польза, если я не мог спустить ее на воду и вынужден был бы оставить ее в лесу?

Конечно, если бы я хоть сколько-нибудь отдавал себе отчет в своем положении, то, прежде чем соорудить лодку, непременно задался бы вопросом, как я спущу ее на воду. Но все мои помыслы до такой степени были поглощены предполагаемым путешествием, что я ни разу даже не подумал об этом, хотя было очевидно, что несравненно легче проплыть на лодке сорок пять миль по морю, чем протащить ее по земле сорок пять сажен, отделявших ее от воды.

Одним словом, взявшись за эту работу, я вел себя глупо для человека, находящегося в здравом уме. Я тешился своей затеей, не давая себе труда рассчитать, хватит ли у меня сил справиться с ней. И не то чтобы мысль о спуске на воду совсем не приходила мне в голову – нет, я просто не давал

ей ходу, устраняя ее всякий раз глупейшим ответом: «Прежде сделаю лодку, а там уж, наверное, найдется способ спустить ее».

Рассуждение самое нелепое, но моя разыгравшаяся фантазия не давала мне покоя, и я принялся за работу. Я повалил огромнейший кедр. Думаю, что у самого Соломона не было такого во время постройки Иерусалимского храма. Мой кедр имел пять футов десять дюймов в поперечнике у корней, на высоте двадцати двух футов – четыре фута одиннадцать дюймов; дальше ствол становился тоньше, разветвлялся. Огромного труда стоило мне свалить это дерево. Двадцать дней я рубил самый ствол, да еще четырнадцать дней мне понадобилось, чтобы обрубить сучья и отделить огромную, развесистую верхушку. Целый месяц я отделывал мою колоду снаружи, стараясь придать ей форму лодки, так, чтобы она могла держаться на воде прямо. Три месяца ушло потом на то, чтобы выдолбить ее внутри. Правда, я обошелся без огня и работал только стамеской и молотком. Наконец, благодаря упорному труду, мной была сделана прекрасная пирога, которая смело могла поднять человек двадцать пять, а следовательно, и весь мой груз.

Я был в восторге от своего произведения: никогда в жизни я не видал такой большой лодки из цельного дерева. Зато и стоила же она мне трудов! Теперь оставалось только спустить ее на воду, и я не сомневаюсь, что, если бы это мне удалось, я предпринял бы безумнейшее и самое безнадежное из всех морских путешествий.

Но все мои старания спустить ее на воду не привели ни к чему, несмотря на то что они стоили мне огромного труда. До воды было никак не более ста ярдов; но первое затруднение состояло в том, что местность поднималась к берегу в гору. Я храбро решился его устранить, сняв всю лишнюю землю таким образом, чтобы образовался отлогий спуск. Сколько труда я положил на эту работу! Но кто бережет труд, когда дело идет о получении свободы? Когда это препятствие было устранено, дело не подвинулось ни на шаг; я не мог сдвинуть мою пирогу, как раньше не мог шлюпку.



Тогда я измерил расстояние, отделявшее мою лодку от моря, и решил вырыть канал: видя, что я не в состоянии подвинуть лодку к воде, я хотел подвести воду к лодке. И я уже начал было копать, но когда я прикинул в уме необходимую глубину и ширину канала, когда подсчитал, в какое приблизительно время может сделать такую работу один человек, то оказалось, что мне понадобится не менее десяти-двенадцати лет, чтобы довести ее до конца. Берег был здесь очень высок, и его надо было углублять по крайней мере на двадцать футов.

К моему крайнему сожалению, мне пришлось отказаться и от этой попытки.

Я был огорчен до глубины души и тут только сообразил – правда, слишком поздно, – как глупо приниматься за работу, не рассчитав, во что она обойдется и хватит ли сил для доведения ее до конца.

В разгар этой работы наступила четвертая годовщина моего житья на острове. Я провел этот день, как и прежде, в молитве и со спокойным духом. Благодаря постоянному прилежному чтению слова Божия и благодатной помощи свыше я стал видеть многое в совсем новом свете. Все мои понятия изменились, мир казался мне теперь далеким и чуждым. Он не возбуждал во мне никаких желаний. Словом, мне нечего было делать там, и я был разлучен с ним, по-видимому, навсегда. Я смотрел на мир такими глазами, какими, вероятно, смотрят на него с того света, то есть как

на место, где я жил когда-то, но откуда ушел навсегда. Я мог бы сказать миру теперь, как праотец Авраам богачу: «Между мной и тобой утверждена великая пропасть».

В самом деле, я ушел от всякой мирской скверны: у меня не было ни похоти плоти, ни похоти очей, ни гордости житейской. Мне нечего было желать, потому что я имел все, чем мог наслаждаться. Я был господином моего острова или, если хотите, мог считать себя королем или императором всей страны, которой я владел. У меня не было соперников, не было конкурентов, никто не оспаривал моей власти, я ни с кем ее не делил. Я мог бы нагрузить зерном целые корабли, но мне это было не нужно, и я сеял ровно столько, чтобы хватило для меня. У меня было множество черепах, но я довольствовался тем, что изредка убивал по одной. У меня было столько леса, что я мог построить целый флот, и столько винограда, что все корабли моего флота можно было бы нагрузить вином и изюмом.

Я придавал цену лишь тому, чем мог как-нибудь воспользоваться. Я был сыт, потребности мои удовлетворялись, для чего же мне было все остальное? Если бы я настрелял больше дичи и посеял больше хлеба, чем был в состоянии съесть, мой хлеб заплесневел бы в амбаре, а дичь пришлось бы выкинуть, или она стала бы добычей червей. Срубленные мною деревья гнили; я мог употреблять их только на топливо, а топливо мне было нужно только для приготовления пищи.

Одним словом, природа, опыт и размышление научили меня понимать, что мирские блага ценны для нас лишь в той степени, в какой они способны удовлетворить наши потребности, и что, сколько бы мы ни накопили богатства, мы получаем от них удовольствие лишь в той мере, в какой можем использовать их, но не больше. Самый закоренелый скряга вылечился бы от своего порока, если бы очутился на моем месте и, как я, не знал, куда девать свое добро. Повторяю, мне было нечего желать, если не считать некоторых вещей, которых у меня не было, – разных мелочей, однако очень нужных для меня. Как я уже сказал, у меня было немного денег, серебра и золота, всего около тридцати шести фунтов стерлингов. Увы, они лежали как жалкий, ни на что не годный хлам: мне было некуда их тратить. С какой радостью отдал бы я пригоршню этого металла за десяток трубок для табака или ручную мельницу, чтобы размалывать свое зерно! Да что там!.. Я отдал бы все эти деньги за шестипенсовую пачку семян репы и моркови, за горсточку гороха и бобов или за бутылку чернил. Эти деньги не давали мне ни выгод, ни удовольствия. Так и лежали они у меня в шкафу и в дождливую погоду плесневели от сырости в моей

пещере. И будь у меня шкаф полон алмазов, они точно так же не имели бы для меня никакой цены, потому что были совершенно не нужны мне.

Мне жилось теперь гораздо легче, чем раньше, и в физическом и в нравственном отношении. Садясь за еду, я часто исполнялся глубокой признательности к щедротам Провидения, уготовившего мне трапезу в пустыне. Я научился смотреть больше на светлые, чем на темные стороны моего положения и помнить больше о том, что у меня есть, чем о том, чего я лишен. И это доставляло мне минуты невыразимой внутренней радости. Я говорю об этом для тех несчастных людей, которые никогда ничем не довольны, которые не могут спокойно наслаждаться дарованными им благами, потому что им всегда хочется чего-нибудь такого, чего у них нет. Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают, мне кажется, от недостатка благодарности за то, что мы имеем.

И еще другие мысли пошли мне на пользу, как, несомненно, они пошли бы на пользу всякому, кто оказался бы в такой же беде. Я часто сравнивал свое положение с тем, каким оно могло бы быть – и каким оно неизбежно было бы, – если б не Божественный промысел, благодаря которому корабль прибило так близко к берегу, что я не только смог до него добраться, но и забрать оттуда все необходимое для облегчения и услаждения жизни. А без этого у меня не было бы ни инструментов для работы, ни оружия для защиты, ни пороха и пуль для охоты.

Целыми часами – целыми днями, можно сказать, – я в самых ярких красках представлял себе, что бы я делал, если бы мне ничего не удалось спасти с корабля. Моей единственной пищей были бы рыбы и черепахи. А так как прошло много времени, прежде чем я нашел черепах, то я просто умер бы с голоду. А если бы не погиб, то жил бы как дикарь. Ибо допустим, что мне удалось бы когда-нибудь убить козу или птицу, я все же не мог бы содрать с нее шкуру, разрезать и выпотрошить ее. Я принужден был бы кусать ее зубами и разрывать ногтями, как дикий зверь.

После таких размышлений я живее чувствовал благость ко мне Провидения и от всего сердца благодарил Бога за свое настоящее положение со всеми его лишениями и невзгодами. Пусть примут это к сведению все те, кто в горькие минуты жизни любит говорить: «Может ли чье-нибудь горе сравниться с моим?» Пусть они подумают, как много на земле людей несравненно несчастнее их, во сколько раз их собственное несчастье могло бы быть ужаснее, если б то было угодно Провидению.

И еще одно соображение укрепляло меня в моих чаяниях: сравнение моего теперешнего положения с той карой, которой я заслуживал и которой избежал лишь по милости Провидения. Моя прошлая жизнь была

греховна: в ней не было места ни благочестивым размышлениям, ни страху Божьему, и не то чтобы мои родители дурно воспитали меня или не внушали мне с детства богобоязненности, чувства долга, осознания человеческой природы и предназначения. Но увы! Раннее приобщение к морским нравам – самым безбожным из всех мне известных, хотя именно на море люди то и дело заглядывают в лицо смерти, – повторяю: раннее приобщение к морским нравам и компании моряков привело к тому, что и те крохи благочестия, которые во мне еще жили, быстро исчезли под влиянием насмешек моих сотоварищей и огрубляющего презрения к опасности перед лицом смерти, которая стала привычной, а также ввиду полного отсутствия общения с хорошими, стремящимися к добру людьми.

До того как я попал на необитаемый остров, во мне не было ничего хорошего, ни малейшего сознания, кем я был или кем мне надлежало быть: при самых величайших удачах, которые выпадали на мою долю, как, например, побег из Сале, участие ко мне португальского капитана, успех моей бразильской плантации, получение товаров из Англии, – слова «благодарю тебя, Господи» не звучали у меня ни в сердце, ни на языке. Даже в самых ужаснейших моих бедствиях никогда не думал я молиться Богу или сказать ему: «Господи, сжалься надо мною!» Я произносил имя Божие только для божбы или богохульства.

В течение многих месяцев душа моя предавалась ужаснейшим размышлениям об ожесточенности и греховности моей прошлой жизни, когда я думал о себе и понимал, как Провидение пеклось обо мне со времени моего прибытия на остров и насколько Бог был милосерден ко мне, не только наказывая меня гораздо меньше, чем того заслуживали мои беззакония, но еще снабжая меня с избытком всем нужным. Меня оживляла тогда надежда, что раскаяние мое было принято и что я не утратил еще милосердия Божия.

Подобными рассуждениями приучил я душу свою не только покоряться воле Божьей в настоящих обстоятельствах, но не раз сердечно благодарил за свой жребий, рассуждая, что, пока я живу, я не должен жаловаться, так как получаю только справедливое возмездие за мои грехи; что я пользовался благами, которых само благоразумие не позволяло ожидать мне в этом случае; и, вместо того чтобы роптать на свое положение, мне следовало радоваться и каждодневно благодарить за насущный хлеб, ниспосланный мне не иначе как целой цепью чудес; я должен был считать все это чудом – целым рядом чудес, столь же великих, каким было кормление пророка Илии воронами! Наконец, едва ли бы мне удалось назвать другое место в необитаемых частях света, куда бы

я мог удачнее быть заброшенным, место, где я так же, как здесь, мог быть лишен всякого общества (что, с одной стороны, меня печалило), но где я не нашел ни лютых зверей, ни волков, ни свирепых тигров, угрожавших моей жизни, ни ядовитых животных, мясо которых могло бы мне повредить, ни дикарей, которые могли бы убить меня и съесть.

Словом, если, с одной стороны, моя жизнь была безотрадна, то с другой – я должен был быть благодарен уже за то, что живу; а чтобы сделать эту жизнь вполне счастливой, мне надо было только постоянно помнить, как добр и милостив Господь, пекущийся обо мне. И когда я беспристрастно взвесил все это, я успокоился и перестал грустить.

Я так давно жил на моем острове, что многие из взятых мною с корабля вещей или совсем испортились, или кончили свой век, а корабельные припасы частью совершенно вышли, частью подходили к концу.

Чернил у меня оставалось очень немного, и я все больше и больше разводил их водой, пока они не стали такими бледными, что почти не оставляли следов на бумаге. До тех пор пока у меня было хоть слабое их подобие, я отмечал в коротких словах дни месяца, на которые приходились выдающиеся события моей жизни. Просматривая как-то раз эти записи, я заметил странное совпадение чисел и дней, в которые случались со мною различные происшествия, так что если б я был суеверен и различал счастливые и несчастные дни, то мое любопытство не без основания было бы привлечено этим совпадением.

Во-первых, мое бегство из родительского дома в Гулль, чтобы оттуда пуститься в плавание, произошло в тот же месяц и число, когда я попал в плен к салеским пиратам и был обращен в рабство.

Затем в тот самый день и месяц, когда я остался в живых после кораблекрушения на Ярмутском рейде, я впоследствии вырвался из салеской неволи на парусном баркасе.

Наконец, в годовщину моего рождения, а именно 30 сентября, когда мне минуло двадцать шесть лет, я чудом спасся от смерти, будучи выброшен морем на необитаемый остров. Таким образом, греховная жизнь и жизнь уединенная начались для меня в один и тот же день.

Вслед за чернилами у меня вышел запас хлеба, то есть, собственно, не хлеба, а корабельных сухарей. Я растягивал их до последней возможности (в последние полтора года я позволял себе съедать не более одного сухаря в день), и все-таки до того, как я собрал со своего поля такое количество зерна, что можно было начать употреблять его в пищу, я почти год сидел без крошки хлеба. Но и за это я должен был благодарить Бога: ведь я мог остаться и совсем без хлеба, и было поистине чудо, что я получил

возможность его добывать.

Запасы одежды тоже сильно оскудели. Из белья у меня давно уже не оставалось ничего, кроме клетчатых рубах (около трех дюжин), которые я нашел в сундуках наших матросов и берег пуще глаза, ибо на моем острове бывало зачастую так жарко, что приходилось ходить в одной рубахе, и я не знаю, что бы я делал без этого запаса. Было у меня еще несколько толстых матросских шинелей; все они хорошо сохранились, но я не мог их носить из-за жары. Собственно говоря, в таком жарком климате вовсе не было надобности одеваться; но я стыдился ходить нагишом; я не допускал даже мысли об этом, хотя был совершенно один и никто не мог меня видеть.

Но была и другая причина, не позволявшая мне ходить голым: когда на мне было что-нибудь надето, я легче переносил солнечный зной. Палящие лучи тропического солнца обжигали мне кожу до пузырей, рубашка же защищала ее от солнца, и, кроме того, меня охлаждало движение воздуха между рубашкой и телом. Никогда не мог я также привыкнуть ходить на солнце с непокрытой головой: всякий раз, когда я выходил без шляпы или шапки, у меня разбаливалась голова, но стоило мне только надеть шляпу, головная боль проходила.



Итак, надо было привести в порядок хоть то тряпье, какое у меня еще оставалось и которое я торжественно именовал своим платьем. Прежде всего мне нужна была куртка (все, какие у меня были, я износил). Я решил

попытаться пустить на куртки матросские шинели, о которых я только что говорил, и некоторые другие материалы. И вот я принялся портняжничать или, вернее, кромсать и ковырять иглой, ибо, говоря по совести, я был довольно-таки горе-портной. Как бы то ни было, я с грехом пополам состряпал две или три куртки, которых, по моему расчету, мне должно было надолго хватить. О первой моей попытке сшить брюки лучше не говорить, так как она окончилась постыдной неудачей.

Я уже говорил, что сохранял шкурки всех убитых мною животных (я разумею четвероногих). Каждую шкурку я просушивал на солнце, растянув на шестах. Поэтому по большей части они становились такими жесткими, что едва могли на что-нибудь пригодиться, но некоторые из них были очень хороши. Первым делом я сшил себе из них большую шапку. Я сделал ее мехом наружу, чтобы лучше предохранить себя от дождя. Шапка так мне удалась, что я решил соорудить себе из такого же материала полный костюм, то есть куртку и штаны. И куртку и штаны я сделал совершенно свободными, а последние – короткими до колен, ибо и то и другое было мне нужно скорее для защиты от солнца, чем для тепла. Покрой и работа, надо признаться, никуда не годились: плотник я был очень неважный, а портной и подавно. Как бы то ни было, мое изделие отлично мне служило, особенно когда мне случалось выходить во время дождя: вся вода стекала по длинному меху шапки и куртки, и я оставался совершенно сухим.

После куртки и брюк я потратил очень много времени и труда на изготовление зонтика, который был очень мне нужен. Я видел, как делают зонтики в Бразилии; там никто не ходит без зонтика из-за жары, а на моем острове было ничуть не менее жарко, пожалуй, даже жарче, чем в Бразилии, так как он был ближе к экватору. Мне же приходилось выходить во всякую погоду, а иной раз подолгу бродить и по солнцу и по дождю; словом, зонтик был мне весьма полезен. Много было хлопот с этой работой, и много времени прошло, прежде чем мне удалось сделать что-то похожее на зонтик (раза два или три я выбрасывал испорченный материал и начинал снова). Главная трудность заключалась в том, чтобы он раскрывался и закрывался. Сделать раскрытый зонтик мне было легко, но тогда пришлось бы всегда носить его над головой, а это было неудобно. Но, как уже сказано, я преодолел эту трудность, и мой зонтик мог закрываться. Я обтянул его козьими шкурами мехом наружу: дождь стекал по нему, как по наклонной крыше, и он так хорошо защищал от солнца, что я мог выходить из дому даже в самую жаркую погоду и чувствовал себя лучше, чем раньше, в более прохладную, а когда он был мне не нужен,

закрывал его и нес подмышкой.

Так я жил на моем острове тихо и спокойно, всецело покорившись воле Божьей и доверившись Провидению. От этого жизнь моя стала лучше, чем если бы я был окружен человеческим обществом; каждый раз, когда у меня возникали сожаления, что я не слышу человеческой речи, я спрашивал себя, разве моя беседа с собственными мыслями и (надеюсь, я вправе сказать это) в молитвах и славословиях с самим Богом была не лучше самого веселого времяпрепровождения в человеческом обществе?

Глава 15

Другая лодка. — Поездка вокруг острова

Следующие пять лет прошли, насколько я могу припомнить, без всяких чрезвычайных событий. Жизнь моя протекала по-старому – тихо и мирно; я жил на прежнем месте и по-прежнему делил свое время между работой, чтением Библии и охотой. Главным моим занятием – конечно, помимо ежегодных работ по посеву и уборке хлеба и по сбору винограда (хлеба я засевал ровно столько, чтобы хватало на год, и с таким же расчетом собирал виноград), и, не считая ежедневных экскурсий с ружьем, – главным моим занятием, говорю я, была постройка новой лодки. На этот раз я не только сделал лодку, но и спустил ее на воду; я вывел ее в бухточку по каналу (в шесть футов ширины и четыре глубины), который мне пришлось прорыть на протяжении полумили без малого. Первую мою лодку, как уже знает читатель, я сделал таких огромных размеров, не рассчитав заблаговременно, буду ли я в состоянии спустить ее на воду, что принужден был оставить ее на месте постройки как памятник моей глупости, долженствовавший постоянно напоминать мне о том, что впредь следует быть умнее. Действительно, в следующий раз я поступил гораздо практичнее. Правда, я и теперь построил лодку чуть не в полумиле от воды, так как ближе не нашел подходящего дерева, но теперь я по крайней мере хорошо соразмерил ее величину и тяжесть со своими силами. Видя, что моя затея на этот раз вполне осуществима, я твердо решил довести ее до конца. Почти два года я провозился над сооружением лодки, но не жалел об этом: так я жаждал получить наконец возможность пуститься в путь по морю.

Надо, однако, заметить, что новая пирога совершенно не подходила для осуществления моего первоначального намерения, которое у меня было,

когда я сооружал лодку: она была так мала, что нечего было и думать переплыть на ней те сорок миль или больше, которые отделяли мой остров от terra firma[1]. Таким образом, мне пришлось распроститься с этой мечтой. Но у меня явился новый план – объехать вокруг острова. Я уже побывал однажды на противоположном берегу (о чем было рассказано выше), и открытия, которые я сделал в эту экскурсию, так заинтересовали меня, что мне еще тогда очень хотелось осмотреть все побережье острова. И вот теперь, когда у меня была лодка, я только и думал о том, как бы совершить эту поездку.

Чтобы осуществить это намерение разумно и осмотрительно, я сделал для своей лодки маленькую мачту и сшил соответствующий парус из кусков корабельной парусины, которой у меня был большой запас.

Когда таким образом лодка была оснащена, я попробовал ее ход и убедился, что парус действует отлично. Тогда я сделал на корме и на носу по большому ящику, чтобы провизия, заряды и прочие нужные вещи, которые я собирался взять в дорогу, не подмокли от дождя и от морских брызг. Для ружья я выдолбил в дне лодки узкий желоб и для предохранения от сырости приделал к нему откидную крышку.

Затем я укрепил на корме раскрытый зонтик в виде мачты, так, чтобы он приходился над моей головой и защищал меня от солнца, подобно тенту. И вот я время от времени стал предпринимать небольшие прогулки по морю, но никогда не выходил в открытое море, стараясь держаться возле бухточки. Наконец желание ознакомиться с границами моего маленького царства победило, и я решил совершить свой рейс. Я запасся в дорогу всем необходимым, начиная с провизии и кончая одеждой. Я взял с собой два десятка ячменных хлебцев (точнее, лепешек), большой глиняный горшок поджаренного риса (обычное мое блюдо), бутылочку рома и половину козьей туши; взял также пороха и дроби, чтобы пострелять еще коз, а из одежды – две куртки из упомянутых выше, которые оказались в перевезенных мною с корабля матросских сундуках; одной из этих курток я предполагал пользоваться в качестве матраца, другой – укрываться.



Шестого ноября, в шестой год моего царствования или, если угодно, пленения, я отправился в путь. Проездил я гораздо дольше, чем рассчитывал. Хотя мой остров сам по себе и невелик, но когда я приблизился к восточной его части, то увидел длинную гряду скал, частью подводных, частью торчавших над водой; она выдавалась миль на шесть в открытое море, а дальше, за скалами, еще мили на полторы, тянулась песчаная отмель. Таким образом, чтобы обогнуть косу, пришлось сделать большой крюк.

Сначала, когда я увидел эти рифы, я хотел был о отказаться от своего предприятия и повернуть назад, не зная, как далеко мне придется углубиться в открытое море, чтобы обогнуть их; тем более что я не был уверен, смогу ли я повернуть назад.

И вот я бросил якорь (перед отправлением в путь я смастерил себе некоторое его подобие из обломка шлюпочного якоря, подобранного мною с корабля), взял ружье и сошел на берег. Взобравшись на довольно высокую гору, я смерил на глаз длину косы, которая отсюда была видна на всем своем протяжении, и решился рискнуть.

Обозревая море с этой возвышенности, я заметил сильное и бурное течение, направлявшееся на восток и подходившее к самой косе. И я тогда же подумал, что тут кроется опасность: что, если я попаду в это течение, меня унесет в море и я не буду в состоянии вернуться на остров? Да, вероятно, так бы оно и было, если б я не произвел разведки, потому что такое же морское течение виднелось и с другой стороны острова, только подальше, и я заметил сильное встречное течение у берега. Значит, мне

нужно было выйти за пределы первого течения, и меня тотчас же должно было понести к берегу.

Я простоял, однако, на якоре два дня, так как дул свежий ветер (притом юго-восточный, то есть как раз навстречу вышесказанному морскому течению) и по всей косе ходили высокие буруны; было опасно держаться и подле берега из-за прибоя, и очень удаляться от него из-за течения.

На третий день ветер за ночь стих, море успокоилось, и утром я решился пуститься в путь. Но то, что случилось со мной, может служить уроком для неопытных и неосторожных кормчих. Не успел я достичь косы, находясь от берега всего лишь на длину лодки, как очутился на большой глубине, среди течения, бурного, как вода из-под мельничного колеса. Лодку мою понесло с такой силой, что все, что я мог сделать, – это держаться с краю течения. Между тем меня уносило все дальше и дальше от встречного течения, оставшегося слева от меня. Ни малейший ветерок не приходил мне на помощь, работать же веслами было пустой тратой сил. Я уже прощался с жизнью: я знал, что через несколько миль течение, в которое я попал, сольется с другим течением, огибающим остров, и тогда я безвозвратно погиб. А между тем я не видел никакой возможности свернуть. Итак, меня ожидала верная смерть, и не в волнах морских, потому что море было довольно спокойно, а от голода. Правда, на берегу я нашел черепаху, такую большую, что еле мог поднять, и взял ее с собой в лодку. Был у меня также огромный кувшин пресной воды – одна из моих глиняных поделок. Но что это значило для несчастного путника, затерявшегося в безбрежном океане, где можно пройти тысячи миль, не увидав и признаков земли.

И тогда я понял, как легко самое безотрадное положение может сделаться еще безотраднее, если так угодно будет Провидению. На свой пустынный, заброшенный остров я смотрел теперь как на земной рай, и единственным моим желанием было вернуться в этот рай. В страстном порыве я простирал к нему руки, взывая: «О, благодатная пустыня! Я никогда больше не увижу тебя! О, я несчастный, что со мной будет?» Я упрекал себя в неблагодарности, вспоминая, как я роптал на свое одиночество. Чего бы я ни дал теперь, чтобы очутиться вновь на том безлюдном берегу! Такова уж человеческая натура: мы никогда не видим своего положения в истинном свете, пока не изведаем на опыте положения еще худшего, и никогда не ценим тех благ, какими обладаем, покуда не лишимся их. Не могу выразить, в каком я был отчаянии, когда увидел, что меня унесло от моего милого острова (да, теперь он казался мне милым), унесло в безбрежный океан почти на шесть миль, и я должен навеки

проститься с надеждой увидеть его вновь. Однако я греб почти до потери сил, стараясь направить лодку на север, то есть к той стороне течения, которая приближалась к встречному течению. Вдруг после полудня, когда солнце повернуло на запад, с юго-востока, то есть прямо мне навстречу, потянул ветерок. Это немного меня ободрило. Но вы представьте мою радость, когда ветерок начал быстро свежеть и через полчаса задул как следует. К этому времени меня угнало бог знает на какое расстояние от моего острова. Поднимись на ту пору туман или соберись тучи, мне пришел бы конец: со мною не было компаса, и, если бы я потерял из виду мой остров, я не знал бы, куда держать путь. Но, на мое счастье, был солнечный день и ничто не предвещало тумана. Я поставил мачту, поднял парус и стал править на север, стараясь выбиться из течения.

Как только моя лодка повернула по ветру и пошла наперерез течению, я заметил в нем перемену: вода стала гораздо светлее. Это привело меня к заключению, что течение по какой-то причине начинает ослабевать, так как раньше, когда оно было быстро, вода была все время мутная. И в самом деле, вскоре я увидел на востоке группу утесов (их можно было различить издалека по белой пене бурливших вокруг них волн); эти утесы разделяли течение на две струи, и в то время как главная продолжала течь к югу, оставляя утесы на северо-восток, другая круто заворачивала назад и, образовав водоворот, стремительно направлялась на северо-запад.

Только те, кто знает по опыту, что значит получить помилование, когда уже затянулась петля на шее, или спастись от разбойников в последний момент, когда нож уже приставлен к горлу, поймут мой восторг при этом открытии и радость, с какой я направил свою лодку в обратную струю, подставив парус еще более посвежевшему попутному ветру, и весело понесся назад.

Это встречное течение принесло меня прямо к острову, но милях в шести севернее того места, откуда меня угнало в море, так что, приблизившись к острову, я оказался у северного берега его, то есть противоположного тому, от которого я отчалил.

Пройдя с помощью этого встречного течения около трех миль, я заметил, что оно ослабевает и не способно гнать меня дальше. Но теперь я был уже в виду острова, в совершенно спокойном месте, между двумя сильными течениями – южным, которым меня унесло в море, и северным, проходившим милях в трех по другую сторону. Пользуясь попутным ветром, я продолжал держать на остров, хотя подвигался уже не так быстро.

Около четырех часов пополудни, находясь милях в трех от острова, я

обнаружил, что гряда скал, виновница моих злоключений, тянувшаяся, как я уже описывал, к югу и в том же направлении отбрасывавшая течение, порождает другое, встречное течение в северном направлении; оно оказалось очень сильным, но не вполне совпадающим с направлением моего пути, шедшего на запад. Однако благодаря свежему ветру я пересек это течение и приблизительно через час подошел к берегу на расстояние мили, где море было спокойно, так что я без труда причалил к берегу.

Почувствовав под собой твердую землю, я упал на колени и в горячей молитве возблагодарил Бога за свое избавление, решив раз навсегда отказаться от своего плана освобождения при помощи лодки. Затем, подкрепившись бывшей со мной едой, я провел лодку в маленькую бухточку, под деревья, которые росли здесь на самом берегу, и, вконец обессиленный усталостью и тяжелой работой, прилег уснуть.

Я был в большом затруднении, не зная, как мне доставить домой мою лодку. О том, чтобы вернуться прежней дорогой, то есть вокруг восточного берега острова, не могло быть и речи: я уж и так довольно натерпелся страху. Другая же дорога – вдоль западного берега – была мне совершенно незнакома, и у меня не было ни малейшего желания рисковать. Вот почему на другое утро я решил пойти по берегу на запад и посмотреть, нет ли там бухточки, где бы я мог оставить свой фрегат в безопасности, и затем воспользоваться им, когда понадобится. И действительно, милях в трех я открыл отличный заливчик, который глубоко вдавался в берег, постепенно суживаясь и переходя в ручеек. Сюда-то я и привел мою лодку, словно в нарочно приготовленный док. Поставив и укрепив ее, я сошел на берег, чтобы посмотреть, где я.

Оказалось, что я был совсем близко от того места, где я поставил шест в тот раз, когда приходил пешком на этот берег. Захватив с собой только ружье да зонтик (так как солнце страшно пекло), я пустился в путь. После моего несчастного морского путешествия эта экскурсия показалась мне очень приятной. К вечеру я добрался до моей лесной дачи, где застал все в исправности и в полном порядке.

Я перелез через ограду, улегся в тени и, чувствуя страшную усталость, скоро заснул. Но судите, каково было мое изумление, когда я был разбужен чьим-то голосом, звавшим меня по имени несколько раз: «Робин, Робин, Робин Крузо! Бедный Робин Крузо! Где ты, Робин Крузо? Где ты? Где ты был?»

Измученный утром греблей, а после полудня ходьбой, я спал таким мертвым сном, что не мог сразу проснуться, и мне долго казалось, что я слышу этот голос во сне. Но от повторявшегося оклика: «Робин Крузо,

Робин Крузо!» – я наконец очнулся и в первый момент страшно испугался. Я вскочил, дико озираясь кругом, и вдруг, подняв голову, увидел на ограде своего Попку. Конечно, я сейчас же догадался, что это он меня окликал: таким же точно жалобным тоном я часто говорил ему эту фразу, и он отлично ее затвердил; сядет, бывало, мне на палец, приблизит клюв к самому моему лицу и долбит: «Бедный Робин Крузо! Где ты? Где ты? Как ты сюда попал?» – и другие фразы, которым я научил его.

Но, даже убедившись, что это был попугай, и понимая, что, кроме попугая, некому было заговорить со мной, я еще долго не мог оправиться. Я совершенно не понимал, во-первых, как он попал на мою дачу, во-вторых, почему он прилетел именно сюда, а не в другое место. Но когда я убедился, что это не кто иной, как мой верный Попка, то, не долго думая, я протянул руку и назвал его по имени.

Общительная птица сейчас же села мне на большой палец, как она это делала всегда, и снова заговорила: «Бедный Робин Крузо! Как ты сюда попал? Где ты был?» Он точно радовался, что снова видит меня. Уходя домой, я унес его с собой.



Теперь у меня надолго пропала охота совершать прогулки по морю, и много дней я размышлял об опасностях, которым подвергался. Конечно, было бы хорошо иметь лодку по эту сторону острова, но я не мог

придумать никакого способа привести ее. О восточном побережье я не хотел и думать: я ни за что не рискнул бы обогнуть его еще раз; от одной мысли об этом у меня замирало сердце и стыла кровь в жилах. Западные берега острова были мне совсем незнакомы. Но что, если течение по ту сторону было так же сильно и быстро, как и по другую? В таком случае я подвергался опасности если не быть унесенным в открытое море, то быть разбитым о берега острова. Приняв все это во внимание, я решил обойтись без лодки, несмотря на то что ее постройка и спуск на воду стоили мне многих месяцев тяжелой работы.

Такое умонастроение продолжалось у меня около года. Я вел тихую, уединенную жизнь, как легко может представить себе читатель. Мои мысли пришли в полное равновесие; я чувствовал себя счастливым, покорившись воле Провидения. Я ни в чем не терпел недостатка, за исключением человеческого общества.

В этот год я усовершенствовался во всех ремеслах, каких требовали условия моей жизни. Положительно, я думаю, что из меня мог бы выйти отличный плотник, особенно если принять в расчет, как мало было у меня инструментов.

Я и в гончарном деле сделал большой шаг вперед: научился пользоваться гончарным кругом, что значительно облегчило мою работу и улучшило ее качество, – теперь вместо аляповатых, грубых изделий, на которые было противно смотреть, у меня выходили аккуратные вещи правильной формы. Но никогда я, кажется, так не радовался и не гордился своей сметкой, как в тот день, когда мне удалось сделать трубку. Конечно, моя трубка была самая первобытная – из простой обожженной глины, как и все мои гончарные изделия, и вышла она далеко не красивой, но она была достаточно крепка и хорошо тянула дым, а главное, это была все-таки трубка, о которой я давно мечтал, так как любил курить. Правда, на нашем корабле были трубки, но я не знал тогда, что на острове растет табак, и решил, что не стоит их брать. Потом, когда я вновь обшарил корабль, я уже не мог найти их.

Я проявил также большую изобретательность в плетении корзин: у меня было их несметное множество самых разнообразных видов. Красотой они, правда, не отличались, но вполне годились для хранения и переноски вещей. Теперь, когда мне случалось застрелить козу, я подвешивал тушу на дерево, сдирал с нее шкуру, разнимал на части и приносил домой в корзине. То же самое и с черепахами: теперь мне было незачем тащить на спине целую черепаху; я мог вскрыть ее на месте, вынуть яйца, отрезать, какой мне было нужно, кусок, уложить это в корзину, а остальное оставить.

В большие, глубокие корзины я складывал зерно, которое вымолачивал, как только оно высыхало.

Мой запас пороха начинал заметно убывать. Это была такого рода убыль, которую при всем желании я не мог возместить, и меня не на шутку начинало заботить, что я буду делать, когда у меня выйдет весь порох, и как я буду тогда охотиться на коз. Я рассказывал выше, как на третий год моего житья на острове я поймал и приручил молодую козочку. Я надеялся поймать козленка, но все не случалось. Так моя козочка и состарилась без потомства. Потом она околела от старости: у меня не хватило духу зарезать ее.

Глава 16

Приручение диких коз

Но на одиннадцатый год моего заточения, когда, как сказано, мой запас пороха начал истощаться, я стал серьезно подумывать о применении какого-нибудь способа ловить коз живьем. Больше всего мне хотелось поймать матку с козлятами. Я начал с силков. Я поставил их несколько штук в разных местах. И козы попадались в них, только мне было от этого мало пользы: за неимением проволоки я делал силки из старых бечевок, и всякий раз бечевка оказывалась оборванной, а приманка съеденной.

Тогда я решил попробовать волчьи ямы. Зная места, где чаще всего паслись козы, я выкопал там три глубокие ямы, закрыл их плетенками собственного изделия, присыпал землей и набросал на них колосьев риса и ячменя. Я скоро убедился, что козы приходят и съедают колосья, так как кругом виднелись следы козьих ног. Тогда я устроил настоящие западни, но на другое утро, обходя их, я увидел, что приманка съедена, а коз нет. Это было очень печально. Тем не менее я не пал духом: я изменил устройство ловушек, приладив крышки несколько иначе (я не буду утомлять читателя описанием подробностей), и на другой же день нашел в одной яме большого старого козла, а в другой – трех козлят: одного самца и двух самок.

Старого козла я выпустил на волю, потому что не знал, что с ним делать. Он был такой дикий и злой, что взять его живым было нельзя (я боялся сойти к нему в яму), а убивать было незачем. Как только я приподнял плетенку, он выскочил из ямы и пустился бежать со всех ног. Но я не знал в то время, как убедился в этом впоследствии, что голод

укрощает даже львов. Если б я тогда заставил моего козла поголодать дня три-четыре, а потом принес бы ему поесть и напиться, он сделался бы смирным и ручным не хуже козлят. Козы вообще очень смышленые животные, и, если с ними хорошо обращаться, их очень легко приручить.

Но, повторяю, в то время я этого не знал. Выпустив козла, я подошел к той яме, где сидели козлята, вынул их одного за другим, связал вместе веревкой и кое-как, через силу, притащил домой.



Довольно долго я не мог заставить козлят есть: однако, бросив им несколько зеленых колосьев, я соблазнил их и затем мало-помалу приручил. И вот я задумал развести целое стадо, рассудив, что это единственный способ обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут порох и дробь. Конечно, мне надо было отделить их от диких коз, так как иначе, подрастая, все они убежали бы в лес. Против этого было лишь одно средство – держать их в загоне, огороженном прочным частоколом или плетнем так, чтобы козы не могли сломать его ни изнутри, ни снаружи.

Устроить такой загон было нелегкой работой для одной пары рук. Но он был совершенно необходим. Поэтому я, не откладывая, принялся подыскивать подходящее место, то есть такое, где бы мои козы были обеспечены травой и водой и защищены от солнца.

Такое место скоро нашлось: это была широкая, ровная луговина, или саванна, как называют такие луга в западных колониях; в двух-трех местах по ней протекали ручейки с чистой, прозрачной водой, а с одного края была тенистая роща. Все, кто знает, как строятся такие загородки,

наверное, посмеются над моею несообразительностью, когда я им скажу, что, по первоначальному моему плану, изгородь должна была охватить собой весь луг, имевший по меньшей мере две мили в окружности. Но глупость состояла не в том, что я взялся городить две мили: у меня было довольно времени, чтобы построить изгородь не то что в две, а в десять миль длиной. Но я не сообразил, что держать коз в таком громадном, хотя бы и огороженном загоне было все равно что пустить их пастись по всему острову: они росли бы такими же дикими, и их было бы так же трудно ловить.

Я начал изгородь и вывел ее, помнится, ярдов на пятьдесят, когда мне пришло в голову это соображение, заставившее меня несколько изменить мой план. Я решил городить кусок луга ярдов в полтораста длиной и в сто шириной и на первый раз ограничился этим. На таком выгоне могло пастись все мое стадо, а к тому времени, когда оно разрослось бы, я всегда мог увеличить выгон новым участком.

Это было осмотрительное решение, и я рьяно принялся за работу. Первый участок я огораживал около трех месяцев, и во время своей работы перевел в загон всех трех козлят, стреножив их и держа поблизости, чтобы приручить их. Я часто приносил им ячменных колосьев или горсточку риса и давал им есть из рук, так что, когда изгородь была окончена и заделана и я развязал их, они ходили следом за мной и блеяли, выпрашивая подачки.

Это отвечало моей цели, и года через полтора у меня было двенадцать коз, считая и козлят, а еще через два года мое стадо выросло до сорока трех голов (кроме тех коз, которых я убивал на еду). Стечением времени у меня образовалось пять огороженных загонов, чтобы кормить коз, в которых я устроил по маленькому закутку, куда загонял коз, когда хотел поймать их, – все эти загоны соединялись между собой воротами.

Итак, у меня был теперь неистощимый запас козьего мяса, и не только мяса, но и молока. Последнее, собственно говоря, явилось для меня приятным сюрпризом, так как, затевая разводить коз, я не думал о молоке, и только потом мне пришло в голову, что я могу их доить. Я устроил молочную ферму, с которой получал иной раз до двух галлонов молока в день. Природа, питающая всякую тварь, сама учит нас, как пользоваться ее дарами. Никогда в жизни я не доил корову, а тем более козу, и не видел, как делают масло и сыр, и тем не менее, когда приспела нужда, научился – конечно, не сразу, а после многих неудачных опытов, но все же научился и доить, и делать масло и сыр и никогда потом не испытывал недостатка в этих продуктах. Даже стоик не удержался бы от улыбки, если бы увидел меня с моим маленьким семейством, сидящим за обеденным столом.

Прежде всего восседал я – его величество король и повелитель острова, полновластно распоряжавшийся жизнью всех своих подданных; я мог казнить и миловать, дарить и отнимать свободу, и никто не выражал неудовольствия. Нужно было видеть, с каким королевским достоинством я обедал один, окруженный моими слугами. Одному только Попке, как фавориту, разрешалось беседовать со мной. Моя собака – она давно уже состарилась и одряхлела, не найдя на острове особы, с которой могла бы продолжить свой род, – садилась всегда по правую мою руку; а две кошки, одна – по одну сторону стола, а другая – по другую, не спускали с меня глаз в ожидании подачки, являвшейся знаком особого благоволения.



Но это были не те кошки, которых я привез с корабля: те давно околели, и я собственноручно похоронил их подле моего жилья. Одна из них уже на острове окотилась, не знаю, от какого животного; я оставил у себя пару котят, и они выросли ручными, а остальные убежали в лес и одичали. С течением времени они стали настоящим наказанием для меня: забирались ко мне в кладовую, таскали провизию и оставили меня в покое, только когда я пальнул в них из ружья и многих уложил наповал. Так жил я с этой свитой, в достатке и, можно сказать, ни в чем не нуждался, кроме человеческого общества. Впрочем, скоро в моих владениях появилось, пожалуй, слишком большое общество.

Хотя я твердо решил никогда больше не предпринимать рискованных морских путешествий, но все-таки мне очень хотелось иметь лодку под руками для небольших экскурсий. Я часто думал о том, как бы мне

перевести ее на мою сторону острова, но, понимая, как трудно осуществить этот план, всякий раз успокаивал себя тем соображением, что мне хорошо и без лодки. Однако меня почему-то сильно тянуло сходить на горку, куда я взбирался в последнюю мою экскурсию, посмотреть, каковы очертания берегов и каково направление морского течения. Наконец я не выдержал и решил пойти туда пешком, вдоль берега. Если бы у нас в Англии прохожий встретил человека в таком наряде, как я, он, я уверен, шарахнулся бы от него в испуге или расхохотался бы, да зачастую я и сам невольно улыбался, представляя себе, как я в моем одеянии путешествовал бы по Йоркширу. Разрешите мне теперь сделать набросок моей внешности.

На голове у меня красовалась высокая бесформенная шапка из козьего меха со свисающим назад назатыльником, который прикрывал мою шею от солнца, а во время дождя не давал воде попадать за ворот. В жарком климате нет ничего вреднее дождя, попавшего за платье.

Затем на мне был короткий камзол с полами, наполовину прикрывающий бедра, и штаны до колен, тоже из козьего меха; только на штаны у меня пошла шкура очень старого козла с такой длинной шерстью, что она закрывала мне ноги до половины икр. Чулок и башмаков у меня совсем не было, а вместо них я соорудил себе – не знаю, как и назвать, – нечто вроде полусапог, застегивающихся сбоку, как гетры, но самого варварского фасона.

Поверх куртки я надевал широкий кушак из козьей шкуры, но очищенный от шерсти; пряжку заменил двумя ремешками, на которые затягивал кушак, а с боков пришил к нему еще по петельке, но не для шпаги и кинжала, а для маленькой пилы и топора. Кроме того, я носил кожаный ремень через плечо с такими же застежками, как на кушаке, но только немного поуже. К этому ремню я приделал две сумки таким образом, чтобы они приходились под левой рукой; в одной сумке я носил порох, в другой – дробь. На спине у меня болталась корзина, на плече я нес ружье, а над головой держал огромный меховой зонтик, крайне безобразный, но после ружья составлявший, пожалуй, самую необходимую принадлежность моей экипировки. Но зато цветом лица я менее походил на мулата, чем можно было бы ожидать, принимая во внимание, что я жил в девяти или десяти градусах от экватора и нимало не старался уберечься от загара. Бороду я одно время отпустил в пол фута, но так как у меня был большой выбор ножниц и бритв, то обстриг ее довольно коротко, оставив только то, что росло на верхней губе в форме огромных мусульманских усов, – я видел такие у турок в Сале, марокканцы же их не носят; длины они были невероятной – ну не такой, конечно, чтобы повесить на них

шапку, но все же настолько внушительной, что в Англии пугали бы маленьких детей.



Но я упоминаю об этом мимоходом. Немного было на острове зрителей, чтобы любоваться моим лицом и фигурой, – так не все ли равно, какой они имели вид? Я не буду, следовательно, больше распространяться на эту тему. В описанном наряде я отправился в новое путешествие, продолжавшееся дней пять или шесть. Сначала я пошел вдоль берега прямо к тому месту, куда приставал с моей лодкой, чтобы взойти на горку и осмотреть местность. Так как лодки со мной теперь не было, я направился к этой горке напрямик, более короткой дорогой. Но как же я удивился, когда, взглянув на каменистую гряду, которую мне пришлось огибать на лодке, увидел совершенно спокойное гладкое море! Ни волн, ни ряби, ни течения – ни там, ни в других местах.

Я стал в тупик перед этой загадкой и для разрешения ее решил наблюдать море в продолжение некоторого времени. Вскоре я убедился, что причиной этого течения является прилив, идущий с запада и соединяющийся с потоком вод какой-нибудь большой реки, впадающей неподалеку в море, и что, смотря по тому, дует ли ветер с запада или с севера, это течение то приближается к берегу, то удаляется от него. В

самом деле, подождав до вечера, я снова поднялся на горку и ясно различил то же морское течение; только теперь оно проходило милях в полутора, а не у самого берега, как в тот раз, когда моя лодка попала в его струю и ее унесло в море; значит, такая опасность угрожала бы ей не всегда. Это открытие привело меня к заключению, что теперь ничто мне не мешает перевести лодку на мою сторону острова: стоит только выбрать время, когда течение удалится от берега. Но, когда я подумал о практическом осуществлении плана, воспоминание об опасности, которой я подвергался, привело меня в такой ужас, что я принял другое решение, более верное, хотя и требующее большого труда: я решил построить еще один челнок или пирогу и иметь в своем распоряжении две лодки: одну – на одной, другую – на другой стороне острова.

Как уже упоминалось, у меня было на острове две усадьбы. Прежде всего моя маленькая крепость под скалой, обнесенная двойной оградой с палаткой внутри и с погребом за палаткой, который к описываемому времени я успел значительно расширить, так что теперь он состоял из нескольких отделений, сообщавшихся между собой. В самом сухом и просторном отделении (в том, из которого, как было сказано выше, я вывел ход наружу, то есть по наружную сторону ограды) стояли большие глиняные горшки моего изделия и штук четырнадцать или пятнадцать глубоких корзин по пяти или шести мер каждая. Все это было наполнено разной провизией, главным образом зерном, частью в колосьях, частью вымолоченным моими собственными руками.

Что касается наружной ограды, то, как я уже говорил, колья, которые я употреблял для нее, пустили корни и выросли в такие развесистые деревья, что за ними не было видно ни малейших признаков человеческого жилья.

Неподалеку от моего укрепления, под горой, несколько дальше вглубь острова тянулись два участка пашен, которые я старательно возделывал и с которых из года в год получал хорошие урожаи риса и ячменя. И если бы мне понадобилось увеличить посев, кругом был непочатый край удобной земли.

Вторая моя усадьба находилась в лесу. Я содержал ее в полном порядке: лестницу держал внутри, деревья окружавшей ее живой изгороди я постоянно подстригал, не давая им расти вверх, от этого они распустились и давали приятную тень. Под сенью их листвы, внутри ограды, стояла парусиновая палатка, так прочно установленная на вбитых в землю кольях, что ее никогда не приходилось поправлять. В палатке я устроил себе ложе из шкур убитых животных и других мягких вещей; на постели у меня лежали одеяло с нашего корабля и матросская шинель,

чтобы укрываться по ночам, так как я часто проводил здесь по нескольку дней.

К этой усадьбе примыкали мои загоны для коз. Огородить их мне стоило невероятного труда. Я так боялся, чтобы козы не проломили изгородь, что вечно укреплял ее новыми кольями и успокоился только тогда, когда в ней не осталось ни одной щелки и она была скорее похожа на частокол, чем на плетень. С течением времени, когда все колья принялись и разрослись (а они все принялись после дождливого времени года), моя ограда превратилась в сплошную крепкую стену.

Все это показывает, что я не ленился и не жалел трудов, когда видел, что, выполнив ту или другую работу, я сделал свою жизнь удобнее. Ведь я считал, что разведение домашнего скота означало, что до конца моих дней – а я мог прожить еще лет сорок – у меня всегда будет под рукой неистощимый запас мяса, молока, масла и сыра; иметь же коз в своем распоряжении я мог, только если изгородь моих загонов всегда находилась в полной исправности. Но это было нетрудно – когда все колья принялись и разрослись, мне даже пришлось некоторые из них вытащить, настолько плотно я их посадил.

Тут же около моей дачи рос виноград, который я сушил на зиму. Я очень дорожил им не только как лакомством, приятно разнообразившим мой стол, но и как здоровой, питательной, подкрепляющей пищей.

Моя лесная дача была как раз на полпути между главной моей резиденцией и той бухточкой, где я оставил лодку; поэтому в каждую мою экскурсию к тому берегу я останавливался там на ночевку. Я часто ходил смотреть мою лодку и заботился о том, чтобы держать ее в полном порядке. Иногда я катался на ней, но никогда не отъезжал от берега дальше нескольких саженей – такой у меня был страх перед морским течением и прочими непредвиденными случайностями, которые могли произойти со мной в море. Теперь я перехожу к новому периоду моей жизни.

Глава 17

След на песке. — Укрепление жилища

Однажды около полудня я шел берегом моря, направляясь к своей лодке, и, к величайшему своему изумлению, вдруг увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшейся на песке. Я остановился, как громом пораженный или как если бы увидел привидение.



Я прислушивался, озирался кругом, но не услышал и не увидел ничего подозрительного. Я взбежал вверх на откос, чтобы лучше осмотреть местность; опять спустился, ходил взад и вперед по берегу – но других следов нигде не обнаружил. Я пошел еще раз взглянуть на отпечаток ноги, чтоб удостовериться, действительно ли это человеческий след и не вообразилось ли мне. Но нет, я не ошибся; это был, несомненно, отпечаток человеческой ступни: я ясно различал пятку, пальцы, подошву. Как он сюда попал? Я терялся в догадках и не смог остановиться ни на одной. В полном смятении, не чуя, как говорится, под собой земли, я пошел домой в свою крепость. Я был охвачен невероятным ужасом: через каждые два-три шага я оглядывался назад, пугался каждого куста, каждого дерева, и каждый показавшийся вдали пень принимал за человека. Невозможно описать, в какие страшные и неожиданные формы облекались все предметы в моем возбужденном воображении, какие дикие мысли проносились в моей голове и какие нелепые решения принимал я все время по дороге.

Добравшись до своего замка (как я стал называть мое жилье с того дня), я, точно спасаясь от погони, мгновенно очутился за оградой. Я даже не помнил, перелез ли я через ограду по приставной лестнице, как делал раньше, или через дыру в скале, которую я называл дверью; даже на другой день я не мог этого припомнить. Никогда заяц, никогда лиса не спасались в таком безумном ужасе в свои норы, как я в свое убежище.

Всю ночь я не сомкнул глаз; страх терзал меня еще больше теперь, когда причина его осталась далеко, и это даже несколько противоречило самой природе страха. Но я был до такой степени потрясен, что воображение рисовало мне невероятные ужасы, хотя меня отделяло от следа ноги порядочное расстояние. Минутами я начинал думать, что это дьявол оставил свой след, и рассудок укреплял меня в этой догадке. В самом деле, кто, кроме дьявола в человеческом образе, мог забраться в эти места? Где лодка, которая привезла сюда человека? И где другие следы его ног? Да и каким образом мог попасть сюда человек? Но, с другой стороны, смешно было также думать, что дьявол принял человеческий образ с единственной целью оставить след своей ноги в таком пустынном месте, как мой остров, где было десять тысяч шансов против одного, что никто этого следа не увидит. Если врагу рода человеческого хотелось меня напугать, он мог придумать для этого другой способ, гораздо более остроумный! Нет, дьявол не так глуп. И наконец, с какой стати, зная, что я живу по эту сторону острова, оставил бы он свой след на том берегу, да еще на песке, где его смоет волной при первом же сильном прибое? Все это было внутренне противоречиво и не вязалось с обычными нашими представлениями о хитрости дьявола.

Окончательно убежденный этими доводами, я признал несостоятельность своей гипотезы о нечистой силе и отказался от нее. Но если то был не дьявол, тогда возникло предположение гораздо более устрашающего свойства: это дикари с материка, лежавшего против моего острова. Вероятно, они попали на остров случайно: вышли в море на своей пироге, и их пригнало сюда течением или ветром; они побывали на берегу, а потом опять ушли в море, потому что у них было так же мало желания оставаться в этой пустыне, как у меня видеть их здесь.

По мере того как я укреплялся в этой последней догадке, мое сердце наполнялось благодарностью за то, что тогда я не был в тех местах и они не заметили моей лодки, иначе они догадались бы, что на острове кто-то живет, и пустились бы на поиски. Но тут меня пронзила страшная мысль: а что, если они видели мою лодку? Предположили, что здесь есть люди? Ведь если так, то они вернутся с целой ватагой своих соплеменников и съедят меня. А если не найдут, так все равно увидят мои поля и выгоны, разорят мои пашни, угонят коз и я умру с голоду.

Таким образом, страх вытеснил из моей души всякую надежду на Бога, все мое упование на него, которое основывалось на столь чудесном доказательстве его благости ко мне; как будто Тот, кто доселе питал меня в пустыне, был не властен сберечь для меня блага земные, ниспосланные от

его же щедрот. Я упрекал себя в легкомыслии, из-за которого сеял лишь столько, чтобы мне хватало на год, точно не могло произойти случайности, помешавшей бы мне собрать посеянный хлеб. И упреки показались мне столь справедливыми, что я решил впредь сеять с таким расчетом, чтобы уберечься от неожиданностей и запастись хлебом на два или три года.

Какое игралище судьбы человеческая жизнь! И как странно меняются с переменой обстоятельств тайные пружины, управляющие нашими влечениями! Сегодня мы любим то, что завтра будем ненавидеть; сегодня ищем то, чего завтра будем избегать. Завтра нас будет приводить в трепет одна мысль о том, чего мы жаждем сегодня. Я был тогда наглядным примером этого рода противоречий. Я – человек, единственным несчастьем которого было то, что он изгнан из общества людей, что он – один среди безбрежного океана, обреченный на вечное безмолвие, отрезанный от мира, как преступник, признанный небом не заслуживающим общения с себе подобными, недостойным числиться среди живых, – я, которому увидеть лицо человеческое казалось, после спасения души, величайшим счастьем, какое только могло быть ниспослано ему Провидением, и как бы воскресением из мертвых, – я дрожал от страха при мысли о том, что могу столкнуться с людьми, готов был лишиться чувств от одной только тени, от одного только следа человека, ступившего на мой остров!

Таковы превратности человеческой жизни. Потом, когда я оправился от первого потрясения, я много размышлял на эту любопытную тему; я понял, что участь моя была предрешена премудрым и всеблагим Провидением; и раз мне не дано провидеть целей Божественной мудрости, то не смею я и восставать против Божьего промысла: ведь я творенье Божье и мой Создатель имеет неоспоримое право поступать со мною по собственному благоусмотрению; а коль скоро я оскорбил его, он вправе избрать мне достойное наказание; мне же надлежит подчиняться, ибо я согрешил против него. Затем я подумал, что Бог не только справедлив, но и всеблаг: он жестоко меня покарал, но он может и разрешить меня от наказания; если же он этого не делает, то мой долг покориться его воле, а с другой стороны, надеяться и молить его, а также неустанно смотреть, не пошлет ли он мне знамения, выражающего его волю. Эти мысли занимали меня целыми днями, да что там – целыми неделями и месяцами! Последствием такого моего настроения было одно событие, о котором не могу умолчать. Однажды рано утром, лежа в постели и с тревогой размышляя об опасностях, какими мне грозит появление дикарей, я вдруг вспомнил слова Писания: «Призови Меня в день печали, и Я избавлю тебя, а ты прославишь имя Мое».

Я радостно поднялся с постели; сердце мое успокоилось, и мне захотелось помолиться Богу о моем избавлении; сотворив молитву, я взял Библию и начал читать ее; и первое, что я прочел, было: «Служи Господу и не бойся, и Он укрепит сердце твое; говорю тебе, служи Господу». Не могу выразить, каким утешением были для меня эти слова. Я с благодарностью отложил книгу и больше не грустил, во всяком случае из-за дикарей.

Первые трое суток после сделанного мною злосчастного открытия я не высовывал носа из своей крепости и начал даже голодать: я не держал дома больших запасов провизии, и на третьи сутки у меня оставались только ячменные лепешки да вода. Меня тревожил о также, что мои козы, которых я обыкновенно доил каждый вечер, остаются недоенными: я знал, что бедные животные должны от этого страдать, и кроме того, боялся, что у них может пропасть молоко. И мои опасения оправдались: многие козы захворали и почти перестали доиться. Ввиду всех этих соображений я на четвертые сутки набрался храбрости и вышел. А тут вскоре у меня возникла одна мысль, которая окончательно меня ободрила.

В самом разгаре моих страхов, когда я бросался от предположения к предположению и ни на чем не мог остановиться, мне как-то раз пришло в голову, что все это лишь плод моего воображения и не я ли сам оставил этот след, когда в предпоследний раз ходил смотреть свою лодку и потом возвращался домой? Положим, возвращался я обыкновенно другою дорогой; но разве не могло случиться, что я изменил своему обыкновению в тот раз? Это было давно, и мог ли я с уверенностью утверждать, что шел именно той, а не этой дорогой? Конечно, я постарался уверить себя, что так оно и было, что это мой собственный след, и в этом происшествии я уподобился тем глупцам, которые берутся рассказывать истории о привидениях и нечистой силе, а потом пугаются собственных выдумок больше своих слушателей.

Итак, ободрив себя уверенностью, что это след моей собственной ноги и что я воистину испугался собственной тени, я начал снова ходить на дачу доить коз. Но если бы вы видели, как несмело я шел, с каким страхом озирался назад, как я был всегда начеку, готовый в каждый момент бросить свою корзину и пуститься наутек ради спасения живота своего, вы приняли бы меня либо за преступника, терзаемого совестью, либо за человека, пережившего жестокий испуг, что и соответствовало истине.



Но после того как я выходил в течение двух или трех дней и не открыл ничего подозрительного, я сделался смелее. Я положительно начинал приходить к заключению, что все это мои собственные фантазии, но, чтобы уже не оставалось никаких сомнений, я решил еще раз сходить на тот берег и сличить таинственный след с отпечатком моей ноги: если бы оба следа оказались одинаковыми, я мог бы быть уверен, что я испугался самого себя. Но когда я пришел на то место, где был таинственный след, то для меня, во-первых, стало очевидным, что, когда я в тот раз вышел из лодки и возвращался домой, я никоим образом не мог очутиться в этой стороне берега, а во-вторых, когда я для сравнения поставил ногу на след, то моя нога оказалась значительно меньше. И опять меня обуял панический страх: я весь дрожал, как в лихорадке, – целый вихрь новых догадок закружился у меня в голове. Я ушел домой в полном убеждении, что на моем острове недавно побывали люди или по крайней мере один человек. Я даже готов был допустить, что остров обитаем, а отсюда следовало, что меня каждую минуту могут захватить врасплох. Но я совершенно не знал, как оградить себя от этой опасности.

К каким только нелепым решениям не приходит человек под влиянием страха! Страх отнимает у нас способность распоряжаться теми средствами, какие разум предлагает нам в помощь. Если дикари, рассуждал я, найдут моих коз и увидят мои поля с растущим на них хлебом, они будут постоянно возвращаться на остров за новой добычей, а если они заметят мое жилье, то непременно примутся разыскивать его обитателей и доберутся до меня. Поэтому первой моей мыслью было переломать изгороди всех моих загонов и выпустить весь скот, затем перекопать оба поля и таким образом уничтожить всходы риса и ячменя, наконец, снести свою дачу, чтобы не осталось никаких признаков присутствия человека.

Этот план сложился у меня в первую ночь по возвращении моем из

только что описанной экспедиции на тот берег, под свежим впечатлением сделанных мною новых открытий. Страх опасности всегда страшнее опасности, уже наступившей, и ожидание зла в десять тысяч раз хуже самого зла. Для меня же всего ужаснее было то, что в этот раз я не находил облегчения в смирении и молитве. Я уподобился Саулу, скорбевшему не только о том, что на него идут филистимляне, но и о том, что Бог покинул его. Я не искал утешения там, где мог его найти, я не взывал к Богу в печали моей. А обратись я к Богу, как делал это прежде, я бы легче перенес это новое испытание, я бы смелее взглянул в глаза опасности, мне грозившей.

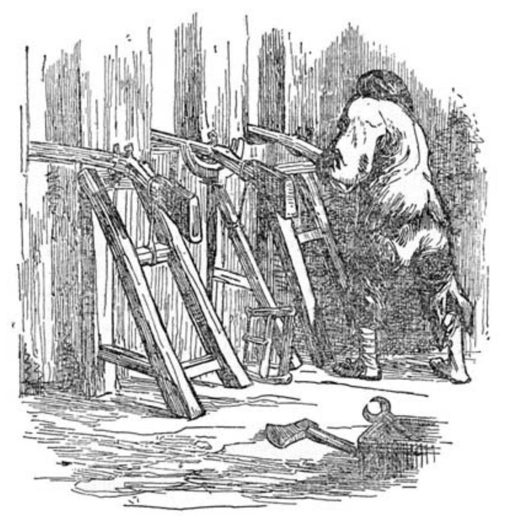
Так велико было мое смятение, что я не мог заснуть всю ночь. Зато под утро, когда мой дух ослабел от долгого бдения, я уснул крепким сном и, проснувшись, почувствовал себя гораздо лучше, чем все эти дни. Теперь я начал рассуждать спокойнее, и, по зрелом размышлении, вот к чему я пришел. Мой остров, богатый растительностью и лежавший недалеко от материка, был, конечно, не до такой степени заброшен людьми, как я воображал до сих пор, и хотя постоянных жителей на нем не было, но представлялось весьма вероятным, что дикари с материка приезжали на него иногда в своих пирогах; возможно было и то, что их пригоняло сюда течением или ветром; во всяком случае, они могли здесь бывать. Но так как за пятнадцать лет, которые я прожил на острове, я до последнего времени не открыл и следа человеческого, то, стало быть, если дикари и приезжали сюда, они тотчас же снова уезжали и никогда не имели намерения водвориться здесь.

Следовательно, единственная опасность, какая могла мне грозить, была опасность наткнуться на них в один из этих редких наездов. Но так как они приезжали сюда не по доброй воле, а их пригоняло ветром, то они спешили поскорее убраться домой, проведя на острове всего какую-нибудь ночь, чтобы не упустить отлива и успеть вернуться засветло.

Значит, мне нужно было только обеспечить себе безопасное убежище на случай их высадки на остров.

Мне пришлось теперь горько пожалеть, что я расширил пещеру за своей палаткой и вывел из нее ход наружу, за пределами моего укрепления. И вот, подумав, я решил построить вокруг моего жилья еще одну ограду, тоже полукругом, на таком расстоянии от прежней стены, чтобы выход из пещеры пришелся внутри укрепления. Впрочем, мне даже не понадобилось воздвигать новую стену: двойной ряд деревьев, которые я лет двенадцать назад посадил вдоль старой ограды, представлял уже и сам по себе надежный оплот – так часто были насажены деревья и так сильно они

разрослись. Оставалось только забить кольями промежутки между ними, чтобы превратить весь этот полукруг в сплошную, крепкую стену. Так я и сделал.



Теперь моя крепость была окружена двумя стенами. Внутреннюю стену, как уже знает читатель, я укрепил земляной насыпью футов в десять толщиной. Это было еще тогда, когда я расширил пещеру: по мере того как выкапывал землю, я сваливал ее к ограде и плотно утаптывал. Наружная же стена, как уже сказано, состояла из двойного ряда деревьев, между которыми я набил кольев, заложив пустое пространство внутри кусками старых канатов, обрубками дерева и всем, что только могло придать прочности моему брустверу и что оказалось у меня под рукой. Но я оставил в наружной стене семь небольших отверстий, настолько узких, что еле можно было просунуть в них руку. Эти отверстия должны были служить мне бойницами. Я вставил в каждое из них по мушкету (я уже говорил, что перевез к себе с корабля семь мушкетов). Мушкеты были у меня установлены на подставках, как пушки на лафетах, так что в какие-нибудь две минуты я мог разрядить все семь ружей. Много месяцев тяжелой работы потратил я на возведение этого укрепления: мне все казалось, что я не могу считать себя в безопасности, пока оно не будет готово.

Но мои труды не кончились на этом. Огромную площадь за наружной стеной я засадил теми похожими на иву деревьями, которые так хорошо принимались. Я думаю, что посадил их не менее двадцати тысяч штук. Но между деревьями и стеной я оставил довольно большое свободное пространство, чтобы мне было легче заметить неприятеля, если бы таковой вздумал атаковать мою крепость, и чтобы он не мог подкрасться к ней под прикрытием деревьев.

Через два года перед моим жильем была уже молодая рощица, а еще лет через пять-шесть его обступал высокий лес, почти непроходимый – так часто были насажены в нем деревья и так густо они разрослись. Никому в мире не пришло бы теперь в голову, что за этим лесом скрыто человеческое жилье. Чтобы входить в мою крепость и выходить из нее (так как я не оставил аллеи в лесу), я пользовался двумя лестницами, приставляя одну из них к сравнительно невысокому выступу в скале, на который ставил другую лестницу, так что, когда обе лестницы были убраны, ни одна живая душа не могла проникнуть ко мне, не сломав себе шею. Но даже допуская, что какому-нибудь смельчаку удалось бы благополучно спуститься с горы в мою сторону, он очутился бы все-таки не в самой крепости, а за пределами ее наружной стены.

Итак, я принял для своей безопасности все меры, какие только могла мне подсказать моя изобретательность, и, как читатель вскоре увидит, они были не совсем бесполезны, хотя во время работ опасность, от которой я хотел себя оградить, была скорее воображаемой, внушенной моими страхами.

Но, прилагая все старания, чтобы оградить себя от вторжения, я в то же время не забрасывал и других своих дел. Я по-прежнему тщательно ходил за моим маленьким стадом. Мои козы кормили и одевали меня, а это избавляло меня от необходимости охотиться и таким образом сберегало не только мой порох, но и силы и время. Выгода была так ощутительна, что мне, разумеется, не хотелось лишиться ее и потом начинать все сначала.

Чтобы избежать этого несчастья, по зрелом размышлении, я решил, что у меня только два способа сохранить коз: или загонять на ночь все стадо в пещеру (которую пришлось бы выкопать нарочно для этой цели), или устроить еще два или три отдельных загончика подальше один от другого, но непременно в укромных местах, где бы их было трудно найти, и поместить в каждом из них по полдюжине молодых коз: тогда, если бы даже главное стадо погибло вследствие какой-нибудь несчастной случайности, у меня все-таки осталось бы несколько коз и я мог бы без особенных хлопот развести новое стадо. В конце концов я остановился на последнем проекте как на более разумном, хотя осуществление его требовало немало времени и труда.

Я исходил весь остров, отыскивая самые глухие места, и наконец выбрал один уголок, такой уединенный, что лучшего нельзя было и желать. Это была небольшая полянка в низине, в чаще леса – того самого леса, где я заблудился, когда возвращался домой с восточной части острова. Вся полянка занимала около трех акров; лес обступал ее со всех сторон почти

сплошной стеной, образуя как бы естественную ограду; во всяком случае, устройство ограды потребовало от меня гораздо меньше труда, чем в других местах.

Я немедленно принялся за работу, и недели через четыре мой новый загон был огорожен настолько плотно, что можно было перевести в него коз. Теперь это не представляло большого труда, так как новые поколения коз утратили свою природную дикость. Я, не откладывая, отделил от стада десять молодых коз и двух козлов и перевел их в новый загон. Еще некоторое время я употребил на окончательное укрепление изгороди, и делал это не торопясь, очень медленно.



И все эти труды, все эти хлопоты порождены были страхом, обуявшим меня при виде отпечатка человеческой ноги на песке, ибо до сих пор я никогда не видел ни одной человеческой души ни на острове, ни близ него. После своего несчастного открытия вот уже два года, как я распростился со своей прежней безмятежной жизнью, чему легко поверят все те, кто испытал, что такое жизнь под вечным гнетом страха. С сожалением должен прибавить, что постоянная душевная тревога, в которой я пребывал в этот период, весьма дурно отразилась и на моих религиозных чувствах. Каждый вечер я ложился с той мыслью, что, может быть, не доживу до утра, что ночью на меня нападут дикари, что они убьют меня и съедят, и этот страх до такой степени угнетал мою душу, что лишь в редкие минуты я мог обращаться к Творцу с подобающим смирением и спокойным, умиленным духом. Если я и молился, то скорее как человек, который взывает к Богу в своем отчаянии, потому что видит свою близкую гибель. И я могу удостоверить на основании личного опыта, что к молитве больше располагает мирное настроение духа, когда мы чувствуем признательность, любовь и умиление, и что подавленный страхом человек так же мало

предрасположен к подлинно молитвенному настроению, как к раскаянию на смертном одре; страх – болезнь, расслабляющая душу, как расслабляет тело физический недуг, а как помеха молитве страх действует даже сильнее телесного недуга, ибо молитва есть духовный, а не телесный акт.

Глава 18

Людоеды на острове

Но возвращаюсь к рассказу. Обеспечив себя таким образом живым провиантом, я стал подыскивать другое укромное местечко для новой партии коз. Как-то раз, во время этих поисков, я добрался до западной оконечности острова, где никогда не бывал до тех пор. Не доходя до берега, я поднялся на пригорок, и, когда передо мной открылось море, мне показалось, что вдали виднеется лодка. В одном из сундуков, перевезенных мною с нашего корабля, я нашел несколько подзорных труб, но их со мной не было, и я не мог различить, была ли то действительно лодка, хотя проглядел все глаза, всматриваясь в даль. Спускаясь к берегу с пригорка, я уже ничего не видел; так я до сих пор не знаю, что это был за предмет, который я принял за лодку. Но с того дня я дал себе слово никогда не выходить из дому без подзорной трубы.

Добравшись до берега (это была часть острова, где, как уже сказано, я раньше не бывал), я не замедлил убедиться, что следы человеческих ног совсем не такая редкость на моем острове, как я воображал. Да, я убедился, что, не попади я по особенной милости Провидения на ту сторону острова, куда не приставали дикари, я бы давно уже знал, что посещения ими моего острова – самая обыкновенная вещь и что западные его берега служат им не только постоянной гаванью во время дальних морских экскурсий, но и местом, где они справляют свои каннибальские пиры. Но об этом я еще расскажу подробнее.

То, что я увидел, когда спустился с пригорка и подошел к берегу моря, буквально ошеломило меня. Весь берег был усеян человеческими костями: черепами, скелетами, костями рук и ног. Не могу выразить, какой ужас охватил мою душу при виде этой картины. Мне было известно, что дикие племена часто воюют между собой. Должно быть, думал я, после каждой стычки победители привозят с материка своих военнопленных на это побережье, где, по зверскому обычаю всех дикарей-людоедов, убивают и съедают их. В одном месте я заметил круглую, плотно утрамбованную площадку, посреди которой виднелись остатки костра: здесь-то, вероятно, и сидели бесчеловечные варвары, справляя свои ужасные пиры.

Все это до того меня поразило, что я даже не сразу вспомнил об опасности, которой подвергался, оставаясь на этом берегу, – ужас перед возмутительным извращением человеческой природы, способной дойти до

такой зверской жестокости, вытеснил из моей души всякий страх за себя. Я не раз слыхал о подобных проявлениях зверства, но никогда до тех пор мне не случалось видеть их самому. С крайним омерзением отвернулся я от ужасного зрелища: я ощущал страшную тошноту и, вероятно, лишился бы чувств, если б сама природа не пришла мне на помощь, очистив мой желудок обильной рвотой. Мне стало немного легче, но ни одной лишней минуты я не мог оставаться в этом ужасном месте; со всей быстротой, на какую был способен, я поднялся на пригорок и устремился назад, к своему жилью.



Отойдя немного от этой части острова, я остановился, чтобы опомниться и собраться с мыслями. В глубоком умилении поднял я глаза к небу и, обливаясь слезами, возблагодарил Создателя за то, что он судил мне родиться в иной части света, где нет таких зверей в человеческом образе. Благодарил я его и за то, что он послал мне в моей горькой доле столько утех, с избытком искупавших ее, а главное, за то, что мне дано было познать всю его неизреченную благость и обрести утешение в надежде на его всепрощение, ибо это было великое счастье, за которое можно было вытерпеть и не такие страдания, какие выпали мне.

В этом умиленном настроении вернулся я в свой замок и с того дня стал меньше бояться дикарей. На основании своих наблюдений я убедился, что эти варвары никогда не приезжали на остров за добычей – потому ли, что ни в чем не нуждались, или, может быть, потому, что не рассчитывали чем-нибудь поживиться в таком пустынном месте: в лесистой части острова они, несомненно, бывали не раз, но, вероятно, не нашли там для себя ничего подходящего. Достоверно было одно: я прожил на острове без малого восемнадцать лет и до последнего времени ни разу не находил человеческих следов, из чего следовало, что я мог прожить здесь еще столько же и не попасться на глаза дикарям, разве что наткнулся бы на них по собственной неосторожности. Но этого нечего было опасаться, так как единственной моей заботой было как можно лучше скрывать все признаки моего присутствия на острове и как можно реже выползать из своей норы, по крайней мере до тех пор, пока мне не представится лучшее общество, чем общество каннибалов.

Однако ужас и отвращение, внушенные мне этими дикими извергами и их бесчеловечным обычаем пожирать друг друга, повергли меня в мрачное настроение, и около двух лет я просидел в той части острова, где были расположены мои земли, то есть две мои усадьбы – крепость под горой и лесная дача, и та полянка в чаще леса, на которой я устроил загон, причем его я посещал только ради коз; мое отвращение к дикарям, этим отродьям ада, было таково, что я боялся встретиться с ними не меньше, чем с самим дьяволом. За это время я ни разу не сходил взглянуть на свою пирогу: я даже стал подумывать о сооружении другой лодки, так как окончательно решил, что не стану и пытаться привести свою лодку с той стороны острова. Я не имел ни малейшего желания столкнуться в море с дикарями, ибо знал, какая участь меня ожидает, если попадусь им в руки.

Между тем время и уверенность в том, что дикари не могут открыть мое убежище, сделали свое дело: я перестал их бояться и зажил своей прежней мирной жизнью, стой лишь разницею, что теперь я стал осторожнее и принимал все меры, чтоб не попасться им на глаза. Главное, я остерегался стрелять, чтобы не привлечь внимания дикарей, если бы они случайно находились на острове. К счастью, я мог теперь обходиться без охоты, так как вовремя позаботился обзавестись домашним скотом; несколько диких коз, которых я съел за это время, были пойманы с помощью силков или западней, так что за два года я, кажется, не сделал ни одного выстрела, хотя никогда не выходил без ружья. Больше того, я всегда засовывал за пояс пару пистолетов, найденных мной на корабле, и подвешивал на ремне через плечо остро отточенный тесак. Таким образом,

вид у меня был теперь самый устрашающий: ружье, топор, пара пистолетов и огромный тесак без ножен.

Итак, если откинуть в сторону необходимость быть всегда настороже, жизнь моя, как я уже сказал, вошла на некоторое время в свое прежнее покойное русло. Оценивая свое положение, я с каждым днем все больше убеждался, что оно далеко не плохо по сравнению с участью многих других, да, наконец, и сам я мог быть поставлен в гораздо более печальные условия, если бы так ссудил мне Господь. Насколько меньше роптали бы мы на судьбу и насколько больше были бы признательны Провидению, если бы, размышляя о своем положении, брали для сравнения худшее, а не лучшее, как мы это делаем, когда желаем оправдать свои жалобы.

В моем теперешнем положении я почти ни в чем не испытывал недостатка: мне кажется, что страх этих извергов-дикарей и, как последствие страха, вечная забота о своей безопасности сделали меня более равнодушным к житейским удобствам и притупили мою изобретательность. Я, например, так и не привел в исполнение одного своего проекта, который некоторое время сильно занимал меня. Мне очень хотелось попробовать сделать из ячменя солод и сварить пиво. Затея была довольно фантастическая, и я часто упрекал себя за свою наивность. Мне было хорошо известно, что для осуществления ее мне многого не хватает и достать этого невозможно. Прежде всего бочек для хранения пива, которых, как уже знает читатель, я никогда не мог сделать, хотя потратил много недель и месяцев на бесплодные попытки добиться толку в этой работе. Затем у меня не было ни хмеля, ни дрожжей, ни котла, так что даже варить его было не в чем. И тем не менее я твердо убежден, что, не нагони на меня тогда эти проклятые дикари столько страху, я приступил бы к осуществлению моей затеи и, может быть, добился бы своего, ибо, раз уж я затевал какое-нибудь дело, я редко бросал его, не доведя до конца.

Но в те времена моя изобретательность направилась совсем в другую сторону. День и ночь я думал только о том, как бы мне истребить несколько этих чудовищ во время их зверских развлечений и, если можно, спасти несчастную жертву, обреченную на съедение, которую они привезут с собой. Мне хотелось, если не удастся истребить этих извергов, хотя бы напугать их хорошенько и таким образом отвадить от моего острова. Но моя книга вышла бы слишком объемистой, если бы я задумал рассказать все хитроумные планы, какие слагались по этому поводу в моей голове. Однако это была пустая трата времени. Чтобы наказать людоедов, надо вступить с ними в бой, а что мог сделать один человек с двумя-тремя десятками этих варваров, вооруженных копьями и луками, из которых они

умели попадать в цель не хуже, чем я из ружья.

Приходило мне в голову вырыть яму в том месте, где они разводили огонь, и заложить в нее пять-шесть фунтов пороху. Когда они зажгут свой костер, порох воспламенится и взорвет все, что окажется поблизости. Но мне, во-первых, было жалко пороху, которого у меня оставалось не больше барреля, а во-вторых, я не мог быть уверен, что взрыв произойдет именно тогда, когда они соберутся у костра. В противном случае какой был бы из этого толк? Самое большее, что некоторых из них опалило бы порохом. Конечно, они испугались бы, но настолько ли, чтобы больше не появляться на острове? Так я и бросил эту затею. Думал я также устроить в подходящем месте засаду: спрятаться с тремя заряженными ружьями и выстрелить в дикарей в разгар их кровавой оргии, с полной уверенностью, что уложу на месте или раню двух-трех человек каждым выстрелом, а потом выскочить из засады и напасть на них с пистолетами и тесаком. Я не сомневался, что при таком способе действия сумею управиться со всеми своими врагами, будь их хоть двадцать человек. Я несколько недель носился с этой мыслью; она до такой степени меня поглощала, что часто мне снилось, будто я стреляю в дикарей или бросаюсь на них из засады.

На некоторое время я до того увлекся этим проектом, что потратил несколько дней на поиски подходящего места для предполагаемой засады против дикарей. Я начал посещать место их сборищ и даже как-то освоился с ним. И все же в те минуты, когда моя душа жаждала мести и ум был полон кровожадных планов избиения отвратительных, пожирающих друг друга выродков, ужас при виде страшных следов кровавой расправы человека с человеком несколько глушил мою злобу.

Место для засады было наконец найдено, то есть, собственно говоря, я подыскал два укромных местечка: с одного из них я предполагал стрелять в дикарей, другое же должно было служить мне пунктом для предварительных наблюдений. Это был выступ на склоне холма, откуда я мог, оставаясь невидимым, следить за каждой приближавшейся к острову лодкой. Завидев издали пирогу с дикарями, я мог, прежде чем они успели бы высадиться, незаметно пробраться в ближайший лесок. Там в одном дереве было такое большое дупло, что я легко мог в нем спрятаться. Сидя в этом дупле, я мог отлично наблюдать за дикарями и, улучив момент, когда они столпятся в кучу и будут, таким образом, представлять удобную мишень, стрелять, но без промаха, так, чтобы уложить первым же выстрелом трех-четырех человек.

Как только было выбрано место засады, я стал готовиться к походу. Я тщательно осмотрел и привел в порядок свои пистолеты, оба мушкета и

охотничье ружье. Мушкеты я зарядил семью пулями каждый: двумя большими кусками свинца и пятью пистолетными пулями; в охотничье ружье я всыпал хорошую горсть самой крупной дроби. Затем я заготовил пороху и пуль еще для трех зарядов и собрался в поход.

Когда мой план кампании был окончательно разработан и даже неоднократно приведен в исполнение в моем воображении, я начал ежедневно совершать экскурсии к вершине холма, который находился более чем в трех милях от моего замка. Я целыми часами смотрел, не видно ли в море каких-нибудь судов и не подходит ли к острову пирога с дикарями. Месяца два или три я самым добросовестным образом отправлял мою караульную службу, но наконец это мне надоело, ибо за все три месяца ни разу не увидел ничего похожего на лодку не только у берега, но и на всем пространстве океана, какое можно охватить глазом через подзорную трубу.

До тех пор, пока я аккуратно посещал свой наблюдательный пост, мое воинственное настроение не ослабевало, и я не находил ничего предосудительного в жестокой расправе, которую собирался учинить. Избиение двух-трех десятков почти безоружных людей казалось мне делом самым обыкновенным. Ослепленный негодованием, которое породило в моей душе отвращение к противоестественным нравам местного населения, я даже не задавался вопросом, заслуживают ли они такой кары. Я не подумал о том, что по воле Провидения они не имеют в жизни иных руководителей, кроме своих извращенных инстинктов и зверских страстей. Я не подумал, что если премудрое Провидение терпит на земле таких людей и терпело их, быть может, несколько столетий, если оно допускает существование столь бесчеловечных обычаев и не препятствует целым племенам совершать ужасные деяния, на которые могут быть способны только выродки, окончательно забытые небом, то, стало быть, не мне быть им судьей. Но когда, как уже сказано, мои ежедневные бесплодные выслеживания начали мне надоедать, тогда стал изменяться и мой взгляд на задуманное мною дело. Я стал спокойнее и хладнокровнее относиться к этой затее; я спросил себя, какое я имел право брать на себя роль судьи и палача этих людей. Пускай они преступны, но, коль скоро сам Бог в течение стольких веков предоставляет им творить зло безнаказанно, то, значит, на то его воля. Как знать, быть может, истребляя друг друга, они являются лишь исполнителями его приговоров? Во всяком случае, мне эти люди не сделали зла: по какому же праву я хочу вмешаться в их племенные распри? На каком основании я должен отомстить за кровь, которую они так неразборчиво проливают? Я рассуждал следующим образом: «Почем я

знаю, осудит ли их Господь? Несомненно одно: в глазах каннибалов каннибализм не есть преступление, их разум не находит ничего предосудительного в этом обычае, и совесть не упрекает их за него. Они грешат по неведению и, совершая свой грех, не бросают этим вызова Божественной справедливости, как делаем мы, когда грешим. Они не считают преступлением убить военнопленного – как мы не считаем преступным зарезать быка, и человеческое мясо они едят так же спокойно, как мы баранину».

Эти размышления привели меня к неизбежному выводу, что я был не прав, произнося свой строгий приговор над дикарями-людоедами как над убийцами. Теперь мне было ясно, что они не более убийцы, чем те христиане, которые убивают военнопленных или – что случается еще чаще – предают мечу, никому не давая пощады, целые армии, даже когда неприятель положил оружие и сдался.

Затем мне пришло в голову, что, каких бы зверских обычаев ни придерживались дикари, меня это не касается. Меня они ничем не обидели, так за что же мне их убивать? Вот если б они напали на меня и мне пришлось бы защищать свою жизнь, тогда другое дело. Но пока я не был в их власти, пока они не знали даже о моем существовании и, следовательно, не могли иметь никаких коварных замыслов против меня, до тех пор и я не имел права на них нападать. Это было бы нисколько не лучше поведения испанцев, прославившихся своими жестокостями в Америке, где они истребили миллионы людей. Положим, то были идолопоклонники и варвары; но при всех своих варварских обычаях и кровавых религиозных обрядах вроде человеческих жертвоприношений перед испанцами они ни в чем не провинились. Недаром же в наше время все христианские народы Европы и даже сами испанцы возмущаются этим истреблением американских народностей и говорят о нем как о бойне, как о кровавой и противоестественной жестокости, которая не может быть оправдана ни перед Богом, ни перед людьми. С тех времен самое имя испанца внушает ужас всякой человеческой душе, исполненной человеколюбия и христианского сострадания, как будто Испания такая уж страна, которая порождает людей, неспособных проникнуться христианскими правилами, чуждых всякому великодушному порыву, не знающих самой обыкновенной жалости к несчастным, свойственной благородным сердцам.

Эти рассуждения охладили мой пыл, и я стал понемногу отказываться от своей затеи, придя к выводу, что я не вправе убивать дикарей и что мне нет никакой надобности вмешиваться в их дела, пока они не трогают меня. Мне нужно заботиться только о предотвращении их нападения, если же

они меня откроют и нападут на меня, я сумею исполнить свой долг.

С другой стороны, я подумал, что осуществление моего плана не только не принесет мне избавления от дикарей, но приведет меня к гибели. Ведь только в том случае я могу быть уверен, что избавился от них, если мне удастся перебить их всех до единого, и не только всех тех, которые высадятся в следующий раз, но и всех, которые будут являться потом. Если же хотя бы один из них ускользнет и расскажет дома о случившемся, они нагрянут ко мне тысячами отомстить за смерть своих соплеменников! И я таким образом навлеку на себя верную гибель, которая в настоящее время вовсе мне не угрожала.

Взвесив все эти доводы, я решил не вмешиваться в дела варваров, так как это было бы с моей стороны и безнравственно и неблагоразумно, и что мне следует всячески скрываться от них и как можно лучше скрывать свои следы, чтоб дикари не могли догадаться, что на острове обитает человеческое существо.

Религия вкупе с благоразумием укрепила меня в убеждении, что я был не вправе вынашивать кровавые замыслы уничтожения невинных людей, невинных, во всяком случае, по отношению ко мне. Что же до их вины друг перед другом, то это меня не касалось. То был их национальный обычай, и мне следовало доверить возмездие Господу нашему, держащему все нации в деснице своей и ведающему, какое преступление какого наказания заслуживало и какими путями воздастся отмщение.

Все это стало столь очевидно для меня, что я почувствовал величайшее облегчение, что не успел совершить поступка, который теперь рассматривал как сознательное убийство; на коленях, смиренно благодарил я Господа, что он не допустил меня до кровопролития, умоляя его и впредь защищать меня, дабы я не попался в руки варваров и не принужден был сам поднять на них руку, либо дать мне какой-либо ясный знак свыше, что я вправе это сделать для защиты собственной жизни.

В таком состоянии духа я пробыл около года. Все это время я был так далек от каких-либо поползновений расправиться с дикарями, что ни разу не взбирался на холм посмотреть, не видно ли их и не оставили ли они каких-нибудь следов своего недавнего пребывания на берегу; я боялся, как бы при виде этих извергов во мне снова не заговорило желание хорошенько проучить их и я не соблазнился удобным случаем застать их врасплох. Я только увел оттуда свою лодку и переправил ее на восточную сторону острова, где для нее нашлась очень удобная бухточка, защищенная со всех сторон отвесными скалами. Я знал, что благодаря течению дикари ни за что не решатся высадиться в этой бухточке.

Я перевел свою лодку со всей ее оснасткой, с самодельной мачтой и самодельным парусом и чем-то вроде якоря (впрочем, это приспособление едва ли можно было назвать якорем или даже кошкой; но лучшего я сделать не мог). Словом, я убрал с того берега все до последней мелочи, чтобы не оставалось никаких признаков лодки или человеческого жилья на острове.



Кроме того, я, как уже сказано, жил более замкнуто, чем когда-либо, и без крайней необходимости не выползал из своей норы. Правда, я регулярно ходил доить коз и присматривать за своим маленьким стадом в лесу, но это было в противоположной стороне острова, так что я не подвергался ни малейшей опасности. Можно было с уверенностью сказать, что дикари приезжали на остров не за добычей и, следовательно, не ходили вглубь острова. Я не сомневался, что они не раз побывали на берегу и до и после того, как, напуганный сделанным мною открытием, я стал осторожнее. Я с ужасом думал о том, какова была бы моя участь, если бы, не подозревая о грозящей мне опасности, я случайно наткнулся на них в то время, когда, полунагой и почти безоружный (я брал тогда с собой только ружье, зачастую заряженное одной мелкой дробью), я беззаботно разгуливал по всему острову в поисках дичи, обшаривая каждый кустик. Что было бы со мной, если бы вместо отпечатка человеческой ноги я увидел бы вдруг человек пятнадцать-двадцать дикарей и они погнались бы за мной и, разумеется, настигли бы меня, потому что дикари бегают очень быстро?

От одной мысли об этом у меня сжималось сердце и мутился ум: ведь я был бы не в силах сопротивляться им; да и так растерялся бы, что не подумал предпринять даже то немногое, что было в моих силах, и уж, во всяком случае, сделал бы для своего спасения меньше, чем мог сделать теперь, когда я успел обдумать положение и приготовиться к обороне.

Словом, когда я принимался думать обо всем этом, на меня нападала тоска, от которой я иной раз подолгу не мог освободиться. Но в конце концов мои мрачные мысли разрешились глубокой благодарностью Провидению, избавившему меня от стольких неведомых мне опасностей и бед, которые я сам не мог бы предусмотреть, не имея ни малейшего представления о несчастьях, мне грозивших, и даже вообще не подозревая о существовании такой возможности. Меня теперь все чаще посещала одна мысль, неоднократно приходившая мне в голову и раньше, с того времени, как я впервые уразумел, как неустанно печется о нас милосердный Господь, охраняя нас от опасностей, уснащающих наш жизненный путь. Как часто мы, сами того не ведая, непостижимым образом избавляемся от грозящих нам бед! В минуты сомнения, когда человек колеблется, когда он, так сказать, стоит на распутье, не зная, по какой ему дороге идти, и даже тогда, когда он выбрал дорогу и уже готов вступить на нее, какой-то тайный голос удерживает его. Казалось бы, все – природные влечения, симпатии, здравый смысл, даже ясно осознанная определенная цель – зовет его на эту дорогу, а между тем его душа не может стряхнуть с себя необъяснимое влияние неизвестно откуда исходящего давления неведомой силы, не пускающей его туда, куда он был намерен идти. И потом всегда оказывается, что если б он пошел по той дороге, которую выбрал сначала и которую, по его собственному сознанию, должен был выбрать, она привела бы его к гибели. Под влиянием этих и подобных им размышлений у меня сложилось такое правило жизни: в минуты колебания смело следуй внушению внутреннего голоса, если услышишь его, хотя бы, кроме этого голоса, ничто не побуждало тебя поступить так, как он тебе советует. В доказательство безошибочности этого правила я мог бы привести множество примеров из своей жизни, особенно из последних лет моего пребывания на злополучном острове, не считая многих случаев, которые прошли для меня незамеченными и на которые я непременно обратил бы внимание, если бы всегда смотрел на эти вещи такими глазами, как смотрю теперь. Но никогда не поздно поумнеть, и я не могу не посоветовать всем рассудительным людям, чья жизнь сложилась так же необычайно, как моя – да пусть хоть и менее необычайно, – никогда не пренебрегать внушениями этого Божественного тайного голоса, от какого бы невидимого разума он ни исходил. Для меня несомненно – хотя я и не могу этого объяснить, – что в этих таинственных указаниях мы должны видеть доказательство общения душ, существования связи между телесным и бесплотным миром. Мне представится случай привести несколько замечательных примеров этого общения при дальнейшем описании моей

одинокой жизни на этом печальном острове.

Я думаю, читателю не покажется странным, когда я ему скажу, что сознание вечно грозящей опасности, под гнетом которого я жил последние годы, и никогда не покидавшие меня страх и тревога убили во мне всякую изобретательность и положили конец всем моим затеям касательно увеличения моего благосостояния и домашних удобств. Мне было не до забот об улучшении моего стола, когда я только и думал, как бы спасти свою жизнь. Я не смел ни вбить гвоздя, ни расколоть полена, боясь, что дикари могут услышать стук. Стрелять я и подавно не решался по той же причине. Но главное, на меня нападал неописуемый страх всякий раз, когда мне приходилось разводить огонь, так как дым, который днем виден на большом расстоянии, всегда мог выдать меня. Ввиду этого я даже перенес все те поделки (в том числе и гончарную мастерскую), для которых требовался огонь, в новое помещение, которое я, к несказанной моей радости, нашел в лесу; это была природная пещера в скале, очень просторная внутри, куда, я уверен, ни один дикарь не отважился бы забраться, даже если бы находился у самого входа в нее; только человеку, который, как я, нуждался в безопасном убежище, могла прийти фантазия залезть в эту дыру.

Устье пещеры находилось под высокой скалой, у подножия которой я рубил толстые сучья на уголь. Но прежде чем продолжать, я должен объяснить, зачем мне понадобился древесный уголь.

Как уже сказано, я боялся разводить огонь подле моего жилья – боялся из-за дыма; а между тем не мог же я не печь хлеба, не варить мяса, вообще обходиться без стряпни! Вот я и придумал заменить дрова углем, который почти не имеет дыма. Я видел в Англии, как добывают уголь, пережигая толстые сучья под слоем дерна. То же стал делать и я. Я производил эту работу в лесу, перетаскивал домой готовый уголь и жег его вместо дров без риска выдать дымом мое местопребывание.

Но это между прочим. Так вот, в один из тех дней, когда я работал в лесу топором, я вдруг заметил за большим кустом небольшое углубление в скале. Меня заинтересовало, куда может вести этот ход; я полез в него, хоть и с большим трудом, и очутился в пещере высотой в два человеческих роста. Но сознаюсь, что вылез оттуда гораздо скорее, чем залез. И немудрено: всматриваясь в темноту (так как в глубине пещеры было совершенно темно), я увидел два горящих глаза какого-то существа – человека или дьявола, не знаю, – они сверкали, как звезды, отражая слабый дневной свет, проникающий в пещеру снаружи и падавший на них.

Немного погодя я, однако, опомнился и обозвал себя дураком. Кто

прожил двадцать лет один-одинешенек среди океана, тому нечего бояться черта, сказал я себе. Наверное, уж в этой пещере нет никого страшнее меня! И, набравшись храбрости, захватил горящую головню и снова залез в пещеру. Но не успел я ступить и трех шагов, освещая себе путь головешкой, как попятился назад, перепуганный чуть ли не больше прежнего: я услышал громкий вздох, как вздыхают от боли, затем какие-то прерывистые звуки вроде бормотания и опять тяжкий вздох. Я оцепенел от ужаса; холодный пот выступил у меня по всему телу, и волосы встали дыбом, так что, будь на мне шляпа, я не ручаюсь, что она не свалилась бы с головы. Тем не менее, я не потерял присутствия духа: стараясь ободрить себя мыслью, что Всевышний везде может меня защитить, я снова двинулся вперед и при свете факела, который я держал над головой, увидел на земле огромного страшного старого козла. Он лежал неподвижно и тяжело дышал в предсмертной агонии: по-видимому, он околевал от старости.

Я пошевелил его ногой, чтобы заставить подняться. Он попробовал встать, но не мог. Пускай его лежит, покуда жив, подумал я тогда; если он меня напугал, то, наверно, не меньше напугает каждого дикаря, который вздумает сунуться сюда.

Оправившись от испуга, я стал осматриваться кругом. Пещера была очень маленькая – около двенадцати квадратных футов, – крайне бесформенная: ни круглая, ни квадратная, – было ясно, что здесь работала одна природа, без всякого участия человеческих рук. Я заметил также в глубине ее отверстие, уходившее еще дальше под землю, но настолько узкое, что пролезть в него можно было только ползком. Не зная, куда ведет этот ход, я не захотел без свечи проникнуть в него, но решил прийти сюда снова на другой день со свечами, с коробочкой для трута, которую я смастерил из ружейного замка, и горящим углем в миске.

Так я и сделал. Я взял с собой шесть больших свечей собственного изделия (к тому времени я научился делать очень хорошие свечи из козьего жира) и вернулся в пещеру. Подойдя к узкому ходу в глубине пещеры, о котором было сказано выше, я вынужден был стать на четвереньки и ползти в таком положении десять ярдов, что было, к слову сказать, довольно смелым подвигом с моей стороны, если принять во внимание, что я не знал, куда ведет этот ход и что ожидает меня впереди. Миновав самую узкую часть прохода, я увидел, что он начинает все больше расширяться, и тут глаза мои были поражены зрелищем, великолепнее которого я на моем острове ничего не видал. Я стоял в просторном гроте футов в двадцать вышиной; пламя моих двух свечей отражалось от стен и свода, и они

отсвечивали тысячами разноцветных огней. Были ли то алмазы, или другие драгоценные камни, или же – что казалось всего вернее – золото?



Я находился в восхитительном, хотя и совершенно темном, гроте с сухим и ровным дном, покрытым мелким песком. Нигде никаких признаков плесени или сырости; нигде ни следа отвратительных насекомых и ядовитых гадов. Единственное неудобство – узкий ход, но для меня это неудобство было преимуществом, так как я хлопотал о безопасном убежище, а безопаснее этого трудно было сыскать. Я был в восторге от своего открытия и решил, не откладывая, перенести в мой грот все те свои вещи, которыми я особенно дорожил, и прежде всего порох и все запасное оружие, а именно: два охотничьих ружья (всех ружей у меня было три) и три из восьми находившихся в моем распоряжении мушкетов. Таким образом, в моей крепости осталось только пять мушкетов, которые у меня всегда были заряжены и стояли на лафетах, как пушки, у моей наружной ограды, но всегда были к моим услугам, если я собирался в какой-нибудь поход.

Перетаскивая в новое помещение порох и запасное оружие, я заодно откупорил и бочонок с подмоченным порохом. Оказалось, что вода проникла в бочонок только на три, на четыре дюйма кругом; подмокший порох затвердел и ссохся в крепкую корку, в которой остальной порох лежал, как ядро ореха в скорлупе. Таким образом, я неожиданно разбогател

еще фунтов на шестьдесят хорошего пороху. Это был весьма приятный сюрприз. Весь этот порох я перенес в мой грот для большей сохранности и никогда не держал в своей крепости более трех фунтов на всякий случай. Туда же, то есть в грот, я перетащил и весь свой запас свинца, из которого я делал пули.

Я воображал себя в то время одним из древних великанов, которые, говорят, жили в расщелинах скал и в пещерах, неприступных для простых смертных. Пусть хоть пятьсот дикарей рыщут по острову, разыскивая меня: они не откроют моего убежища, говорил я себе, а если даже и откроют, так все равно не посмеют проникнуть ко мне.

Старый козел, которого я нашел издыхающим при входе в пещеру, на другой же день околел. Во избежание зловония от разлагающегося трупа я закопал его в яму, вырыв ее тут же, в пещере, подле него; это было легче, чем вытаскивать его вон.

Шел уже двадцать третий год моего житья на острове, и я успел до такой степени освоиться с этой жизнью, что, если бы не страх перед дикарями, которые могли потревожить меня, я бы охотно согласился провести здесь весь остаток моих дней до последнего часа, когда я лег бы и умер, как старый козел в пещере. Я придумал себе несколько маленьких развлечений, и время протекало для меня гораздо веселее, чем прежде. Во-первых, как уже знает читатель, я научил говорить своего Попку, и он так мило болтал, произносил слова так раздельно и внятно, что было большим удовольствием слушать его. Он прожил у меня не менее двадцати шести лет. Как долго жил он потом, я не знаю; впрочем, я слышал в Бразилии, что попугаи живут по сто лет. Может быть, верный мой Попка и теперь еще летает по острову, призывая бедного Робина Крузо. Не дай Бог ни одному англичанину попасть на мой остров и услышать его; бедняга, с которым случилось бы такое несчастье, наверное, принял бы моего Попку за дьявола. Мой пес был моим верным и преданным другом в течение шестнадцати лет; он околел от старости. Что касается моих кошек, то, как я уже говорил, они так расплодились, что я принужден был стрелять по ним несколько раз, иначе они загрызли бы меня и уничтожили бы все мои запасы. Когда две старые кошки, взятые мной с корабля, издохли, я продолжал распугивать остальных выстрелами и не давал им есть, так что в заключение все они удрали в лес и одичали. Я оставил у себя только двух или трех любимиц, которых приручил и потомство которых неизменно топил, как только оно появлялось на свет; они стали членами моей разношерстной семьи. Кроме того, я всегда держал при себе двух-трех козлят, приучая их есть из рук. Было у меня еще два попугая, не считая

старого Попки; оба они тоже умели говорить, и оба выкликали: «Робин Крузо», но далеко не так хорошо, как первый. Правда и то, что на него я потратил гораздо больше времени и труда. Затем я поймал и приручил несколько морских птиц, названий которых я не знал. Всем им я подрезал крылья, так что они не могли улететь. Молодые деревца, посаженные мною перед крепостью, чтоб лучше скрыть ее на случай появления дикарей, разрослись в густую рощу, и мои птицы поселились в этой роще и плодились, что меня очень радовало. Таким образом, повторяю, я чувствовал себя спокойно и хорошо и был бы совершенно доволен своею судьбою, если б мог избавиться от страха перед дикарями.

Но судьба судила иначе, и пусть все, кому доведется прочесть эту повесть, обратят внимание на то, как часто в течение нашей жизни зло, которого мы всего более страшимся и которое, когда оно нас постигло, представляется нам верхом человеческих испытаний, – как часто это зло становится вернейшим и единственным путем избавиться от преследующих нас несчастий. Я мог бы привести много примеров из собственной жизни в подтверждение правильности своих слов, но особенно замечательны в этом отношении события последних лет моего одинокого житья на острове.

Глава 19

Возвращение дикарей. — Корабль

Итак, шел двадцать третий год моего заточения. Наступил декабрь – время южного солнцестояния (я не могу назвать зимой такую жаркую пору), а для меня – время уборки хлеба, требовавшей постоянного моего присутствия на полях. И вот однажды, выйдя из дому перед рассветом, я был поражен, увидев огонь на берегу, милях в двух от моего жилья и, к великому моему ужасу, не в той стороне острова, где, по моим наблюдениям, высаживались посещавшие его дикари, а в той, где жил я сам.

Я был поистине сражен тем, что увидел, и притаился в своей роще, не смея ступить дальше ни шагу, чтобы не наткнуться на нежданных гостей. Но и в роще я не чувствовал себя спокойно, я боялся: если дикари начнут шнырять по острову и увидят мои поля с растущим на них хлебом или что-нибудь из моих работ, они сейчас же догадаются, что на острове живут люди, и не успокоятся, пока не разыщут меня. Подгоняемый страхом, я

живо вернулся в свою крепость, поднял за собой лестницу, чтобы замести следы.

Затем я начал готовиться к обороне: зарядил все мои пушки (как назвал я мушкеты, стоявшие у меня на лафетах вдоль наружной стены) и все пистолеты и решил защищаться до последнего вздоха; не забыл я попросить защиты и у Всевышнего, горячо моля его охранить меня от варваров. В этом положении я пробыл два часа, не получая никаких вестей извне: у меня не было лазутчиков, чтобы произвести разведку.

Просидев так еще несколько времени и истощив свое воображение, я не в силах был выносить долее неизвестность и полез на гору способом, описанным выше, то есть при помощи лестницы, приставляя ее к уступу горы, спускавшейся в мою сторону. Добравшись до самой вершины, я вынул из кармана подзорную трубу, которую захватил с собой, лег животом на землю и, направив трубу на то место берега, где я видел огонь, стал смотреть. Я увидел человек десять голых дикарей, сидевших кружком подле костра. Конечно, костер они развели не для того, чтобы погреться, так как стояла страшная жара, а, вероятно, затем, чтобы состряпать свой варварский обед из человечьего мяса. Дичина, наверно, была уже заготовлена, но живая или убитая – я не знал.



Дикари приехали в двух лодках, которые теперь лежали на берегу: было время отлива, и они, видимо, дожидались прилива, чтобы пуститься в обратный путь. Вы не можете себе представить, в какое смятение повергло меня это зрелище, а главное, то, что они высадились на моей стороне острова, так близко от моего жилья. Впрочем, потом я немного успокоился, сообразив, что, вероятно, они всегда приезжают во время прилива и что, следовательно, во все время отлива я смело могу выходить, если только они не высадились до его начала. Это наблюдение успокоило меня, и я

продолжал уборку урожая, только с большими предосторожностями.

Как я ожидал, так и вышло: лишь только начался прилив, дикари сели в лодки и отчалили. Я забыл сказать, что за час или за полтора до отъезда они плясали на берегу: я ясно различал в подзорную трубу их странные телодвижения и прыжки. Я видел также, что все они были нагишом, но были ли то мужчины или женщины – не мог разобрать.

Как только они отчалили, я спустился с горы, вскинул на плечи оба свои ружья, заткнул за пояс два пистолета, тесак без ножен и, не теряя времени, отправился к тому холму, откуда впервые заметил появление этих людей. Добравшись туда (что заняло не менее двух часов времени, так как я был навьючен тяжелым оружием и не мог идти скоро), я взглянул в сторону моря и увидел еще три лодки с дикарями, направлявшиеся от острова к материку.

Это открытие подействовало на меня удручающим образом, особенно когда, спустившись к берегу, я увидел остатки только что справлявшегося там ужасного пиршества: кровь, кости и куски человеческого мяса, которое эти звери пожрали с легким сердцем, приплясывая и веселясь. Меня охватило такое негодование при виде этой картины, что я снова стал обдумывать план уничтожения первой же группы варваров, которую я увижу на берегу, как бы ни была она многочисленна.

Не подлежало, однако, сомнению, что дикари посещают мой остров очень редко: прошло пятнадцать с лишком месяцев со дня последнего их визита, и за все это время я не видел ни их самих, ни свежих следов человеческих ног, вообще ничего такого, что бы указывало на недавнее их присутствие на берегу. В дождливый же сезон они, наверно, совсем не бывали на моем острове – вероятно, не отваживались выходить из дому, по крайней мере так далеко. Тем не менее все эти пятнадцать месяцев я не знал покоя, ежеминутно ожидая, что ко мне нагрянут незваные гости и нападут на меня врасплох. Отсюда я заключаю, что ожидание зла несравненно хуже самого зла, особенно когда ожиданию и страхам не предвидится конца.

В те дни я был в самом кровожадном настроении и все свое свободное время (которое, к слову сказать, я мог бы употребить с гораздо большей пользой) был занят тем, что придумывал, как бы мне напасть на дикарей врасплох в ближайший же их приезд, особенно если они опять разделятся на две группы, как это было в последний раз. Но я упустил из виду, что, если я перебью всю первую группу, положим, в десять или двенадцать человек, мне на другой день, или через неделю, или, может быть, через месяц придется иметь дело с новой группой, а там опять с новой и так ad

infinitum[2], пока я сам не превращусь в такого же, если не худшего, убийцу, как эти дикари-людоеды.

Мои дни проходили теперь в вечной тревоге. Я был уверен, что рано или поздно мне не миновать лап этих безжалостных зверей, и, когда какое-нибудь неотложное дело выгоняло меня из моей норы, я совершал свой путь с величайшими предосторожностями и поминутно озирался кругом. Вот когда я оценил удобство иметь домашний скот: моя мысль держать коз в загонах была поистине счастливая мысль. Стрелять я не смел, особенно в той стороне острова, где обыкновенно высаживались дикари: я боялся всполошить их своими выстрелами; если бы они на этот раз убежали от меня, то, наверное, явились бы снова через несколько дней уже на двухстах или трехстах лодках, и я знал, что меня тогда ожидало.

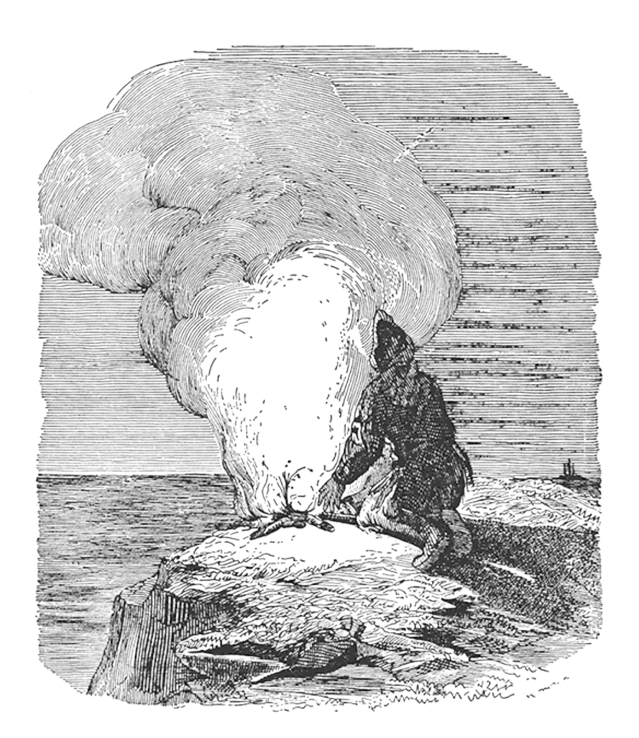
Но, как уже сказано, только через год и три месяца я снова увидел дикарей, о чем я вскоре расскажу. Возможно, впрочем, что дикари не раз побывали на острове в течение этого года, но, должно быть, они никогда не оставались надолго, во всяком случае, я их не видел; но в мае двадцать четвертого года моего пребывания на острове (как выходило по моим вычислениям) у меня произошла замечательная встреча с ними, о чем будет рассказано в своем месте.

Не могу выразить, каким тревожным временем были для меня эти пятнадцать месяцев. Я плохо спал, каждую ночь видел страшные сны и часто вскакивал, проснувшись в испуге. Иногда мне снилось, что я убиваю дикарей и придумываю оправдания для расправы. Я и днем не знал ни минуты покоя. Но оставим на время эту тему.

В середине мая, а именно 16-го, если верить моему жалкому деревянному календарю, на котором я продолжал отмечать числа, сутра до вечера бушевала сильная буря с грозой, и день сменился такою же бурной ночью. Я читал Библию, погруженный в серьезные мысли о своем положении. Вдруг я услышал пушечный выстрел, и как мне показалось, со стороны моря.

Я вздрогнул от неожиданности; но эта неожиданность не имела ничего общего с теми сюрпризами, какие судьба посылала мне до сих пор. Нового рода были и мысли, пробужденные во мне этим выстрелом. Боясь потерять хотя бы секунду драгоценного времени, я сорвался с места, мигом приставил лестницу к уступу горы и стал карабкаться наверх. Едва я успел взобраться на вершину, как передо мной блеснул огонек выстрела, и через полминуты раздался второй пушечный выстрел. По направлению звука я без труда различил, что стреляют в той части моря, куда когда-то меня угнало течением вместе с моей лодкой.

Я догадался, что это какой-нибудь погибающий корабль подает сигналы о своем бедственном положении и что невдалеке находится другой корабль, к которому он взывает о помощи. Несмотря на все свое волнение, я сохранил присутствие духа и успел сообразить, что если я не могу выручить из беды этих людей, зато они, может быть, меня выручат. Не теряя времени, я собрал весь валежник, какой нашелся поблизости, сложил его в кучу и зажег. Сухое дерево сразу занялось, несмотря на сильный ветер, и так хорошо разгорелось, что с корабля – если только это действительно был корабль – не могли не заметить моего костра. И он был, несомненно, замечен, потому что, как только вспыхнуло пламя, раздался новый пушечный выстрел, потом еще и еще все с той же стороны. Я поддерживал костер всю ночь до рассвета, а когда совсем рассвело и небо прояснилось, я увидел в море с восточной стороны острова, но очень далеко от берега, не то парус, не то кузов корабля – я не мог разобрать даже в подзорную трубу из-за тумана, который на море еще не совсем рассеялся.



Весь день я наблюдал за видневшимся в море предметом и вскоре убедился, что он неподвижен. Я заключил отсюда, что это стоящий на якоре корабль. Легко представить, как не терпелось мне удостовериться в правильности моей догадки; я схватил ружье и побежал на юго-восточный берег, к скалам, где я когда-то был унесен течением. Погода между тем совершенно прояснилась, и, придя на место, я, к великому моему

огорчению, отчетливо увидел кузов корабля, наскочившего ночью на подводные рифы, замеченные мною во время путешествия в лодке; эти рифы преграждали путь морскому течению и продолжали как бы встречное течение, и потому им я обязан избавлением от самой страшной опасности, какой я когда-либо подвергался за всю свою жизнь.

Таким образом, то, что является спасением для одного, губит другого. Должно быть, эти люди, кто б они ни были, не зная о существовании рифов, совсем закрытых водой, наскочили на них ночью из-за сильного восточно-северо-восточного ветра. Если бы на корабле заметили остров (а я думаю, его едва ли заметили), то спустили бы шлюпки и попытались бы добраться до берега. Но то обстоятельство, что там палили из пушек, особенно после того, как я зажег свой костер, породило во мне множество предположений: то я воображал, что, увидев мой костер, они сели в шлюпку и стали грести к берегу, но не могли выгрести из-за волнения и потонули; то мне казалось, что они лишились всех своих шлюпок еще до крушения, что могло случиться вследствие многих причин: например, при сильном волнении, когда судно зарывается в воду, очень часто приходится выбрасывать за борт или ломать шлюпки. Возможно, было и то, что погибший корабль был лишь одним из двух или нескольких судов, следовавших по одному направлению, и что, услыхав сигнальные выстрелы, эти последние корабли подобрали всех бывших на нем людей. Наконец, могло случиться и так: спустившись в шлюпку, экипаж корабля попал в упомянутое выше течение и был унесен в открытое море на верную смерть, и теперь эти несчастные умирают от голода и готовы съесть друг друга.

Так как все это были простые догадки, то в моем положении я мог только пожалеть несчастных. Благотворной для меня стороной этого печального происшествия было то, что оно послужило лишним поводом возблагодарить Провидение, которое так неусыпно заботилось обо мне, покинутом и одиноком, и определило так, что из экипажей двух кораблей, разбитых у этих берегов, не спаслось ни души, кроме меня. Я получил, таким образом, новое подтверждение того, что, несмотря на всю бедственность и ужас нашего положения, в нем всегда найдется, за что поблагодарить Провидение, если мы сравним его с положением еще более ужасным.

А таково именно было, по всей вероятности, положение экипажа разбившегося корабля; трудно было допустить, чтобы кому-нибудь из людей удалось спастись в такую страшную бурю, если только их не подобрало другое судно, находившееся поблизости. Но ведь это была лишь

возможность, да и то очень слабая: по крайней мере никаких следов другого корабля я не видел.

Где я найду слова, чтобы передать ту страстную тоску, те горячие желания, которые овладели мной, когда я увидел корабль? С моих губ, помимо моей воли, беспрестанно слетали слова: «Ах, если бы хоть два или три человека… нет, хоть бы один из них спасся и приплыл ко мне! Тогда у меня был бы товарищ, был бы живой человек, с которым я мог бы разговаривать». Ни разу за все долгие годы моей отшельнической жизни не испытал я такой настоятельной потребности в обществе людей и ни разу не почувствовал так больно своего одиночества.

Есть тайные пружины страстных влечений, которые, будучи приведены в движение каким-либо видимым предметом или же предметом, хотя бы и невидимым, но оживленным в нашем сознании силой воображения, увлекают душу к этому предмету с такой неистовой силой, что его отсутствие становится невыносимым.

Таким именно было мое горячее желание, чтобы хоть один человек из экипажа разбившегося корабля спасся. «Ах, хоть бы один! Хоть бы один!» Я повторял эти слова тысячу раз. И желание мое было так сильно, что, произнося их, я судорожно сжимал руки, и пальцы мои впивались в ладони; находись у меня там хрупкий предмет, я невольно раздавил бы его; и я так крепко стискивал зубы, что потом не сразу мог разжать их.

Глава 20

Вещи с корабля. — Попытка покинуть остров

Пускай ученые доискиваются причины этого рода явлений; я же только описываю факт, так поразивший меня, когда я его обнаружил. Но, хоть я не берусь объяснить его происхождение, все же он был, несомненно, результатом страстного желания и нарисованных моим воображением картин счастья, которое сулила мне встреча с кем-либо из моих братьев-христиан.

Но тяготел ли надо мной злой рок или же люди, что плыли на разбившемся корабле, были обречены на погибель, только мне не суждено было тогда изведать это счастье. Так до последнего года моего житья на острове я и не узнал, спасся ли кто-нибудь с погибшего корабля. Я только сделал через несколько дней одно печальное открытие: нашел на берегу, против того места, где разбился корабль, труп утонувшего юнги. На нем

были короткие холщовые штаны, синяя холщовая же рубаха и матросская куртка. Ни по каким признакам нельзя было определить его национальность: в карманах у него не оказалось ничего, кроме двух золотых монет да трубки, и, разумеется, последней находке я обрадовался гораздо больше, чем первой.



После бури наступил полный штиль, и мне очень хотелось попробовать добраться в лодке до корабля. Я был уверен, что найду там много такого, что может мне пригодиться; но, собственно, не это прельщало меня, а надежда, что, может быть, на корабле осталось какое-нибудь живое существо, которое я могу спасти от смерти и таким образом скрасить свою печальную жизнь. Эта мысль овладела всей моей душой: я чувствовал, что ни днем ни ночью не буду знать покоя, пока не попытаюсь добраться в лодке до корабля, положившись на волю Божию. Побуждение, увлекавшее меня, было так сильно, что я не мог противиться, принял его за указание свыше и чувствовал бы угрызения совести, если бы не исполнил его.

Под влиянием этого импульса я поспешил вернуться в свой замок и стал готовиться к поездке. Я взял хлеба, большой кувшин пресной воды, компас, бутылку рома (которого у меня оставался еще изрядный запас), корзину с изюмом и, навьючив на себя всю эту кладь, отправился к своей лодке, выкачал из нее воду, спустил в море, сложил в нее все, что принес, и вернулся домой за новым грузом. На этот раз я взял большой мешок риса, второй большой кувшин с пресной водой, десятка два небольших ячменных хлебцев или, вернее, лепешек, бутылку козьего молока, кусок сыру и зонтик, который должен был служить мне тентом. Все это я с великим трудом – в поте лица моего, можно сказать, – перетащил в лодку и, помолившись Богу, чтобы он направил мой путь, отчалил. Стараясь держаться поближе к берегу, я прошел на веслах все расстояние до северо-

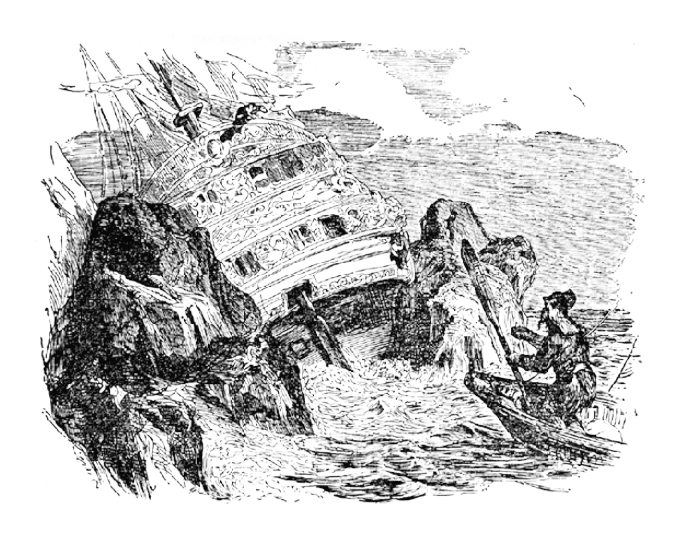
восточной оконечности острова. Отсюда мне предстояло пуститься в открытое море. Риск был большой. Идти или нет? Я взглянул на быструю струю морского течения, огибавшего остров на некотором расстоянии от берега, вспомнил свою первую экскурсию, вспомнил, какой страшной опасности я тогда подвергался, и решимость начала мне изменять; я знал, что, если я попаду в струю течения, меня унесет далеко от берега и я могу даже потерять из виду мой островок, а тогда стоит лишь подняться свежему ветру, чтобы мою лодчонку залило водой.

Эти мысли так меня обескуражили, что я готов был отказаться от своего предприятия. Я причалил к берегу в маленькой бухточке, вышел из лодки и сел на пригорок, колеблясь в душе между желанием побывать на корабле и страхом перед опасностями, меня ожидающими. В то время как я был погружен в свои размышления, на море начался прилив, и волей-неволей я должен был отложить свое путешествие на несколько часов. Тогда мне пришло в голову, что хорошо бы воспользоваться этим временем и, забравшись на какое-нибудь высокое место, удостовериться, как направляется течение при приливе и нельзя ли будет воспользоваться этим течением на обратном пути с корабля на остров. Не успел я это подумать, как увидел невдалеке горку, невысокую, но на открытом месте, так что с нее должно было быть видно море по обе стороны острова и направление течений. Поднявшись на эту горку, я не замедлил убедиться, что течение отлива идет с южной стороны острова, а течение прилива – с северной стороны и что, следовательно, при возвращении с корабля мне нужно будет держать курс на север острова, и я доберусь до берега вполне благополучно.

Ободренный этим открытием, я решил пуститься в путь на следующее же утро, как только начнется отлив. Переночевал я в лодке, укрывшись упомянутой матросской шинелью, а наутро вышел в море. Сначала я взял курс в открытое море, прямо на север и шел этим курсом, пока не добрался до течения, направлявшегося на восток. Меня понесло очень быстро, но все же не с такой быстротой, с какой несло меня течение с южной стороны острова в первую мою поездку. Тогда я совершенно не мог управлять лодкой, теперь же свободно действовал рулевым веслом и несся прямо к кораблю. Я добрался до него менее чем через два часа.

Грустное зрелище открылось мне: корабль (по виду испанский) застрял между двух утесов. Вся корма была снесена; грот– и фок-мачту срезало до основания, но бушприт и вообще вся носовая часть уцелели. Когда я подошел к борту, на палубе показалась собака. Увидев меня, она принялась выть и визжать, а когда я поманил ее, спрыгнула в воду и подплыла ко мне.

Я взял ее в лодку. Бедное животное буквально умирало от голода. Я дал ей хлеба, и она набросилась на него, как изголодавшийся за зиму волк. Когда она наелась, я поставил перед ней воду, и она стала так жадно лакать, что, наверное, лопнула бы, если бы дать ей волю.



Затем я поднялся на корабль. Первое, что я там увидел, были два трупа: они лежали у входа в рубку, крепко сцепившись руками. По всей вероятности, когда корабль наскочил на риф, его все время обдавало водой, так как была сильная буря, и весь экипаж захлебнулся, как если б он пошел на дно. Кроме собаки, на корабле не было ни одного живого существа, и все оставшиеся на нем товары подмокли. Я видел в трюме какие-то бочонки, с вином или с водкой – не знаю, но они были так велики, что я не пытался их достать. Было там еще несколько сундуков, должно быть, принадлежавших матросам; два сундука я переправил на лодку, не открывая.

Если бы вместо носовой части уцелела корма, я бы, наверно, воротился с богатой добычей: по крайней мере, судя по содержимому двух взятых мною сундуков, можно было предположить, что корабль вез очень ценные вещи. Вероятно, он шел из Буэнос-Айреса или из Рио-де-ла-Платы в южной части Америки, мимо берегов Бразилии в Мексиканский залив, в Гавану, а оттуда – в Испанию. Несомненно, на нем были большие богатства, но в этот момент никому от них не было проку, а что сталось с людьми, я тогда не знал.

Кроме сундуков, я взял еще бочонок с каким-то спиртным напитком. Бочонок был небольшой – около двадцати галлонов вместимостью, – но все-таки мне стоило большого труда перетащить его в лодку. В каюте я нашел несколько мушкетов и фунта четыре пороха в пороховнице;

мушкеты я оставил, так как они были мне не нужны, а порох взял. Я взял лопаточку для угля и каминные щипцы, в которых очень нуждался, затем два медных котелка, медный кофейник и рашпер. Со всем этим грузом и собакой и отчалил от корабля, так как уже начинался прилив, и в тот же день, к часу ночи, вернулся на остров, изнеможенный до последней степени.

Я провел ночь в лодке, а утром решил перенести свою добычу в новый грот, чтобы не тащить ее к себе в крепость. Подкрепившись едой, я выгрузил на берег привезенные вещи и произвел подробный осмотр их. В бочонке оказался ром, но, говоря откровенно, весьма неважный, совсем не такой, как тот, что был у нас в Бразилии; зато в сундуках я нашел несколько полезных вещей, например, изящной работы погребец, уставленный бутылками какой-то особенной формы, с серебряными пробками (в каждой бутылке было до трех пинт очень хорошей настойки); затем две банки очень вкусных цукатов, или засахаренных фруктов, так плотно закупоренных, что в них не попало ни капли морской воды, и еще две банки, содержимое которых подмокло. В том же сундуке лежало несколько штук очень хороших рубах, которые были для меня очень приятной находкой; затем около полутора дюжин белых полотняных носовых платков и столько же цветных шейных; первым я очень обрадовался, представив себе, как будет приятно в жаркие дни утирать вспотевшее лицо тонким полотном. На дне сундука я нашел три больших мешка с деньгами; всего в трех мешках было тысяча сто серебряных «восьмериков», а в одном оказалось еще шесть золотых дублонов, завернутых в бумагу, и несколько небольших слитков золота общим весом, я думаю, около фунта.



В другом сундуке было несколько пар платья, но похуже. Вообще, судя по содержимому этого сундука, я полагаю, что он принадлежал корабельному артиллеристу: в нем оказалось около двух фунтов прекрасного пороха в трех фляжках, должно быть, для охотничьих ружей. В общем, в эту поездку я приобрел очень немного полезных мне вещей. Деньги же не представляли для меня никакой ценности, это был ненужный сор, и все свое золото я бы охотно отдал за три-четыре пары английских башмаков и чулок, которых я не носил уже несколько лет. Правда, я раздобыл четыре пары башмаков за эту поездку: две пары снял с двух мертвецов, которых нашел на корабле, да две оказались в одном из сундуков. Конечно, башмаки пришлись мне очень кстати, но ни по удобству, ни по прочности они не могли сравниться с английской обувью: это были скорее туфли, чем башмаки. Во втором сундуке я нашел еще пятьдесят штук разной звонкой монеты, но не золотой. Вероятно, первый сундук принадлежал офицеру, а второй – человеку победнее.

Тем не менее я принес эти деньги в пещеру и спрятал, как раньше спрятал те, которые нашел на нашем корабле. Было очень жаль, что я не мог завладеть богатствами, содержавшимися в корме погибшего корабля: наверное, я мог бы нагрузить ими лодку несколько раз. Если бы мне удалось вырваться отсюда в Англию, деньги остались бы в сохранности в гроте и, вернувшись, я захватил бы их.

Переправив в мой грот все привезенные вещи, я вернулся к лодке, отвел ее на прежнюю стоянку и вытащил на берег, а сам отправился прямой дорогой на свое старое пепелище, где все оказалось в полной неприкосновенности. Я снова зажил своей прежней мирной жизнью,

справляя помаленьку свои домашние дела. Но, как уже знает читатель, в последние годы я был осторожнее, чаще производил рекогносцировку и реже выходил из дому. Только восточная сторона острова не внушала мне опасений: я знал, что дикари никогда не высаживаются на том берегу; поэтому, отправляясь в ту сторону, я мог не принимать таких мер предосторожности и не тащить на себе столько оружия, как в тех случаях, когда мой путь лежал в одну из других частей острова.



Так прожил я почти два года, но все эти два года в моей несчастной голове (видно, уж так она была устроена, что от нее всегда плохо приходилось моему телу) роились всевозможные планы, как бы мне бежать с моего острова. Иногда я решал предпринять новое путешествие к обломкам погибшего корабля, хотя рассудок говорил мне, что там не могло остаться ничего такого, что окупило бы риск моей поездки; иногда собирался затеять другие поездки. И я убежден, что, будь в моем распоряжении такой баркас, как тот, на котором я бежал из Сале, я пустился бы в море очертя голову, даже не заботясь о том, куда меня занесет.

Все обстоятельства моей жизни могут служить предостережением для тех, кого коснулась страшная язва рода людского, от которой, насколько мне известно, проистекает половина всех наших бед: я разумею недовольство положением, в которое поставили нас Бог и природа. Так, не говоря уже о моем неповиновении родительской воле, бывшем, так сказать, моим первородным грехом, я в последующие годы шел той же дорогой, которая и привела к моему теперешнему печальному положению. Если бы Провидение, так хорошо устроившее меня в Бразилии, наделило меня более скромными желаниями и я довольствовался медленным ростом моего благосостояния, то за это время – я имею в виду время, прожитое на острове, – я сделался бы, может быть, одним из самых крупных бразильских плантаторов. Я убежден, что при улучшениях, которые я уже

успел ввести за недолгий срок моего хозяйничанья и еще ввел бы со временем, я нажил бы тысяч сто мойдоров. Нужно ли мне было бросать налаженное дело, благоустроенную плантацию, которая с каждым годом разрасталась и приносила все больший и больший доход, ради того, чтобы ехать в Гвинею за неграми, между тем как при некотором терпении я дождался бы времени, когда вывоз негров-невольников настолько увеличился бы, что мы смогли бы покупать их прямо на месте у тех, кто профессионально занимался работорговлей? Правда, это обходилось бы немного дороже, но стоило ли из-за небольшой разницы в цене подвергаться такому страшному риску?

Но, видно, совершать безумства – удел молодежи, как удел людей зрелого возраста, умудренных дорого купленным опытом, – осуждать безрассудства молодежи. Так было и со мной. Однако эта дурная черта так глубоко укоренилась в моем характере, что я непрестанно измышлял планы бегства из этого пустынного места. Переходя теперь к изложению последней части моего пребывания на необитаемом острове, я считаю не лишним рассказать читателю, в какой форме у меня впервые зародилась эта безумная затея и что я предпринял для ее осуществления.

Итак, после поездки к обломкам погибшего корабля я вернулся в свою крепость, поставил, как всегда, свой фрегат в безопасное место и зажил по-старому. Правда, у меня было теперь больше денег; но я не стал от этого богаче, ибо деньги в моем положении были мне так же мало нужны, как перуанским индейцам до вторжения в Перу испанцев.

Однажды ночью, в мартовский период дождей, на двадцать четвертом году своей отшельнической жизни, я лежал на койке совершенно здоровый телесно и душевно, но не мог сомкнуть глаз ни на минуту.

Невозможно, да нет и надобности, перечислять все мои мысли, вихрем мчавшиеся в ту ночь по большой дороге мозга – памяти. Перед моим умственным взором прошла, если можно так выразиться, в миниатюре вся моя жизнь до и после прибытия моего на необитаемый остров. Припоминая шаг за шагом весь этот второй период моей жизни, я сравнивал мои первые безмятежные годы с тем состоянием тревоги, страха и грызущей заботы, в котором я жил с того дня, как открыл след человеческой ноги на песке. Не то чтоб я воображал, что до моего открытия дикари не появлялись в пределах моего царства: весьма возможно, что и в первые годы моего житья на острове их перебывало там несколько сот человек. Но в то время я этого не знал, никакие страхи не нарушали моего душевного равновесия, я был покоен и счастлив, потому что не сознавал опасности, и хотя от этого она была, конечно, не менее

велика, но для меня ее все равно что не существовало. Эта мысль навела меня на дальнейшие поучительные размышления о бесконечной благости Провидения, в своих заботах о нас положившего столь узкие пределы нашему знанию. Совершая свой жизненный путь среди неисчислимых опасностей, вид которых, если бы был доступен нам, поверг бы в трепет нашу душу и отнял бы у нас всякое мужество, мы остаемся спокойными потому, что окружающее сокрыто от наших глаз и мы не видим отовсюду надвигающихся на нас бед.

От этих размышлений я, естественно, перешел к воспоминанию о том, какой опасности я подвергался на моем острове в течение стольких лет, как беззаботно я разгуливал по своим владениям и сколько раз, может быть, лишь какой-нибудь холм, ствол дерева, наступление ночи или другая случайность спасали меня от худшей из смертей, от дикарей-людоедов; для них я был бы такою же дичью, как для меня коза или черепаха, и они убили бы и съели меня так же просто, нисколько не считая, что они совершают преступление, как я убил бы голубя или кулика. Я был бы несправедлив к себе, если бы не сказал, что сердце мое при этой мысли наполнилось самой искренней благодарностью к моему великому Покровителю. С глубоким смирением я признал, что своей безопасностью я был обязан исключительно его защите, без которой мне бы не миновать зубов безжалостных людоедов.

Затем мои мысли приняли новое направление. Я начал думать о каннибализме, стараясь уяснить себе это явление. Я спрашивал себя, как мог допустить премудрый Промыслитель всего сущего, чтобы его создания дошли до такого зверства, вернее, до извращения человеческой природы, худшего, чем зверство, ибо надо быть хуже зверей, чтоб пожирать себе подобных. Но это был праздный вопрос, на который я в то время не мог найти ответа. Тогда я стал думать о том, в какой части света живут эти дикари, как далеко от моего острова их земли, ради чего они пускаются в такую даль и что у них за лодки; и, наконец, не могу ли я найти способ переправиться к ним, как они переправлялись ко мне.

Я не давал себе труда задуматься над тем, что я буду делать, когда переправлюсь на материк, что меня ожидает, если дикари поймают меня, и могу ли я надеяться на спасение, если они на меня нападут. Я не спрашивал себя даже, есть ли у меня хоть какая-нибудь возможность добраться до материка, не будучи замеченным ими; я не думал и о том, как я устроюсь со своим пропитанием и куда направлю свой путь, если мне посчастливится ускользнуть от врагов. Ни один из этих вопросов не приходил мне в голову: до такой степени я был поглощен мыслью попасть

в лодке на материк. Я смотрел на свое тогдашнее положение как на самое несчастное, хуже которого может быть одна только смерть. Мне казалось, что если я доберусь до материка или пройду в своей лодке вдоль берега, как это я сделал в Африке, до какой-нибудь населенной страны, то, может быть, мне окажут помощь; а может быть, я встречу европейский корабль, который меня подберет. Наконец, в худшем случае, я умру, и со смертью кончатся все мои беды. Конечно, все мои мысли были плодом расстроенного ума, встревоженной души, изнывавшей от нетерпения, доведенной до отчаяния долгими страданиями, обманувшейся в своих надеждах в тот момент, когда предмет ее вожделений был, казалось, так близок. Я говорю о своем посещении обломков погибшего корабля, на котором я рассчитывал найти живых людей, узнать от них, где я нахожусь и каким способом отсюда вырваться. Я был глубоко взволнован этими мыслями; все мое душевное спокойствие, которое я почерпал в покорности Провидению, пропало без следа. Я не мог думать ни о чем другом, будучи весь поглощен планом путешествия на материк; он захватил меня так властно и так неудержимо, что я не в силах был противиться ему.

План этот волновал мои мысли часа два или больше, вся кровь моя кипела, и пульс бился, словно я был в лихорадке, от одного только возбуждения моего ума, пока наконец сама природа не пришла мне на выручку: истощенный столь долгим напряжением, я погрузился в глубокий сон. Казалось бы, что меня и во сне должны были преследовать те же бурные мысли, но на деле вышло не так: то, что мне приснилось, не имело никакого отношения к моему волнению. Мне снилось, будто, выйдя, как обыкновенно, поутру из своей крепости, я вижу на берегу две пироги и около них одиннадцать человек дикарей. С ними был еще двенадцатый – пленник, которого они собирались убить и съесть. Вдруг этот пленник в самую последнюю минуту вскочил, вырвался и побежал что есть мочи. И я подумал во сне, что он бежит в рощицу подле крепости, чтобы спрятаться там. Увидя, что он один и никто за ним не гонится, я вышел к нему навстречу и улыбнулся ему, стараясь его ободрить, а он бросился передо мной на колени, умоляя спасти его. Тогда я указал ему на мою лестницу, предложил перелезть через ограду, повел его в свою пещеру, и он стал моим слугой. Имея в своем распоряжении этого человека, я сказал себе: «Вот когда я могу наконец переправиться на материк. Теперь мне нечего бояться: этот человек будет служить мне лоцманом; он научит меня, что мне делать и где добыть провизию; он знает ту сторону и скажет мне, в каком направлении я должен держать путь, чтобы не быть съеденным дикарями, и каких мест следует избегать». С этой мыслью я проснулся –

проснулся под свежим впечатлением сна, оживившего мою душу надеждой на избавление. Тем горше было мое разочарование и уныние, когда я вернулся к действительности и понял, что это был только сон.

Тем не менее виденный сон навел меня на мысль, что единственным для меня средством вырваться из моей тюрьмы было захватить кого-нибудь из дикарей, посещавших мой остров, и притом, если можно, одного из тех несчастных обреченных на съедение, которых они привозили с собой в качестве пленников. Но было важное затруднение, мешавшее осуществлению моего плана: для того чтобы захватить нужного мне дикаря, я должен был напасть на весь отряд людоедов и перебить их всех до одного, а предприятие такого рода было не только отчаянным шагом, имевшим очень мало надежды на успех, но самая позволительность его внушала мне большие сомнения; моя душа содрогалась при одной мысли о том, что мне придется пролить столько человеческой крови, хотя бы и ради собственного избавления. Нет надобности повторять те доводы, которые я приводил против такого поступка; они были изложены мной раньше. И хотя я приводил себе также и противоположные доводы, говоря, что это мои смертельные враги, что они не дадут мне спуску, очутись я в их власти, и что попытка освободиться от жизни худшей, чем смерть, была бы только актом самосохранения, самозащиты, совершенно так, как если бы эти люди первые напали на меня, все же, повторяю, одна мысль о пролитии человеческой крови до такой степени ужасала меня, что я никак не мог с ней примириться.

Долго в моей душе шла борьба, но наконец страстная жажда освобождения одержала верх над всеми доводами совести и рассудка, и я решил захватить одного из дикарей, чего бы это мне ни стоило. Оставалось только придумать, каким образом привести в исполнение этот план. Но сколько я ни ломал голову, ничего у меня не выходило. В конце концов я решил подстеречь дикарей, когда они высадятся на остров, предоставив остальное случаю и тем соображениям, какие будут подсказаны обстоятельствами.

Согласно этому решению, я принялся караулить и так часто выходил из дому, что мне это смертельно наскучило: в самом деле, более полутора лет провел я в напрасном ожидании. Все это время я почти ежедневно ходил на южную и западную оконечность острова смотреть, не подъезжают ли к берегу лодки с дикарями, но лодки не показывались. Эта неудача очень меня огорчала и волновала, но, не в пример другим подобным случаям, мое желание достигнуть намеченной цели на этот раз нисколько не ослабевало, напротив, чем больше оттягивалось его осуществление, тем больше оно

обострялось. Словом, насколько я прежде был осторожен, стараясь не попасть на глаза дикарям, настолько же нетерпеливо я теперь искал встречи с ними.

В своих мечтах я воображал, что справлюсь даже не с одним, а с двумя-тремя дикарями и сделаю их своими рабами, готовыми беспрекословно исполнять все мои приказания, поставив их в такое положение, чтобы они не могли нанести мне вреда. Я долго тешился этой мечтой, но случая осуществить ее все не представлялось, ибо дикари очень долго не показывались.

Глава 21

Спасение Пятницы

Прошло уже полтора года с тех пор, как я составил свой замысел, поэтому я начал уже считать его неосуществимым. Представьте же себе мое изумление, когда однажды ранним утром я увидел на берегу, на моей стороне острова, по меньшей мере пять индейских пирог. Все они стояли пустые: приехавшие в них дикари куда-то скрылись. Я знал, что в каждую лодку садится обыкновенно по четыре, по шесть человек, а то и больше, и, сознаюсь, меня весьма смущала многочисленность прибывших гостей. Я решительно не знал, как я справлюсь один с двумя-тремя десятками дикарей. Обескураженный, расстроенный, я засел в своей крепости, однако сделал все заранее обдуманные приготовления для атаки и решил действовать, если будет нужно. Я долго ждал, прислушиваясь, не доносится ли шум со стороны дикарей, но наконец, сгорая от нетерпения узнать, что происходит, поставил ружье под лестницей и полез на вершину холма обыкновенным своим способом – прислоняя лестницу к уступу. Добравшись до вершины, я стал таким образом, чтобы голова моя не высовывалась над холмом, и принялся смотреть в подзорную трубу. Дикарей было не менее тридцати человек. Они развели на берегу костер и что-то стряпали на огне. Я не мог разобрать, как они стряпали и что именно, я видел только, что они плясали вокруг костра с нелепыми ужимками и прыжками.



Вдруг несколько человек отделились от танцующих и побежали в ту сторону, где стояли лодки, и вслед за тем я увидел, что они тащат к костру двух несчастных, очевидно, предназначенных на убой, которые, должно быть, лежали связанные в лодках. Одного из них сейчас же повалили, ударив по голове чем-то тяжелым (дубиной или деревянным мечом, какие употребляют дикари), и тащившие его люди немедленно принялись за работу: распороли ему живот и начали его потрошить. Другой пленник стоял тут же, ожидая своей очереди. В этот момент несчастный, почувствовав себя на свободе, очевидно, исполнился надеждой на спасение, он вдруг ринулся вперед и с невероятной быстротой пустился бежать по песчаному берегу прямо ко мне, то есть в ту сторону, где было мое жилье.

Сознаюсь, я страшно перепугался, когда увидел, что он бежит ко мне, тем более что мне показалось, будто вся ватага бросилась его догонять. Итак, первая половина моего сна сбывалась наяву: преследуемый дикарь будет искать убежище в моей роще; но я не мог рассчитывать, чтобы сбылась и другая половина этого сна, то есть чтобы остальные дикари не стали преследовать свою жертву и не нашли бы ее. Тем не менее я остался на своем посту и очень ободрился, увидев, что за беглецом гонятся всего два или три человека; я окончательно успокоился, когда стало ясно, что он бежит гораздо быстрее своих преследователей, расстояние между ними все увеличивается и, если ему удастся продержаться еще полчаса, они его не поймают.

От моей крепости бежавших отделяла бухточка, о которой я неоднократно упоминал в начале моего рассказа, – та самая, куда я причаливал со своими плотами, когда перевозил вещи с нашего корабля. Я

ясно видел, что беглец должен будет переплыть ее, иначе ему не уйти от погони. Действительно, он, не задумываясь, бросился в воду, в каких-нибудь тридцать взмахов переплыл бухточку, вылез на другой берег и, не сбавляя шагу, побежал дальше. Из трех его преследователей только двое бросились в воду, а третий не решился; он постоял на том берегу, поглядел вслед двум другим, потом повернулся и медленно пошел назад: он избрал себе благую часть, как увидит сейчас читатель.

Я заметил, что двум дикарям, гнавшимся за беглецом, понадобилось вдвое больше времени, чем ему, чтобы переплыть бухточку. И тут-то я всем существом моим почувствовал, что пришла пора действовать, если я хочу приобрести слугу, а может быть, товарища или помощника; само Провидение, подумал я, призывает меня спасти жизнь несчастного. Не теряя времени, я сбежал по лестницам к подножию горы, захватил оставленные мною внизу ружья, затем с такой же поспешностью взобрался опять на гору, спустился с другой ее стороны и побежал к морю наперерез бегущим дикарям. Так как я взял кратчайший путь, к тому же вниз по склону холма, то скоро оказался между беглецом и его преследователями. Услышав мои крики, беглец оглянулся и в первый момент испугался меня, кажется, еще больше, чем своих врагов. Я сделал ему знак воротиться, а сам медленно пошел навстречу преследователям. Когда передний поравнялся со мной, я неожиданно бросился на него и сшиб с ног ударом ружейного приклада. Стрелять я боялся, чтобы не привлечь внимания остальных дикарей, хотя на таком большом расстоянии они едва ли могли услышать мой выстрел или увидеть дым от него. Когда передний из бежавших упал, его товарищ остановился, видимо, испугавшись, я же быстро побежал к нему. Но когда, приблизившись, я заметил, что он держит в руках лук и стрелу и целится в меня, мне оставалось только предупредить его: я выстрелил и уложил его на месте. Несчастный беглец, видя, что оба его врага упали замертво (как ему казалось), остановился, но был до того напуган огнем и треском выстрела, что растерялся, не зная, идти ли ему ко мне или убегать от меня, хотя, вероятно, больше склонялся к бегству; тогда я стал опять кричать ему и делать знаки подойти ко мне, и он понял: сделал несколько шагов и остановился, потом снова сделал несколько шагов и снова остановился. Тут я заметил, что он весь дрожит, как в лихорадке: бедняга, очевидно, считал себя моим пленником, с которым я поступлю точно так же, как поступил с его врагами. Тогда я опять поманил его к себе и вообще старался ободрить его, как умел. Он подходил все ближе и ближе, через каждые десять-двенадцать шагов падая на колени в знак благодарности за спасение его жизни. Я ласково ему

улыбался и продолжал манить его рукой. Наконец, подойдя совсем близко, он снова упал на колени, поцеловал землю, прижался к ней лицом, взял мою ногу и поставил ее себе на голову. Последнее, по-видимому, означало, что он клянется быть моим рабом до гроба. Я поднял его, потрепал по плечу и всячески старался показать, что ему нечего бояться меня. Но начатое мной дело еще не было доведено до конца: дикарь, которого я повалил ударом приклада, был не убит, а только оглушен, и я заметил, что он начинает приходить в себя. Я указал на него спасенному мной человеку, обращая его внимание на то, что враг его жив. На это он сказал мне несколько слов на своем языке, и хоть я ровно ничего не понял, но самые звуки его речи были для меня сладостной музыкой: ведь за двадцать пять с лишком лет впервые услыхал я человеческий голос (если не считать моего собственного). Но было не время предаваться таким размышлениям: оглушенный мною дикарь оправился настолько, что уже сидел на земле, и я заметил, что мой дикарь сильно этого испугался. Желая его успокоить, я прицелился в его врага из другого ружья. Но тут мой дикарь (так я буду называть его впредь) стал показывать мне знаками, чтобы я дал ему висевший у меня через плечо обнаженный тесак. Я дал ему его. Он тотчас же подбежал к своему врагу и одним взмахом снес ему голову. Он сделал это так ловко и проворно, что ни один немецкий палач не мог бы сравниться с ним. Такое умение владеть тесаком очень удивило меня, ибо этот дикарь в своей жизни видел, должно быть, только деревянные мечи. Впоследствии я, впрочем, узнал, что дикари выбирают для своих мечей такое крепкое и тяжелое дерево и так их оттачивают, что одним ударом могут отрубать голову и руки. Сделав свое дело, мой дикарь вернулся ко мне с веселым и торжествующим видом, исполнил ряд непонятных мне телодвижений и положил подле меня тесак и голову убитого врага.



Но больше всего он был поражен тем, как я убил другого индейца на

таком большом расстоянии. Он указывал на убитого и знаками просил позволения сходить взглянуть на него. Я позволил, и он сейчас же побежал туда. Он остановился над трупом в полном недоумении: поглядел на него, повернул его на один бок, потом на другой, осмотрел рану. Пуля попала прямо в грудь, и крови было немного, но, по всей вероятности, произошло внутреннее кровоизлияние, потому что смерть наступила мгновенно. Сняв с мертвеца его лук и колчан со стрелами, мой дикарь воротился ко мне. Тогда я повернулся и пошел, приглашая его следовать за мной и стараясь объяснить ему знаками, что оставаться опасно, так как за ним может быть новая погоня.

Дикарь ответил мне тоже знаками, что следовало бы прежде зарыть мертвецов, чтобы его враги не нашли их, если придут на это место. Я выразил свое согласие, и он сейчас же принялся за дело. В несколько минут он голыми руками выкопал в песке настолько глубокую яму, что в ней легко мог поместиться один человек; затем он перетащил в эту яму одного из убитых и завалил его землей. Так же проворно распорядился он и с другим мертвецом; словом, вся процедура погребения заняла у него не более четверти часа. Когда он кончил, я опять сделал ему знак следовать за мной и повел его не в крепость мою, а совсем в другую сторону – в дальнюю часть острова, к моему новому гроту. Таким образом, я не дал своему сну сбыться в этой части: дикарь не искал убежища в моей роще.

Когда мы с ним пришли в грот, я дал ему хлеба, кисть винограда и напоил водой, в чем он сильно нуждался после быстрого бега. Когда он подкрепился, я знаками пригласил его лечь и уснуть, показав ему в угол пещеры, где у меня лежала большая охапка рисовой соломы и одеяло, не раз служившие мне постелью. Бедняга не заставил себя долго просить: он лег и мгновенно заснул.

Это был красивый малый высокого роста, безукоризненного сложения, с прямыми и длинными руками и ногами, небольшими ступнями и кистями рук. На вид ему можно было дать лет двадцать шесть. В его лице не было ничего дикого и свирепого, однако это было мужественное лицо, обладавшее в то же время мягким и нежным выражением европейца, особенно когда он улыбался. Волосы у него были черные, длинные и прямые, и не завивались, как овечья шерсть; лоб высокий и открытый, цвет кожи не черный, а смуглый, но не того противного желто-бурого оттенка, как у бразильских или виргинских индейцев, а скорее оливковый, очень приятный для глаз, но который не так легко описать. Лицо у него было круглое и довольно пухлое, нос небольшой, но совсем не приплюснутый. Ко всему этому у него были быстрые блестящие глаза, хорошо очерченный

рот с тонкими губами и правильной формы, белые, как слоновая кость, превосходные зубы. Проспав или, вернее, продремав около получаса, он проснулся и вышел ко мне. Я в это время доил своих коз в загоне подле грота. Как только он меня увидел, он подбежал и распростерся передо мной, выражая всей своей позой самую смиренную благодарность и производя при этом множество самых странных телодвижений. Припав лицом к земле, он опять поставил себе на голову мою ногу и всеми доступными ему способами старался доказать мне свою бесконечную преданность и покорность и дать мне понять, что с этого дня он будет мне слугой на всю жизнь. Я понял многое из того, что он хотел мне сказать, и, в свою очередь, постарался объяснить ему, что я им очень доволен. Тут же я начал говорить с ним и учить отвечать мне. Прежде всего я объявил, что его имя будет «Пятница», так как в этот день недели я спас ему жизнь. Затем я научил его произносить слово «господин» и дал понять, что это мое имя; научил также произносить «да» и «нет» и растолковал значение этих слов. Я дал ему молока в глиняном кувшине, предварительно отпив сам и обмакнув в него хлеб; я дал ему также лепешку, чтобы он последовал моему примеру; он с готовностью повиновался и знаками показал мне, что угощение пришлось ему очень по вкусу.

Мы провели с ним в гроте ночь, но как только рассвело, я подал ему знак следовать за мной. Я показал ему, что хочу его одеть, чему он, по-видимому, очень обрадовался, так как был совершенно наг. Когда мы проходили мимо того места, где были зарыты убитые нами дикари, он указал мне на приметы, которыми он для памяти обозначил могилы, и стал делать мне знаки, что нам следует откопать оба трупа и съесть их. В ответ на это я постарался как можно выразительнее показать свой гнев и свое отвращение – показать, что меня тошнит при одной мысли об этом, и повелительным жестом приказал ему отойти от могил, что он и исполнил с величайшей покорностью. После этого я повел его на вершину холма посмотреть, ушли ли дикари. Вытащив подзорную трубу, я навел ее на место побережья, где они были накануне, но их и след простыл: не было видно ни одной лодки. Ясно было, что они уехали, не потрудившись поискать своих пропавших товарищей.

Но я не удовольствовался этим открытием; набравшись храбрости и сгорая от любопытства, я велел своему слуге следовать за мной, вооружив его своим тесаком и луком со стрелами, которыми, как я уже успел убедиться, он владел мастерски. Кроме того, я дал ему нести одно из моих ружей, а сам взял два других, и мы пошли к тому месту, где накануне пировали дикари: мне хотелось собрать теперь более точные сведения о

них. На берегу моим глазам предстала такая страшная картина, что у меня замерло сердце и кровь застыла в жилах. В самом деле, зрелище было ужасное, по крайней мере для меня, хотя Пятница остался совершенно равнодушен к нему. Весь берег был усеян человеческими костями, земля обагрена кровью; повсюду валялись недоеденные куски жареного человеческого мяса, огрызки костей и другие остатки кровавого пиршества, которым эти изверги отпраздновали свою победу над врагом. Я насчитал три человеческих черепа, пять рук; нашел в разных местах кости от трех или четырех ног и множество частей скелета. Пятница знаками рассказал мне, что дикари привезли для пиршества четырех пленных, троих они съели, а четвертый был он сам. Насколько можно было понять из его объяснений, у этих дикарей произошло большое сражение с соседним племенем, к которому принадлежал он, Пятница. Враги Пятницы взяли много пленных и развезли в разные места, чтобы устроить пиршество так же, как сделала шайка дикарей, которая привезла своих пленных на мой остров.

Я приказал Пятнице собрать все черепа, кости и куски мяса, свалить в кучу, развести костер и сжечь. Я заметил, что моему слуге очень хотелось полакомиться человечьим мясом и что его каннибальские инстинкты очень сильны. Но я высказал такое негодование при одной мысли об этом, что он не посмел дать им волю. Всеми средствами я постарался дать понять ему, что убью его, если он ослушается меня.

Уничтожив остатки кровавого пиршества, мы вернулись в крепость, и я, не откладывая, принялся хлопотать, одевая моего слугу. Прежде всего, я дал ему холщовые штаны, которые достал из найденного мной на погибшем корабле сундука бедного артиллериста; после небольшой переделки они пришлись ему как раз впору. Затем я сшил ему куртку из козьего меха, приложив все свое умение, чтобы она вышла получше (я был в то время уже довольно сносным портным), и в заключение смастерил для него шапку из заячьих шкурок, очень удобную и довольно изящную. Таким образом, мой слуга был на первое время весьма сносно одет и остался очень доволен тем, что теперь стал похож на своего господина. Правда, сначала ему было стеснительно и неловко во всей этой сбруе; особенно мешали ему штаны, да и рукава были тесны ему под мышками и натирали плечи, так что пришлось переделать их там, где они беспокоили его. Но мало-помалу он привык к своему костюму и чувствовал себя в нем хорошо.

На другой день я стал думать, где бы мне его поместить. Чтобы устроить его поудобнее и в то же время чувствовать себя спокойно, я поставил его маленькую палатку в свободном пространстве между двумя

стенами моей крепости – внутренней и наружной; так как сюда выходил наружный ход из моего погреба, то я устроил в нем настоящую дверь из толстых досок в прочном наличнике и приладил ее, немного отступя в глубь прохода таким образом, что она отворялась внутрь, и на ночь запиралась на засов; лестницы я тоже убирал к себе; таким образом, Пятница никак не мог проникнуть ко мне во внутреннюю ограду, а если бы вздумал попытаться, то непременно нашумел бы и разбудил меня. Дело в том, что все пространство крепости за внутренней оградой, где стояла моя палатка, представляло крытый двор. Крыша была сделана из длинных жердей, одним концом упиравшихся в гору. Для большей прочности я укрепил эти жерди поперечными балками и густо переплел рисовой соломой, толстой, как камыш; в том же месте крыши, которое я оставил незакрытым для того, чтобы входить по лестнице, я приладил откидную дверцу, которая при малейшем напоре снаружи падала с громким стуком. Все оружие я на ночь брал к себе.

Но эти предосторожности были совершенно излишни; никто еще не имел такого любящего, такого верного и преданного слуги, какого имел я в лице моего Пятницы; ни раздражительности, ни упрямства, ни своеволия; всегда ласковый и услужливый, он был привязан ко мне, как к родному отцу. Я уверен, что, если бы понадобилось, он пожертвовал бы ради меня жизнью. Я так много раз убеждался в преданности Пятницы, что у меня исчезли всякие сомнения на его счет, и я скоро пришел к убеждению, что мне незачем ограждаться от него.

Размышляя обо всем этом, я с удивлением обнаруживал, что хотя по неисповедимому велению Вседержителя множество его творений и лишены возможности дать благое применение своим душевным способностям, однако они одарены ими в такой же мере, как и мы. Как и у нас, у них есть разум, чувство привязанности, доброта, сознание долга, признательность, верность в дружбе, способность возмущаться несправедливостью, словом, все нужное для того, чтобы творить и воспринимать добро; и когда Богу бывает угодно дать им случай для надлежащего применения этих способностей, они пользуются им с такою же, даже с большей готовностью, чем мы. При этом я иногда с большой грустью задумывался над тем, как мало пользуемся мы всем этим, – что подтверждается рядом примеров, – хотя наш ум озарен светом просвещения, а душевные силы – духом Божьим и пониманием его заповедей; почему, думал я, Богу угодно было сокрыть светоч знания от стольких миллионов людей, тогда как (если судить по этому бедному дикарю) эти люди могли пользоваться им лучше, чем делаем это мы сами?

Отсюда я иногда заходил так далеко, что дерзал обвинять Провидение за произвольность в распределении истины, познание которой дано одним, но скрыто от других, а между тем от всех в одинаковой мере требуется исполнение долга. Но эти мысли прерывались и заканчивались следующим выводом: во-первых, мы не знаем, все ли будут осуждены по одной и той же истине или закону, потому что Бог, будучи по природе своей бесконечно благ и справедлив, осудил не тех из своих созданий, кто не познал его, но тех, кто поступил против законов своей совести, как говорит Священное Писание, хотя бы сущность его и была для них сокрыта; во-вторых, все мы подобны глине в руках горшечника, а может ли сосуд спросить у своего создателя: для чего ты сотворил меня таким, каков я есть?

Но возвращаюсь к моему новому товарищу. Он мне очень нравился, и я вменил себе в обязанность научить его всему, что могло быть полезным ему, а главное – говорить и понимать, что говорю я. Он оказался очень способным учеником, всегда веселым, всегда прилежным; он так радовался, когда понимал меня, когда ему удавалось объяснить мне свою мысль, что для меня было истинным удовольствием заниматься с ним. С тех пор как он был со мной, мне жилось так легко и приятно, что, если бы только я мог считать себя в безопасности от других дикарей, я, право, без сожаления согласился бы остаться на острове до конца моей жизни.

Глава 22

Беседы с Пятницей

Дня через два или три после того, как я привел Пятницу в мою крепость, мне пришло в голову, что если я хочу отучить его от ужасной привычки есть человеческое мясо, то надо отбить у него вкус к этому блюду и приучить к другой пище. И вот однажды утром, отправляясь в лес, я взял его с собой. У меня было намерение зарезать козленка из моего стада, принести его домой и сварить, но по дороге я увидел под деревом дикую козу с парой козлят. «Постой!» – сказал я Пятнице, схватив его за руку, и сделал ему знак не шевелиться, потом прицелился, выстрелил и убил одного из козлят. Бедный дикарь, который видел уже, как я убил издали его врага, но не понимал, каким образом это произошло, был страшно поражен: он задрожал, зашатался; я думал, он сейчас лишится чувств. Он не видел козленка, в которого я целился, но приподнял полу своей куртки и стал щупать, не ранен ли он. Бедняга вообразил, вероятно, что я хотел убить его, так как упал передо мной на колени, стал обнимать мои ноги и долго говорил мне что-то на своем языке. Я, конечно, не понял его, но было ясно, что он просит не убивать его.



Мне скоро удалось его убедить, что я не имею ни малейшего намерения причинить ему вред. Я взял его за руку, засмеялся и, указав на убитого козленка, велел сбегать за ним, что он и исполнил. Покуда он возился с козленком и выражал свое недоумение по поводу того, каким способом тот убит, я снова зарядил ружье. Немного погодя я увидел на дереве, на расстоянии ружейного выстрела от меня, большую птицу, которую я принял за ястреба. Желая дать Пятнице маленький наглядный урок, я подозвал его к себе, показал ему пальцем сперва на птицу, которая оказалась не ястребом, но попугаем, потом на ружье, потом на землю под тем деревом, на котором сидела птица, приглашая его смотреть, как она упадет. Вслед за тем я выстрелил, и он действительно увидел, что попугай упал. Пятница и на этот раз перепугался, несмотря на все мои объяснения; он был ошеломлен еще и потому, что он не видел, как я зарядил ружье, и, вероятно, думал, что в этом оружии сидит какая-то волшебная разрушительная сила, приносящая смерть на любом расстоянии человеку, зверю, птице – словом, всякому живому существу. Еще долгое время он не мог совладать с изумлением, в которое его поверг мой выстрел. Мне кажется, что, если бы я ему только позволил, он стал бы воздавать божеские почести мне и моему ружью. Первое время он не решался

дотронуться до ружья, но зато разговаривал с ним, как с живым существом, когда находился подле него. Он признался мне потом, что просил ружье не убивать его.

Когда Пятница немного опомнился от испуга, я приказал ему принести мне убитую птицу. Он сейчас же пошел, но замешкался, отыскивая ее, потому что, как оказалось, я не убил попугая, а только ранил, и он отлетел довольно далеко от того места, где я его подстрелил. В конце концов Пятница все-таки нашел его и принес; так как я видел, что Пятница все еще не понял действия ружья, то воспользовался его отсутствием, чтобы снова зарядить ружье, в расчете, что нам попадется еще какая-нибудь дичь, но больше ничего не попадалось. Я принес козленка домой и в тот же вечер снял с него шкуру и выпотрошил его; потом, отрезав хороший кусок свежей козлятины, сварил ее в глиняном горшке, и у меня вышел отличный бульон. Я начал есть сам, затем угостил Пятницу. Ему понравилась еда, только он удивился, зачем я ем суп и мясо с солью. Он стал показывать мне знаками, что с солью невкусно. Взяв в рот щепотку соли, он принялся отплевываться и сделал вид, что его тошнит от нее, а потом выполоскал рот водой. Тогда я, в свою очередь, положил в рот кусочек мяса без соли и начал плевать, показывая, что мне противно есть без соли. Но это не произвело на Пятницу никакого впечатления; я так и не мог приучить его солить мясо или суп. Лишь долгое время спустя он начал класть соль в кушанье, да и то немного.

Накормив таким образом моего дикаря вареным мясом и супом, я решил угостить его на другой день жареным козленком. Изжарил я его особенным способом, над костром, как это делается иногда у нас в Англии. По бокам костра я воткнул в землю две жерди, укрепил между ними поперечную жердь, повесил на нее большой кусок мяса и поворачивал его до тех пор, пока он не изжарился. Пятница пришел в восторг от моей выдумки; но удовольствию его не было границ, когда он попробовал моего жаркого: самыми красноречивыми жестами он дал мне понять, как ему нравится это блюдо, и наконец объявил, что никогда больше не станет есть человеческого мяса, чему я, конечно, весьма обрадовался.



На следующий день я засадил его за работу: заставил молотить и веять ячмень, показав наперед, как я это делаю. Он скоро понял и стал работать очень усердно, особенно когда узнал, что это делается для приготовления из зерна хлеба: я замесил при нем тесто и испек хлеб. В скором времени Пятница был вполне способен заменить меня в этой работе.

Так как теперь я должен был прокормить два рта вместо одного, то мне необходимо было увеличить свое поле и сеять больше зерна. Я выбрал поэтому большой участок земли и принялся его огораживать. Пятница не только весьма усердно, но с видимым удовольствием помогал мне в этой работе. Я объяснил ему назначение ее, сказав, что это будет новое поле для хлеба, потому что нас теперь двое и хлеба надо вдвое больше. Его очень тронуло то, что я так забочусь о нем: он всячески старался мне растолковать, что он понимает, насколько мне прибавилось дела теперь, когда он со мной, и что лишь бы я ему дал работу и указывал, что надо делать, а уж он не побоится труда.

Это был самый счастливый год моей жизни на острове. Пятница научился довольно сносно говорить по-английски: он знал названия почти всех предметов, которые я мог спросить у него, и всех мест, куда я мог послать его. Он очень любил разговаривать, так что нашлась наконец работа для моего языка, столько лет пребывавшего в бездействии, по крайней мере что касается произнесения членораздельныхзвуков. Но, помимо удовольствия, которое мне доставляли наши беседы, самое присутствие этого малого было для меня постоянным источником радости – до такой степени он пришелся мне по душе. С каждым днем меня все больше и больше пленяли его честность и чистосердечие. Мало-помалу я всем сердцем привязался к нему, да и он, со своей стороны, так меня полюбил, как, я думаю, никого не любил до этого.

Как-то раз мне вздумалось разузнать, не страдает ли он тоской по родине и не хочется ли ему вернуться домой. Так как в то время он уже настолько свободно владел английским языком, что мог отвечать почти на все мои вопросы, то я спросил его, побеждало ли когда-нибудь в сражениях племя, к которому он принадлежал. Он улыбнулся и ответил: «Да, да, мы всегда биться лучше», – то есть всегда бьемся лучше других, хотел он сказать. Затем между нами произошел следующий диалог.

Господин. Так вы всегда лучше бьетесь, говоришь ты. А как же вышло тогда, что ты попался в плен, Пятница?

Пятница. А наши все-таки много-много побили.

Господин. Но если твое племя побило тех, то как же вышло, что тебя взяли?

Пятница. Их было много-много в том месте, где был я. Они схватили один, два, три и меня. Наши побили их в другом месте, где я не был; там наши схватили – один, два, три, много-много тысяч.

Господин. Отчего же ваши не пришли к вам на помощь и не освободили вас?

Пятница. Те увели один, два, три и меня и посадили в лодку, а у наших в то время не было лодки.

Господин. А скажи мне, Пятница, что делают ваши с теми людьми, которые попадутся к ним в плен? Тоже куда-нибудь увозят на лодках и съедают потом, как те, чужие?

Пятница. Да, наши тоже кушают человек, всех кушают.

Господин. А куда они их увозят?

Пятница. Разные места – куда хотят.

Господин. А сюда привозят?

Пятница. Да, да, и сюда. Разные места.

Господин. А ты здесь бывал с ними?

Пятница. Бывал. Там бывал (указывает на северозападную оконечность острова, служившую, по-видимому, местом сборища его соплеменников).

Таким образом, оказалось, что мой слуга Пятница бывал раньше в числе дикарей, посещавших дальние берега моего острова, и принимал участие в таких же каннибальских пирах, как тот, на который он был привезен в качестве жертвы. Когда некоторое время спустя я собрался с духом сводить его на тот берег, о котором я уже упоминал, он тотчас же узнал местность и рассказал мне, что один раз, когда он приезжал на мой остров со своими, они на этом самом месте убили и съели двадцать человек мужчин, двух женщин и ребенка. Он не знал, как сказать по-английски

«двадцать», и, чтобы объяснить мне, сколько человек они тогда съели, положил двадцать камешков один подле другого и просил меня сосчитать.



Я рассказываю об этих беседах с Пятницей потому, что они служат введением к дальнейшему. После описанного диалога я спросил его, далеко ли до земли от моего острова и часто ли погибают их лодки, переплывая это расстояние. Он отвечал, что путь безопасен и что ни одна лодка не погибала, потому что невдалеке от нашего острова проходит течение и по утрам ветер всегда дует в одну сторону, а к вечеру – в другую.

Сначала я думал, что течение, о котором говорил Пятница, находится в зависимости от прилива и отлива, но потом узнал, что оно составляет продолжение течения великой реки Ориноко, впадающей в море неподалеку от моего острова, который, таким образом, как я узнал впоследствии, приходится против ее устья. Полоса же земли к северо-западу от моего острова, которую я принимал за материк, оказалась большим островом Тринидадом, лежащим к северу от устья той же реки. Я засыпал Пятницу вопросами об этой земле и ее обитателях: каковы там берега, каково море, какие племена живут поблизости? Он с величайшей готовностью рассказал все, что знал сам. Спрашивал я его также, как называются различные племена, обитающие в тех местах, но большого толку не добился. Он твердил только одно: «Кариб, Кариб». Нетрудно было догадаться, что он говорит о караибах, которые, как показано на наших географических картах, обитают именно в этой части Америки, занимая всю береговую полосу от устья Ориноко до Гвианы и дальше, до острова Сен-Мартена. Пятница рассказал мне еще, что далеко «за луной», то есть в той стороне, где садится луна, или, другими словами, к западу от его родины, живут такие же, как я, белые бородатые люди (тут он показал на мои длинные усы, о которых я уже упоминал выше), что эти люди

убили «много-много человеков», как он выразился. Я понял, что он говорит об испанцах, прославившихся на весь мир своими жестокостями в Америке, где во многих племенах память о них передается от отца к сыну.

На мой вопрос, не знает ли он, есть ли какая-нибудь возможность переправиться к белым людям с нашего острова, он отвечал: «Да, да, это можно: надо плыть на два лодка». Я долго не понимал, что он хотел сказать своим «двумя лодками», но наконец, хотя и с великим трудом, догадался, что он имеет в виду большое судно величиной в две лодки.

Этот разговор очень утешил меня: с того дня у меня возникла надежда, что рано или поздно мне удастся вырваться из моего заточения и что мне поможет в этом мой бедный дикарь.

Глава 23

Строительство новой лодки

В течение долгой совместной жизни с Пятницей, когда он научился обращаться ко мне и понимать меня, я не упускал случая насаждать в его душе основы религии. Как-то раз я его спросил: «Кто тебя сделал?» Бедняга меня не понял: он подумал, что я спрашиваю, кто его отец. Тогда я решил попробовать иначе: я спросил его, кто сделал море и землю, по которой мы ходим, кто сделал горы и леса. Он отвечал: «Старик по имени Бенамуки, который живет высоко-высоко». Он ничего не мог сказать мне об этой важной особе, кроме того, что он очень стар, гораздо старше меня и земли, старше луны и звезд. Когда же я спросил его, почему все существующее не поклоняется этому старику, если он создал все, лицо Пятницы приняло серьезное выражение, и он простодушно ответил: «Все на свете говорит ему: «О!» Затем я спросил его, что делается с людьми его племени, когда они умирают. Он сказал: «Все они идут к Бенамуки». – «И те, кого они съедают, – продолжал я, – тоже идут к Бенамуки?» – «Да», – отвечал он.

Так начал я учить его познавать истинного Бога. Я сказал ему, что великий Творец всего сущего живет на небесах (тут я показал рукой на небо) и правит миром тою же властью и тем же Провидением, каким он создал его, что он всемогущ, может сделать с нами все, что захочет, все дать и все отнять. Так постепенно я открывал ему глаза. Он слушал с величайшим вниманием. С радостным умилением принял он мой рассказ об Иисусе Христе, посланном на землю для искупления наших грехов, о

наших молитвах Богу, который всегда слышит нас, хоть он и на небесах. Один раз он сказал мне: «Если ваш бог живет выше солнца и все-таки слышит вас, значит, он больше Бенамуки, который не так далеко от нас и все-таки слышит нас только с высоких гор, когда мы поднимаемся, чтобы разговаривать с ним». – «А ты сам ходил когда-нибудь на те горы беседовать с ним?» – спросил я. «Нет, – отвечал он, – молодые никогда не ходят, только старики, которых мы называем Увокеки (насколько я мог понять из его объяснений, их племя называет так свое духовенство или жрецов). Увокеки ходят туда и говорят там: «О!» (на его языке это означало: молятся) – а потом приходят домой и возвещают всем, что им говорил Бенамуки». Из всего этого я заключил, что обман практикуется духовенством даже среди самых невежественных язычников и что искусство облекать религию тайной, чтобы обеспечить почтение народа к духовенству, встречается не только у католиков, но, вероятно, во всем свете, даже среди самых зверских и варварских дикарей.

Я всячески старался объяснить Пятнице этот обман и сказал ему, что уверения их стариков, будто они ходят на горы говорить «О!» богу Бенамуки и будто он возвещает им там свою волю, пустые враки и что если они и беседуют с кем-нибудь на горе, так разве со злым духом. Тут я подробно распространился о дьяволе, о его происхождении, о его восстании против Бога, о его ненависти к людям и причинах ее; рассказал, как он выдает себя за Бога среди народов, не просвещенных словом Божьим, и заставляет их поклоняться ему; к каким он прибегает уловкам, чтобы погубить человеческий род, как он тайком проникает в нашу душу, потакая нашим страстям, как он умеет ставить нам западни, приспособляясь к нашим склонностям и заставляя таким образом человека быть собственным своим искусителем и добровольно идти на погибель.

Я видел, что гораздо труднее было запечатлеть в уме Пятницы истинное представление о дьяволе или злом духе, чем внушить ему идею бытия Божьего. В последнем случае сама природа помогла тем доводам, которые я приводил в доказательство существования великой первопричины, господствующей и управляющей силы, тайного и могущественного Провидения, и в подтверждение справедливости поклонения тому, кто создал все, и так далее; ничего подобного не представлялось Пятнице при определении злого духа: происхождение его, сущность, природа и особенно стремление делать зло людям и склонять их к нему были непонятны для этого доброго дикаря. Однажды Пятница поразил меня вопросом, в сущности, естественным и невинным, на который я, однако же, затруднился ответить. Я много говорил ему о

всемогуществе Божьем, о его отвращении к греху, о том, что уготовил он для делателей неправды, о том, что он сотворил все и сможет в одно мгновение уничтожить все на свете; и он все время слушал очень внимательно.

Но когда я сказал, что дьявол есть враг Божий, сказал, что он живет в сердце человека и пускает в ход всю свою злость и коварство, с тем чтобы уничтожить благие цели Провидения и разрушить царство Христа на земле, Пятница остановил меня следующими словами:

– Хорошо, ты говоришь, Бог такой сильный, такой могуч, разве он не больше сильный, чем дьявол?

– Да, да, Пятница, – ответил я, – Бог сильнее и могущественнее дьявола, и потому мы молим Бога, чтобы он сокрушил и поверг его в бездну, чтобы он дал нам силу устоять против его искушений и отвратил от нас его огненные стрелы.

– Но, – возразил он, – раз Бог больше сильный и больше может сделать, почему он не убить дьявол, чтобы не было зло?

Его вопрос до странности поразил меня; ведь как-никак, хотя я был теперь уже старик, но в богословии я был только начинающий и не очень-то хорошо умел отвечать на казуистические вопросы и разрешать затруднения. Сначала я не знал, что ему ответить, сделал вид, что не слышал его, и переспросил, что он сказал. Но он слишком серьезно добивался ответа, чтобы позабыть свой вопрос, и повторил его такими же точно ломаными словами, как и раньше. Пятница, видимо, был сильно заинтересован ответом и слово в слово повторил свой вопрос. Собравшись немного с мыслями, я сказал:

– В конце концов Бог жестоко накажет дьявола, он сохраняет его до дня Страшного суда, когда ввергнет его в бездонную пропасть, где он и будет гореть в вечном огне.

Но это объяснение не удовлетворило Пятницу. Он посмотрел на меня, повторяя мои слова:

– Сохраняет до конца… я не понимай, почему не убить дьявола теперь, не убить раньше?

– А ты лучше спроси, – сказал я, – почему Бог не убьет тебя и меня; ведь мы тоже грешим и оскорбляем его, но он хранит нас, чтобы мы раскаялись и были прощены.

Он задумался и потом с большим чувством ответил: «Хорошо, хорошо… значит, ты, я, дьявол, все грешники… сохраняет… покаются… Бог простит всех». Этими словами он сбил меня окончательно столку, и они мне ясно показали, что хотя простые, природные представления и

указывают мыслящему существу путь к познанию Бога и поклонению и благоговению перед ним как перед верховным существом, тем не менее вследствие той же нашей природы мы только Божественным откровением можем дойти до представления об Иисусе Христе как об искупителе, посреднике, ходатае и заступнике нашем у подножия Всевышнего. Ничто, кроме откровения, говорю я, не может запечатлеть всего этого в нашей душе, и потому Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, то есть слово Божие и Дух Святой, предвозвещенные народу для поучения, – это важнейшие наставники душ наших в истинном познании Бога и путей спасения.

Вот почему я уклонился от продолжения этой беседы и быстро встал, как бы вспомнив о неотложном деле, затем придумал предлог услать Пятницу куда-то, а сам стал молиться. Я горячо просил Бога дать мне силы и способность воспитать этого бедного дикаря, одухотворить его сердце и приготовить к познанию Бога во Христе, примирить его с ним. Я просил Всевышнего руководить мною в проповеди слова Божьего, чтобы убедить дикаря, открыть ему глаза и спасти его душу. По возвращении Пятницы я возобновил с ним беседу. Я говорил ему об искуплении грехов наших Спасителем мира, об учении святого Евангелия, которое было предвозвещено небом, то есть о покаянии перед Богом и вере в Иисуса Христа. Я объяснил, как мог, почему наш Божественный Искупитель принял на себя образ не ангела, а человека, сына Авраамова, и почему вследствие этого падшие ангелы не имели доли в искуплении, которое уготовано только для заблудших овец из дома Израиля, и тому подобное.

Одному Богу известно, что в моих рассказах было больше добрых желаний и намерений, чем знаний, и надо признаться, что при этом со мною произошло то, что в подобных случаях бывает со многими. Поучая и наставляя Пятницу, я учился и сам: то, что прежде мне было неизвестно или о чем я прежде не рассуждал, теперь ясно представлялось в сознании, когда я передавал это моему дикарю. Я никогда не был столь одушевлен изучением спасительных истин, как теперь, в беседе с ним. Я не знаю, пробудил ли я чувство в этом несчастном, но у меня были основания благодарить небо за то, что оно послало его. Мое горе облегчилось, жизнь стала для меня приятнее. И когда я вспомнил, что, заключенный в своем одиночестве, я обратил взоры к небу, не только затем, чтобы увидеть карающую десницу Провидения, но и затем, чтобы стать орудием спасения жизни, а может быть, и души несчастного дикаря – приведя ее к познанию веры и учения Христа, – тогда сердце мое наполнилось восторгом, и я радовался своему прибытию на остров, который прежде считал

источником всех моих бедствий и страданий.

В таком душевном настроении я провел остальное время моего заточения на острове. Мои беседы с Пятницею поглощали свободные часы, и я прожил три года в полном довольстве и счастье, если есть полное счастье на земле. Теперь мой дикарь стал добрым христианином, гораздо лучшим, чем я; надеюсь, впрочем, и благодарю за это Создателя, что, если я был и грешнее этого дитяти природы, однако мы оба одинаково были в покаянном настроении и уповали на милосердие Божье. Мы могли читать здесь слово Божье, и, внимая ему, мы были так же близки к Богу, как если бы жили в Англии.

Я любил это чтение и толковал его Пятнице согласно своему пониманию, а он возбуждал мой ум вопросами, которые заставляли меня глубже, чем прежде, вдумываться в характер и смысл учения. Но учение о познании Бога и учение Иисуса Христа так ясно и просто изложены в Ветхом и Новом Заветах, что одно чтение их доставляло мне бесконечное счастье и наслаждение. Одно это чтение породило во мне чувство долга и влекло меня к чистосердечному покаянию; оно заставило меня всеми силами души полюбить Спасителя, этот источник жизни и избавления; оно преобразовало мою нравственную жизнь, подчинив ее заповедям Божьим. Это же чтение воспитало моего бедного дикаря и сделало его таким христианином, какого я не встречал больше в своей жизни.

Что касается разных тонкостей в истолковании того или другого библейского текста – тех богословских комментариев, из-за которых возгорелось столько споров и вражды, – то нас они не занимали. Так же мало интересовались мы вопросами церковного управления и тем, какая церковь лучше. Все эти частности нас не касались, да и кому они нужны? Я, право, не вижу, какая польза была бы нам от того, что мы изучили бы все спорные пункты нашей религии, породившие на земле столько смуты, и могли бы высказать свое мнение по каждому из них. Слово Божье было нашим руководителем на пути к спасению, а может ли быть у человека более надежный руководитель? Однако я должен возвратиться к повествовательной части моего рассказа и изложить все события по порядку.

Когда мы с Пятницей познакомились ближе и он не только мог понимать почти все, что я ему говорил, но и сам стал довольно бегло, хотя и ломаным языком, изъясняться по-английски, я рассказал ему историю моих похождений, по крайней мере то, как я попал на мой остров, сколько лет прожил на нем и как провел эти годы. Я открыл ему тайну пороха и пуль, потому что для него это была действительно тайна, и научил

стрелять. Я подарил ему нож, от которого он пришел в полное восхищение, и сделал ему портупею вроде тех, на каких у нас в Англии носят тесаки, только вместо тесака я вооружил его топором, так как он мог служить не только оружием во многих случаях, но и рабочим инструментом.



Я рассказал Пятнице об европейских странах, в частности об Англии, моей родине; описал, как мы живем, как совершаем богослужение, как обращаемся друг с другом, как торгуем во всех частях света, переправляясь по морю на кораблях. Я рассказал ему о крушении корабля, на котором я плавал, и показал ему место, где находились его остатки, унесенные сейчас в море.

Показал я ему и остатки лодки, в которой мы спасались и которую потом, как уже говорил, выбросило на мой остров. Эта лодка – я был не в силах сдвинуть ее с места – теперь совсем развалилась. Увидев ее, Пятница задумался и долго молчал. Я спросил его, о чем он думает, и он ответил:

– Я видел лодка, как этот: плавал то место, где мой народ.

Я долго не понимал, что он хотел сказать; наконец, после долгих расспросов, выяснилось, что точно такую лодку прибило к берегу в той земле, где живет его племя. Я подумал, что какой-нибудь европейский корабль потерпел крушение около тех берегов и что лодку с него сорвало

волнами. Но почему-то мне не пришло в голову, что лодка могла быть с людьми, и, продолжая свои расспросы, я осведомился только о лодке.

Пятница описал мне ее очень подробно, но лишь тогда, когда он с оживлением прибавил в конце: «Белые человеки не потонули – мы их спасли», – я уяснил себе все значение происшествия, о котором он говорил, и спросил его, были ли в лодке белые люди.

– Да, – ответил он, – полный лодка белых человеков.

– Сколько их было?

Он насчитал по пальцам семнадцать.

– Где же они? Что с ними сталось?

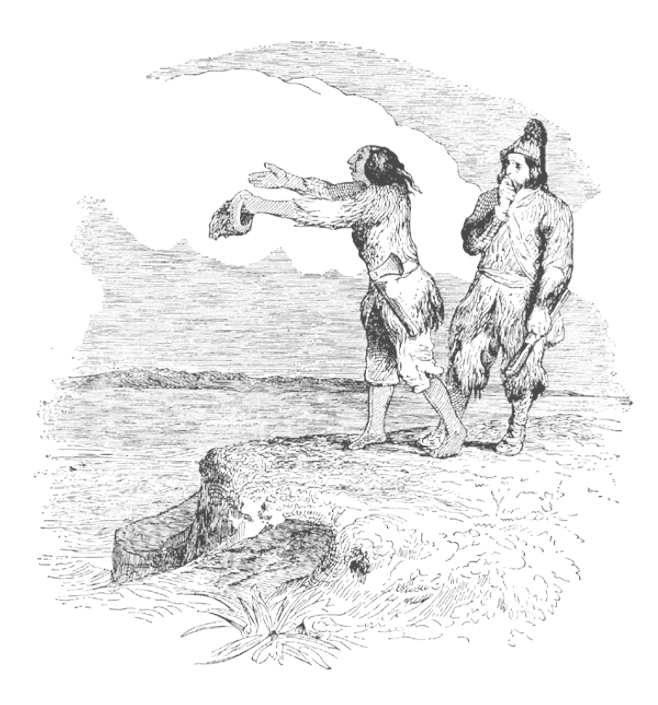
Он отвечал:

– Они живы; живут с мой народ.

Это навело меня на новую догадку: не с того ли самого корабля, что разбился в виду моего острова, были эти семнадцать человек? Убедившись, что корабль наскочил на скалу и что ему грозит неминуемая гибель, все они покинули его и пересели в шлюпку, а потом их прибило к земле дикарей, где они и остались. Я стал допытываться у Пятницы, наверно ли он знает, что белые люди живы. Он с живостью отвечал: «Наверно, наверно», – и прибавил, что скоро будет четыре года, как они живут у его земляков, и что те не только не обижают, но даже кормят их. На мой вопрос, каким образом могло случиться, что дикари не убили и не съели белых людей, он ответил:

– Белые человеки стали нам братья (то есть, насколько я понял его, заключили с ними мир), – и прибавил: – Наши кушают человеков только на войне. – Это должно было означать только военнопленных из враждебных племен.

Прошло довольно много времени после этого рассказа. Как-то в ясный день, поднявшись на вершину холма в восточной части острова, откуда, если припомнит читатель, я много лет тому назад увидел материк Америки, Пятница долго вглядывался в даль по тому направлению и вдруг принялся прыгать, плясать и звать меня, потому что я был довольно далеко от него. Я подошел и спросил, в чем дело.



– О, радость! О, счастье! – воскликнул он. – Вон там, смотри, отсюда видно… моя земля, мой народ!

Все лицо его преобразилось от радости: глаза блестели, он весь был охвачен неудержимым порывом, – казалось, он так бы и полетел туда, к своим. Это наблюдение навело меня на мысли, благодаря которым я стал относиться с меньшим доверием к моему слуге. Я был убежден, что, если Пятница вернется на родину, он позабудет не только свою новую веру, но и все, чем он мне обязан, и, пожалуй, даже предаст меня своим соплеменникам: приведет сотню или две на мой остров; они убьют меня и съедят, и он будет пировать вместе с ними с таким же легким сердцем, как прежде, когда все они приезжали сюда праздновать свои победы над дикарями враждебных племен.

Но, думая так, я был жестоко несправедлив к честному малому, о чем потом очень жалел. Подозрительность моя с каждым днем возрастала, а сделавшись осторожнее, я, естественно, начал чуждаться Пятницы и стал к нему холоднее. Так продолжалось несколько недель, но, повторяю, я был совершенно не прав: у этого честного, добродушного малого не было и в помышлении ничего дурного; он не погрешил тогда против правил христианской морали, не изменил нашей дружбе, в чем я и убедился наконец, к великой своей радости.

Пока я подозревал его в злокозненных замыслах против меня, я, разумеется, пускал в дело всю свою дипломатию, чтобы заставить Пятницу проговориться; но каждое его слово дышало такою простодушной искренностью, что мне стало стыдно моих подозрений; я успокоился и

вернул ему свое доверие. А он даже не заметил моего временного к нему охлаждения, и это было для меня только лишним доказательством его искренности.

Однажды, когда мы с Пятницей опять поднялись на этот самый холм (только в этот раз на море стоял туман и берегов материка не было видно), я спросил его:

– А что, Пятница, хотелось бы тебе вернуться на родину к своим?

– Да, – отвечал он, – я был бы много рад воротиться к своим.

– Что ж бы ты там делал? – продолжал я. – Превратился бы опять в дикаря и стал бы, как прежде, есть человеческое мясо?

Его лицо приняло серьезное выражение; он покачал головой и ответил:

– Нет, нет! Пятница сказал бы там им всем: живите хорошо, молитесь Богу, кушайте хлеб, козлиное мясо, молоко, не кушайте человека.

– Ну, если ты им это скажешь, они тебя убьют.

Он взглянул на меня все так же спокойно и сказал:

– Нет, не убьют; они будут рады учить доброе (будут рады научиться добру – хотел он сказать). – Затем он прибавил: – Они много учились от бородатых человеков, что приехали на лодке.

– Так тебе хочется воротиться домой? – повторил я свой вопрос.

Он улыбнулся и сказал:

– Я не могу плыть так далеко. – Когда же я предложил сделать для него лодку, он отвечал, что с радостью поедет, если я поеду с ним.

– Как же мне ехать? – возразил я. – Ведь они меня съедят!

– Нет, нет, не съедят, – проговорил он с жаром, – я сделаю так, что не съедят, я сделаю, что они будут тебя много любить. – Мой честный Пятница хотел этим сказать, что он расскажет своим землякам, как я убил его врагов и спас ему жизнь, и что за это они полюбят меня. После того он рассказал мне на своем ломаном языке, с какой добротой относились они к семнадцати белым бородатым людям, которых прибило к берегу в их земле.

С того времени, признаюсь, у меня засела мысль попробовать переправиться на материк и разыскать там бородатых людей, о которых говорил Пятница; не могло быть сомнения, что это испанцы или португальцы, и я был уверен, что, если только мне удастся присоединиться к ним, мы сообща отыщем способ добраться до какой-нибудь цивилизованной страны, между тем как, находясь в одиночестве, на острове, в сорока милях от материка, я не имел никакой надежды на освобождение. И вот спустя несколько дней я опять завел с Пятницей тот же разговор. Я сказал, что дам ему лодку, чтоб он мог вернуться на родину,

и повел его на противоположную оконечность острова, где стоял мой фрегат. Вычерпав из него воду (для большей сохранности он был у меня затоплен), я подвел его к берегу, показал ему, и мы оба сели в него.

Пятница оказался превосходным гребцом: лодка шла у него почти так же быстро, как у меня. Когда мы отошли от берега, я ему сказал: «Ну что же, Пятница, поедем к твоим землякам?» Он посмотрел на меня недоумевающим взглядом: очевидно, лодка казалась ему слишком маленькой для такого далекого путешествия. Тогда я сказал ему, что у меня есть лодка побольше, и на следующий день повел его к месту, где была моя первая лодка, которую я не мог спустить на воду. Пятница нашел ее величину достаточной. Но так как со дня постройки этой лодки прошло двадцать два или двадцать три года и все это время она оставалась под открытым небом, где ее припекало солнце и мочило дождем, то вся она рассохлась и прогнила. Пятница заявил, что подобная лодка будет подходящей и что на нее можно будет нагрузить довольно еды, довольно хлеба, довольно питья.

В общем, мое намерение предпринять поездку на материк вместе с Пятницей настолько окрепло, что я предложил ему построить такую же точно лодку, на которой он сможет уехать домой. Он не ответил ни слова, но стал очень сумрачным и грустным. Когда же я спросил, что с ним, он сказал:

– Почему господин злой на Пятницу? Что Пятница сделал?

– С чего ты взял, что я зол на тебя? Я нисколько не зол, – сказал я.

– Не злой, не злой! – Он повторил эти слова несколько раз. – А зачем отсылаешь Пятницу домой?

– Да ведь сам же ты говорил, что тебе хочется домой, – заметил я.

– Да, хочется, – отвечал он, – но только чтоб оба. Господин не поедет – Пятница не поедет: Пятница не хочет без господина. – Одним словом, он и слышать не хотел о том, чтобы покинуть меня.

– Но послушай, Пятница, – продолжал я, – зачем же я поеду туда? Что я там буду делать?

Он живо повернулся ко мне:

– Много делать, хорошо делать: учить диких человеков быть добрыми, кроткими, смирными; говорить им про Бога, чтоб молились ему; делать им новую жизнь.

– Увы! – вздохнул я. – Ты сам не знаешь, что говоришь. Куда уж такому невежде, как я, учить добру других!

– Неправда! – воскликнул он с жаром. – Меня учил добру, их будешь учить.

– Нет, Пятница, – сказал я решительным тоном, – поезжай без меня, а я останусь здесь один и буду жить, как жил прежде.

Он опять загрустил; потом вдруг подбежал к лежавшему невдалеке топору, который обыкновенно носил, схватил и протянул мне.

– Зачем ты даешь мне топор? – спросил я.

Он отвечал:

– Убивай Пятницу.

– Зачем же мне тебя убивать? – спросил я.

– А зачем гонишь Пятницу прочь? Убивай Пятницу. Не гони Пятницу прочь, – напустился он на меня. Он был искренне огорчен: я заметил на глазах его слезы. Словом, привязанность его ко мне и его решимость были настолько очевидны, что я тут же сказал ему и часто повторял потом, что никогда не прогоню его, пока он хочет оставаться со мной.

Таким образом, я окончательно убедился, что Пятница навеки предан мне, что единственным источником его желания вернуться на родину была горячая любовь к своим соплеменникам и надежда, что я научу их добру. Но, не будучи преувеличенно высокого мнения о своей особе, я не имел ни малейшего намерения браться за такое трудное дело, как просвещение дикарей. Впрочем, желание мое вырваться из моего заточения было от этого ничуть не слабее. Особенно усилилось мое нетерпение после разговора с Пятницей, когда я узнал, что семнадцать бородатых людей живут так близко от меня. Поэтому, не откладывая долее, я стал искать с Пятницей подходящее толстое дерево, из которого можно было бы сделать большую пирогу или лодку и пуститься на ней в путь. На острове росло столько строевого леса, что из него можно было выстроить целую флотилию кораблей, а не то что пирог и лодок. Но чтобы избежать промаха, допущенного мной при постройке первой лодки, самое существенное было найти дерево, которое росло бы близко к берегу, и нам не стоило бы особенного труда спустить лодку на воду.

После долгих поисков Пятница нашел наконец вполне подходящий для нас экземпляр; он гораздо больше меня понимал в этом деле. Я и по сей день не знаю, какой породы было срубленное нами дерево, впрочем, могу сказать, что оно очень походило на то, которое мы называем фустиком, точнее, нечто среднее между фустиком и «никарагуанским деревом», на последнее оно походило своим цветом и запахом. Пятница стоял за то, чтобы выжечь внутренность колоды, как это делают при постройке своих пирог дикари; но я сказал ему, что будет проще выдолбить ее плотницкими инструментами, и, когда я показал ему, как это делается, он согласился, что мой способ практичнее. Мы живо принялись за дело, и через месяц

усиленного труда лодка была готова. Мы обтесали ее снаружи топорами (Пятница мигом научился этой работе), и вышла настоящая морская лодка. Но после того понадобилось еще около двух недель, чтобы спустить нашу лодку в море, так как мы двигали ее на больших деревянных катках буквально дюйм за дюймом; зато на воде она с легкостью выдержала бы человек двадцать.



Когда лодка была спущена на воду, я удивился, как ловко, несмотря на ее величину, управляется с ней Пятница, как быстро он заставляет ее поворачиваться и как хорошо гребет. Я спросил его, можем ли мы пуститься в море в такой лодке. «О да, – ответил он, – такой лодка не страшно даже большой-большой ветер». Но прежде чем пускаться в путь, я решил осуществить еще одно намерение, о котором Пятница не знал, а именно снабдить лодку мачтой, парусом, якорем и канатом. Сделать мачту было нетрудно; на острове росло много кедров, прямых как стрела. Я выбрал одно молоденькое деревце, росшее поблизости, велел Пятнице срубить его и дал ему указания, как очистить ствол от ветвей и обтесать его. Но над парусом мне пришлось потрудиться самому. У меня оставались еще старые паруса или, лучше сказать, куски парусов, но так как они лежали уже более двадцати шести лет и я не особенно заботился о том, чтобы сохранить их в целости, не думая, что они могут когда-нибудь пригодиться, то был уверен, что все они сгнили. И действительно, большая часть их оказалась гнильем; но все же я нашел два куска покрепче и принялся за шитье, на которое потратил много труда, так как даже иголок у меня не было; в конце концов я все же соорудил, во-первых, довольно безобразный треугольный парус, похожий на те, которые мы в Англии называем «бараньей лопаткой», и простирающийся сверху до самого днища, и, во-вторых, маленький и короткий в верхней части мачты,

именуемый шпринтоном; такими парусами я умел хорошо управлять, потому что они были на том баркасе, на котором я совершил побег из Берберии, как уже рассказывалось об этом в начальной части моего повествования.

Около двух месяцев провозился я над оснасткой нашего судна, но зато работа была сделана чисто. Кроме двух упомянутых парусов, я смастерил еще третий, укрепив его на носу; он должен был помогать нам поворачивать лодку при перемене галса. Но главное, я сделал и приладил руль, что должно было значительно облегчить управление лодкой. Я был неискусный корабельный плотник, но, понимая всю пользу и даже необходимость такого приспособления, как руль, я не пожалел труда на его изготовление; хотя если принять во внимание все мои неудавшиеся опыты, то, я думаю, он отнял у меня почти столько же времени, как и постройка всей лодки.

Когда все было готово, я стал учить Пятницу управлению лодкой, потому что хоть он и был хорошим гребцом, но ни о руле, ни о парусах не имел никакого понятия. Он был совершенно поражен, когда увидел, как я действую рулем и как парус надувается то с одной, то с другой стороны в зависимости от перемены галса. Тем не менее он очень скоро постиг всю эту премудрость и сделался искусным моряком. Одному только он никак не мог научиться – употреблению компаса: это было выше его понимания. Но как в тех широтах в сухие сезоны почти никогда не бывает ни туманов, ни пасмурных дней, то в компасе для нашей поездки не представлялось особенной надобности. Днем мы могли править на берег, который был виден вдали, а ночью держать путь по звездам. Другое дело в дождливый сезон, но в дождливый сезон все равно нельзя было путешествовать ни морем, ни сухим путем.

Наступил двадцать седьмой год моего пленения. Впрочем, три последних года можно было смело скинуть со счета, ибо с появлением на острове Пятницы все совершенно изменилось. Двадцать шестую годовщину этой жизни я отпраздновал благодарственной молитвой, как и в прежние годы: я благодарил Создателя за те великие милости, которые он даровал мне в моем одиночестве. И если мне было за что благодарить его прежде, то уж теперь и подавно: теперь мне были даны новые доказательства того, как печется обо мне Провидение; теперь мне уж недолго оставалось томиться в пустыне: освобождение было близко; по крайней мере я был твердо убежден, что мне не придется прожить и года на моем острове. Несмотря, однако, на такую уверенность, я не забрасывал своего хозяйства: я по-прежнему копал землю и засевал ее, по-прежнему

огораживал новые поля, ходил за своим стадом, собирал и сушил виноград – словом, делал все необходимое, как и раньше.

Между тем приближался дождливый сезон, когда я обыкновенно большую часть дня просиживал дома. Нашу поездку пришлось отложить, а пока необходимо было позаботиться о безопасности нашей новой лодки. Мы привели ее в ту бухточку, куда, как было сказано, я приставал со своими плотами в начале своего пребывания на острове. Дождавшись прилива, я подтянул лодку к самому берегу, пришвартовал ее и приказал Пятнице выкопать маленький бассейн такой величины и глубины, чтобы она поместилась в нем, как в доке. С наступлением отлива мы огородили ее крепкой плотиной, чтобы закрыть доступ в док со стороны моря. А чтобы предохранить лодку от дождей, мы прикрыли ее толстым слоем веток, под которыми она стояла, как под крышей. Теперь мы могли спокойно дождаться ноября или декабря, чтобы предпринять наше путешествие.



Глава 24

Битва с дикарями. — Освобождение испанцев. — Отец Пятницы

Как только прекратились дожди и погода установилась, я начал деятельно готовиться к дальнему плаванию. Я заранее рассчитал, какой запас провизии нам может понадобиться, и заготовил все, что нужно. Недели через две я предполагал открыть док и спустить лодку в море. Как-то утром я, по обыкновению, был занят сборами в дорогу и отослал Пятницу на берег моря поискать черепаху: яйца и мясо этого животного давали нам еду на неделю. Не успел Пятница уйти, как сейчас же прибежал назад. Словно полоумный, не слыша под собой земли, он мгновенно

перелетел ко мне за ограду и, прежде чем я успел спросить его, в чем дело, закричал:

– Господин! Господин! Беда! Плохо!

– Что с тобой, Пятница? Что случилось? – спросил я в тревоге.

– Там, около берега, одна, две, три… одна, две, три лодки! – Зная его способ считать, я подумал, что всех лодок было шесть, но, как потом оказалось, их было только три.

– Ну, что же такое, Пятница! Что ты так испугался? – сказал я, стараясь его ободрить. Бедняга был вне себя; вероятно, он вообразил, что дикари явились за ним, что они разыщут его и съедят. Он так дрожал, что я не знал, что с ним делать. Я успокаивал его, как умел: говорил, что, во всяком случае, я подвергаюсь такой же опасности, как и он, что если съедят его, так и меня вместе с ним.

– Но мы постоим за себя, мы будем драться, – прибавил я. – Готов ты драться?

– Я стрелять, – отвечал он. – Но их много, очень много.

– Не беда, – сказал я, – одних мы убьем, а остальные испугаются выстрелов и разбегутся. Я буду защищать тебя. Но обещаешь ли ты, что будешь защищать меня в свою очередь, а главное, будешь делать все, что я тебе прикажу?

Он отвечал:

– Я умру, когда ты скажешь, господин.

После этого я принес из погреба рому и дал ему выпить (я так бережно расходовал свой ром, что у меня оставался еще порядочный запас). Затем мы собрали все наше огнестрельное оружие, привели его в порядок и зарядили. Два охотничьих ружья, которые мы всегда брали с собой, выходя из дому, я зарядил самой крупной дробью; в четыре мушкета положил по пять маленьких пуль и по два кусочка свинца, а пистолеты зарядил двумя пулями каждый. Кроме того, я вооружился, как всегда, тесаком без ножен, а Пятнице дал топор.

Приготовившись таким образом к бою, я взял подзорную трубу и поднялся на гору для рекогносцировки. Направив трубу на берег моря, я скоро увидел дикарей: их было двадцать один человек, трое пленных и три лодки. Было, ясно, что вся эта шайка явилась на остров с единственной целью – отпраздновать свою победу над врагом варварским пиром. Ужасное пиршество, но для этих извергов подобные оргии были в порядке вещей.

Я заметил также, что на этот раз они высадились не там, где высаживались три года тому назад, в день бегства Пятницы, а гораздо

ближе к моей бухточке. Здесь берега были низкие, и почти к самому морю подступал густой лес. Меня взбесило, что дикари расположились так близко к моему жилью, а отвращение к кровавому делу, для которого они явились на остров, еще сильнее распалило мой гнев. Спустившись с горы, я объявил Пятнице мое решение напасть на этих зверей и перебить их всех до единого и еще раз спросил, будет ли он мне помогать. Он теперь совершенно оправился от испуга (чему, быть может, отчасти способствовал выпитый им ром) и с бодрым видом повторил, что, если я прикажу, он умрет.

Охваченный яростью, я поделил между нами приготовленное оружие, и мы тронулись в путь. Пятнице я дал один из пистолетов, который он заткнул себе за пояс, и три ружья, а сам взял остальное. На всякий случай я захватил в карман бутылку рому, а Пятнице дал нести большой мешок с запасным порохом и пулями. Я приказал ему следовать за мной, не отставая ни на шаг, и строго запретил заговаривать со мной и стрелять, пока я не прикажу. Нам пришлось сделать большой крюк, не меньше мили, чтоб обогнуть бухточку и подойти к берегу со стороны леса, потому что только с этой стороны можно было незаметно подкрасться к неприятелю на расстояние ружейного выстрела.

Пока мы шли, мои прежние сомнения вернулись ко мне, и моя решимость начала ослабевать. Не многочисленность неприятеля смущала меня: в борьбе с этими голыми, почти безоружными людьми все шансы победы были, несомненно, на моей стороне, будь я даже один. Нет, меня терзало другое. «С какой стати, – спрашивал я себя, – и ради чего я собираюсь обагрить руки человеческой кровью? Какая крайность гонит меня? И кто, наконец, дал мне право убивать людей, не сделавших и не хотевших сделать мне никакого зла? Чем, в самом деле, они провинились передо мной? Их варварские обычаи меня не касаются; это – несчастное наследие, перешедшее к ним от предков, проклятие, которым их покарал Господь. Но если Господь их покинул, если в своей премудрости он рассудил за благо уподобить их скотам, то, во всяком случае, меня он не уполномочивал быть их судьею, а тем более палачом. И наконец, за пороки целого народа не подлежат отмщению отдельные люди. Словом, с какой точки зрения ни взгляни, расправа с людоедами – не мое дело. Еще для Пятницы тут можно найти оправдание: это его исконные враги; они воюют с его соплеменниками, а на войне позволительно убивать. Ничего подобного нельзя сказать обо мне». Все эти доводы, не раз приходившие мне в голову и раньше, показались мне теперь до такой степени убедительными, что я решил не трогать пока дикарей, а, засевши в лесу, в

таком месте, чтобы видеть все, что происходит на берегу, выжидать и начать наступательные действия лишь в том случае, если Бог даст мне явное указание, что такова его воля.

С этим решением я вошел в лес. Пятница следовал за мной по пятам. Мы шли со всевозможными предосторожностями – в полном молчании, стараясь ступать как можно тише. Подойдя к опушке с того края, который был ближе к берегу, так что только несколько рядов деревьев отделяло нас от дикарей, я остановился, тихонько подозвал Пятницу, и, указав ему толстое дерево почти на опушке леса, велел взобраться на это дерево и посмотреть, видно ли оттуда дикарей и чем они занимаются. Он сделал, как ему было сказано, и сейчас же воротился, чтоб сообщить, что все отлично видно, что дикари сидят вокруг костра и едят мясо одного из привезенных ими пленников, а другой лежит, связанный тут же на песке, и они, наверное, сейчас же убьют его. Вся моя душа запылала гневом при этом известии. Но меня охватил ужас, когда Пятница сказал мне, что второй пленник, которого дикари собираются съесть, не их племени, а один из тех бородатых людей, что приехали в его землю на лодке. Подойдя к дереву, я ясно увидел в подзорную трубу белого человека. Он лежал неподвижно, его руки и ноги были стянуты гибкими прутьями тростника или другого растения такого рода. На нем была одежда, но не только по этому, а и по лицу нельзя было не признать в нем европейца.

Ярдов на пятьдесят ближе к берегу, на пригорке, на расстоянии приблизительно половины ружейного выстрела от дикарей, росло другое дерево, к которому можно было подойти незамеченным, так как все пространство между ним и тем местом, где мы стояли, было почти сплошь покрыто густой зарослью какого-то кустарника. Сдерживая бушевавшую во мне ярость, я потихоньку пробрался за кустами к этому дереву и оттуда как на ладони увидел все, что происходило на берегу.

Нельзя было терять ни минуты. У костра, сбившись в плотную кучу, сидели девятнадцать дикарей. В нескольких шагах от этой группы подле распростертого на земле европейца стояли двое остальных и, нагнувшись над ним, развязывали ему ноги: очевидно, они были только что посланы за ним. Еще минута, и они зарезали бы его, как барана, и затем, вероятно, разделили бы его на части и принялись бы жарить. Я повернулся к Пятнице.

– Будь наготове, – сказал я ему. Он кивнул головой. – Теперь смотри на меня, и что буду делать я, то делай и ты. – С этими словами я положил на землю охотничье ружье и один из мушкетов, а из другого мушкета прицелился в дикарей. Пятница тоже прицелился.

– Готов ты? – спросил я его. Он отвечал утвердительно. – Ну, так пли! – сказал я и выстрелил.

Прицел Пятницы оказался вернее моего: он убил двух человек и ранил троих, я же только двоих ранил и одного убил. Легко себе представить, какой переполох произвели наши выстрелы в толпе дикарей. Все уцелевшие вскочили на ноги и заметались на берегу, не зная, куда кинуться, в какую сторону бежать. Они не могли сообразить, откуда обрушилась на них гибель. Пятница, согласно моему приказанию, не сводил с меня глаз. Тотчас же после первого выстрела я бросил мушкет, схватил охотничье ружье, взвел курок и снова прицелился. Пятница в точности повторил каждое мое движение.

– Ты готов? – спросил я опять.

– Готов.

– Так стреляй, и да поможет нам Бог. – Два выстрела грянули почти одновременно в середину остолбеневших дикарей, но так как на этот раз мы стреляли из охотничьих ружей, заряженных дробью, то упало только двое. Зато раненых было очень много. Обливаясь кровью, бегали они по берегу с дикими воплями, как безумные. Три человека были, очевидно, тяжело ранены, потому что они вскоре свалились.

Положив на землю охотничье ружье, я взял свой второй заряженный мушкет, крикнул: «Пятница, за мной!» – и выбежал из лесу. Мой храбрый дикарь не отставал от меня ни на шаг. Заметив, что дикари увидали меня, я закричал во всю глотку и приказал Пятнице последовать моему примеру. Во всю прыть (что, к слову сказать, было не слишком быстро из-за тяжелых доспехов, которыми я был нагружен) устремился я к несчастной жертве, лежавшей, как уже сказано, на берегу, между костром и морем. Оба палача, уже готовые расправиться со своей жертвой, бросили ее при первых же звуках наших выстрелов. В смертельном страхе они стремглав кинулись к морю и вскочили в лодку, куда к ним присоединились еще три дикаря. Я повернулся к Пятнице и приказал ему стрелять в них. Он мигом понял мою мысль и, пробежав ярдов сорок, чтобы быть ближе к беглецам, выстрелил по ним, и я подумал, что он убил их всех, так как все они повалились один на другого на дно лодки; но двое сейчас же поднялись, очевидно, они упали просто со страху. Из трех остальных двое были убиты наповал, а третий был настолько тяжело ранен, что уже не мог встать.

Покуда Пятница расправлялся с пятью беглецами, я вытащил нож и перерезал путы, которыми были стянуты руки и ноги бедного пленника. Освободив его, я помог ему приподняться и спросил его по-португальски, кто он такой. Он отвечал по-латыни: «Christianus»[3]. От слабости он еле

держался на ногах и еле говорил. Я вынул из кармана бутылочку рома и поднес ему ко рту, показывая знаками, чтоб он отхлебнул глоток; потом дал ему хлеба. Когда он поел, я его спросил, какой он национальности, и он отвечал: «Espagniole»[4].



Немного придя в себя, он начал самыми красноречивыми жестами изъявлять мне свою благодарность за то, что я спас ему жизнь. Призвав на помощь все свои познания в испанском языке, я сказал ему по-испански:

– Сеньор, разговаривать мы будем потом, а теперь надо действовать. Если вы в силах сражаться, то вот вам сабля и пистолет: берите, и ударим по врагу. – Испанец с благодарностью принял то и другое и, почувствовав в руках оружие, словно стал другим человеком. Откуда только взялись у него силы! Как ураган налетел он на своих убийц и в мгновение ока изрубил двоих на куски. Правда, несчастные дикари, ошеломленные ружейными выстрелами и внезапностью нападения, были до того перепуганы, что от страха попадали и были так же не способны бежать, как и сопротивляться нашим пулям. То же самое произошло с пятью дикарями в лодке, в которых выстрелил Пятница: двое из них упали просто со страху, не будучи даже ранены.

Я держал заряженный мушкет наготове, но не стрелял, приберегая заряд на случай крайней нужды, так как я отдал испанцу мой пистолет и саблю. Наши четыре разряженных ружья остались под деревом на том месте, откуда мы в первый раз открыли огонь; я подозвал Пятницу и велел ему сбегать за ними. Он мигом слетал туда и обратно. Тогда я отдал ему свой мушкет, а сам стал заряжать остальные ружья, сказав своим обоим союзникам, чтобы, когда им понадобится оружие, они приходили ко мне. Пока я заряжал ружье, между испанцем и одним из дикарей завязался ожесточенный бой. Дикарь набросился на него с огромным деревянным

мечом, точно таким, каким предстояло быть убитым испанцу, если б я не подоспел к нему на выручку. Мой испанец неожиданно оказался великим храбрецом: несмотря на свою слабость, он дрался как лев и нанес противнику своей саблей два страшных удара по голове, но дикарь был рослый, сильный малый; схватившись с ним врукопашную, он скоро повалил обессилевшего испанца и стал вырывать у него саблю; испанец благоразумно выпустил ее, выхватил из-за пояса пистолет и, выстрелив в дикаря, уложил его наповал, прежде чем я, спешивший ему на выручку, успел подбежать.

Между тем Пятница, предоставленный самому себе, преследовал бегущих дикарей с одним только топором в руке: им он прикончил трех человек, раненных первыми нашими выстрелами; досталось от него и остальным. Испанец тоже не терял времени даром. Взяв у меня охотничье ружье, он пустился в погоню за двумя дикарями и ранил обоих, но так как долго бежать было ему не под силу, то оба дикаря успели скрыться в лесу. Пятница погнался за ними. Одного он убил, а за другим не мог угнаться: тот оказался проворнее. Несмотря на свои раны, он бросился в море, пустился вплавь за лодкой с тремя своими земляками, успевшими отчалить от берега, и нагнал ее. Дикарей было двадцать один человек; эти четверо (и в числе их один раненый, про которого мы не знали, жив ли он или умер) были единственными, кто ушел из наших рук. Вот точный отчет:

3 – убито нашими первыми выстрелами из-за дерева,

2 – следующими двумя выстрелами,

2 – убито Пятницей в лодке,

2 – раненных раньше, прикончено им же,

1 – убит им же в лесу,

3 – убито испанцем,

4 – найдено мертвыми в разных местах (убиты при преследовании Пятницей или умерли от ран),

4 – спаслись в лодке (из них один ранен, если не мертв).

Всего 21.

Трое дикарей, спасшихся в лодке, работали веслами изо всех сил, стараясь поскорее уйти из-под выстрелов. Пятница раза два или три пальнул им вдогонку, но, кажется, не попал. Он стал меня убеждать взять одну из их лодок и пуститься за ними в погоню. Меня и самого тревожил их побег: я боялся, что когда они расскажут своим землякам о том, что случилось на острове, те нагрянут к нам, быть может, на двухстах или трехстах лодках и одолеют нас количеством. Поэтому я согласился преследовать беглецов на море и, подбежав к одной из лодок, прыгнул в

нее, приказав Пятнице следовать за мной. Но каково же было мое изумление, когда, вскочив в лодку, я увидел лежавшего в ней человека, связанного по рукам и ногам, как испанец, и, очевидно, тоже обреченного на съедение. Он был полумертв от страха, так как не понимал, что творится кругом; краснокожие так крепко скрутили его и он так долго оставался связанным, что не мог выглянуть из-за бортов лодки и еле дышал.

Я тотчас же перерезал стягивавшие его путы и хотел помочь ему встать. Но он не держался на ногах; он даже говорить был не в силах, а только жалобно стонал; несчастный, кажется, думал, что его только затем и развязали, чтобы вести на убой.

Когда Пятница подошел к нам, я велел ему объяснить этому человеку, что тот свободен, и передал Пятнице бутылочку с ромом, чтоб он дал ему глоток. Радостная весть, в соединении с укрепляющим действием рома, оживила беднягу, и он сел в лодке. Но надо было видеть, что сделалось с Пятницей, когда он услышал голос и увидел лицо этого человека. Он бросился его обнимать, заплакал, засмеялся; потом стал прыгать вокруг него, затем заплясал; потом опять заплакал, замахал руками, принялся колотить себя по голове и по лицу, – словом, вел себя как безумный. Я долго не мог добиться от него никаких разъяснений, но когда он наконец успокоился, то сказал, что это его отец.



Не могу выразить, как я был растроган таким проявлением сыновней любви в моем друге. Нельзя было без слез смотреть на эту радость грубого дикаря при виде любимого им отца, спасенного от смерти. Но в то же время нельзя было и не смеяться нелепым выходкам, которыми выражались его радость и любовь. Раз двадцать он выскакивал из лодки и снова вскакивал в нее; то он садился подле отца и, распахнув свою куртку,

прижимал его голову к своей груди, словно мать ребенка; то принимался гладить и растирать его своими руками. Я посоветовал растереть его ромом, что бедняге очень помогло.

Теперь о преследовании бежавших дикарей нечего было и думать: они почти скрылись из виду. Таким образом, предполагаемая погоня не состоялась, и, надо заметить, к счастью для нас, так как спустя часа два, то есть прежде, чем мы успели бы проехать четверть пути, задул жестокий ветер, который бушевал потом всю ночь. Он дул с северо-запада, как раз навстречу беглецам, так что, по всей вероятности, они не могли выгрести и больше не увидели родной земли.

Но возвратимся к Пятнице. Он был так поглощен сыновними заботами, что у меня не хватило духа оторвать его от отца. Я дал ему время полностью пережить всю радость встречи и тогда только окликнул его. Он подбежал ко мне вприпрыжку, с радостным смехом, довольный и счастливый. Я его спросил, дал ли он отцу хлеба. Он покачал головой: «Нет хлеба: подлая собака ел все сам». И он показал на себя. Тогда я вынул из своей сумки все, что у меня с собой было, – небольшой хлебец и две или три кисти винограда, – и дал Пятнице для его отца. Самому же Пятнице я предложил подкрепить свои силы остатками рома, но и ром он понес старику. Не успел он опять войти в лодку, как вдруг ринулся куда-то сломя голову, точно за ним гналась нечистая сила. Этот малый, надо заметить, был замечательно легок на ногу, и, прежде чем я успел опомниться, он скрылся из виду. Я кричал ему, чтобы он остановился, – не тут-то было! Так он и исчез. Через четверть часа он возвратился, но уже не так стремительно.

Когда Пятница подошел ближе, я увидел, что он что-то несет. Это был кувшин с пресной водой, которую он притащил для отца. Он сбегал для этого домой, в нашу крепость, а кстати прихватил еще два хлебца. Хлеб он отдал мне, а воду собирался отнести старику, но, так как мне очень хотелось пить, я тоже отхлебнул несколько глотков. Вода оживила старика лучше всякого рома: оказалось, что он умирал от жажды.

Когда он напился, я подозвал Пятницу и спросил, не осталось ли в кувшине воды. Он отвечал: «Да», – и я велел ему дать напиться испанцу, нуждавшемуся в этом не менее его отца. Я передал ему также один хлебец из двух принесенных Пятницей. Бедный испанец был очень слаб: он прилег на лужайке под деревом в полном изнеможении. Его палачи так туго стянули ему руки и ноги, что теперь они у него сильно распухли. Когда он утолил жажду свежей водой и поел хлеба, я подошел к нему и дал горсть винограду. Он поднял голову и взглянул на меня с безграничной

признательностью; несмотря на отвагу, только что проявленную в стычке, он был до того истощен, что не мог стоять на ногах, как ни пытался, – ему не позволяли его распухшие ноги. Я посоветовал бедняге не затруднять себя понапрасну и приказал Пятнице растереть ноги испанца ромом, как он это сделал своему отцу.

Я заметил, что добрый малый при этом поминутно оборачивался взглянуть, сидит ли его отец на том месте, где он его оставил. Вдруг, оглянувшись, Пятница увидел, что старик исчез: тогда он мгновенно сорвался с места и, не говоря ни слова, бросился к лодке так, что только пятки засверкали. Но когда, добежав, он увидел, что отец его просто прилег отдохнуть, он сейчас же воротился к нам. Я сказал испанцу, что мой слуга поможет ему встать и доведет его до лодки, в которой мы доставим его в свое жилище, а там уже позаботимся о нем. Но Пятница был парень крепкий: не долго думая, он поднял его, как перышко, взвалил к себе на спину и понес. Дойдя до лодки, он осторожно посадил его сперва на борт, а потом на дно подле своего отца. Потом вышел на берег, столкнул лодку в воду, опять вскочил в нее и взялся за весла. Я пошел пешком. В сильных руках Пятницы лодка так шибко неслась вдоль берега, несмотря на сильный ветер, что я не мог за ней поспеть. Пятница благополучно привез ее в нашу гавань и, оставив в ней обоих инвалидов, побежал за другой лодкой. Когда он поравнялся со мной и я спросил, куда он бежит, парень ответил: «Взять еще лодка» – и помчался дальше. Положительно, ни одна лошадь не могла бы угнаться за этим парнем – так быстро он бегал. И не успел я дойти до бухточки, как он уже явился туда с другой лодкой. Выскочив на берег, он стал помогать старику и испанцу выйти из лодки, но ни тот, ни другой не были в силах двигаться. Бедный Пятница совсем растерялся, не зная, что с ними делать.

Но я придумал выход из этого затруднения, сказав Пятнице, чтоб он посадил покамест наших гостей на берегу и устроил поудобнее. Я сам на скорую руку сколотил носилки, на которых мы с Пятницей и доставили больных к наружной стене нашей крепости. Но тут мы опять стали в тупик, не зная, как нам быть дальше. Перетащить двух взрослых людей через высокую ограду нам было не под силу, а ломать ограду я ни за что не хотел. Пришлось мне снова пустить в ход свою изобретательность, и наконец препятствие было обойдено. Мы с Пятницей принялись за работу, и часа через два за наружной оградой, между ней и рощей, у нас красовалась чудесная парусиновая палатка, прикрытая сверху ветками от солнца и дождя. В этой палатке мы устроили две постели из материала, находившегося в моем распоряжении, то есть из рисовой соломы и четырех

одеял, по два на каждого человека: одно – вместо простыни и другое – чтобы укрываться.



Теперь мой остров был заселен, и я считал, что у меня изобилие подданных. Часто я не мог удержаться от улыбки при мысли о том, как похож я на короля. Во-первых, весь остров был неотъемлемою моей собственностью, и, таким образом, мне принадлежало несомненное право господина. Во-вторых, мой народ был весь в моей власти: я был неограниченным владыкой и законодателем. Все мои подданные были обязаны мне жизнью, и каждый из них, в свою очередь, готов был, если бы это понадобилось, умереть за меня. Замечательно также, что все трое были разных вероисповеданий: Пятница был протестант, его отец – язычник и людоед, а испанец – католик. Я допускал в своих владениях полную свободу совести. Но это между прочим.

Глава 25

Новые обитатели острова. — Английский корабль

Когда мы устроили жилье для наших гостей и водворили их на новоселье, надо было подумать, чем их накормить. Я тотчас же отрядил Пятницу в наш лесной загончик с поручением привести годовалого козленка. Мы зарезали его, отделили заднюю часть и порубили ее на мелкие куски, половина которых пошла на бульон, а половина – на жаркое. Обед стряпал Пятница. Он заправил бульон ячменем и рисом, и вышло

превосходное питательное кушанье. Стряпня происходила подле рощицы, за наружной оградой (я никогда не разводил огонь внутри крепости), поэтому стол был накрыт в новой палатке. Я обедал вместе со своими гостями и всячески старался развлечь и приободрить их. Пятница служил мне толмачом не только когда я говорил с его отцом, но даже с испанцем, так как последний довольно сносно объяснялся на языке дикарей.

Когда мы пообедали, или, вернее, поужинали, я приказал Пятнице взять лодку и съездить за нашими ружьями, – за недосугом мы бросили их на поле битвы; а на другой день я послал его зарыть трупы убитых в предупреждение зловония, которое не замедлило бы распространиться от них при тамошней жаре. Я велел ему также закопать ужасные остатки кровавого пиршества, которых было очень много. Я не мог без содрогания даже подумать о том, чтобы зарыть их самому: меня стошнило бы от одного их вида. Пятница пунктуально исполнил все, что я ему приказал: его стараниями были уничтожены все следы посещения дикарей, так что когда я пришел на место побоища, я не сразу мог его узнать; только по деревьям на опушке леса, подходившего здесь к самому берегу, я убедился, что пиршество дикарей происходило именно здесь.

Вскоре я начал беседовать с моими новыми подданными. Прежде всего я велел Пятнице спросить своего отца, как он относится к бегству четырех дикарей и не боится ли, что они могут вернуться на остров с целым полчищем своих соплеменников, которое нам будет не под силу одолеть. Старый индеец отвечал, что, по его мнению, убежавшие дикари никоим образом не могли выгрести в такую бурю, какая бушевала в ту ночь; что, наверно, все они утонули, а если и уцелели каким-нибудь чудом, так их отнесло на юг и прибило к земле враждебного племени, где они все равно неминуемо должны были погибнуть от рук своих врагов. Что они предприняли бы, если бы благополучно добрались домой, он не знал, но полагал, что они были так страшно напуганы нашим неожиданным нападением, грохотом и огнем выстрелов, что, наверно, рассказали своим, будто товарищи их погибли не от человеческих рук, а были убиты громом и молнией и будто Пятница и я были двое разгневанных духов, слетевших с небес, чтобы их истребить, а не двое вооруженных людей. По его словам, он сам слышал, как они про это говорили друг другу, ибо не могли представить себе, чтобы простой смертный мог изрыгать пламя, говорить громом и убивать на далеком расстоянии, даже не замахнувшись рукой, как это было в том случае. Старик был прав. Впоследствии я узнал, что никогда после этого дикари не пытались высадиться на моем острове. Очевидно, те четверо беглецов, которых мы считали погибшими,

благополучно вернулись на родину и своими рассказами о случившемся с ними напугали своих земляков, и у тех сложилось убеждение, что всякий ступивший на заколдованный остров будет сожжен небесным огнем.

Но в то время я того не знал и потому был в постоянной тревоге, ежеминутно ожидая нашествия дикарей. И я, и моя маленькая армия были всегда готовы к бою: ведь нас теперь было четверо, и, явись к нам хоть сотня дикарей, мы бы не побоялись помериться с ними силами даже в открытом поле.

Мало-помалу, однако, видя, что дикари не показываются, я начал забывать свои страхи и вместе с тем все чаще возвращаться к давнишней своей мечте о путешествии на материк, тем более что, как уверял меня отец Пятницы, я мог рассчитывать в качестве их общего благодетеля на радушный прием у его земляков.

Но после одного серьезного разговора с испанцем я начал сомневаться, стоит ли приводить в исполнение этот план. Из этого разговора я узнал, что, хотя дикари действительно приютили у себя семнадцать человек испанцев и португальцев, спасшихся в лодке с погибшего корабля, и не обижают их, но все эти европейцы терпят крайнюю нужду в самом необходимом, нередко даже голодают. На мои расспросы о подробностях несчастья, постигшего их корабль, мой гость сообщил мне, что корабль их был испанский и шел из Рио-де-ла-Платы в Гавану, где должен был оставить свой груз, состоящий главным образом из серебра, и набрать европейских товаров, какие там найдутся. Он рассказал еще, что по пути они подобрали пятерых матросов-португальцев с другого корабля, потерпевшего крушение, что пять человек из их корабельной команды утонули в первые же минуты катастрофы, а остальные, промучившись несколько дней, в течение которых они не раз глядели в глаза смерти, наконец пристали к берегу каннибалов, где каждую минуту ожидали, что их съедят дикари. У них было с собой огнестрельное оружие, но они не могли им воспользоваться за неимением пуль и пороха: тот запас, который они взяли с собой в лодку, почти весь был подмочен в пути, а остаток они вскоре израсходовали, добывая себе пищу охотой. Я спросил испанца, какая, по его мнению, участь ожидает их в земле дикарей и неужели они никогда не пытались выбраться оттуда. Он отвечал, что они не раз совещались по этому поводу между собой, но все это кончалось слезами и отчаянием, так как у них не было ни судна, ни инструментов для его постройки и никаких запасов.

Тогда я спросил, как, по его мнению, отнесутся эти люди к моему предложению сделать попытку освободиться и каким образом, если все

они переберутся сюда, это можно будет осуществить. Я, не таясь, сказал ему, что больше всего боюсь вероломства и надругательств, если отдам себя в их руки. Ведь благодарность не принадлежит к числу добродетелей, свойственных человеку от природы, и в своих поступках люди руководятся не столько принятыми на себя обязательствами, сколько корыстью. А было бы слишком обидно, сказал я ему, выручить людей из беды только для того, чтобы очутиться их пленником в Новой Испании, откуда еще не выходил живым и невредимым ни один англичанин, какая бы несчастная звезда или случайность ни забросила его туда; я предпочел бы быть съеденным дикарями, чем попасть в когти духовенства и познакомиться с тюрьмами инквизиции. И я прибавил, что если бы сюда собрались все его товарищи, то, по моему убеждению, при таком количестве рабочих рук нам ничего не стоило бы построить судно, на котором мы все могли бы добраться до Бразилии, до островов или до испанских владений к северу отсюда. Но, разумеется, если за мое добро, когда я сам вложу им в руки оружие, они обратят его против меня, если, пользуясь преимуществом силы, они лишат меня свободы и отвезут к своим соплеменникам, я окажусь еще в худшем положении, чем теперь.

Испанец отвечал с большим чистосердечием, что товарищи его так бедствуют и так хорошо сознают всю безнадежность своего положения, что он не допускает и мысли, чтобы они могли дурно поступить с человеком, который протянет им руку помощи; он сказал, что если мне угодно, то он съездит к ним со стариком индейцем и передаст мое предложение. Если они согласятся на мои условия, то он возьмет с них торжественную клятву в том, что они беспрекословно будут повиноваться мне как командиру и капитану; он заставит их поклясться над святыми дарами и Евангелием в своей верности мне и готовности последовать за мной в ту христианскую землю, которую я сам укажу им; он отберет у них собственноручно подписанное ими обязательство и привезет его мне.

Затем он сказал, что хочет сначала поклясться мне в верности сам, в том, что он не покинет меня, пока жив или пока я сам не прогоню его, и что при малейшем поползновении со стороны его соотечественников нарушить данную мне клятву он встанет на мою сторону и будет биться за меня до последней капли крови.

Он, впрочем, не допускал возможности измены со стороны своих земляков; все они, по его словам, были честные, благородные люди. К тому же они терпели большие лишения, не имея ни пищи, ни одежды и находясь в полной власти дикарей, без всякой надежды вернуться на родину, – словом, он был уверен, что, если только я их спасу, они будут готовы

отдать за меня жизнь.

Уверенность, с какой мой гость ручался за своих соотечественников, рассеяла мои сомнения, и я решил попытаться выручить их, если возможно, и послать к ним для переговоров старика индейца и испанца. Но когда все было уже готово к отплытию, сам испанец заговорил о том, что, по его мнению, нам не следует спешить с приведением в исполнение нашего плана. Он выдвинул при этом соображение настолько благоразумное и настолько свидетельствовавшее о его искренности, что я не мог не согласиться с ним. По совету испанца я решил отложить освобождение его товарищей по крайней мере на полгода. Дело заключалось в следующем.

Испанец прожил у нас около месяца и за это время успел присмотреться к моей жизни. Он видел, как я работаю и, с Божьей помощью, удовлетворяю свои насущные потребности. Ему было в точности известно, сколько запасено у нас риса и ячменя. Конечно, для меня с избытком хватило бы этого запаса, но уже и теперь, когда моя семья возросла до четырех человек, его надо было расходовать с большой осторожностью. Следовательно, мы и подавно не могли рассчитывать прокормиться, когда прибавится еще четырнадцать оставшихся в живых товарищей этого испанца. А ведь нам предстояло заготовить провиант и для путешествия, если мы построим корабль, чтобы совершить на нем плавание в одну из христианских колоний Америки. Ввиду всех этих соображений мой испанец находил, что, прежде чем звать гостей, нам следует позаботиться об их пропитании. План его заключался в следующем. С моего разрешения, говорил он, они втроем вскопают новый участок земли и высеют все зерно, какое я могу уделить для посева; затем мы должны будем дождаться урожая, чтобы хватило хлеба на всех его соотечественников, которые прибудут сюда; иначе, перебравшись пока что на наш остров, они попадут из огня да в полымя, и нужда вызовет у нас разногласия.

– Вспомните сынов Израиля, – сказал он в заключение своей речи, – сначала они радовались своему освобождению от ига египетского, а потом, когда в пустыне у них не хватило хлеба, возроптали на Бога, освободившего их.

Я не мог надивиться благоразумной предусмотрительности моего гостя, как не мог не порадоваться тому, что он так предан мне. Его совет был так хорош, что, повторяю, я принял его не колеблясь. Не откладывая дела в долгий ящик, мы вчетвером принялись вскапывать новое поле. Работа шла успешно (насколько успешно может идти такая работа при

деревянных орудиях), и через месяц, когда наступило время посева, у нас был большой участок возделанной земли, на котором мы посеяли двадцать два бушеля ячменя и шестнадцать мер риса, то есть все, что я мог уделить на посев. Для еды мы оставили себе в обрез на шесть месяцев, считая с того дня, когда мы приступили к распашке, а не со дня посева, ибо в этих местах от посева до жатвы проходит около шести месяцев.

Теперь нас было столько, что дикари могли нам быть страшны лишь в том случае, если б они нагрянули слишком уж многочисленным отрядом. Но мы не боялись дикарей и свободно разгуливали по всему острову. А так как все мы были поглощены одной надеждою – надеждою на скорое освобождение, – то каждый из нас (по крайней мере могу это сказать о себе) не мог не думать об изыскании средств для осуществления этой надежды. Во время своих скитаний по острову я отметил несколько деревьев на постройку корабля и поручил Пятнице и его отцу срубить их, а испанца приставил присматривать и руководить их работой. Я показал им доски моего изделия, которые я с такой неимоверной затратой сил вытесывал из больших деревьев, и предложил сделать такие же. Они натесали их около дюжины. Это были крепкие дубовые доски в тридцать пять футов длины, два фута ширины и от двух до четырех дюймов толщины. Можете судить, сколько неимоверного труда было положено на эту работу.

В то же время я старался по возможности увеличить свое стадо. Для этого двое из нас ежедневно ходили ловить диких козлят; Пятница ходил каждый день, а мы с испанцем чередовались. Заприметив где-нибудь козу с сосунками, мы убивали матку, а козлят пускали в стадо. Таким образом, у нас прибавилось до двадцати голов скота. Затем нам предстояло еще позаботиться о заготовке впрок винограда, так как он уже созревал. Мы собрали и насушили его в огромном количестве; я думаю, что, если бы мы были в Аликанте, где вино делается из изюма, мы могли бы наполнить им не менее шестидесяти бочонков. Наравне с хлебом изюм составлял главную статью нашего питания, и мы очень любили его. Я не знаю более вкусного, здорового и питательного кушанья.

За всеми этими делами мы не заметили, как подошло время жатвы. Урожай был недурен – не из самых обильных, но все же настолько велик, что мы могли приступить к выполнению нашего замысла. С двадцати двух бушелей посеянного ячменя мы получили двести двадцать; таков же приблизительно был и урожай риса. Этого хватило бы на прокормление до следующей жатвы всей нашей общины (считая и шестнадцать новых ее членов), и с таким запасом провианта мы, разумеется, могли смело

пуститься в плавание и добраться до любого места, конечно, в пределах Америки.

Убрав и сложив хлеб, мы принялись плести большие корзины для хранения зерна. Испанец оказался большим искусником в этом деле и часто укорял меня, почему я не устроил себе плетеной изгороди; но я не видел в ней никакой нужды.

Когда, таким образом, продовольствие для ожидаемых гостей было припасено, я разрешил испанцу ехать за ними, снабдив его самыми точными указаниями. Я строго наказал ему не привозить никого, кто не даст в присутствии старика индейца клятвенного обещания, что он не только не сделает никакого зла тому, кого встретит на острове, – человеку, пожелавшему освободить его и его соотечественников единственно из человеколюбивых побуждений, – но будет защищать этого человека против всяких попыток подобного рода и во всем подчиняться ему. Все это следовало изложить на бумаге и скрепить собственноручными подписями всех, кто согласится на мои условия. Но, толкуя о письменном договоре, мы с моим гостем упустили из виду, что у его товарищей не было ни бумаги, ни перьев, ни чернил.



С этими инструкциями испанец и старый индеец отправились в путь на той самой лодке, на которой они приехали или, вернее, были привезены на мой остров дикарями в качестве пленников, обреченных на съедение.

Я дал обоим по мушкету, пороху и пуль приблизительно на восемь зарядов, с наказом расходовать то и другое как можно экономнее, то есть стрелять не иначе как в случаях крайней необходимости.

С какой радостью я снарядил их в дорогу! За двадцать семь с лишком лет моего заточения это была с моей стороны первая серьезная попытка вернуть себе свободу. Я снабдил своих послов запасом хлеба и изюма,

достаточным для них на много дней, а для их соотечественников на неделю. Наконец наступил день отплытия. Я условился с отъезжающими, что на обратном пути они подадут сигнал, по которому я мог бы издали признать их лодку, затем пожелал им счастливой дороги, и они отчалили.

Вышли они при свежем ветре в день полнолуния в октябре месяце, по приблизительному моему расчету, ибо, потеряв точный счет дней и недель, я уже не мог его восстановить; я не был даже уверен, правильно ли отмечены годы в моем календаре, хотя, проверив его впоследствии, убедился, что в годах я не ошибся.

Уже с неделю ожидал я своих путешественников, как вдруг произошло удивительное и непредвиденное событие – такого, наверное, ни с кем еще не случалось.

В одно прекрасное утро, когда я еще крепко спал в своем убежище, ко мне вбежал мой слуга с громким криком: «Господин, господин! Они подходят, они подходят!» Я мигом вскочил, наскоро оделся, перелез через ограду и, не думая об опасности, выбежал в рощицу (которая, к слову сказать, так разрослась, что в описываемое время ее можно было скорее назвать лесом). Повторяю: не думая об опасности, я, против обыкновения, не взял с собой никакого оружия; но каково же было мое удивление, когда, взглянув в сторону моря, я увидел милях в пяти от берега лодку с треугольным парусом: она держала курс прямо на остров и, подгоняемая попутным ветром, быстро приближалась. Шла она не от материка, а с южной стороны острова.

Сделав это открытие, я приказал Пятнице спрятаться в роще; приближались не те, кого мы ожидали, и мы не знали, враги это или друзья.

Затем я вернулся домой за подзорной трубой, чтобы лучше все рассмотреть. Приставив лестницу, я взобрался на холм, как я всегда это делал, желая произвести рекогносцировку и яснее разглядеть окрестности, не будучи замеченным.

Едва я поднялся на холм, как тотчас увидел корабль. Он стоял на якоре у юго-восточной оконечности острова, милях в восьми от моего жилья. Но от берега до него было не более пяти миль. Корабль был, несомненно, английский, да и лодка, как я мог теперь различить, оказалась английским баркасом.

Не могу выразить, в какое смятение повергло меня это открытие. Моя радость при виде корабля, притом английского, – радость ожидания близкой встречи с моими соотечественниками, была выше всякого описания, а вместе с тем какое-то тайное предчувствие, которого я ничем

не мог объяснить, предостерегало меня против них. Прежде всего мне казалось странным, что английский купеческий корабль зашел в эти места, лежавшие, как было мне известно, в стороне от всех морских торговых путей англичан. Я знал, что его не могло пригнать бурей – за последнее время не было бурь. С какой же целью зашел он сюда? Если это действительно англичане, то, вероятнее всего, они явились сюда не с добром, и лучше мне было сидеть в засаде, чем попасть в руки воров и убийц.

Никогда не пренебрегайте тайным предчувствием, предостерегающим вас об опасности, даже в тех случаях, когда вам кажется, что нет никакого основания доверять ему. Что предчувствия бывают у каждого из нас – этого, я думаю, не станет отрицать ни один мало-мальски наблюдательный человек. Не можем мы сомневаться и в том, что такие внушения внутреннего голоса являются откровением невидимого мира, доказывающим общение душ. И если таинственный голос предостерегает нас об опасности, то почему не допустить, что внушения исходят от благожелательной нам силы (высшей или низшей и подчиненной – все равно) для нашего блага?

Случай со мной, о котором я веду теперь речь, как нельзя лучше подтверждает верность этого рассуждения. Если бы я тогда не послушался предостерегающего меня тайного голоса, я бы неминуемо погиб или, во всяком случае, попал бы в несравненно худшее положение, чем то, в каком я был раньше.

Вскоре я увидел, что лодка приблизилась к берегу, как бы выбирая место, где бы лучше пристать. К счастью, сидевшие в ней не заметили бухточки, где я когда-то приставал с плотами, а причалили в другом месте, приблизительно в полумиле расстояния от нее, говорю – к счастью, потому что, высадись они в этой бухточке, они очутились бы, так сказать, у порога моего жилья, выгнали бы меня и уже, наверно, обобрали бы до нитки.

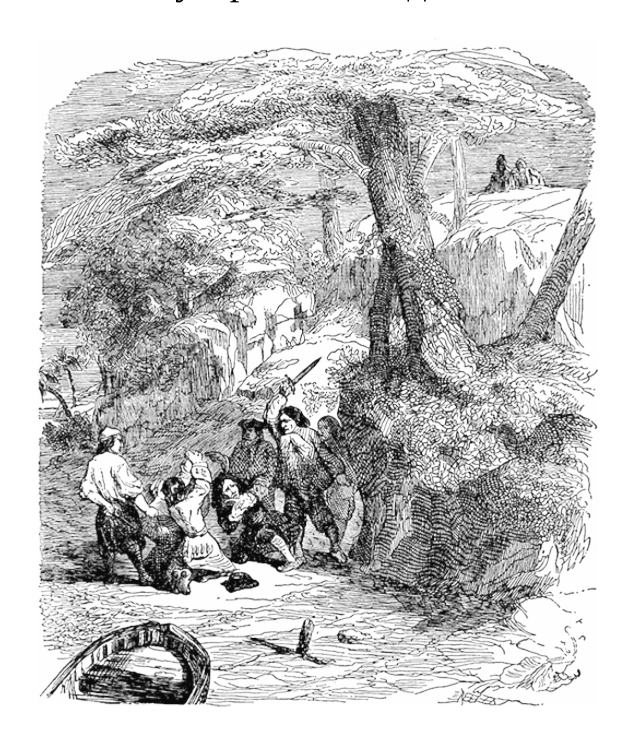
Когда лодка причалила и люди вышли на берег, я мог хорошо их рассмотреть. Это были, несомненно, англичане, по крайней мере большинство из них. Одного или двух я, правда, принял за голландцев, но ошибся, как оказалось потом. Всех их было одиннадцать человек, причем трое из них были привезены в качестве пленников, потому что у них не было никакого оружия, и мне показалось, что у них связаны ноги: я видел, как четыре или пять человек, выскочившие на берег первыми, вытащили их из лодки. Один из пленников сильно жестикулировал, умолял о чем-то; он, видимо, был в страшном отчаянии. Двое других тоже говорили что-то, воздевая руки к небу, но были много сдержаннее.

Я был в полнейшем недоумении, не зная, чем объяснить эту сцену. Вдруг Пятница крикнул мне на своем невозможном английском языке:

– О, господин! Смотри: белые человеки тоже кушать человека, как дикие человеки.

– С чего ты взял, Пятница, что они их съедят? Нет, нет, ты ошибаешься, – продолжал я, – боюсь, правда, что они убьют их, но можешь быть уверен, что есть их не станут.

Не зная, что и думать обо всем, что там происходило, я с трепетом и ужасом ожидал, что три пленника вот-вот будут убиты. Я увидел даже, как над головой одной из жертв сверкнуло оружие – кинжал или тесак. Кровь застыла в моих жилах: я был уверен, что бедняга сейчас свалится мертвый.



Как мне хотелось, чтобы в эту минуту со мной были испанец и старик индеец, уехавший с ним, или чтобы я мог подкрасться к ним незамеченным, выстрелить по ним в упор и освободить пленников, ведь я заметил, что ни у кого из разбойников не было с собой ружей. Но скоро мысли мои приняли иное направление.

Я увидел, что, поиздевавшись над тремя связанными пленниками, негодяи разбежались по острову, желая, вероятно, осмотреть местность. Я заметил также, что и троим пленным была предоставлена свобода идти куда им вздумается. Но все трое сидели на земле, погруженные в размышления, и были, по-видимому, в глубоком отчаянии.

Это напомнило мне первое время моего пребывания на острове. Точно

так же и я сидел на берегу, дико озираясь кругом. Я тоже считал себя погибшим. Какие ужасы мерещились мне в первую ночь, когда я забрался на дерево, боясь, чтобы меня не растерзали хищные звери! Как я не знал той ночью о поддержке свыше, которую получу в виде прибитого бурей и приливом ближе к берегу корабля, откуда я запасся всем необходимым для жизни на много, много лет, так и эти трое несчастных не знали, что избавление и поддержка близки и что в тот самый момент, когда они считали себя погибшими и свое положение безнадежным, они находились уже почти в полной безопасности.

А между тем именно потому, что будущее сокрыто от нас, мы должны были бы в критических обстоятельствах полагаться на Создателя нашего и верить, что он нас не покинет, в каком бы отчаянном положении мы ни оказались, что он ежечасно печется о чадах своих и нередко посылает нам помощь, когда мы меньше всего ее ожидаем, и приводит нас к избавлению таким путем, какой, на наш близорукий взгляд, должен был бы привести к погибели.

Глава 26

Встреча с капитаном

Лодка подошла к берегу во время прилива, и пока разбойники вели разговоры с тремя пленниками да пока они шныряли по острову, прошло много времени: начался отлив, и лодка очутилась на мели. В ней остались два человека, которые, как я обнаружил впоследствии, здорово напились и вскоре уснули. Когда один из них проснулся и увидел, что лодка стоит на земле, он попробовал столкнуть ее в воду, но не мог. Тогда он стал окликать остальных. Они сбежались на его крики и принялись ему помогать, но песчаный грунт был так рыхл, а лодка так тяжела, что все их усилия спустить ее на воду не привели ни к чему.

Тогда они, как истые моряки, – а моряки, как известно, самый легкомысленный народ в мире, – бросили лодку и снова разбрелись по острову. Я слышал, как один из них, уходя, крикнул оставшимся в лодке:

– Да бросьте вы ее, Джек! Чего там возиться! Всплывет со следующим приливом. – Это было сказано по-английски, так что не оставалось уже никаких сомнений, что эти люди – мои земляки.

Все это время я или выходил на свой наблюдательный пост на вершине холма, или сидел, притаившись в замке и радуясь, что я так хорошо его

укрепил. До начала прилива оставалось не менее десяти часов; к тому времени должно было стемнеть. Тогда я мог незаметно подкрасться к морякам и наблюдать за их движениями, а также подслушать, что они будут говорить.

Тем временем я начал готовиться к бою, но с большой осмотрительностью, так как знал, что теперь мне предстоит иметь дело с более опасным врагом, чем дикари. Пятнице, который сделался у меня превосходным стрелком, я тоже приказал вооружиться. В своей мохнатой куртке из козьих шкур и такой же шапке, с обнаженной саблей у бедра и с двумя ружьями за спиной, я имел поистине грозный вид.

Как уже сказано, я решил было ничего не предпринимать, пока не стемнеет. Но часа в два, когда жара стала нестерпимой, я заметил, что все моряки побрели к лесу и, вероятно, уснули там. Что же касается трех несчастных пленников, то им было не до сна. Все трое сидели под большим деревом, не более как в четверти мили от меня и, как мне казалось, вне поля зрения остальных.

Тут я решил показаться им и разузнать что-нибудь о их положении. Я немедленно отправился в путь в только что описанном наряде, с Пятницей на почтительном расстоянии от меня. Мой слуга был тоже вооружен до зубов, как и я, но все-таки меньше походил на выходца с того света.

Я подошел к трем пленникам совсем близко и, прежде чем они успели заметить меня, громко спросил их по-испански:

– Кто вы такие, господа?

Они вздрогнули от неожиданности и обернулись на голос, но, кажется, еще больше перепугались, увидя подходящее к ним странное существо. Ни один из них не ответил ни слова, и мне показалось, что они собираются бежать. Тогда я заговорил с ними по-английски.

– Господа, – начал я, – не пугайтесь; быть может, вы найдете друга там, где меньше всего ожидаете встретить его.



– Если так, то, значит, его посылает нам само небо, – отвечал мне торжественно один из троих, снимая передо мной шляпу, – потому что мы не можем надеяться на человеческую помощь.

– Всякая помощь от Бога, сударь, – сказал я. – Однако угодно ли вам указать чужому человеку, как помочь вам, ибо вы, по-видимому, находитесь в очень незавидном положении. Я видел, как вы высаживались, видел, как вы о чем-то умоляли приехавших с вами негодяев и как один из них замахнулся кинжалом.

Бедняга залился слезами и пролепетал, весь дрожа:

– Кто со мной говорит: человек или Бог? Обыкновенный смертный или ангел?

– Да не смущают вас такого рода сомнения, сударь, – отвечал я, – можете быть уверены, что перед вами простой смертный. Поверьте, что, если бы Бог послал ангела вам на помощь, он был бы не в таком одеянии и иначе вооружен. Итак, прошу вас, отбросьте ваш страх. Я – человек, англичанин и хочу вам помочь. Как видите, нас только двое, я и мой слуга, но у нас есть ружья и заряды. Говорите же прямо: чем мы можем вам служить? Что с вами произошло?

– Слишком долго рассказывать все, как было, – отвечал он. – Наши злодеи близко. Но вот вам, сударь, вся наша история в коротких словах. Я – капитан корабля, мой экипаж взбунтовался, едва удалось убедить этих людей не убивать меня; наконец они согласились высадить меня на этот пустынный берег с моим помощником и одним пассажиром, которых вы

видите перед собой. Мы были уверены в нашей гибели, так как считали эту землю необитаемой. Да и теперь еще мы не знаем, что нам думать о нашей встрече с вами.

– Где эти звери – ваши враги? – спросил я. – В какую сторону они пошли?

– Вон они лежат под теми деревьями, сударь. – И он указал в сторону леса. – У меня сердце замирает от страха, что они увидят вас и услышат, потому что тогда они всех нас убьют.

– Есть у них ружья? – спросил я.

– Только два, – отвечал он, – и одно из них оставлено в лодке.

– Чудесно, – сказал я, – все остальное я беру на себя. Кажется, они крепко уснули; нам нетрудно всех их перебить, но не лучше ли взять их в плен? – На это капитан мне сказал, что между этими людьми есть два отпетых негодяя, которых едва ли было бы разумно щадить; но если отделаться от этих двоих, то остальные, он уверен, вспомнят о своем долге. Я попросил его указать мне этих двоих; он сказал, что не может узнать их на таком большом расстоянии, но что сам он исполнит все, что я прикажу.

– В таком случае, – продолжал я, – прежде всего отойдем подальше, чтобы не разбудить их, и решим сообща, как нам действовать. – Все трое с полной готовностью последовали за мной, и вскоре деревья укрыли нас от глаз наших врагов.

– Слушайте, сударь, – сказал я, – я попытаюсь выручить вас, но прежде ставлю вам два условия…

Он не дал мне договорить.

– Я весь в вашей власти, – сказал он поспешно, – распоряжайтесь мною по своему усмотрению – и мной, и моим кораблем, если нам удастся отнять его у разбойников; если же нет, то даю вам слово: пока я жив, я буду вашим послушным рабом, пойду всюду, куда бы вы меня ни послали, и, если понадобится, умру за вас.

Оба его товарища обещали то же самое.

Тогда я сказал:

– Если так, господа, то вот мои условия: во-первых, пока вы у меня на острове, вы не будете предъявлять никаких притязаний на власть; и, если я дам вам оружие, вы по первому моему требованию возвратите мне его, не станете злоумышлять ни против меня, ни против моих подданных на этом острове и будете подчиняться всем моим распоряжениям. Во-вторых, если нам удастся овладеть вашим кораблем, вы бесплатно доставите на нем в Англию меня и моего слугу.

Капитан заверил меня всеми клятвами, какие только может придумать

человеческая изобретательность, что он исполнит эти в высшей степени разумные требования и, кроме того, во всякое время и при всех обстоятельствах будет считать себя обязанным мне своей жизнью.

– Так за дело, господа! – сказал я. – Прежде всего вот вам три ружья, вот порох и пули. А теперь говорите, что, по-вашему, следует нам предпринять?

Но капитан опять рассыпался в изъявлениях благодарности и объявил, что роль предводителя принадлежит по праву мне.

Тогда я сказал:

– По моему мнению, нам надо действовать решительно. Подкрадемся к ним, пока они спят, и дадим по ним залп, предоставив Богу решать, кому быть убитым нашими выстрелами. Если же те, которые останутся живы, сдадутся, их можно будет пощадить.

На это он робко возразил, что ему не хотелось бы проливать столько крови и что, если можно, он предпочел бы этого избежать, но что двое неисправимых негодяев, поднявших мятеж на корабле, поставят нас в опасное положение, если ускользнут и вернутся на корабль, потому что они приведут сюда весь экипаж и перебьют всех нас.

– Значит, тем более необходимо принять мой совет, – заметил я, – это единственное средство спастись. – Заметив, однако, что он все-таки колеблется, я сказал ему, чтобы он с товарищами поступал как знает.

Между тем, пока у нас шли эти переговоры, матросы начали просыпаться, и вскоре я увидел, что двое из них поднялись. Я спросил капитана, не это ли зачинщики бунта.

– Нет, – ответил он.

– Так пусть уходят с миром: не будем им мешать, – сказал я. – Быть может, это сам Бог пробудил их от сна, чтобы дать им возможность спастись. Но если вы дадите ускользнуть остальным, это уж будет ваша вина.

Подстрекаемый этими словами, капитан схватил мушкет, заткнул за пояс пистолет и ринулся вперед в сопровождении своих товарищей, каждый из которых тоже вооружился мушкетом. Один из проснувшихся матросов обернулся на шум их шагов и, увидев в их руках оружие, поднял тревогу. Но было уже поздно: в тот самый момент, когда он закричал, грянуло два выстрела – капитанского помощника и пассажира; сам же капитан благоразумно воздержался, приберегая свой заряд. Стрелявшие не дали промаха: один человек был убит наповал, другой тяжело ранен. Однако раненый вскочил на ноги и стал звать на помощь. Но тут к нему подбежал капитан и сказал, что уже поздно ему звать на помощь и лучше

молить Бога, чтобы он простил ему предательство. С этими словами капитан прикончил его ударом приклада по голове. Оставались еще трое, из которых один был легко ранен. Тут подошел я. Поняв, что сопротивление бесполезно, наши противники запросили пощады. Капитан отвечал, что он готов их пощадить, если они поручатся в том, что искренне каются в своем вероломстве, и поклянутся помочь ему овладеть кораблем и отвести его обратно на Ямайку. Они стали заверять в своей искренности и обещали беспрекословно повиноваться ему. Капитан удовлетворился их обещаниями и склонен был пощадить их жизнь. Я не противился этому, но только потребовал, чтобы в течение всего пребывания на моем острове они были связаны по рукам и ногам.



Пока все это происходило, я отрядил Пятницу и помощника капитана к баркасу с приказанием унести с него парус и весла. Тем временем три отсутствовавших, к счастью для них, матроса, услыхав выстрелы, воротились. Когда они увидели, что капитан из пленника превратился в победителя, они даже не пытались сопротивляться и беспрекословно дали себя связать. Таким образом, мы одержали полную победу.

Глава 27

Схватка с мятежниками

Теперь капитану и мне оставалось только поведать друг другу наши

приключения. Я начал первый и рассказал ему всю мою историю, которую он выслушал с жадным вниманием и немало изумлялся чудесной случайности, давшей мне возможность запастись съестными припасами и оружием. Не было, впрочем, ничего удивительного в том, что мой рассказ так его взволновал: вся жизнь моя на острове была сплошными чудесами. Но когда от моей необычайной судьбы мысль его, естественно, перенеслась к собственной судьбе и капитану показалось, что я был сохранен здесь как бы для спасения его жизни, из глаз этого бывалого человека хлынули слезы, и он не мог выговорить больше ни слова.

Я пригласил капитана и обоих его спутников к себе в замок, куда мы вошли моим обыкновенным путем, то есть через крышу дома. Я предложил моим гостям подкрепиться тем, что у меня было, а затем показал им свое домашнее хозяйство со всеми хитроумными приспособлениями, какие были сделаны мною за долгие, долгие годы моей одинокой жизни.



Они изумлялись всему, что я им показывал, всему, что они от меня узнавали. Но капитана больше всего поразили воздвигнутые мной укрепления и то, как искусно было скрыто мое жилье в чаще деревьев. Действительно, благодаря необыкновенной силе растительности в тропическом климате моя рощица за двадцать лет превратилась в такой густой лес, что сквозь него можно было пробраться только по узенькой извилистой тропинке, которую я оставил нарочно для этого при посадке деревьев. Я объяснил моим новым знакомым, что замок – главная моя резиденция, но, как у всех владетельных особ, у меня есть и другая – загородный дворец, который я тоже иногда посещаю. Я обещал им показать его в другой раз, теперь же нам следовало подумать, как освободить от разбойников корабль. Капитан вполне согласился со мной,

но прибавил, что он в полнейшем недоумении, как к этому приступить, ибо на корабле остались еще двадцать шесть человек экипажа. Так как все они замешаны в гнусном заговоре, то есть в таком преступлении, за которое по закону полагается смертная казнь, то они будут сопротивляться до последнего вздоха. Им хорошо известно, что если они нам сдадутся, то тотчас по возвращении в Англию или в какую-нибудь из английских колоний будут повешены; по этой причине немыслимо вступать с ними в бой, имея столь неравные силы. Слова капитана заставили меня призадуматься. Его соображения казались мне разумными. А между тем надо было на что-нибудь решиться: постараться хитростью заманить их в ловушку и напасть на них врасплох или же помешать им высадиться и перебить всех нас. Но тут я подумал, что вскоре экипаж корабля начнет тревожиться за судьбу товарищей и лодки и, наверно, отправит на поиски другую лодку. На этот раз они, должно быть, явятся вооруженные, и тогда нам не справиться с ними. Капитан нашел мои предположения вполне основательными.

Тогда я сказал, что, по-моему, нам прежде всего следует позаботиться, чтобы разбойники не могли увести обратно баркас, на котором приехала первая группа, а для этого надо сделать его непригодным для плавания. Мы тотчас отправились к баркасу, сняли с него оружие, пороховницу, две бутылки – одну с бренди, другую с ромом, мешок с сухарями, большой кусок сахару (фунтов пять или шесть), завернутый в парусину. Я очень обрадовался добыче, особенно бренди и сахару: ни того ни другого я не пробовал уже много-много лет.

Вытащив на берег весь этот груз (весла, мачта, парус и руль были убраны раньше, о чем я уже говорил), мы пробили в дне баркаса большую дыру. Таким образом, если бы нам и не удалось одолеть неприятеля, он по крайней мере не мог взять от нас свою лодку. Сказать по правде, я и не надеялся, что нам посчастливится захватить в свои руки корабль, но что касается баркаса, то починить его ничего не стоило, а на таком судне легко было добраться до подветренных островов, захватив по дороге наших друзей испанцев, о которых я не забыл. Когда мы общими силами оттащили баркас в такое место, куда не достигал прилив, и пробили дыру в дне, мы присели отдохнуть и посоветоваться, что нам делать дальше. Но не успели мы приступить к совещанию, как с корабля раздался пушечный выстрел, и на нем замахали флагом. Это был, очевидно, призывный сигнал для баркаса. Но баркас не трогался. Немного погодя грянул второй выстрел, потом еще и еще; сигналы флагом тоже не прекращались.

Наконец, когда все эти сигналы и выстрелы остались без ответа и

баркас не показывался, с корабля спустили вторую шлюпку (все это было мне отлично видно в подзорную трубу). Шлюпка направилась к берегу, и, когда она подошла ближе, мы увидели, что в ней было не менее десяти человек и все с ружьями.

От корабля до берега было около шести миль, так что мы имели время рассмотреть сидевших в шлюпке. Мы различали даже лица. Шлюпку относило течением немного восточнее того места, куда мы вытащили баркас, и матросы гребли вдоль берега, чтобы пристать к тому самому месту, куда пристала первая лодка.

Таким образом, повторяю, мы видели в лицо каждого человека. Капитан всех их узнал и тут же охарактеризовал мне каждого из них. По его словам, между ними было три честных матроса. Он был уверен, что их вовлекли в заговор против воли, силой и угрозами; зато боцман, который, по-видимому, командовал ими, и все остальные были отъявленные мерзавцы.

– Они зашли слишком далеко, – добавил капитан, – и будут защищаться отчаянно. Боюсь, что нам не устоять против них.

Я улыбнулся и сказал, что люди в таких обстоятельствах, как мы, уже не подвержены действию страха; что бы ни ожидало нас в будущем, все будет лучше нашего настоящего положения, и, следовательно, всякий выход из этого положения – даже смерть – мы должны считать избавлением. Я спросил его, что он думает о здешнем моем существовании и неужели он не находит, что мне стоит рискнуть жизнью ради своего избавления.

– И где же, сударь, – сказал я, – ваша уверенность, что я сохранен здесь для спасения вашей жизни, – уверенность, которую вы выражали несколько времени тому назад? Что касается меня, то в предстоящей нам задаче меня смущает только одно.

– Что такое? – спросил он.

– Да то, что, как вы говорите, в числе этих людей есть три или четыре порядочных человека, которых следует пощадить. Будь они все негодяи, я бы ни на секунду не усомнился, что сам Бог, желая их наказать, передает их в наши руки; ибо всякий вступивший на этот остров будет в нашей власти и, смотря по тому, как он к нам отнесется, умрет или останется жить.

Все это я произнес бодро и решительно, с веселым лицом. Моя уверенность передалась капитану, и мы ревностно принялись за дело. Как только с корабля была спущена вторая шлюпка, мы позаботились разлучить наших пленников и хорошенько запрятать их. Двоих, как самых

ненадежных (так по крайней мере их аттестовал капитан), я отправил под конвоем Пятницы и капитанского помощника в свою пещеру. Это было достаточно укромное место, откуда арестантов не могли услышать и откуда им было бы нелегко убежать, – они едва ли нашли бы дорогу в лесу. Их посадили связанными, но оставили им еды и сказали, что если они будут вести себя смирно, то через день или два их освободят, но зато при первой попытке бежать убьют без всякой пощады. Они обещали терпеливо переносить свое заключение и очень благодарили за то, что их не оставили без пищи и позаботились, чтоб они не сидели впотьмах, так как Пятница дал им несколько наших самодельных свечей. Они были уверены, что Пятница остался на часах у входа.

С четырьмя остальными пленниками мы поступили мягче. Правда, двоих мы оставили пока связанными, так как капитан за них не ручался, но двух других я взял под свое начало по рекомендации капитана и после того, как оба они торжественно поклялись мне в верности. Итак, – считая этих двоих и капитана с двумя его товарищами, – нас было теперь семеро хорошо вооруженных людей, и я не сомневался, что мы управимся с теми десятью, которые приближались к острову, тем более что в числе их, по словам капитана, было три или четыре честных человека.

Подойдя к острову в том месте, где мы оставили баркас, они причалили, вышли из шлюпки и вытащили ее на берег, чему я был очень рад. Признаться, я боялся, что они из предосторожности станут на якорь, не доходя до берега, и что часть людей останется караулить шлюпку: тогда мы не смогли бы ее захватить.

Выйдя на берег, они первым делом бросились к баркасу, и легко представить себе их изумление, когда они увидели, что с него исчезли все снасти и весь груз и что в дне его зияет дыра.

Поразмыслив по поводу этого неприятного сюрприза, они принялись что было мочи окликать своих товарищей, надеясь, что те их услышат. Долго надсаживали они себе глотки, но без всякого результата. Тогда они стали в кружок и по команде дали залп из ружей. По лесу раскатилось гулкое эхо, но это нисколько им не помогло: сидевшие в пещере ничего не могли слышать; те же, которые были с нами, хоть и слышали, но откликнуться не посмели.

Матросы были так ошеломлены исчезновением своих товарищей, что (как они нам потом рассказали) решили воротиться на корабль с донесением, что баркас продырявлен, а люди, вероятно, все перебиты. Мы видели, как они торопливо спустили на воду шлюпку и как потом сели в нее.

Капитан, который до сих пор еще надеялся, что нам удастся захватить корабль, теперь совсем пал духом. Он боялся, что когда на корабле узнают об исчезновении команды баркаса, то снимутся с якоря, и тогда прощай все его надежды. Но скоро у него явился новый повод для страха. Не успела шлюпка отдалиться от берега, как мы увидели, что она возвращается: должно быть, посоветовавшись между собой, они приняли новое решение. Мы продолжали наблюдать. Шлюпка причалила к берегу, и в ней остались три человека, остальные же семеро вышли и отправились в глубь острова, очевидно, на розыски пропавших.

Дело принимало невыгодный для нас оборот. Даже если бы мы захватили семерых вышедших на берег, это не принесло бы нам никакой пользы – шлюпка с тремя остальными вернулась бы назад, и корабль, несомненно, снялся бы с якоря, поднял паруса и был бы для нас потерян.

Однако нам не оставалось ничего больше, как терпеливо выжидать, чем все это кончится. Высадив семерых человек, шлюпка с тремя остальными отошла на порядочное расстояние от берега и стала на якорь, отрезав нам, таким образом, всякую возможность добраться до нее. Семеро разведчиков, держась плотно друг к другу, стали подыматься на горку, под которой было мое жилье. Нам было отлично их видно, но они не могли видеть нас. Мы все надеялись, что они подойдут поближе – тогда мы могли бы дать по ним залп – или, напротив, уйдут подальше и позволят нам, таким образом, выйти из своего убежища.

Но, добравшись до гребня холма, откуда открывался вид на всю северо-восточную часть острова, спускавшуюся к морю отлогими лесистыми долинами, они остановились и снова стали кричать и звать своих товарищей, пока не охрипли. Наконец, боясь, должно быть, удаляться от берега и друг от друга, они уселись под деревом и стали совещаться. Оставалось только, чтобы они заснули, как те, что приехали в первой группе, тогда наше дело было бы выиграно. Но страх не располагает ко сну, а эти люди, видимо, трусили, хотя и не знали, какая им грозит опасность и откуда она может прийти.

Тут капитану пришла в голову весьма разумная мысль, а именно, что, в случае если бы они решили еще раз попытаться подать сигнал выстрелами своим пропавшим товарищам, мы могли бы броситься на них как раз в тот момент, когда они выстрелят и, следовательно, их ружья будут разряжены. Тогда, говорил он, им ничего больше не останется, как сдаться, и дело обойдется без кровопролития.

План был недурен, но его можно было привести в исполнение, только если бы мы находились достаточно близко к ним, когда они дадут залп, и

могли бы наброситься на них прежде, чем ружья будут снова заряжены. Но они и не думали стрелять. Мы долго сидели в засаде, не зная, на что решиться. Наконец я сказал, что, по моему мнению, до наступления ночи нам нечего и думать о каких-либо действиях. Если же к тому времени эти семеро не вернутся на лодку, тогда мы в темноте незаметно проберемся к морю и, может быть, нам удастся заманить на берег тех, что остались в лодке.

Время тянулось нестерпимо медленно, и нам казалось, что совещанию их не будет конца, но вдруг мы немало встревожились, увидев, что они встали и решительным шагом направились прямо к морю. Должно быть, страх неизвестной опасности оказался сильнее товарищеских чувств и они решили бросить всякие поиски и воротиться на корабль. Я понял это сразу, едва только увидел, что они направляются к берегу, и поделился своей догадкой с капитаном, который пришел в совершенное отчаяние. Но тут мне внезапно пришла на ум одна уловка, которая могла заставить их воротиться и, стало быть, как нельзя лучше отвечала нашим целям.

Я приказал Пятнице и помощнику капитана направиться к западу от бухточки, к месту, где высаживались дикари в день освобождения Пятницы; затем, поднявшись на горку на расстоянии полумили, кричать изо всей мочи, пока их не услышат моряки; когда же те откликнутся, перебежать на другое место и снова аукать и таким образом, постоянно меняя место, заманивать врагов все дальше и дальше в глубь острова, пока они не заблудятся в лесу, а тогда указанными мной окольными путями вернуться ко мне.

Матросы уже садились в лодку, когда со стороны бухточки раздался крик Пятницы и помощника капитана. Они сейчас же откликнулись и пустились бежать вдоль берега на голос, но, добежав до бухточки, принуждены были остановиться, так как было время прилива и вода в бухточке стояла очень высоко. Посоветовавшись между собой, они наконец крикнули оставшимся в шлюпке, чтобы те подъехали и перевезли их на другой берег. На это-то я и рассчитывал.

Переправившись через бухточку, они пошли дальше, прихватив с собой еще одного человека. Таким образом, в шлюпке остались только двое, я видел, как они отвели ее в самый конец бухточки и привязали там к небольшому пню.

Все складывалось для нас как нельзя лучше. Предоставив Пятнице и помощнику капитана делать свое дело, я скомандовал остальному отряду следовать за мной. Мы переправились через бухточку вне поля зрения неприятеля и неожиданно выросли перед ним. Один матрос сидел в

шлюпке, другой лежал на берегу и дремал. Увидев нас в трех шагах от себя, он хотел было вскочить, но капитан, бывший впереди, бросился на него и ударил его прикладом. Затем, не давая опомниться другому матросу, он крикнул ему: «Сдавайся или умрешь!»

Не требуется большого красноречия, чтобы убедить сдаться человека, который видит, что он один против пятерых и единственный его союзник сбит с ног у него на глазах. К тому же этот матрос был как раз одним из троих, про которых капитан говорил, что они примкнули к заговору не по своей охоте, а под давлением большинства. Он не только беспрекословно положил оружие по первому требованию, но вслед за тем сам заявил о своем желании, по-видимому, вполне искреннем, перейти на нашу сторону.

Тем временем Пятница с помощником капитана так чисто обделали свое дело, что лучше нельзя было и желать. Крича и откликаясь на ответные крики матросов, они водили их по всему острову, от горки к горке, из лесу в лес, пока не завели в такую непроглядную глушь, откуда не было никакой возможности выбраться на берег до наступления ночи. О том, как они измучили неприятеля, можно было судить по тому, что и сами они вернулись домой, еле волоча ноги.

Теперь нам оставалось только подкараулить в темноте, когда моряки будут возвращаться, и, ошеломив их неожиданным нападением, расправиться с ними наверняка.

Прошло несколько часов со времени возвращения Пятницы и его товарища, а о тех не было ни слуху ни духу. Наконец мы услышали вдали их голоса. Передний кричал отставшим, чтобы поторопились, а отставшие отвечали, что не могут идти быстрее, что совсем стерли себе ноги и падают от усталости. Нам было очень приятно слышать это.



Мы долго ждали, пока они подойдут к лодке. Надо заметить, что за эти несколько часов начался отлив, и шлюпка, привязанная к пню, очутилась на берегу. Невозможно описать, что с ними сделалось, когда они увидели, что шлюпка стоит на мели, а люди исчезли. Мы слышали, как они проклинали свою судьбу, крича, что попали на заколдованный остров, на

котором живут либо люди, и тогда их всех перебьют, либо черти и духи, и тогда они будут унесены нечистой силой. Несколько раз они принимались окликать своих товарищей, называя их по именам, но, разумеется, не получали ответа. При слабом свете меркнущего дня нам было видно, как они то бегали, ломая руки, то, утомившись этой беготней, бросались в лодку в безысходном отчаянии, то опять выскакивали на берег и опять шагали взад и вперед, и так без конца.

Мои люди упрашивали меня позволить им напасть на неприятеля, как только стемнеет. Но я предпочитал не проливать крови, если только будет хоть какая-нибудь возможность этого избежать, а главное, зная, как хорошо вооружены наши противники, я не хотел рисковать жизнью своих людей. Я решил подождать, не разойдутся ли они в стороны, и, чтобы действовать наверняка, придвинул свою засаду ближе к лодке. Пятнице с капитаном я приказал ползти на четвереньках, чтобы мятежники не заметили их, и стрелять только в упор.

Недолго им пришлось припадать к земле, ибо на них почти наткнулись отделившиеся от остальных два матроса и боцман, который, как уже сказано, был главным зачинщиком бунта, но теперь совсем пал духом. У капитана, почувствовавшего, что главный виновник всех бедствий в его власти, еле хватило терпения выждать, пока тот подойдет ближе, чтобы удостовериться, он ли это, так как до сих пор они слышали только его голос. Едва он приблизился, как капитан и Пятница вскочили и выстрелили.

Боцман был убит наповал, другой матрос ранен в грудь навылет. Он тоже свалился, как сноп, но умер только часа через два. Третий матрос убежал.

Услышав выстрелы, я мгновенно двинул вперед всю свою армию, которая насчитывала теперь восемь человек. Вот ее полный состав: я – генералиссимус, Пятница – генерал-лейтенант, затем капитан и двое его людей, наконец, трое военнопленных, которым мы решились доверить оружие.

Мы подошли к неприятелю, когда уже совсем стемнело, чтобы нельзя было разобрать, сколько нас. Я приказал матросу, который был оставлен в лодке и незадолго перед тем добровольно присоединился к нам, окликнуть по именам своих бывших товарищей. Прежде чем стрелять, я хотел попытаться вступить с ними в переговоры и, если удастся, покончить дело миром. Мой расчет вполне удался, что, впрочем, и понятно: в их положении им оставалось только сдаться. Итак, мой парламентер заорал во все горло:

– Том Смит! Том Смит!

Том Смит сейчас же откликнулся:

– Кто это? Ты, Робинзон? – Он, очевидно, узнал его по голосу.

Робинзон отвечал:

– Да, да, это я. Ради Бога, Том Смит, бросай оружие и сдавайся, не то через минуту со всеми вами будет покончено.

– Да кому же сдаваться? Где они там? – прокричал опять Том Смит.

– Здесь! – откликнулся Робинзон. – Здесь наш капитан, и с ним пятьдесят человек. Вот уж два часа, как они гоняются за вами. Боцман убит. Уил Фрай ранен, а я попал в плен. Если вы не сдадитесь сию же минуту, вы все погибли.

– А нас помилуют, если мы сдадимся? – спросил Том Смит.

– Сейчас я спрошу капитана, – ответил Робинзон.

Тут вступил в переговоры уже сам капитан.

– Эй, Смит и все вы там! – закричал он. – Вы узнаете мой голос? Если вы немедленно положите оружие и сдадитесь, я обещаю вам пощаду всем, кроме Уила Аткинса.

– Капитан, ради Бога, смилуйтесь надо мной! – взмолился Уил Аткинс. – Чем я хуже других? Все мы одинаково виноваты. – Кстати сказать, это была ложь, потому что, когда начался бунт, Уил Аткинс первым бросился на капитана, связал руки и обращался с ним крайне грубо, осыпая его оскорбительной бранью. Однако капитан сказал ему, чтоб он сдавался без всяких условий, а там уж пусть губернатор решает, жить ему или умереть. Губернатором капитан и все они величали меня.

Глава 28

Захват корабля. — Прощание с островом

Словом, бунтовщики положили оружие и стали умолять о пощаде. Наш парламентер и еще два человека по моему приказанию связали всех, после чего моя грозная армия в пятьдесят человек, которая на самом деле вместе с тремя передовыми состояла всего из восьми, окружила их и завладела шлюпкой. Сам я и Пятница, однако, не показывались пленным по государственным соображениям.

Первым нашим делом было исправить лодку и подумать о том, как захватить корабль. Капитан – теперь у него было время и поговорить с бунтовщиками – изобразил им в истинном свете всю низость их поведения

по отношению к нему и еще большую гнусность их планов, которые они не успели осуществить. Он дал им понять, что такие дела к добру не приводят и их ожидает, пожалуй, виселица.

Преступники каялись, по-видимому, от чистого сердца и молили только об одном – чтобы у них не отнимали жизни. На это капитан им ответил, что тут он не властен, они не его пленники, а правителя острова; они были уверены, будто высадили его на пустынный, необитаемый берег, но Богу было угодно направить их к населенному месту, губернатор которого англичанин. «Он мог бы, – сказал капитан, – если бы хотел, всех вас повесить, но он помиловал вас и, вероятно, отправит в Англию, где с вами поступят по закону. Но Уилу Аткинсу губернатор приказал готовиться к смерти: он будет повешен завтра поутру».

Все это капитан, разумеется, выдумал, но его выдумка произвела желаемое действие. Аткинс упал на колени, умоляя капитана ходатайствовать за него перед губернатором, остальные тоже стали униженно просить, чтоб их не отправляли в Англию.

Мне показалось, что час моего избавления настал и что теперь нетрудно будет убедить этих парней помочь нам овладеть кораблем. И, держась в темноте, чтобы они не могли рассмотреть, каков их губернатор, я как будто издали позвал капитана. Один из наших людей, как было ему велено заранее, подошел к капитану и сказал: «Капитан, вас зовет командующий», – на что капитан ответил:

– Передай его превосходительству, что я сейчас явлюсь.

Это произвело надлежащее впечатление: все остались в полной уверенности, что губернатор где-то близко со своей армией в пятьдесят человек.

Когда капитан подошел ко мне, я сообщил ему свой план овладения кораблем. Он горячо его одобрил и решил привести в исполнение на другой же день. Но, чтоб выполнить этот план с большим искусством и обеспечить успех нашего предприятия, я посоветовал капитану разделить пленных. Аткинса с двумя другими закоснелыми негодяями, по моему мнению, следовало связать по рукам и ногам и засадить в пещеру, где уже сидели заключенные. Свести их туда было поручено Пятнице и двум спутникам капитана, высаженным с ним на берег.

Они отвели этих троих пленных в мою пещеру, как в тюрьму, да она и в самом деле имела довольно мрачный вид, особенно для людей в их положении. Остальных я отправил на свою дачу, уже подробно описанную мной. Высокая ограда делала ее тоже достаточно надежным местом заточения, тем более что узники были связаны и знали, что от их

поведения зависит их участь.



На другой день поутру я послал к ним для переговоров капитана. Он должен был прощупать почву: узнать и сообщить мне, насколько можно доверять этим людям и не рискованно ли будет взять их с собой на корабль. Он сказал им о нанесенном ему оскорблении и о печальных последствиях, к которым оно их привело, сказал, что хотя губернатор и помиловал их в настоящее время, но, когда корабль придет в Англию, они, несомненно, будут повешены; однако если они помогут в таком справедливом предприятии, как отвоевание у разбойников корабля, то губернатор исхлопочет для них прощение.

Нетрудно догадаться, с какой готовностью это предложение было принято людьми, уже почти отчаявшимися в своем спасении. Они бросились к ногам капитана и клятвенно обещали остаться верными ему до последней капли крови, заявив, что, если он исходатайствует им прощение, они будут считать себя всю жизнь неоплатными его должниками, будут чтить его, как отца, и пойдут за ним хоть на край света. «Ладно, – сказал им капитан, – все это я передам губернатору и, со своей стороны, буду ходатайствовать за вас перед ним». Придя ко мне, он рассказал об их расположении духа, прибавив, что, по его искреннему убеждению, можно вполне положиться на верность этих людей.

Но для большей надежности я предложил капитану возвратиться к матросам, выбрать из них пятерых и сказать им, что мы не нуждаемся в людях и что, избирая этих пятерых в помощники, он делает им одолжение; остальных же двоих вместе с теми тремя, что сидят в замке (то есть в моей пещере), губернатор оставит у себя в качестве заложников, и если они

изменят своей клятве, то все пятеро заложников будут повешены на берегу.

Это строгое решение показало им, что с губернатором шутки плохи. Им не оставалось другого выбора, как принять мой ультиматум. Теперь это была уже забота заложников и капитана внушить пятерым, чтоб они не изменили своей клятве.

Итак, мы располагали теперь следующими боевыми силами: 1) капитан, его помощник и пассажир; 2) двое пленных из первой группы, которым, по ручательству капитана, я возвратил свободу и оружие; 3) еще двое пленных, которых я посадил связанными на дачу и теперь освободил, опять-таки по просьбе капитана; 4) наконец, пятеро освобожденных в последнюю очередь, итого – двенадцать человек, кроме пятерых, оставленных в пещере, и двоих заложников.

Я спросил капитана, находит ли он возможным атаковать корабль наличными силами, ибо что касается меня и Пятницы, то нам было неудобно отлучаться: у нас на руках оставалось семь человек, их нужно было держать порознь и кормить, так что дела было довольно.

Пятерых, посаженных в пещеру, я решил держать строго. Раза два в день Пятница давал им еду и питье; двое других пленных приносили провизию на определенное место, и оттуда Пятница брал ее.

Этим двум заложникам я показался в сопровождении капитана. Он им сказал, что я – доверенное лицо губернатора, мне поручен надзор за военнопленными, без моего разрешения они не имеют права никуда отлучаться, и при первом же ослушании их закуют в кандалы и посадят в замок. За все это время я ни разу не выдавал им себя за губернатора, мне нетрудно было играть роль другого лица, и я по всякому поводу говорил о губернаторе, гарнизоне, замке и т. д.

Теперь капитан мог без помехи приступить к снаряжению двух лодок, заделать в одной из них дыру и назначить для них команду. Он назначил командиром одной шлюпки своего пассажира и дал в его распоряжение четырех человек; сам же со своим помощником и с пятью матросами сел в другую шлюпку. Они отбыли так удачно, что подошли к кораблю в полночь. Когда с корабля можно было расслышать их, капитан приказал Робинзону окликнуть экипаж и сказать, что они привели людей и шлюпку, но что им пришлось долго искать, а затем отвлечь их внимание разными небылицами. Пока Робинзон болтал таким образом, шлюпка причалила к борту. Капитан с помощником первые вбежали на палубу и сшибли с ног ударами прикладов второго помощника капитана и корабельного плотника. Поддерживаемые своими матросами, они взяли в плен всех, кто находился на палубе и на шканцах, а затем стали запирать люки, чтобы задержать

внизу остальных. Тем временем подоспела вторая шлюпка, приставшая к носу корабля; ее команда быстро заняла люк, через который был ход в корабельную кухню, и взяла в плен трех человек.



Очистив палубу, капитан приказал своему помощнику взять трех матросов и взломать дверь каюты – ее занимал новый капитан, избранный бунтовщиками. Подняв тревогу, тот вскочил и приготовился к вооруженному отпору с двумя матросами и юнгой, так что, когда помощник капитана со своими людьми высадили дверь каюты, новый капитан и его приверженцы смело выпалили в них. Помощнику раздробило пулей руку, два матроса тоже оказались раненными, но никто не был убит.

Помощник капитана позвал на помощь и, несмотря на свою рану, ворвался в каюту и пистолетом прострелил новому капитану голову; пуля попала в рот и вышла за ухом, уложив мятежника на месте. Тогда весь экипаж сдался, и больше не было пролито ни капли крови.

Когда все было кончено, капитан приказал произвести семь пушечных выстрелов. Это был условный знак успешного окончания дела. Я продежурил на берегу до двух часов ночи, поджидая этого сигнала; можете судить, как я обрадовался, услышав его.

Ясно услышав все семь выстрелов, я лег и, утомленный волнениями дня, крепко уснул. Меня разбудил гром нового выстрела. Я мгновенно вскочил и услышал, что кто-то зовет меня: «Губернатор! Губернатор!» Я сейчас же узнал голос капитана. Он стоял над моей крепостью, на холме. Я быстро поднялся к нему, он заключил меня в свои объятия и, указывая на корабль, промолвил:

– Мой дорогой друг и избавитель, вот ваш корабль. Он ваш со всем, что на нем есть, и со всеми нами.

Взглянув на море, я действительно увидел корабль, стоявший всего в полумиле от берега. Восстановив себя в правах командира, капитан тотчас же приказал сняться с якоря и, пользуясь легоньким попутным ветерком, подошел к той бухточке, где я когда-то причаливал со своими плотами; так

как вода стояла высоко, то он на своем катере вошел в бухточку, высадился на берег и прибежал ко мне.

Увидев корабль, так сказать, у порога моего дома, я от неожиданной радости чуть не лишился чувств. Пробил наконец час моего избавления. Я, если можно так выразиться, уже осязал свою свободу. Все препятствия были устранены; к моим услугам было большое океанское судно, готовое доставить меня, куда я захочу. От волнения я не мог вымолвить ни слова: язык не слушался меня. Если бы капитан не поддерживал меня своими сильными руками, я бы упал.

Заметив мое состояние, он достал из кармана пузырек с каким-то укрепляющим снадобьем, которое захватил нарочно для меня, и дал мне выпить глоток, затем осторожно посадил меня на землю. Я пришел немного в себя, но долго еще не в силах был говорить.

Бедняга капитан и сам не мог опомниться от радости, хотя для него она уже была не столь неожиданной, как для меня. Он успокаивал меня, как малого ребенка, изливался мне в своей признательности и наговорил тысячу самых нежных и ласковых слов. Но я плохо понимал, что он говорит; должно быть, внезапная радость привела мой разум в полную растерянность. Наконец мое душевное смятение разрешилось слезами, после чего способность речи вернулась ко мне.

Тогда я обнял моего друга и освободителя, и мы радовались вместе. Я сказал ему, что смотрю на него как на человека, посланного Небом для моего избавления, и все, что здесь случилось с нами, мне кажется цепью чудес. Такие события свидетельствуют о тайном Промысле, управляющем миром, и доказывают, что всевидящее око Творца отыскивает несчастных в самых заброшенных уголках мира, дабы утешить их.

Не забыл я также вознестись к небу благодарной душой. Да и мог ли я не проникнуться благодарностью к Тому, кто столь чудесным образом охранял меня в пустыне и не дал мне погибнуть в безопасном одиночестве? И кого мог я благодарить за свое избавление, как не Того, кто для нас источник всех благ, всякого утешения и отрады?



Когда мы немного успокоились, капитан сказал, что привез мне кое-что для подкрепления из корабельных запасов, которых еще не успели расхитить негодяи, так долго хозяйничавшие на корабле. Вслед за тем он велел матросам, сидевшим в лодке, выгрузить на берег тюки, предназначенные для губернатора. Их было столько, что могло показаться, будто я вовсе не собираюсь уезжать, а остаюсь на острове до конца дней.

Он привез мне: во-первых, целую батарею бутылок с крепкими напитками и шесть больших (в две кварты каждая) бутылей мадеры, затем два фунта превосходного табаку, двенадцать огромных кусков говядины, шесть кусков свинины, мешок гороху, около ста фунтов сухарей. Потом ящик сахару, ящик белой муки, полный мешок лимонов, две бутылки лимонного соку и еще много разных разностей. Но главное, мой друг позаботился снабдить меня одеждой, которая была мне в тысячу раз нужнее еды. Он привез мне полдюжины новых, совершенно чистых рубах, шесть очень хороших шейных платков, две пары перчаток, шляпу, башмаки, чулки и отличный собственный костюм, почти не ношенный, – словом, одел меня с головы до ног.

Легко себе представить, как приятен был для меня этот подарок в моем тогдашнем положении. Но до чего неуклюжий был у меня вид, когда я облекся в новый костюм, и до чего мне было неловко и неудобно в нем первое время!

Как только кончилась церемония осмотра вещей и я велел отнести их в мою крепость, мы стали совещаться, что нам делать с пленными и не будет ли рискованно взять их с собой в плавание, особенно двоих, по аттестации капитана, неисправимых негодяев. По его словам, это были такие мерзавцы, что если бы он и решился взять их на корабль, то не иначе как в качестве арестантов; то есть закованных в кандалы, с тем чтобы отдать их в

руки правосудия в первой же на нашем пути английской колонии. Словом, капитан был в большом смущении по этому поводу.

Тогда я сказал ему, что, если он желает, я берусь так устроить, что эти два молодца станут сами упрашивать нас оставить их на острове.

– Пожалуйста, устройте, я буду очень рад, – отвечал мне капитан.

– Хорошо, – сказал я. – Сейчас я за ними пошлю и поговорю с ними от вашего имени. – Затем, позвав к себе Пятницу и двух заложников (которых мы теперь освободили, так как их товарищи сдержали данное слово), я приказал им перевести пятерых пленников из пещеры, где они сидели, на дачу (но отнюдь не развязывая им рук) и там дожидаться меня.

Спустя некоторое время я отправился к ним в своем новом костюме и на этот раз уже в качестве самого губернатора. Когда все собрались и капитан сел подле меня, я велел привести к себе узников и сказал им, что мне в точности известно их преступное поведение по отношению к капитану и то, как они дезертировали с кораблем и, наверное, занялись бы разбоем, если бы, по воле Провидения, не упали в ту самую яму, которую вырыли другим.

Я сообщил им, что, по моему распоряжению, корабль был захвачен и приведен на рейд; их же новый капитан получил заслуженное возмездие за свою подлость; вскоре они увидят его висящим на рее.

Затем я спросил у них, что они могут сказать мне в свое оправдание, так как я намерен казнить их как пиратов, на что имею полное право по занимаемой мною должности.

Один из них ответил за всех, что им нечего сказать в свое оправдание, но что капитан обещал им пощаду, и потому они смиренно умоляют меня оказать им милость – оставить их в живых.

– Право, не знаю, какую милость я вам могу оказать, – сказал я им. – Я решил покинуть этот остров со всеми моими людьми: мы уезжаем в Англию на вашем корабле. Капитан говорит, что взять вас с собой он может не иначе как закованными в кандалы, с тем чтобы по прибытии в Англию предать вас суду за бунт и измену. А вы сами знаете, что за это вам грозит виселица. Итак, едва ли мы окажем вам благодеяние, взяв вас с собой. Если хотите знать мое мнение, то я посоветовал бы вам остаться на острове, постарайтесь устроиться здесь: только при этом условии – примете вы его или нет, для меня безразлично, так как мне дано разрешение уехать отсюда – я могу помиловать вас.



Они с радостью согласились на мое предложение и очень благодарили меня, говоря, что, конечно, лучше жить на этом острове, чем воротиться в Англию только затем, чтобы попасть на виселицу.

Капитан сделал вид, будто у него есть возражения против моего плана и он не решается оставить изменников. Тогда я, в свою очередь, сделал вид, что рассердился на него. Я сказал ему, что они мои пленники, а не его. Я обещал помиловать их и сдержу свое слово; если же он не находит возможным согласиться со мной, то я сейчас же выпущу их на свободу, и тогда пусть ловит их сам как знает.

Пленники еще раз горячо поблагодарили меня за заступничество, и таким образом дело было улажено. Я приказал развязать их и сказал им: «Теперь ступайте в лес на то место, где мы вас забрали; я прикажу оставить вам несколько ружей, порох и патроны и дам необходимые указания на первое время. Вы можете очень недурно прожить здесь, если захотите».

Вернувшись домой после этих переговоров, я начал собираться в дорогу. Я, впрочем, предупредил капитана, что не могу быть готов раньше следующего утра, и попросил его ехать на корабль без меня и готовиться к отплытию, а поутру прислать за мной катер.

– Да прикажите, – прибавил я, – повесить на рее труп того бездельника, которого они выбрали в капитаны: я хочу, чтоб его видели те пятеро, что остаются здесь.

Когда капитан уехал, я велел позвать ко мне пятерых пленников и завел с ними серьезный разговор об их положении. Повторив, что, по моему мнению, они делают правильный выбор, оставаясь на острове, так как, если они вернутся на родину, их непременно повесят, я указал им на корабельную рею, где висело бездыханное тело их капитана, и сказал, что и их ожидала бы такая же участь.

Затем, заставив пленных еще раз подтвердить, что они остаются с охотой, я сказал, что намерен ознакомить их с историей моей жизни на острове, чтобы облегчить им первые шаги, и приступил к рассказу. Я рассказал все подробно: как я попал на остров, как собирал виноград, как посеял рис и ячмень, как научился печь хлеб. Я показал свои укрепления, поля и загоны – словом, сделал все от меня зависящее для того, чтобы они могли устроиться удобно; не забыл я предупредить этих людей и о том, что в скором времени к ним могут приехать шестнадцать испанцев; я дал письмо для ожидаемых гостей и взял с них слово, что они примут вновь прибывших в свою общину на равных с собою правах.

Я оставил им все свое оружие, а именно: пять мушкетов, три охотничьих ружья и три сабли, а также полтора бочонка пороху, которого у меня сохранилось так много потому, что за исключением двух первых летя мало стрелял и никогда не расходовал его зря. Я дал им подробное наставление, как ходить за козами, как их доить и откармливать, как делать масло и сыр. Короче говоря, поведал им в немногих словах всю историю своей жизни на острове. В заключение я пообещал упросить капитана оставить им еще два бочонка пороху и семян огородных овощей, которых мне так недоставало и которым я был бы так рад. Мешок с горохом, привезенный мне капитаном в подарок, я тоже отдал им, посоветовав употребить его весь на посев.

Дав это наставление, я простился с ними на другой день и переехал на корабль. Но как мы ни спешили с отплытием, а все-таки не успели сняться с якоря в ту ночь. На следующий день на рассвете двое из пяти изгнанников подплыли к кораблю и, горько жалуясь на трех своих товарищей, Христом Богом заклинали нас взять их с собой, хотя бы потом их повесили, потому что, по их словам, им все равно грозит смерть, если они останутся на острове.

В ответ на просьбу этих матросов капитан сказал, что он не может взять их без моего разрешения. Но в конце концов, заставив их дать торжественную клятву в том, что они исправятся и будут вести себя примерно, мы приняли их на корабль и вскоре как следует наказали. После здоровой порки они стали весьма порядочными и смирными людьми.

Дождавшись прилива, капитан отправил на берег шлюпку с вещами, которые были обещаны поселенцам. К этим вещам по моей просьбе он присоединил их сундуки с платьем, за что они были очень благодарны. Я тоже ободрил их, обещав, что не забуду о них и, если только по пути мы встретим корабль, я непременно пошлю его за ними.

Простившись с островом, я взял с собой на память сделанную мной

собственноручно большую шапку из козьей шкуры, мой зонтик и одного из попугаев. Не забыл я взять и деньги, о которых уже упоминал раньше, но они так долго лежали у меня без употребления, что совсем потускнели и только после основательной чистки стали опять похожи на серебро; я взял также деньги, найденные мною в обломках испанского корабля.

Так покинул я остров 19 декабря 1686 года, судя по корабельному календарю, пробывши на нем двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней; из этого вторичного плена я был освобожден в тот самый день месяца, в какой я некогда спасся бегством на баркасе от мавров города Сале.

После продолжительного морского путешествия я прибыл в Англию 11 июня 1687 года, пробыв в отсутствии тридцать пять лет.



Глава 29

Возвращение

В Англию я приехал для всех чужим, как будто никогда и не бывал там. Моя благодетельница и доверенная, которой я отдал на сохранение свои деньги, была жива, но пережила большие невзгоды, во второй раз овдовела, и дела ее были очень плохи. Я успокоил эту добрую женщину насчет ее долга мне, уверив, что ничего не стану с нее требовать, и, напротив, в благодарность за прежние заботы и преданность помог ей, насколько это позволяли мои обстоятельства, но позволили они немногое, так как и мой собственный запас денег был в то время весьма невелик. Зато я обещал, что никогда не забуду ее прежней доброты ко мне, и действительно не забыл мою благодетельницу, когда мои дела поправились, как о том будет рассказано своевременно.

Затем я поехал в Йоркшир, но отец мой умер, мать также, и весь род мой угас, за исключением двух сестер и двоих детей одного из моих братьев; меня давно считали умершим, и поэтому мне ничего не оставили из отцовского наследства. Словом, я не нашел ни денег, ни помощи, а того, что у меня было, оказывалось слишком мало, чтобы устроиться.

Встретил я, однако же, проявление благодарности, совершенно для меня неожиданное, со стороны капитана корабля, которого я так удачно выручил из беды, спасши ему и судно, и груз. Он так расхвалил меня хозяевам судна, столько наговорил им о том, как я спасал жизнь матросам, что они вместе с другими купцами, заинтересованными в грузе, позвали меня к себе, наговорили мне много лестного и поднесли двести фунтов стерлингов.

Однако, помыслив о своем положении и о том, как мало для меня надежды устроиться в Англии, я решил съездить в Лиссабон и попытаться узнать что-нибудь о моей плантации в Бразилии и о моем компаньоне, который, как я имел основание предполагать, уже несколько лет должен был считать меня мертвым.

С этой целью я отплыл на корабле в Лиссабон и прибыл туда в апреле; во всех этих поездках мой слуга Пятница добросовестно сопровождал меня и много раз доказывал мне свою верность.

По приезде в Лиссабон я навел справки и, к великому моему удовольствию, разыскал моего старого друга, капитана португальского корабля, впервые подобравшего меня в море у берегов Африки. Он

состарился и не ходил больше в море, а судно передал своему сыну, тоже уже немолодому человеку, который и продолжал вести торговлю с Бразилией. Старик не узнал меня, да и я едва его узнал, но все же, всмотревшись, припомнил его черты, и он припомнил меня, когда я сказал ему, кто я такой.

После горячих дружеских приветствий с обеих сторон я, конечно, не преминул спросить о своей плантации и своем компаньоне. Старик сказал мне, что он не был в Бразилии уже около девяти лет, что, когда он в последний раз уезжал оттуда, мой компаньон был еще жив, но мои доверенные, которым я поручил наблюдать над моей частью, оба умерли. Тем не менее он полагал, что я могу получить самые точные сведения о своей плантации и произведенных на ней улучшениях, ибо ввиду общей уверенности в том, что я пропал без вести и утонул, поставленные мной опекуны ежегодно отдавали отчет о доходах с моей части плантации чиновнику государственного казначейства, который постановил – на случай, если я не вернусь, – конфисковать мою собственность и одну треть доходов с нее отчислять в казну, а две трети – в монастырь святого Августина на бедных и на обращение индейцев в католическую веру. Но, если я сам явлюсь или пришлю кого-либо вместо себя требовать моей части, она будет мне возвращена – конечно, за вычетом ежегодных доходов с нее, истраченных на добрые дела. Зато он уверил меня, что и королевский чиновник, ведающий доходами казны, и монастырский эконом все время тщательно следили за тем, чтобы мой компаньон ежегодно доставлял им точный отчет о доходах с плантации, так как моя часть поступала им полностью.

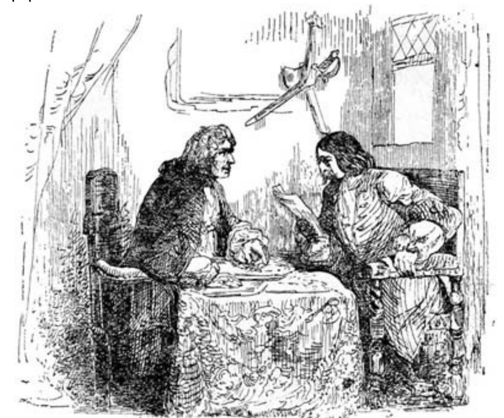
Я спросил капитана, известно ли ему, насколько увеличилась доходность плантации, стоит ли заняться ею и, если я приеду туда и предъявлю свои права, могу ли я, по его мнению, беспрепятственно вступить во владение своей долей.

Он ответил, что не может сказать в точности, насколько увеличилась плантация, но только знает, что мой компаньон страшно разбогател, владея лишь одной половиной, и, насколько ему известно, треть моих доходов, поступавшая в королевскую казну и, кажется, передаваемая тоже в какой-то монастырь или религиозную общину, превышала двести мойдоров в год. Что же касается беспрепятственного вступления в свои права, об этом, по его мнению, нечего было и спрашивать, так как мой компаньон жив и удостоверит мои права, да и мое имя числится в списках местных землевладельцев. Сказал он мне еще, что преемники поставленных мною опекунов хорошие, честные люди, притом очень богатые, и что они не

только помогут мне вступить во владение своим имуществом, но, как он полагает, еще и вручат мне значительную сумму денег, составившуюся из доходов с плантации за то время, когда ею еще заведовали их отцы и доходы не поступали в казну, то есть, по его расчету, лет за двенадцать.

Это несколько удивило меня, и я не без тревоги спросил капитана, как же могло случиться, что опекуны распорядились таким образом моей собственностью, когда он знал, что я составил завещание и назначил его, португальского капитана, своим единственным наследником.

– Это правда, – сказал он, – но ведь доказательств вашей смерти не было, и, следовательно, я не мог действовать в качестве вашего душеприказчика, не имея сколько-нибудь достоверных сведений о вашей гибели. Да мне и не хотелось брать на себя управление вашей плантацией – она находится так далеко. Завещание ваше, впрочем, я предъявил и права свои тоже, и, будь у меня возможность доказать, что вы живы или умерли, я бы стал действовать по доверенности и вступил бы во владение инхеньо (так называют там сахарный завод) или поручил бы это своему сыну, он и теперь в Бразилии. Но, – продолжал старик, – я должен сообщить вам нечто такое, что, может быть, будет вам менее приятно, чем все предыдущее: ваш компаньон и опекуны, думая, что вы погибли – да и все ведь это думали, – решили представить мне отчет о прибылях за первые шесть-семь лет и вручили мне деньги. В то время плантация требовала больших расходов на расширение хозяйства, постройку инхеньо и приобретение невольников, так что доходы были далеко не такие, как позже. Тем не менее я вам дам подробный отчет о том, сколько денег я получил и на что израсходовал.



Несколько дней спустя мой старый друг представил мне отчет о ведении хозяйства на моей плантации в течение первых шести лет моего отсутствия. Отчет был подписан моим компаньоном и двумя моими доверенными; доходы исчислялись везде в товарах, например, в пачках

табака, ящиках сахара, бочонках рома, патоки и т. д., как это принято в сахарном деле. Из отчета я увидел, что доходы с каждым годом росли, но вследствие крупных затрат сумма прибылей вначале была невелика. Все же, по расчету старика капитана, оказывалось, что он должен мне четыреста семьдесят золотых мойдоров да еще шестьдесят ящиков сахару и пятнадцать двойных пачек табаку, погибших вместе с его кораблем, – он потерпел крушение на обратном пути из Бразилии в Лиссабон лет одиннадцать спустя после моего отъезда.

Добряк жаловался на постигшие его несчастья и говорил, что он вынужден был израсходовать мои деньги на покрытие своих потерь и на покупку пая в новом судне.

– Но все же, мой старый друг, – закончил он, – нуждаться вам не придется, а когда возвратится мой сын, вы получите деньги сполна. – С этими словами он вытащил старинный кошелек и вручил мне сто шестьдесят португальских мойдоров золотом, а в виде обеспечения остального долга передал свои документы на владение судном, на котором сын его поехал в Бразилию; он владел четвертью всех паев, а сын его – другой четвертью.

Этого я уже не мог допустить: честность и доброта бедного старика глубоко меня растрогали; вспоминая, что он сделал для меня, как он подобрал меня в море, как великодушно относился ко мне все время и в особенности каким искренним другом показал себя теперь при свидании, я с трудом удерживался от слез. Поэтому я прежде всего спросил его, позволяют ли ему его обстоятельства уплатить мне сразу столько денег и не будет ли это для него стеснительно. Он ответил, что, по правде говоря, это, конечно, будет ему несколько трудновато, но ведь деньги мои и мне они, может быть, нужнее, чем ему.

В каждом слове старика было столько приязни ко мне, что, слушая его, я едва не заплакал. Короче говоря, я взял его сто мойдоров и, спросив перо и чернила, написал ему расписку в получении их, а остальные деньги отдал назад, говоря, что, если я получу обратно свою плантацию, я отдам ему и остальное, как я и сделал впоследствии. Что же касается до переуступки мне его прав на владение судном, на это я ни в коем случае не согласен: если мне нужны будут деньги, он и сам отдаст, – я убедился, что он честный человек; а если не будут нужны, если я получу свою плантацию, как он дал мне основание надеяться, я не возьму с него больше ни гроша.

После этого старик предложил научить меня, как предъявить свои права на плантацию. Я сказал, что думаю поехать туда. Он возразил, что, конечно, можно и поехать, если мне так угодно, но и помимо этого есть

много способов установить мои права и немедленно же вступить в пользование доходами. Зная, что на реке у Лиссабона стоят суда, уже совсем готовые к отплытию в Бразилию, он внес мое имя в официальные книги и удостоверил присягой, что я жив и что я то самое лицо, которое первоначально приобрело землю для того, чтобы устроить на ней указанную плантацию. Затем я составил у нотариуса доверенность на имя одного его знакомого купца в Бразилии. Эту доверенность он отослал в письме, а мне предложил остаться у него до получения ответа.

Невозможно было действовать добросовестнее, чем действовал по доверенности этот купец: меньше чем через семь месяцев я получил от наследников моих доверенных, то есть тех купцов, по просьбе которых я отправился за невольниками в Гвинею, большой пакет с вложением следующих писем и документов.

Во-первых, отчет о прибылях, начиная с того года, когда отцы их рассчитались с моим старым другом, португальским капитаном, за шесть лет; на мою долю приходилось тысяча сто семьдесят четыре мойдора.

Во-вторых, отчет еще за четыре года, в течение которых они самостоятельно заведовали моими делами, пока правительство не взяло под свою опеку плантации как имущество лица, пропавшего без вести, – это называется в законе гражданской смертью, доходность плантации постепенно росла, и доход за эти четыре года равнялся 13814 крузадо, или 3241 мойдору.

В-третьих, отчет настоятеля монастыря святого Августина, получавшего доходы в течение четырнадцати с лишком лет, настоятель не мог, конечно, возвратить мне денег, уже израсходованных на больницы, но честно заявил, что у него осталось 872 мойдора, которые он признает моей собственностью. Только королевская казна не возвратила мне ничего.

В пакете было еще письмо от моего компаньона. Он сердечно поздравлял меня с возвращением, радовался, что я жив, сообщал мне, как разрослось теперь наше имение и сколько оно дает ежегодно, сколько в нем теперь акров, чем засеяна плантация и сколько невольников работает на ней. Затем следовали двадцать два крестика, выражавшие добрые пожелания и сообщения, что он столько же раз прочел «Ave Maria»[5], благодаря Пресвятую Деву за то, что я жив. Далее мой компаньон горячо упрашивал меня вернуться в Бразилию и вступить во владение своей собственностью, а пока дать ему наказ, как распорядиться ею в случае, если я сам не приеду. Письмо заканчивалось уверениями в искренней дружбе ко мне его самого и его домашних. Кроме письма, он прислал мне в подарок семь прекрасно выделанных леопардовых шкур, по-видимому,

привезенных из Африки на другом корабле, посланном им туда и совершившем более удачное путешествие, чем мое судно. Прислал он мне еще пять ящиков разных сластей превосходного качества и сто золотых пластинок, еще не отчеканенных в монеты и не таких больших, как мойдоры.

С теми же кораблями мои доверенные посылали мне доход с плантаций за текущий год: тысячу двести ящиков сахарного песку, восемьсот пачек табаку и остальное золотом.

Могу сказать, для меня, как для Иова, конец был лучше начала. Невозможно описать, как трепетно билось мое сердце, когда я читал эти письма и в особенности когда я увидал вокруг себя свое богатство. Бразильские суда идут обыкновенно целой флотилией; и караван, привезший мне письма, привез также и товары, так что, прежде чем письма были вручены мне, товары были уже в гавани в целости и сохранности. Узнав об этом, я побледнел, почувствовал дурноту, и, если бы старик капитан не подоспел вовремя с лекарством, я, пожалуй, не вынес бы этой неожиданной радости и умер тут же, на месте. Несколько часов я чувствовал себя очень плохо, пока наконец не послали за доктором, и тот, узнав истинную причину моей болезни, пустил мне кровь. После этого мне стало гораздо лучше; я положительно думаю, что, если бы кровопускание не облегчило меня, мне бы несдобровать.

Итак, я неожиданно оказался обладателем более пяти тысяч фунтов стерлингов и поместья в Бразилии, приносящего свыше тысячи фунтов в год дохода, ничуть не менее верного, чем приносят поместья в Англии: я никак не мог освоиться со своим новым положением и не знал, с чего начать, как извлечь из него те выгоды и удовольствия, какие оно могло мне дать.

Первым делом я вознаградил своего благодетеля, доброго капитана, который так много помог мне в годину бедствия, был добр ко мне вначале и верен мне до конца. Я показал ему все присланное мне, говоря, что после Провидения, которое всем управляет, я обязан своим богатством ему, что теперь долг мой – отблагодарить его, и он будет вознагражден сторицею. Прежде всего я возвратил ему взятые у него сто мойдоров, затем послал за нотариусом и формальным образом уничтожил расписку, по которой он признавал себя должным мне четыреста семьдесят мойдоров. Затем я составил доверенность, давшую ему право ежегодно получать за меня доходы с моей плантации и обязывающую моего компаньона предоставлять ему отчеты и отправлять на его имя товары и деньги.

Приписка в конце предоставляла ему право на получение от доходов ежегодной пенсии в сто мойдоров, а после его смерти эта пенсия, в размере пятидесяти мойдоров, должна была перейти к его сыну. Так я отблагодарил своего старого друга.

Теперь надо было подумать о том, куда направить свой путь и что делать с состоянием, милостью Провидения доставшимся мне. Забот у меня было несравненно больше, чем в то время, когда я вел одинокую жизнь на острове и не нуждался ни в чем, кроме того, что у меня было, но я не имел ничего, кроме необходимого. Теперь у меня не было пещеры, куда я мог спрятать свои деньги, или места, где бы они могли лежать без замков и ключей и потускнеть и заплесневеть, прежде чем кому-нибудь вздумалось бы воспользоваться ими; напротив, теперь я не знал, куда их девать и кому отдать на хранение. Единственным моим прибежищем был мой старый друг капитан, в честности которого я уже убедился.

Далее, как мне показалось, мои интересы в Бразилии призывали меня туда, но я не мог себе представить, как же я уеду, не устроив своих дел и не оставив своего капитала в надежных руках. Вначале мне пришло в голову отдать его на хранение моей старой приятельнице, вдове капитана, я знал, что она честная женщина и отнесется ко мне вполне добросовестно; но она была уже в летах и бедна, и, как мне думалось, у нее могли быть долги. Словом, делать было нечего, приходилось самому ехать в Англию и везти деньги с собой.

Прошло, однако же, несколько месяцев, прежде чем я пришел к такому решению, а потому, вознаградив по заслугам старого капитана, моего бывшего благодетеля, я подумал и о бедной вдове, покойный муж которой оказал мне столько услуг, да и сама она, пока это было в ее власти, была моей верной опекуншей и советчицей. Я первым делом попросил одного лиссабонского купца поручить своему агенту в Лондоне не только выплатить ей сто фунтов по чеку, но разыскать ее и лично вручить от меня эти деньги, поговорив с ней, утешить бедную женщину, сказав, что, пока я жив, я и впредь буду помогать ей. В то же время я послал своим сестрам, жившим в деревне, по сто фунтов каждой; они, правда, не нуждались, но и нельзя сказать, чтобы жили в достатке: одна вышла замуж и овдовела, у другой муж был жив, но относился к ней не так хорошо, как следовало бы.

Но из всех моих родственников и знакомых я не находил ни одного, кому бы я решился доверить целиком свое состояние, чтобы со спокойной душой уехать в Бразилию, и это сильно тревожило меня.

Я было совсем решился ехать в Бразилию и поселиться там – ведь я, так сказать, натурализовался в этой стране, – но было одно маленькое

препятствие, останавливавшее меня, а именно религия. Правда, в данное время не религия удерживала меня от поездки; как раньше, живя среди католиков, я не стеснялся открыто придерживаться их религии, так и теперь не ставил этого себе в грех; однако за последнее время я больше думал об этом, чем прежде, и теперь, когда я говорил себе, что мне придется жить и умереть среди католиков, я иногда раскаивался, что признал себя папистом, мне приходило в голову, что католическая вера, быть может, не лучшая, и мне не хотелось умереть католиком.

Но, как я уже говорил, главная причина, удерживавшая меня от поездки в Бразилию, была не в этом, а в том, что я положительно не знал, кому доверить свои товары и деньги, и в конце концов решил, захватив с собой все свое богатство, ехать в Англию. По прибытии туда я рассчитывал завести знакомства или же найти родственников, на которых можно было бы положиться. И вот я стал собираться в путь.

Перед возвращением домой я решил привести в порядок все свои дела и прежде всего (узнав, что бразильские корабли готовы к отплытию) ответить на письма, полученные мною из Бразилии, с полными и правдивыми отчетами в моих делах. Я написал настоятелю монастыря святого Августина, поблагодарил его за добросовестность и просил принять от меня в дар не израсходованные им восемьсот семьдесят два мойдора с тем, чтобы пятьсот пошли на монастырь, а триста семьдесят два – бедным, по усмотрению настоятеля, затем просил доброго падре молиться обо мне и т. д.

Потом я написал благодарственное письмо двум моим доверенным, воздав должное их справедливости и добросовестности; от посылки им подарка я удержался: для этого они были слишком богаты. Наконец, я написал своему компаньону, восхищаясь его умением вести хозяйство, расширять дело и увеличивать доходы; затем дал ему наказ, как поступать с моей частью на будущее время; сообщил, какие полномочия я оставил старому португальскому капитану, и просил впредь до получения от меня вестей отсылать ему все, что будет мне причитаться; я заверил своего компаньона, что имею намерение не только посетить свое имение, но и прожить в нем до конца дней моих. К письму я присоединил подарки: итальянского шелку на платье его жене и дочерям – о том, что у него есть жена и дочери, я узнал от сына моего приятеля, капитана, – затем два куска тонкого английского сукна, лучшего, какое можно было найти в Лиссабоне, пять кусков черной байки и дорогих фламандских кружев.

Устроив таким образом свои дела, продав товары и обратив деньги в надежные бумаги, я мог спокойно двинуться в путь. Но теперь возникло

другое затруднение: как ехать в Англию – сухим путем или морем? К морю я, кажется, достаточно привык, а между тем на этот раз мне до странности не хотелось ехать в Англию морем, и хотя я ничем не мог объяснить это нежелание, оно до того разрослось во мне, что, уже отправив свой багаж на корабль, я передумал и взял его назад. И так было не раз, а раза два или три.

Правда, мне очень не везло на море, и это могло быть одной из причин, но все же тут главное дело было в предчувствии, а человеку никогда не следует идти против своих предчувствий. Два корабля, на которых я хотел плыть, выбранных мною из числа других – на один я даже свез свой багаж, а с капитаном другого условился о цене, – оба эти корабля не дошли до места назначения. Один был взят алжирскими пиратами, другой потерпел крушение у Старта возле Торбея, и все бывшие на нем, за исключением троих, утонули; так что на обоих мне пришлось бы худо, и на котором хуже – сказать трудно.

Видя такое смятение в моих мыслях, мой старый друг капитан, от которого я ничего не скрывал, стал убеждать меня не ехать морем, но либо отправиться сухим путем в Корунью и далее через Бискайский залив в Ла-Рошель, откуда уже можно легко и безопасно проехать в Париж, а также в Кале и Дувр; либо ехать на Мадрид и оттуда все время сухим путем через Францию.

Я был тогда настолько предубежден против всякой морской поездки, за исключением переезда из Кале в Дувр, что решил ехать всю дорогу сухим путем, а так как я не торопился и не считался с издержками, то этот путь был и самым приятным. А чтобы сделать его еще более приятным для меня, старик капитан нашел мне попутчика, англичанина, сына одного лиссабонского купца; кроме того, мы еще прихватили с собой двух английских купцов и двух молодых португальцев – последние, впрочем, ехали только до Парижа; всех нас собралось шесть человек да пять слуг – купцы и португальцы для сокращения расходов брали с собой только по одному слуге на двоих. Я же взял с собой в качестве слуги одного английского матроса да своего Пятницу, который был слишком непривычен к европейским порядкам, чтобы в дороге заменить мне слугу.

Так я наконец выехал из Лиссабона; мы запаслись всем необходимым, были хорошо вооружены и все вместе составляли маленький отряд; мои спутники почтили меня званием капитана как потому, что я был старше всех годами, так и потому, что у меня было двое слуг, да я же и затеял все это путешествие.

Я не докучал читателю выписками из своего корабельного журнала; так

и теперь я не стану приводить выдержек из своего сухопутного дневника, но о некоторых приключениях, случившихся с нами во время этого трудного и утомительного пути, умолчать не могу.

По прибытии в Мадрид мы все, будучи в первый раз в Испании, пожелали остаться там, чтобы увидеть испанский двор и посмотреть все, что заслуживало внимания, но, так как лето уже близилось к концу, мы поторопились с отъездом и выехали из Мадрида около половины октября. Доехав до границы Наварры, мы получили тревожную весть, что на французской стороне гор выпал глубокий снег и многие путешественники принуждены были вернуться в Памплону после напрасной и крайне рискованной попытки перебраться через горы.



Добравшись до Памплоны, мы и сами убедились в этом. Для меня, прожившего почти всю жизнь в жарком климате, в странах, где я мог обходиться почти без платья, холод был нестерпим. Притом же было не только тягостно, но и странно: всего десять дней тому назад выехав из Старой Кастилии, где было не только что тепло, а жарко, тотчас же вслед за этим попасть под такой жестокий ледяной ветер, дувший с Пиренейских гор, что мы не могли выносить его, не говоря уже о том, что рисковали отморозить себе руки и ноги.

Бедный Пятница – тот попросту испугался, увидав горы, сплошь покрытые снегом, и ощутив холод, какого ему никогда в жизни не доводилось испытывать.

В довершение всего в Памплоне по приезде нашем продолжал идти снег в таком изобилии и так долго, что все удивлялись необыкновенно раннему наступлению зимы.

Дороги, и прежде не очень доступные, теперь стали непроходимыми; в иных местах снег лежал такой глубокий, что ехать было немыслимо, – здесь ведь снег не затвердевает, как в северных странах, и мы на каждом шагу подвергались бы опасности быть похороненными заживо. В Памплоне мы пробыли целых двадцать дней, затем, видя, что зима на носу и улучшения погоды ожидать трудно, – эта зима во всей Европе выдалась

такая суровая, какой не запомнят старожилы, – я предложил своим спутникам поехать в Фуентеррабию, а оттуда отправиться морем в Бордо, что отняло бы очень немного времени.

Но пока мы судили да рядили, в Памплону прибыли четверо французов, перебравшихся через горы с той стороны с помощью проводника; следуя по окраине Лангедока, он провел их через горы дорогой, где снегу было мало и он не особенно затруднял путь, а если и встречался в больших количествах, то был настолько тверд, что по нему могли пройти и люди, и лошади.

Мы послали за этим проводником, и он обещал провести нас тою же дорогой, и переход не будет нам опасен при условии, что мы хорошо вооружимся, чтобы не бояться диких зверей: по его словам, во время обильных снегов у подножия гор нередко показываются волки, разъяренные отсутствием пищи. Мы сказали ему, что к встрече с этого рода зверями мы подготовлены достаточно, если только он уверен, что нам не грозит опасность со стороны двуногих волков, которых, как нам говорили, здесь больше всего следует опасаться, в особенности на французской стороне гор.

Он успокоил нас, говоря, что на том пути, каким мы отправимся, такая опасность нам не грозит, и мы охотно согласились следовать за ним, равно как и другие двенадцать путешественников со своими слугами (некоторые были французами, как я уже сказал, другие испанцами), ранее пытавшиеся перебраться через горы и вынужденные вернуться обратно.

Глава 30

Через горы. — Схватка с волками

И вот мы все 15 ноября выехали из Памплоны. Я был поражен, когда вместо того, чтобы двинуться дальше к горам, проводник повернул назад и пошел по той самой дороге, по которой мы приехали из Мадрида; так мы следовали миль двадцать, переправились через две реки и очутились в ровной местности, приятной для взора, где было снова тепло и снега нигде не было видно. Но затем, неожиданно свернув налево, проводник повел нас к горам другой дорогой, и, хотя горы и пропасти внушали нам страх, проводник наш делал столько кругов, столько обходов, вел нас такими извилистыми тропинками, что мы незаметно перевалили на ту сторону хребта, не испытав особенных затруднений от снега. И тут перед нами

раскинулись веселые плодородные провинции Лангедок и Гасконь, зеленые и цветущие, но они были еще далеки, и, чтобы добраться до них, предстояло совершить трудный путь.

Весь этот день и всю ночь шел снег, такой сильный, что ехать было нельзя; нас это несколько смутило, но проводник успокоил нас, говоря, что скоро мы будем вне полосы снегов. Действительно, мы с каждым днем спускались все ниже и подвигались все дальше на север, вполне доверяясь нашему проводнику.

Часа за два до наступления ночи, в то время как проводник наш был далеко впереди и едва виден нам, из соседней лощины, прилегавшей к густому лесу, выскочили три волка и вслед за ними медведь. Два волка кинулись на проводника, и, будь он в полумиле от нас, они растерзали бы его раньше, чем мы бы успели подоспеть к нему на помощь. Один набросился на его лошадь, другой напал на него самого с такой яростью, что бедный малый не имел ни времени, ни присутствия духа вытащить пистолет и только отчаянно призывал нас на помощь. Рядом со мной ехал мой Пятница, я велел ему скакать вперед и узнать, в чем дело. Увидев, что творилось с нашим проводником, Пятница стал кричать еще громче того: «Господин! Господин!» Он был малый смелый, погнал свою лошадь прямо к месту схватки, выхватил пистолет и прострелил голову волку.

Счастье для бедняги, что к нему подскакал именно Пятница: он у себя на родине привык видеть волков и не боялся их, поэтому подъехал вплотную к волку и застрелил его, как было описано выше: всякий другой из нас выстрелил бы издали и рисковал бы промахнуться или подстрелить самого проводника.

Это могло бы напугать и более смелого человека, чем я, и действительно, весь наш отряд всполошился, когда вслед за выстрелом до нас с двух сторон донесся зловещий волчий вой, повторяемый горным эхом, так что, казалось, волков было множество, да, по всей вероятности, их и в самом деле было не так уж мало, и страх наш оказался вовсе не напрасен.

Как бы там ни было, когда Пятница убил волка, другой волк, набросившийся на лошадь, тотчас же выпустил ее и убежал; к счастью, он вцепился ей в голову, ему попадались под зубы бляхи уздечки, и он не мог причинить ей особенно вреда. Зато человеку пришлось хуже, чем лошади: разъяренный зверь укусил его дважды, один раз в руку и другой – повыше колена, и наш проводник готов был уже свалиться с лошади, когда подоспел Пятница и застрелил волка.



Понятно, что, услыхав выстрел, мы, чтобы поскорее узнать, что случилось, прибавили ходу и поскакали так быстро, как только позволяла дорога, – в этом месте спуск был очень крутой. Как только мы выехали из-за деревьев, ранее заслонявших нам вид, мы сразу поняли, в чем дело, и видели, как Пятница выручил нашего бедного проводника, хотя и не могли разглядеть, что за животное он убил.

Невозможно себе представить более необычайного и захватывающего зрелища, чем последовавшая затем схватка Пятницы с медведем. Бой между ними развеселил нас всех, хотя сначала мы и удивились, и испугались за моего верного слугу. Медведь – зверь тяжелый и неуклюжий, он не способен мчаться, как проворный и легкий на бегу волк; зато он обладает двумя особенностями, которые обыкновенно и сказываются на его поведении. Во-первых, он вообще не нападает на человека; говорю: вообще, потому что нельзя сказать, до чего может довести его голод, как это было в данном случае, когда вся земля была покрыта снегом, – на человека, повторяю, он не нападает, если только человек сам не нападет на него; если вы встретитесь с медведем в лесу и не затронете его, он тоже не тронет вас, но при этом вы должны быть очень вежливы и уступать ему дорогу – он большой барин и сам не уступит дороги даже королю. А коль вы испугались, самое лучшее – не останавливаться и смотреть в другую сторону, ибо иной раз, когда вы остановитесь и станете пристально смотреть на него, он может принять это за обиду; если же вы чем-нибудь бросите в него и попадете, хотя бы даже сучком не толще вашего пальца, он уже непременно обидится и оставит все другие дела, чтобы отомстить вам, ибо в делах чести он крайне щепетилен, – и это его первая особенность. А вторая – то, что, если он почувствовал себя обиженным, он уже не оставит вас в покое, а днем и ночью будет бежать за вами крупной рысью, пока не нагонит и не отомстит за обиду.

Итак, мой слуга Пятница выручил из беды нашего проводника и в ту минуту, как мы подъехали к ним, помогал ему сойти с лошади, так как бедняга совсем ослабел от испуга и ран, – впрочем, он не столь пострадал, сколько испугался. Вдруг мы увидели выходящего из лесу медведя, это был зверь чудовищной величины, такого огромного я еще никогда не видал. Мы все были поражены его появлением, но на лице Пятницы при виде медведя выразились и радость, и отвага.

– О! О! О! – вскричал он трижды, указывая на зверя. – О господин, позволь мне с ним поздороваться: мой тебя будет хорошо смеять!

Я удивился, не понимая, чему он так радуется.

– Глупый ты! Ведь он съест тебя!

– Есть меня! Мой его есть, мой вас будет хорошо смеять! Вы все стойте здесь, мой вам покажет смешно. – Он сел на землю, стащил с себя сапоги, надел туфли (плоские башмаки, какие носят индейцы), лежавшие у него в кармане, отдал свою лошадь другому слуге и, изготовив ружье, помчался, как ветер.

Медведь шел не спеша и никого не трогал; но Пятница, подбежав к нему совсем близко, окликнул его, как будто медведь мог его понять: «Слушай! Слушай! Мой говорит тебе!» Мы следовали за Пятницей поодаль. В это время мы спускались по гасконскому склону и вступили в большой лес, где местность была ровная и довольно открытая, ибо множество деревьев было разбросано то тут, то там.

Пятница, как мы уже говорили, следовал за медведем по пятам и скоро поравнялся с ним, а поравнявшись, поднял с земли большой камень и запустил в него. Камень угодил зверю в голову; положим, он отскочил от него, как от каменной стенки, но все же Пятница добился своего – плут ведь нисколько не боялся и сделал это только для того, чтобы медведь погнался за ним и чтобы, как он выразился, «показать смешно».

Лишь только медведь почувствовал прикосновение камня и, повернувшись, увидел обидчика, он пустился вслед за Пятницей вразвалку, но такими огромными шагами, что и лошади пришлось бы удирать от него в галоп. Пятница мчался, как ветер, прямо на нас, как будто ища у нас защиты, и мы решили все разом стрелять в медведя, чтоб выручить моего слугу, хотя я искренне рассердился на него – зачем он погнал на нас медведя, когда тот шел по своим делам совсем в другую сторону и не обращал на нас внимания; в особенности я рассердился на то, что медведя он погнал на нас, а сам стал удирать.

– Ах ты собака! – крикнул я. – Хорошо же ты нас насмешил! Беги скорее, вскакивай на лошадь и дай нам застрелить зверя!

Он услышал и кричит мне в ответ:

– Нет стрелять! Нет стрелять! Стоять тихо, будет очень смешно! – И бежал дальше вдвое быстрее медведя. Потом внезапно свернул, увидев подходящее дерево, сделал нам знак подъехать ближе, припустил еще быстрее и мигом вскарабкался на дерево, бросив ружье на землю, шагах в шести от ствола.

Медведь вскоре добежал до дерева и первым делом остановился возле ружья, понюхал его, но не тронул и полез на дерево, как кошка, несмотря на свою чудовищную грузность. Я был поражен безрассудным, как мне казалось, поведением моего слуги и при всем желании не мог найти здесь ничего смешного, пока мы, видя, что медведь влез на дерево, не подъехали ближе.

Подъехав к дереву, мы увидели, что Пятница забрался на тонкий конец большого сука, а медведь дошел до половины сука, до того места, где сук становился тоньше и гибче.

– Ого! – крикнул нам Пятница. – Теперь вы смотри: мой будет учить медведь танцевать. – И он начал подпрыгивать и раскачивать сук: медведь зашатался, но не тронулся с места и только оглядывался, как бы ему вернуться назад подобру-поздорову; при этом зрелище мы действительно смеялись от души. Но Пятнице было мало этого: увидев, что медведь стоит смирно, он стал звать его, как будто медведь понимал по-английски:

– Что же ты не идешь дальше? Пожалуйста, иди дальше, – и перестал трясти и качать ветку. Медведь словно понял, что ему было сказано, полез дальше; тут Пятница снова запрыгал, и медведь опять остановился.

Мы думали, что теперь-то и следует прикончить его, и крикнули Пятнице, чтоб он стоял смирно, что мы будем стрелять в медведя, но он горячо запротестовал: «О, пожалста! Пожалста, мой сам будет стрелят сичас!» Словом, Пятница так долго плясал на суку и медведь так уморительно перебирал ногами, что мы действительно нахохотались вдоволь, но все-таки не могли себе представить, чего, собственно, добивается отважный индеец. Сначала мы думали, что он хочет стряхнуть медведя наземь, но для этого медведь был слишком хитер: он не заходил настолько далеко, чтобы потерять равновесие, и крепко цеплялся за ветку своими огромными лапами и когтями, так что мы положительно недоумевали, чем кончится эта потеха.

Но Пятница скоро вывел нас из недоумения. Видя, что медведь крепко уцепился за сук и что его не заставишь идти дальше, он заговорил:

– Ну, ну, твой не идет, мой идет, мой идет! Твой не хочет идти ко мне, мой хочет к себе. – С этими словами он передвинулся на тонкий конец

сука, который согнулся под его тяжестью, и осторожно по ветке соскользнул на землю и побежал к своему ружью.

– Ну, Пятница, – сказал я ему, – что ты еще затеял? Почему ты не стреляешь в него?

– Не надо стрелять! – сказал Пятница. – Теперь еще не надо стрелять; теперь мой стрелять, мой убьет, когда твой будет еще смеяться. – И в самом деле, он опять рассмешил нас, как вы сейчас увидите. Когда медведь заметил, что его враг исчез, он стал пятиться назад, но осторожно, не спеша и на каждом шагу оглядываясь, пока не добрался до ствола; затем по-прежнему задом наперед полез вниз по дереву, цепляясь когтями и осторожно, одну за другой, передвигая ноги. Тут-то, раньше чем зверь успел стать на землю задними ногами, Пятница подошел к нему вплотную, вставил ему в ухо дуло своего ружья и застрелил медведя на месте.

Проказник обернулся посмотреть, смеемся ли мы, и, видя по нашим лицам, что мы довольны, сам захохотал во все горло.

– Так мы убиваем медведь в наша страна! – сказал он.

– Как же вы их убиваете? – спросил я. – Ведь у вас нет ружей.

– Нет, ружей нет, зато есть много, много длинные стрелы.

История с медведем нас развлекла, но все же мы были в глухом месте, проводника нашего сильно потрепали волки, и мы не знали, что предпринять; волчий вой все еще отдавался в моих ушах: поистине, после рева, слышанного мною однажды на африканском берегу, – о чем я уже рассказывал, – я в жизни своей не слыхал таких ужасающих звуков.

Этот вой и близость ночи заставил и нас поспешить, иначе мы сдались бы на просьбы Пятницы и, конечно, сняли бы шкуру с медведя: зверь был такой огромный, что дело стоило того, но нам оставалось пройти еще около десяти миль, и проводник торопил нас; мы оставили медведя и пошли дальше.

Земля здесь была покрыта снегом, хотя не таким глубоким и опасным, как в горах; мы потом узнали, что хищные звери, гонимые голодом, спустились с гор в лес и в долины в поисках пищи и натворили в деревнях много бед: пугали поселян, задрали множество овец и лошадей и даже несколько человек.

Путь наш лежал через опасное место, и проводник сообщил, что мы непременно встретим волков, если в этих краях они еще водятся; то была небольшая лощина, окруженная лесом, и узкое ущелье вело через него в селение, где мы решили заночевать.

Оставалось с полчаса до заката солнца, когда мы вошли в первый лесок, а когда вышли из него на равнину, солнце уже село. В этом первом

лесу не случилось ничего особенного, если не считать того, что на небольшой прогалине, длиною около четверти мили, мы видели пять больших волков, быстро перебежавших дорогу, один вслед за другим, словно они гнались за какой-то добычей; нас они не заметили и через несколько мгновений скрылись.

Наш проводник, кстати сказать, выказавший себя порядочным трусом, просил нас быть настороже, полагая, что вслед за этими волками появятся и другие.

Мы ехали, озираясь и держа ружья наготове, но волков не видели, пока не выбрались из леса, тянувшегося мили полторы, на равнину. Здесь, на равнине, действительно приходилось ехать с оглядкой: первое, что нам бросилось в глаза, была мертвая лошадь и над нею с дюжину волков за работой – не мог сказать, за едой, потому что они уже сожрали все мясо и теперь обгладывали кости.

Мы не сочли удобным мешать их пиршеству, да и они не обратили на нас особенного внимания. Пятнице очень хотелось выпалить в них, но я не допустил этого, находя, что у нас и без того достаточно хлопот, а может оказаться и еще больше. Мы не дошли и до половины равнины, как вдруг слева от нас раздался ужаснейший волчий вой, и сейчас же вслед за тем мы увидали стаю волков, бегущих прямо на нас, большинство в ряд, словно регулярная армия под командой опытных офицеров. Я не знал, как их следует встретить, но подумал, что единственное средство – сомкнуться в тесный ряд; так мы и сделали. А чтобы не было больших промежутков между выстрелами, я велел стрелять через одного, а нестреляющим держать ружья наготове для второго залпа на случай, если волки не повернут назад после первого; тех, кому приходилось стрелять в первую очередь, я предупредил, чтоб они не заряжали ружья снова, но держали бы наготове пистолеты, ибо у всех нас было по ружью и по паре пистолетов, так что при этой системе мы, разделившись надвое и стреляя по очереди, могли дать шесть залпов подряд. Впрочем, в этом не оказалось надобности, ибо после первого же залпа враг остановился как вкопанный, испугавшись равно и грохота и огня; четыре волка были убиты на месте, несколько раненых повернули назад, оставив за собой на снегу кровавый след. Я уже сказал, что стая остановилась, а не бросилась бежать; тогда, вспомнив, что, по рассказам, самые свирепые животные боятся человеческого голоса, я велел всей нашей компании крикнуть разом, как можно громче, и убедился, что в таких рассказах есть доля правды: услыхав наш крик, волки отступили и обратились в бегство. Тогда я велел дать другой залп, им вслед, – волки пустились в галоп и скрылись из виду за деревьями.

Воспользовавшись затишьем, мы стали перезаряжать ружья, а чтобы не терять времени, продолжали ехать; едва мы приготовились к новому залпу, как услыхали дикий шум в том же лесу, в той самой стороне, куда направлялись.

Надвигалась ночь, и с каждой минутой становилось темнее, что было для нас крайне невыгодно: шум усиливался, и мы без труда могли различить в нем рычание и вой этих дьявольских созданий; неожиданно мы увидели перед собой целых три стаи волков – одну слева, одну позади и одну впереди нас, – мы, казалось, были окружены волками; они не нападали на нас, и мы продолжали свой путь, подгоняя лошадей, насколько возможно, но дорога была ухабистой, и лошади могли бежать только крупной рысью. Так мы доехали до опушки второго леса, лежащего на нашем пути, и были крайне удивлены, увидев у просеки несметное множество волков.

Вдруг на другом конце просеки раздался выстрел; из леса выбежала лошадь, оседланная и взнузданная; она неслась вихрем, а за нею мчались во всю прыть шестнадцать или семнадцать волков; лошадь далеко опередила их, но мы были уверены, что она не выдержит долго безумного бега и волки в конце концов нагонят ее; так оно, вероятно, и вышло. В просеке, откуда выбежала лошадь, взорам нашим представилось ужасное зрелище: мы увидели трупы еще одной лошади и двух человек, растерзанных хищными зверями. Один из них был, по всей вероятности, тот самый, который стрелял, – возле него лежало заряженное ружье; но голова его и верхняя часть туловища были изгрызены.

Это зрелище наполнило нас ужасом, и мы не знали, что предпринять и куда направить путь, волки скоро заставили нас решиться: они окружили нас в надежде на новую добычу; я уверен, что их было не меньше трехсот. На счастье наше, у опушки леса, немного в стороне от дороги, лежало несколько огромных деревьев, сваленных прошлым летом и, вероятно, оставленных здесь до перевозки. Я повел свой маленький отряд к этим деревьям; по моему предложению все мы спешились и, укрывшись за одним длинным деревом, как за бруствером, образовали треугольник, поместив лошадей в середине.

И хорошо, что мы это сделали, ибо тотчас же волки напали на нас с невиданной доселе яростью. Они с рычанием бросились к нам, вскочили на бревно, служившее нам прикрытием, как будто рассчитывая на верную добычу; я думаю, ярость их еще увеличивалась тем, что мы укрыли за собой наших лошадей, на которых они, собственно, и нацеливались. Я велел своим стрелять, как прежде, – через одного, и выстрелы их были так

метки, что с первого же залпа многие волки были убиты; но этого оказалось недостаточно: необходимо было стрелять непрерывно, ибо волки лезли на нас как черти: задние подталкивали передних.

После второго залпа нам показалось, что волки приостановились, и я надеялся, что они уйдут; но это продолжалось одно мгновение – сейчас же подоспели другие; мы дали по ним еще два залпа из пистолетов и, думается мне, этими четырьмя залпами убили штук семнадцать или восемнадцать да ранили вдвое столько же, но волки продолжали наступать.

Мне не хотелось слишком поспешно тратить наши заряды, поэтому я кликнул своего слугу – не Пятницу, который был занят другой работой: он с необычайной быстротой и ловкостью успел уже зарядить снова свое и мое ружье, – итак, не Пятницу, а другого моего слугу и, дав ему пороховницу, велел посыпать порохом дорожку вдоль бревна, да пошире. Он повиновался и едва успел отойти, как волки опять полезли на нас через пороховую дорожку. Тогда я, щелкнув незаряженным пистолетом возле самого пороха, зажег его[6], и волки, которые были на бревне, обожглись, а с полдюжины их свалились или, вернее, спрыгнули на нас, шарахнувшись в сторону от огня и под влиянием страха; с этими мы живо расправились, а остальные так испугались яркого света, казавшегося еще страшнее от густой тьмы вокруг, что немного отступили. Тут я в последний раз скомандовал стрелять всем вместе, а затем мы все разом крикнули, и волки показали нам тыл; осталось только около двадцати раненых, корчившихся на земле; мы моментально кинулись на волков и принялись рубить их саблями, рассчитывая, что визг и вой этих тварей будут понятнее их товарищам, чем наши выстрелы; так оно и вышло: волки все убежали и оставили нас в покое.

Убили мы волков штук шестьдесят, и, будь в лесу светло, они, наверное, поплатились бы еще дороже. Когда поле битвы было таким образом очищено, мы двинулись дальше, так как нам оставалось пройти еще около трех миль. По пути мы не раз еще слышали и лесу завывания хищников и, казалось нам, видели, как сами они мелькали между деревьями, но снег слепил нам глаза, и разглядеть хорошенько мы не могли. Через час или около того мы добрались до городка, где решили заночевать, и нашли там всех вооруженными и в страшном переполохе: оказалось, что накануне ночью волки и несколько медведей ворвались в городок и страшно перепугали всех жителей, так что теперь они были вынуждены сторожить день и ночь, и в особенности ночью, оберегая свой скот, да и самих себя.

На следующее утро нашему проводнику стало так худо, рука и нога у

него так распухли от укусов волка, что он был не в состоянии ехать дальше, и нам пришлось взять другого. С этим новым проводником мы доехали до Тулузы, где климат теплый, местность красивая и плодородная и нет ни снега, ни волков. Когда мы рассказали в Тулузе наши дорожные приключения, нам сообщили, что встреча с волками в большом лесу у подножия гор, в особенности в такую пору, когда земля покрыта снегом, дело самое обыкновенное, и немало любопытствовали, что же то был за проводник, который решился провести нас такой дорогой в это суровое время года, и считали чудом, что волки не растерзали нас всех. Наш рассказ о том, как мы бились с волками, прикрывая собой лошадей, вызвал общее порицание; все говорили, что при таких условиях было пятьдесят шансов против одного, что мы все будем растерзаны волками, так как их разъярил именно вид лошадей – их лакомой пищи. Обыкновенно они пугаются первого же выстрела, но тут, будучи страшно голодны и оттого свирепы и еще видя перед собой так близко лошадей, они забыли об опасности; и, если бы мы не укротили их непрерывным ружейным огнем и под конец взрывом пороха, многое говорило за то, что они бы нас разорвали на куски; если бы мы не спешились и стреляли не сходя с лошадей, волки не рассвирепели бы так, ибо, когда они видят на лошади человека, они не смеют считать ее своей собственностью, как в тех случаях, когда лошадь бывает одна. Нам говорили еще, что, если бы мы бросили лошадей на произвол судьбы, волки накинулись бы на них с такой жадностью, что мы успели бы за это время благополучно уйти, тем более что нас было много и все мы имели огнестрельное оружие.

Сам я никогда в жизни не испытывал подобного страха: видя перед собой сотни три этих дьяволов, мчавшихся на нас с ревом и раскрытыми пастями, готовых пожрать нас, я уже счел себя безвозвратно погибшим, потому что укрыться было негде и убежать тоже некуда; так что после всего этого, полагаю, мне никогда больше не придет охота перебираться еще раз через те горы, лучше уж проехать тысячу миль морем, хотя бы меня каждую неделю трепали бури.

О своем путешествии по Франции я не могу сообщить ничего особенного – ничего, кроме того, о чем уже рассказывали другие путешественники, и притом гораздо интереснее, чем я. Из Тулузы я приехал в Париж, потом, не останавливаясь там долго, дальше, в Кале, и благополучно высадился в Дувре 14 января, совершив свое путешествие в самую суровую и холодную пору года.

Теперь я был у цели и скоро вступил во владение всем своим недавно приобретенным богатством, ибо по квитанциям, привезенным мною с

собой, мне уплатили здесь без всяких промедлений.

Моей главной руководительницей и советчицей была здесь добрая старушка, вдова капитана. Она была весьма благодарна мне за присылку денег и не жалела для меня ни трудов, ни забот, а я ей во всем доверялся и ни разу не имел повода раскаяться в этом; с первых дней и до конца эта добрая и благоразумная женщина восхищала меня своей безукоризненной честностью.

Я уже стал подумывать о том, не поручить ли мне ей свои товары и деньги и не отправиться ли обратно в Лиссабон и затем в Бразилию, но меня удержали религиозные соображения. Касательно католицизма у меня были сомнения еще во время моих странствований, особенно во время моего одиночества; а я знал, что мне нечего и думать ехать в Бразилию и тем более селиться там, если я не решусь перейти в католичество или, наоборот, пасть жертвой своих убеждений, пострадать за веру и умереть под пытками инквизиции. А потому я решил остаться дома и, если представится возможность, продать свою плантацию.

О последнем я написал в Лиссабон своему старому другу, и тот ответил мне, что продать ее – дело нетрудное, но, если я дам ему разрешение действовать от моего имени, он находит более выгодным предложить мою часть имения двум купцам, управлявшим ею теперь вместо прежних опекунов, – людям, как мне было известно, очень богатым, живущим в Бразилии и, следовательно, знающим настоящую цену моей плантации. Капитан не сомневался, что они охотно купят мою часть и дадут за нее на четыре-пять тысяч больше всякого другого покупателя.

Я признал его доводы вполне убедительными и поручил ему сделать это предложение, а через восемь месяцев вернувшийся из Португалии корабль привез мне письмо, в котором мой старый друг сообщал, что купцы приняли предложение и поручили своему поверенному в Лиссабоне уплатить мне тридцать три тысячи золотых. Я подписал составленный по всей форме акт о продаже, присланный мне из Лиссабона, и отправил его назад старику, а тот прислал мне чеки на тридцать две тысячи восемьсот «восьмериков». Сто мойдоров было удержано в счет ежегодной пенсии, обещанной мной капитану; и в дальнейшем покупатели обязались выплачивать капитану по сто мойдоров ежегодно, а после его смерти – по пятидесяти мойдоров его сыну, из доходов плантации.

Так завершился первый период моей жизни, полной случайностей и приключений, похожей на мозаику, подобранную самим Провидением, столь пеструю, какая редко встречается в этом мире, – жизни, начавшейся безрассудно и кончившейся гораздо счастливее, чем на то позволяла

надеяться какая-либо из ее частей.

Читатель подумает, что, достигнув такого благополучия, я уже не стал подвергать себя игре случая; так оно и было бы, если бы обстоятельства пришли мне на помощь, но я привык к бродячей жизни, и у меня не было ни семьи, ни многочисленной родни и даже, несмотря на мое богатство, обширных знакомств. А потому, хоть я и продал свое поместье в Бразилии, я никак не мог выкинуть из головы этой страны, и меня сильно тянуло опять постранствовать по свету, в особенности побывать на своем островке и посмотреть, живут ли там еще бедные испанцы и как обходятся с ними оставленные мною там негодяи матросы.

Мой истинный друг, вдова капитана, очень меня отговаривала от этого и умела так повлиять на меня, что я почти семь лет прожил безвыездно в Англии. За это время я взял на свое попечение двух племянников, сыновей одного из моих братьев; у старшего были свои небольшие средства: я воспитал его как дворянина и в своей духовной завещал ему известную сумму, которая должна была служить прибавкой к его собственному капиталу. Другого я готовил в моряки: через пять лет, убедившись, что из него вышел разумный, смелый и предприимчивый молодой человек, я снарядил для него хорошее судно и отправил его в море; этот самый юноша впоследствии увлек меня, уже старика, в дальнейшие приключения.

Тем временем я сам до некоторой степени обжился в Англии, так как прежде всего женился – небезвыгодно и вполне удачно во всех отношениях, и от этого брака у меня было трое детей – два сына и одна дочь. Но когда жена моя умерла, а племянник мой с хорошей прибылью возвратился из путешествия в Испанию, склонность моя к скитаниям в чужих краях и его докучливые приставания превозмогли все: он уговорил меня отправиться с ним на корабле в Ост-Индию в качестве купца, имеющего собственный товар. Это случилось в 1694 году.

Во время этого плавания я посетил свою новую колонию на острове, виделся там с моими преемниками – испанцами и узнал всю историю их жизни и жизни тех негодяев, которых я оставил на острове. Мне рассказали, как сначала они притесняли бедных испанцев, как они враждовали и затем снова мирились с ними, объединялись и вновь расходились, как испанцы в конце концов вынуждены были прибегнуть к насильственным мерам против них, как подчинили их себе и как справедливо они обращались с этими негодяями. Эта история, ежели вникнуть в нее, была полна столь разнообразных и чудесных приключений, сколь и моя собственная, в особенности в той своей части, где шла речь о сражениях их с караибами, в разное время появлявшимися на острове, а

также о всяческих улучшениях, произведенных ими на острове. Тут я узнал также, как пятеро поселенцев совершили нападение на соседний материк и захватили в плен одиннадцать мужчин и пятерых женщин, от которых к моему прибытию на остров родились около двенадцати малышей.

Я пробыл на острове дней двадцать. Снабдив поселенцев всем необходимым, особенно оружием, порохом, пулями, одеждой, инструментами, я оставил там также двух привезенных мною из Англии работников, а именно: плотника и кузнеца.

Кроме того, считая весь этот остров своей неотъемлемой собственностью, я разбил его землю на участки и поделил их между поселенцами сообразно их желаниям. Устроив все таким образом, я убедил поселенцев не покидать остров и уехал.

Прибыв в Бразилию, я купил там и отправил поселенцам парусное судно, груженное различными необходимыми для них вещами. Кроме того, я послал на остров семь женщин, которые могли бы там поступить в услужение или стать женами тех, кто захотел бы на них жениться. Что же касается оставшихся на острове англичан, то я обещал им прислать несколько женщин из Англии вместе с грузом хозяйственных принадлежностей в том случае, если они станут обрабатывать землю, однако этого я впоследствии не мог выполнить. Они сделались честными и трудолюбивыми работниками после того, как их принудили к подчинению и выделили участки в их владение. Я отправил также из Бразилии пять коров, из которых три должны были отелиться, несколько овец и свиней; к моему возвращению эти животные сильно размножились.

Дальнейшие истории о том, как триста караибов, явившись на остров, напали на поселенцев и разорили их плантации, как поселенцы дважды сражались с полчищем дикарей и потерпели сначала поражение, потеряв в схватке одного человека, но затем – после бури, уничтожившей неприятельские пироги, – перебили и уморили голодом всех остальных врагов; как поселенцы вернули себе свои плантации и поныне живут на острове, – все это, вместе с описанием поистине удивительных происшествий и некоторых новых приключений из моей собственной жизни последующих десяти лет, может быть, будет потом рассказано мною особо.

Дальнейшие приключения Робинзона Крузо

Глава первая

Разговор Робинзона с женой. – Предложение племянника



Простая и известная во всей Англии пословица: *Каков в колыбельку, таков и в могилку* – нашла себе полное оправдание в истории моей жизни. Если принять в расчет мои тридцатипятилетние испытания, множество пережитых мною разнообразных невзгод, какие выпадали на долю, наверное, лишь очень немногих, семь лет жизни, проведенных мною в спокойствии и довольстве, наконец, мою старость, если вспомнить, что я изведал жизнь среднего сословия во всех ее видах и узнал, который из них всего легче может доставить человеку полное счастье, то, казалось, можно было бы думать, что природная склонность к бродяжничеству, как я уже говорил, с самого появления моего на свет овладевшая мной, должна была бы ослабеть, ее летучие элементы испариться или по крайней мере сгуститься и что в 61 год у меня должно было явиться стремление к оседлой жизни и удержать меня от похождений, угрожающих опасностью моей жизни и моему состоянию.

Притом же для меня не существовало того мотива, который побуждает обыкновенно отправляться в дальние странствия: мне не к чему было добиваться богатства, нечего было искать. Если б я нажил еще десять тысяч фунтов стерлингов, я не сделался бы богаче, так как я уже имел вполне достаточно для себя и для тех, кого мне нужно было обеспечить. Притом же капитал мой видимо возрастал, так как, не имея большого семейства, я даже не мог истратить всего своего дохода, разве что стал бы расходовать деньги на содержание множества слуг, экипажи, развлечения и тому подобные вещи, о которых я не имел никакого представления и к которым не чувствовал ни малейшей склонности. Таким образом, мне оставалось только сидеть себе спокойно, пользоваться приобретенным

мною и наблюдать постоянное увеличение моего достатка.

Однако все это не оказало на меня никакого влияния и не могло подавить во мне стремления к странствованиям, которое развилось во мне положительно в хроническую болезнь. Особенно сильно было во мне желание взглянуть еще раз на мои плантации на острове и на колонию, которую я оставил на нем. Каждую ночь я видел свой остров во сне и мечтал о нем по целым дням. Мысль эта парила над всеми другими, и мое воображение так усердно и напряженно разрабатывало ее, что я говорил об этом даже во сне. Одним словом, ничто не могло выбить из моей головы намерение съездить на остров; оно так часто прорывалось в моих речах, что со мной стало скучно разговаривать; я не мог говорить ни о чем другом: все разговоры сводились у меня к одному и тому же; я всем надоел и сам замечал это.

Мне часто доводилось слышать от рассудительных людей, что всякие россказни о привидениях и духах возникают вследствие пылкости воображения и усиленной работы фантазии, что никаких духов и привидений не существует и т. д. По их словам, люди, вспоминая свои былые беседы с умершими друзьями, так живо представляют их себе, что в некоторых исключительных случаях способны вообразить, будто видят их, разговаривают с ними и получают от них ответы, тогда как в действительности ничего подобного нет и все это им только чудится.

Сам я и посейчас не знаю, существуют ли привидения, являются ли люди другим после своей смерти и бывают ли у таких рассказов более серьезное основание, чем нервы, бред вольного ума и расстроенное воображение, но я знаю, что мое воображение часто доводило меня до того, что мне казалось, будто я опять на острове близ моего замка, будто передо мной стоят старик испанец, отец Пятницы и взбунтовавшиеся матросы, которых я оставил на острове. Мне чудилось, что я разговариваю с ними и вижу их так же ясно, как если б они на самом деле были у меня перед глазами. Часто мне самому становилось жутко – так живо рисовало мое воображение все эти картины. Однажды мне приснилось с поразительной яркостью, что первый испанец и отец Пятницы рассказывают мне о гнусных поступках трех пиратов, о том, как эти пираты пытались варварски перебить всех испанцев и как они подожгли весь запас провианта, отложенного испанцами, чтобы уморить их голодом. Ни о чем подобном я не слыхал, а между тем все это было фактически верно. Во сне же это представилось мне с такой отчетливостью и правдоподобием, что вплоть до того момента, когда я увидал мою колонию на самом деле, меня невозможно было убедить, что все это не было

правдой. И как же я во сне негодовал и возмущался, слушая жалобы испанца, какой суровый суд я учинил над виновными, подверг их допросу и велел всех троих повесить. Сколько во всем этом было правды – выяснится своевременно. Скажу только, что, хотя я и не знаю, как я добрался до этого во сне и что мне внушило такие предположения, в них было многое верно. Не могу сказать, чтобы сон мой был правилен во всех подробностях, но в общем в нем было так много правды, гнусное и низкое поведение этих троих мерзавцев было таково, что сходство с действительностью оказалось поразительное, и мне на самом деле пришлось строго наказать их. Даже если бы я их и повесил, то поступил бы справедливо и был бы прав перед законом божеским и человеческим.

Но возвращаюсь к моему рассказу. Так я прожил несколько лет. Для меня не существовало никаких других удовольствий, никакого приятного препровождения времени, никаких развлечений, кроме мечтаний об острове; жена моя, видя, что моя мысль занята им одним, сказала мне однажды вечером, что, по ее мнению, в моей душе звучит голос свыше, повелевающий мне отправиться снова на остров. Единственным препятствием к этому были, по ее словам, мои обязанности перед женой и детьми. Она говорила, что не может допустить и мысли о разлуке со мной, но так как она уверена, что, умри она, я бы первым делом поехал на остров и что это уже решено там наверху, то она не желает быть мне помехой. А потому, если я действительно считаю необходимым и уже решил ехать… Тут она заметила, что я внимательно прислушиваюсь к ее словам и пристально смотрю на нее; это ее смутило, и она остановилась. Я спросил ее, отчего она не досказала, и просил продолжать. Но я заметил, что она была слишком взволнована и что в глазах ее стояли слезы. «Скажи мне, дорогая, – начал я, – желаешь ли ты, чтоб я поехал?» – «Нет, – ответила она ласково, – я далека от того, чтобы желать этого. Но если ты решился поехать, то я уж лучше поеду с тобой, чем буду тебе помехой. Хотя я и думаю, что в твои годы и в твоем положении слишком рискованно думать об этом, – продолжала она со слезами на глазах, – но раз уже так суждено, я не оставлю тебя. Если такова воля неба, противиться бессмысленно. И если небу угодно, чтобы ты поехал на остров, то оно же указывает мне, что мой долг ехать с тобой или устроить так, чтобы я не послужила для тебя препятствием».



Нежность жены несколько отрезвила меня; поразмыслив о своем образе действий, я обуздал свою страсть к путешествиям и начал рассуждать с самим собой, какой смысл имело для шестидесятилетнего человека, за которым лежала жизнь, полная стольких лишений и невзгод и закончившаяся столь счастливо, – какой смысл, говорю я, могло иметь для такого человека снова отправляться в поиски приключений и отдавать себя на волю случайностей, навстречу которым идут только молодые люди и бедняки?

Думал я также о новых обязательствах, принятых мною на себя, – о том, что у меня есть жена и ребенок и что моя жена носит под сердцем другого ребенка, что у меня есть все, что могла дать мне жизнь, и что мне нет надобности рисковать собой ради денег. Я говорил себе, что я уже на склоне лет и мне приличнее думать о том, что скоро мне придется расстаться со всем приобретенным мною, а не об увеличении своего достатка. Я думал о словах моей жены, что такова воля неба и что поэтому я должен ехать на остров, но лично я вовсе не был уверен в этом. Поэтому после долгих размышлений я стал бороться с своим воображением и кончил тем, что урезонил себя, как это может сделать, наверное, и каждый в подобных случаях, если только захочет. Одним словом, я подавил свои желания; я поборол их при помощи доводов рассудка, которых в моем тогдашнем положении можно было привести очень много. Особенно же я старался направить свои мысли на другие предметы и решил начать какое-нибудь дело, которое могло бы отвлечь меня от мечтаний о поездке на остров, так как я заметил, что они овладевали мною главным образом тогда, когда я предавался праздности, когда у меня не было никакого дела вообще или по крайней мере неотложного дела.

С этой целью я купил небольшую ферму в графстве Бедфорд и решил

переселиться туда. Там был небольшой удобный домик, и в хозяйстве можно было произвести существенные улучшения. Такое занятие во многих отношениях соответствовало моим наклонностям, притом же местность эта не прилегала к морю, и там я мог быть спокоен, что мне не придется видеть корабли, матросов и все то, что напоминало о дальних краях.

Я поселился на своей ферме, перевез туда семью, накупил плугов, борон, тележку, фургон, лошадей, коров, овец и серьезно принялся за работу. Через полгода я сделался настоящим сельским хозяином. Мой ум всецело был поглощен надзором за рабочими, обработкой земли, устройством изгородей, посадкой деревьев и т. п. И такой образ жизни мне казался самым приятным из всех, какие могут достаться в удел человеку, испытавшему в жизни одни только невзгоды.

Я хозяйничал на собственной земле – мне не приходилось платить аренды, меня не стесняли никакие условия, я мог строить или разрушать по своему усмотрению; все, что я делал и предпринимал, шло на пользу мне и моему семейству. Отказавшись от мысли о странствиях, я не терпел в своей жизни никаких неудобств. Теперь-то, казалось мне, я достиг той золотой середины, которую так горячо рекомендовал мне отец, блаженной жизни, подобной той, которую описывает поэт, воспевая сельскую жизнь:

Свободную от пороков, чуждую забот,
Где старость не знает болезней, а юность – соблазнов.

Но среди всего этого блаженства меня поразил тяжелый удар, который не только непоправимо разбил мне жизнь, но и снова оживил мои мечты о странствиях. И эти мечты овладели мной с непреодолимой силой, подобно поздно вернувшемуся вдруг тяжелому недугу. И ничто не могло теперь отогнать их. Этим ударом была для меня смерть жены.

Я не собираюсь писать элегию на смерть своей жены, описывать ее добродетели и льстить слабому полу вообще в надгробной речи. Скажу только, что она была душой всех моих дел, центром всех моих предприятий, что она своим благоразумием постоянно отвлекала меня от самых безрассудных и рискованных планов, роившихся в моей голове, как было сказано выше, и возвращала меня к счастливой умеренности; она умела укрощать мой мятущийся дух; ее слезы и просьбы влияли на меня больше, чем могли повлиять слезы моей матери, наставления отца, советы друзей и все доводы моего собственного разума. Я чувствовал себя счастливым, уступая ей, и был совершенно удручен и выбит из колеи своей утратой.

После ее смерти все окружающее стало казаться мне безрадостным и неприглядным. Я чувствовал себя в душе еще более чужим здесь, чем в лесах Бразилии, когда я впервые ступил на ее берег, и столь же одиноким, как на своем острове, хотя меня и окружала толпа слуг. Я не знал, что мне делать и чего не делать. Я видел, как вокруг меня суетились люди; одни из них трудились ради хлеба насущного, а другие растрачивали приобретенное в гнусном распутстве или суетных удовольствиях, одинаково жалких, потому что цель, к которой они стремились, постоянно отдалялась от них. Люди, гнавшиеся за увеселениями, каждый день пресыщались своим пороком и копили материал для раскаяния и сожаления, а люди труда растрачивали свои силы в повседневной борьбе из-за куска хлеба. И так проходила жизнь в постоянном чередовании скорбей; они жили только для того, чтобы работать, и работали ради того чтобы жить, как будто добывание хлеба насущного было единственной целью их многотрудной жизни и как будто трудовая жизнь только и имела целью доставить хлеб насущный.

Мне вспомнилась тогда жизнь, которую я вел в своем царстве, на острове, где мне приходилось возделывать не больше хлеба и разводить не больше коз, чем мне было нужно, и где деньги лежали в сундуках, пока не заржавели, так как в течение двадцати лет я даже ни разу не удостоил их взглядом.

Все эти наблюдения, если бы я воспользовался ими так, как подсказывали мне разум и религия, должны бы были показать мне, что для достижения полного счастья не следует искать одних только наслаждений, что существует нечто высшее, составляющее подлинный смысл и цель жизни, и что мы можем добиться обладания или надеяться на обладание этим смыслом еще до гроба.

Но моей мудрой советчицы уже не было в живых, и я был подобен кораблю без кормчего, несущемуся по воле ветра. Мои мысли опять направились на прежние темы, и мечты о путешествии в далекие страны снова стали кружить мне голову. И все то, что служило для меня прежде источником невинных наслаждений: ферма, сад, скот, семья, – всецело владевшие прежде моей душой, утратило для меня всякое значение и всякую привлекательность. Теперь они были для мена все равно что музыка для глухого или еда для человека, потерявшего вкус; короче говоря, я решил бросить хозяйство, сдать в наем свою ферму и вернуться в Лондон. И через несколько месяцев я это и сделал.

Переезд в Лондон не улучшил моего душевного состояния. Я не любил этого города; мне там нечего было делать, и я бродил по улицам как

праздношатай, о котором можно сказать, что он совершенно бесполезен в мироздании, ибо никому нет дела до того, жив он или умер. Такое праздное препровождение времени были мне, как человеку, ведшему всегда очень деятельную жизнь, в высшей степени противно и часто я говорил себе: «Нет более унизительного состояния в жизни, чем праздность». И действительно, мне казалось, что я с большей пользой провел время, когда в течение двадцати шести дней делал одну доску.

В начале 1693 г. вернулся домой из первого своего небольшого путешествия в Бильбао мой племянник, которого, как я уже говорил раньше, я сделал моряком и капитаном корабля. Он явился ко мне и сообщил, что знакомые купцы предлагают ему съездить за товарами в Ост-Индию и Китай. «Если вы, дядя, – сказал он мне, – поедете со мною, то я могу высадить вас на вашем острове, так как мы зайдем в Бразилию».

Самым убедительным доказательством существования будущей жизни и невидимого мира является совпадение внешних причин, побуждающих нас поступить так, как внушают нам наши мысли, которые мы создаем в своей душе совершенно самостоятельно и не сообщая о них никому.



Мой племянник ничего не знал о том, что мое болезненное влечение к странствованиям проснулось во мне с новой силой, а я совершенно не ожидал, что он явится ко мне с подобным предложением. Но в это самое утро, после долгого размышления, я пришел к решению съездить в Лиссабон и посоветоваться с моим старым другом капитаном, а затем, если бы он нашел это осуществимым и разумным, опять поехать на остров посмотреть, что сталось с моими людьми. Я носился с проектами заселения острова и привлечения переселенцев из Англии, мечтал взять патент на землю – и о чем только я не мечтал! И вот как раз в этот момент является

мой племянник с предложением завезти меня на остров по дороге в Ост-Индию.

Устремив на него пристальный взгляд, я спросил: «Какой дьявол натолкнул тебя на эту гибельную мысль?» Это сначала ошеломило моего племянника, но скоро он заметил, что его предложение не доставило мне особенного неудовольствия, и ободрился. «Я надеюсь, что она не окажется гибельной, – сказал он, – а вам, наверное, приятно будет увидеть колонию, возникшую на острове, где вы некогда царствовали более счастливо, чем большинство монархов в этом мире».

Одним словом, его проект вполне соответствовал моему настроению, т. е. тем мечтам, которые владели мной и о которых я уже говорил подробно; и я ему ответил в немногих словах, что если он сговорится со своими купцами, то я готов ехать с ним, но, может быть, и не уеду дальше своего острова. «Неужели же вы хотите опять остаться там?» – спросил он. «А разве ты не можешь взять меня на обратном пути?» Он ответил, что купцы ни в каком случае не разрешат ему сделать такой крюк с кораблем, нагруженным товарами, представляющими большую ценность, так как на это уйдет не меньше месяца времени, а может быть, и три и четыре месяца. «Сверх того, ведь я же могу потерпеть крушение и совсем не вернуться, – прибавил он, – тогда вы очутитесь в таком же положении, в каком были раньше».

Это было очень резонно. Но мы вдвоем нашли средство помочь горю: мы решили взять с собой на корабль в разобранном виде шлюпку, которую с помощью нескольких взятых нами плотников можно было бы в несколько дней собрать на острове и спустить на воду.

Я недолго раздумывал. Неожиданное предложение племянника так соответствовало моим собственным стремлениям, что ничто не могло воспрепятствовать мне принять его. С другой стороны, после смерти моей жены некому было заботиться обо мне настолько, чтобы уговаривать меня поступить так или иначе, исключая моего доброго друга, вдовы капитана, которая серьезно отговаривала от поездки и убеждала принять в соображение мои лета, материальную обеспеченность, опасности продолжительного путешествия, предпринимаемого безо всякой надобности, и в особенности моих маленьких детей. Но все это не оказало на меня ни малейшего действия. Я чувствовал непреодолимое желание побывать на острове и ответил моей приятельнице, что мои мысли об этой поездке носят столь необычайный характер, что оставаться дома значило бы восставать против Провидения. После этого она перестала разубеждать меня и начала даже сама помогать мне не только в приготовлениях к

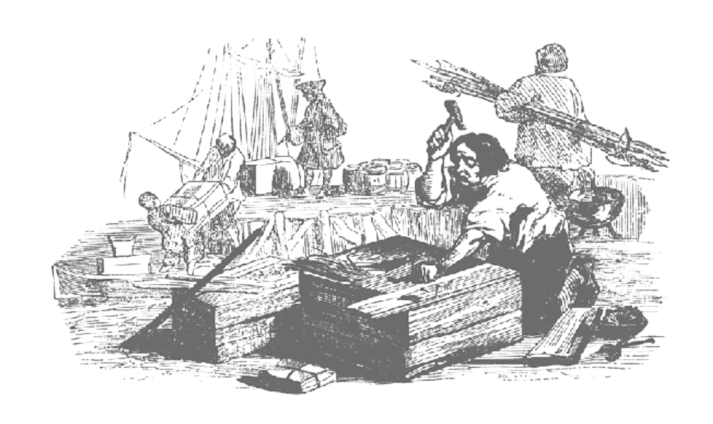
отъезду, но даже и в хлопотах об устройстве моих семейных дел и в заботах о воспитании моих детей.

Чтобы обеспечить их, я составил завещание и поместил свой капитал в верные руки, приняв все меры к тому, чтобы дети мои не могли быть обижены, какая бы участь ни постигла меня. Воспитание же их я всецело доверил моей приятельнице вдове, назначив ей достаточное вознаграждение за труды. Этого она вполне заслужила, ибо даже мать не могла бы больше ее заботиться о моих детях и лучше направлять их воспитание, и как она дожила до моего возвращения, так и я дожил до того, чтоб отблагодарить ее.

В начале января 1694 года мой племянник был готов к отплытию, и я со своим Пятницей явился на корабль в Даунс 8-го января. Помимо упомянутой шлюпки я захватил с собой значительное количество всякого рода вещей, необходимых для моей колонии, на случай, если бы я застал ее в неудовлетворительном состоянии, ибо я решил во что бы то ни стало оставить ее в цветущем.

Прежде всего я позаботился о том, чтобы взять с собой некоторых рабочих, которых предполагал поселить на острове или по меньшей мере заставить работать за свой счет во время пребывания там и затем предоставить им на выбор или остаться на острове, или же вернуться со мной. В числе их было два плотника, кузнец и один ловкий смышленый малый, по ремеслу бочар, но вместе с тем мастер на всякие механические работы. Он умел смастерить колесо и ручную мельницу, был хорошим токарем и горшечником и мог сделать решительно все, что только выделывается из глины и дерева. За это мы прозвали его «мастером на все руки».

Сверх того, я взял с собою портного, который вызвался ехать с моим племянником в Ост-Индию, но потом согласился отправиться с нами на нашу новую плантацию и оказался полезнейшим человеком не только в том, что относилось до его ремесла, но и во многом другом. Ибо, как я уже говорил, нужда научает всему.



Груз, взятый мною на корабль, насколько я могу припомнить в общем, – я не вел подробного счета, – состоял из значительного запаса полотна и некоторого количества тонких английских материй для одежды испанцев, которых я рассчитывал встретить на острове; всего этого, по моему расчету, было взято столько, чтобы хватило на семь лет. Перчаток, шляп, сапог, чулок и всего необходимого для одежды, насколько я могу припомнить, было взято больше чем на двести фунтов, включая несколько постелей, постельные принадлежности и домашнюю утварь, в особенности кухонную посуду: горшки, котлы, оловянную и медную посуду и т. п. Кроме того, я вез с собой на сто фунтов железных изделий, гвоздей, всякого рода инструментов, скобок, петель, крючков и разных других необходимых вещей, какие только пришли мне тогда в голову.

Я захватил с собой также сотню дешевых мушкетов и ружей, несколько пистолетов, значительное количество патронов всяких калибров, три или четыре тонны свинца и две медные пушки. И так как я не знал, на какой срок мне нужно запасаться и какие случайности могут ожидать меня, то я взял сто бочонков пороха, изрядное количество сабель, тесаков и железных наконечников для пик и алебард, так что в общем у нас был большой запас всяких товаров, уговорил своего племянника взять с собой про запас еще две небольшие шканцовые пушки помимо тех, что требовались для корабля, с тем чтобы выгрузить их на острове и затем построить форт, который мог бы обезопасить нас от нападений. Вначале я был искренно убежден, что все это понадобится и даже, пожалуй, окажется недостаточным для того, чтобы удержать остров в наших руках. Читатель увидит в дальнейшем, насколько я был прав.

Во время этого путешествия мне не пришлось изведать стольких неудач и приключений, как это обыкновенно бывало со мной, и потому мне реже придется прерывать рассказ и отвлекать внимание читателя, которому, может быть, хочется поскорей узнать о судьбе моей колонии. Однако и это плавание не обошлось без неприятностей, затруднений,

противных ветров и непогод, вследствие чего путешествие затянулось дольше, чем я рассчитывал, а так как из всех моих путешествий я только один раз – а именно в первую мою поездку в Гвинею – благополучно доехал и вернулся в назначенный срок, то и тут я уже начинал думать, что меня по-прежнему преследует злой рок и я уж так устроен, что мне не терпится на суше и всегда не везет на море.

Противные ветры сначала погнали нас к северу, и мы были вынуждены зайти в Голуэй, в Ирландии, где мы простояли по милости неблагоприятного ветра целых двадцать два дня. Но здесь по крайней мере было одно утешение: чрезвычайная дешевизна провизии; притом же здесь можно было достать все, что угодно, и за все время стоянки мы не только не трогали корабельных запасов, но даже увеличили их. Здесь я купил также несколько свиней и двух коров с телятами, которых я рассчитывал в случае благоприятного переезда высадить на моем острове, но ими пришлось распорядиться иначе.

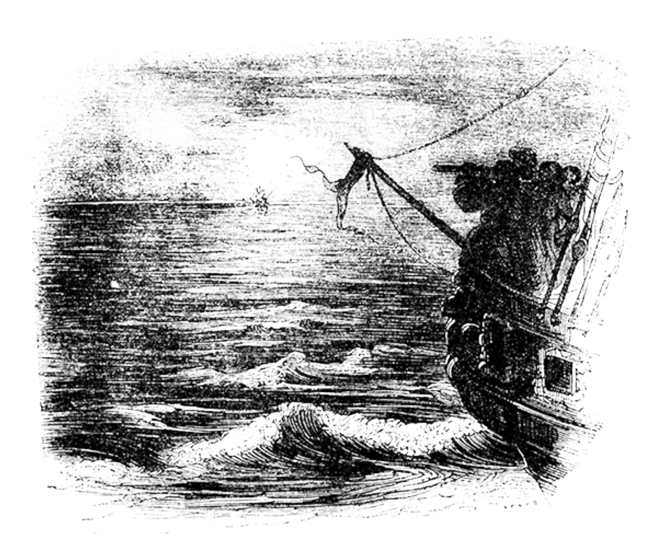
Мы оставили Ирландию 5-го февраля и в течение нескольких дней шли с попутным ветром. Около 20-го февраля, помнится, поздно вечером пришел в каюту стоявший на вахте помощник капитана и сообщил, что он видел огонь и услышал пушечный выстрел; не успел он окончить рассказ, как прибежал юнга с извещением, что боцман тоже слышал выстрел. Все мы бросились на шканцы. Сначала мы не слышали ничего, но через несколько минут увидели яркий свет и заключили, что это, должно быть, большой пожар. Мы вычислили положение корабля и единогласно решили, что в том направлении, где показался огонь (запад-северо-запад), земли быть не может даже на расстоянии пятисот миль. Было очевидно, что это горит корабль в открытом море. И так как мы перед тем слышали пушечные выстрелы, то заключили, что корабль этот должен быть недалеко, и направились прямо в ту сторону, где видели свет; по мере того как мы подвигались вперед, светлое пятно становилось все больше и больше, хотя вследствие тумана мы не могли различить ничего, кроме этого пятна. Мы шли с попутным, хотя и несильным, ветром и приблизительно через полчаса, когда небо немного прояснилось, ясно увидели, что это горит большой корабль в открытом море.

Я был глубоко взволнован этим несчастьем, хотя совершенно не знал пострадавших. Я вспомнил, в каком положении находился я сам, когда меня спас португальский капитан, и подумал, что еще гораздо отчаяннее положение находившихся на этом корабле людей, если вблизи нет другого судна. Я сейчас же приказал сделать с короткими промежутками пять пушечных выстрелов, чтобы дать знать пострадавшим, что помощь близка

и что они могут попытаться спастись на лодках. Ибо хотя мы и могли видеть пламя на корабле, но с горящего судна в ночной тьме нас нельзя было увидеть.

Мы удовольствовались тем, что в ожидании рассвета легли в дрейф, сообразуя наши движения с движениями горящего корабля. Вдруг, к великому нашему ужасу, – хотя этого и следовало ожидать, – раздался взрыв, и вслед за тем корабль немедленно погрузился в волны. Это было ужасное и потрясающее зрелище. Я решил, что находившиеся на корабле люди или все погибли, или же бросились в лодки и носятся теперь по волнам океана. Во всяком случае, положение их было отчаянное. В темноте нельзя было ничего различить. Но для того чтобы по возможности помочь потерпевшим найти нас и дать знать, что вблизи находится корабль, я велел везде, где только было можно, вывесить зажженные фонари и стрелять из пушек в продолжение всей ночи.

Около восьми часов утра с помощью подзорных труб мы увидели в море лодки. Их было две; обе переполнены людьми и глубоко сидели в воде. Мы заметили, что они, направляясь против ветра, идут на веслах к нашему кораблю и прилагают всяческие усилия, чтобы обратить на себя наше внимание. Мы сейчас же подняли кормовой флаг и стали давать сигналы, что мы их приглашаем на наш корабль, и, прибавив парусов, пошли им навстречу. Не прошло и получаса, как мы поравнялись с ними и приняли их к себе на борт. Их было шестьдесят четыре человека, мужчин, женщин и детей, ибо на корабле было много пассажиров.



Мы узнали, что это было французское торговое судно вместимостью в триста тонн, направлявшееся во Францию из Квебека в Канаде. Капитан рассказал нам подробно о несчастье, постигшем его корабль. Загорелось

около руля по неосторожности рулевого. Сбежавшиеся на его зов матросы, казалось, совершенно потушили огонь, но скоро обнаружилось, что искры попали в столь малодоступную часть корабля, что бороться с огнем не было возможности. Вдоль досок и по обшивке пламя пробралось в трюм, и там уж никакие меры не могли остановить его распространения.

Тут уж не оставалось ничего иного, как спустить лодки. К счастью для находившихся на корабле, лодки были достаточно вместительны. У них был баркас, большой шлюп и сверх того маленький ялик, в который они сложили запасы свежей воды и провизии. Садясь в лодки на таком большом расстоянии от земли, они питали лишь слабую надежду на спасение; больше всего они надеялись на то, что им встретится какой-либо корабль и возьмет их к себе на борт.

Глава вторая

Истребление корабля. – Просьба пассажиров. – Пассажирская каюта

У них были паруса, весла и компас, и они намеревались плыть к Ньюфаундленду. Ветер им благоприятствовал. Провизии и воды у них было столько, что, расходуя ее в количестве, необходимом для поддержания жизни, они могли просуществовать около двенадцати дней. А за этот срок, если бы не помешали бурная погода и противные ветры, капитан надеялся добраться до берегов Ньюфаундленда. Они надеялись также, что за это время им удастся, может быть, поймать некоторое количество рыбы. Но им угрожало при этом так много неблагоприятных случайностей, вроде бурь, которые могли бы опрокинуть и потопить их лодки, дождей и холодов, от которых немеют и коченеют члены, противных ветров, которые могли продержать их в море так долго, что они все погибли бы от голода, что их спасение было бы почти чудом.

Капитан со слезами на глазах рассказывал мне, как во время их совещаний, когда все были близки к отчаянию и готовы потерять всякую надежду, они внезапно были поражены, услыхав пушечный выстрел и вслед за первым еще четыре. Это было пять пушечных выстрелов, которые я велел произвести, когда мы увидели пламя. Выстрелы эти оживили надеждой их сердца и, как я и предполагал, дали им знать, что невдалеке от них находится корабль, идущий им на помощь.

Услыхав выстрелы, они убрали мачты и паруса, так как звук слышался с наветренной стороны, и решили ждать до утра. Через некоторое время, не слыша больше выстрелов, они сами стали стрелять с большими промежутками из мушкетов и сделали три выстрела, но ветер относил звук в другую сторону, и мы их не слыхали.

Тем приятнее были изумлены эти бедняги, когда спустя некоторое время они увидели наши огни и снова услышали пушечные выстрелы; как уже сказано, я велел стрелять в продолжение всей ночи. Это побудило их взяться за весла для того, чтобы скорее подойти к нам. И наконец, к их неописуемой радости, они убедились, что мы заметили их.

Невозможно описать разнообразные телодвижения и восторги, которыми спасенные выражали свою радость по случаю столь неожиданного избавления от опасности. Легко описать и скорбь и страх – вздохи, слезы, рыдания и однообразные движения головой и руками исчерпывают все их способы выражения; но чрезмерная радость, восторг, радостное изумление проявляются на тысячу ладов. У некоторых были

слезы на глазах, другие рыдали и стонали с таким отчаянием в лице, как будто испытывали глубочайшую скорбь. Некоторые буйствовали и положительно казались помешанными. Иные бегали по кораблю, топая ногами или ломая руки. Некоторые танцевали, несколько человек пели, иные истерически хохотали, многие подавленно молчали, не будучи в состоянии произнести ни единого слова. Кое-кого рвало, несколько человек лежали в обмороке. Немногие крестились и благодарили Господа.



Нужно отдать им справедливость – среди них были многие, проявившие потом истинную благодарность, но сначала чувство радости в них было так бурно, что они не были в состоянии совладать с ним – большинство впало в исступление и какое-то своеобразное безумие. И лишь очень немногие оставались спокойными и серьезными в своей радости.

Отчасти это, может быть, объяснялось тем, что они принадлежали к французской нации, отличающейся, по общему признанию, более изменчивым, страстным и живым темпераментом, так как жизненные духи у ней более подвижны, чем у других народов. Я не философ и не берусь определить причину этого явления, но до тех пор я не видал ничего подобного. Всего более приближалось к этим сценам то радостное исступление, в которое впал бедный Пятница, мой верный слуга, когда он нашел в лодке своего отца. Несколько напоминал их также восторг капитана и его спутников, которых я выручил, когда мерзавцы матросы высадили их на берег; но ни то, ни другое и ничто, виденное мной доселе,

нельзя было приравнять к тому, что происходило теперь.

Нужно заметить также, что этот дикий восторг проявлялся в различных формах не только у различных лиц. Иногда все его проявления можно было наблюдать в быстрой смене у одного и того же. Человек, который минуту тому назад упорно молчал и казался подавленным и утратившим способность соображать, вдруг начинал танцевать и кривляться, как клоун. Еще минута – и он рвал на себе волосы или раздирал свое платье и топтал его ногами, как сумасшедший. Немного спустя он начинал плакать, ему становилось дурно, он терял сознание, и, если б его оставить без помощи, через несколько минут он, наверное, был бы уже трупом. И так было не с двумя, не с десятью или двадцатью, а с большинством, и, сколько помню, наш доктор был принужден пустить кровь по крайней мере тридцати спасенным.

В числе их было два священника: один старик, другой – молодой. И странное дело – как раз старик-то и вел себя всего хуже. Едва вступив на палубу и почувствовав себя в безопасности, он упал как подкошенный без малейших признаков жизни. Наш врач сейчас же принял надлежащие меры и один только из всех находившихся на корабле не считал его уже мертвым. Напоследок он открыл священнику жилу на руке, предварительно растерев руку докрасна и хорошенько разогрев ее. После этого кровь, сначала лишь медленно сочившаяся капля по капле, полилась сильнее. Минуты через три старик открыл глаза, а через четверть часа он уже заговорил, и ему стало легче. Вскоре он почувствовал себя совсем хорошо. Когда ему остановили кровь, он начал расхаживать по палубе, заявляя, что он чувствует себя превосходно, выпил глоток лекарства, данного ему врачом, – словом, совершенно пришел в себя. Но через четверть часа его спутники прибежали в каюту врача, который делал кровопускание женщине, лишившейся чувств, и сообщили ему, что священник буйствует. По-видимому, только теперь он осознал перемену своего положения и пришел в исступление. Жизненные духи помчались в его крови так быстро, что сосуды не могли выдержать. Кровь его разгорячилась, он впал в лихорадочное состояние, и казалось, что место его в Бедламе. Врач не решился вторично пустить кровь в таком состоянии и дал ему принять что-то успокоительное и усыпляющее. Через некоторое время лекарство оказало свое действие, а на следующее утро он проснулся совершенно здоровым и разумным.



Молодой священник, напротив того, проявил большое самообладание и действительно служил примером того, как должен вести себя человек, сохраняющий нравственное достоинство. Вступив на корабль, он упал ниц и, распростершись, благодарил Господа за свое избавление. Полагая, что он в обмороке, я, к сожалению, некстати подошел и помешал ему молиться. Но он спокойно поблагодарил меня, сказал, что он благодарит Бога за свое спасение, попросил меня оставить его на несколько минут одного и прибавил, что, воздав благодарность Создателю, он сочтет долгом поблагодарить и меня.

Я от души пожалел, что помешал ему, и не только отошел от него, но и сказал другим, чтобы они его не тревожили. Он пролежал, распростертый ниц, после моего ухода минуты три или, может быть, несколько дольше, затем подошел ко мне и серьезно и прочувствованно, со слезами на глазах стал благодарить меня за то, что я с Божиею помощью спас жизнь ему и другим несчастным. Я отвечал, что не могу посоветовать ему поблагодарить за свое спасение прежде всего Бога, так как видел, что он уже исполнил это; что же касается меня, то я сделал только то, что предписывали разум и гуманность, и что у нас столько же причин, как и у него, благодарить Бога, которому угодно было сделать нас орудием своего милосердия.

После этого молодой священник пошел к своим землякам; он старался успокоить их, урезонивал, беседовал с ними и делал все, чтобы удержать в границах рассудка. По отношению к некоторым это ему удалось, но другие на время совершенно утратили самообладание.

Я не могу не рассказать об этом, ибо это, может быть, будет полезно для тех, в чьи руки попадет моя книга, научит их управлять бурными проявлениями своих страстей. Ведь если чрезмерная радость может

настолько лишить человека рассудка, то к чему же должны привести бурные вспышки гнева, злобы и раздражения? В этот момент я понял, что действительно необходимо сдерживать всякие страсти – как радость и удовольствие, так и скорбь и раздражение.

Эти чрезмерно бурные выражения чувств наших гостей в течение первого дня были нам несколько неприятны. На ночь они удалились в отведенные им помещения, и на другой день, когда большинство их выспалось хорошенько под влиянием волнений и усталости, они казались совершенно другими людьми.

Они не обнаружили недостатка ни в хороших манерах, ни в уменье выразить свою признательность за оказанную им услугу. У французов, как известно, такие таланты – врожденные. Капитан их пришел ко мне с одним из священников и выразил желание переговорить со мной и моим племянником, капитаном, чтобы выяснить, что теперь делать. Они сказали нам, что так как мы спасли им жизнь, то если они даже отдадут нам все, что у них есть, и того будет слишком мало. Капитан заявил, что им удалось спасти от пламени и взять с собой в лодки некоторую сумму денег и кой-какие ценные вещи и что если мы пожелаем, то они готовы предложить нам все это. Они желали бы только, чтобы мы высадили их по дороге где-нибудь в таком месте, откуда можно было бы добраться до Франции.

Мой племянник был не прочь сначала взять с них деньги и затем уже подумать, как поступить с потерпевшими, но я был иного мнения: я знал, что значит высадиться на берег в чужой стороне, и, если б португальский капитан, который подобрал меня в море, поступил со мной так же и взял с меня за спасение все, что у меня было, мне пришлось бы умереть с голоду или сделаться в Бразилии таким же невольником, каким я был в Берберии, с тою только разницей, что я не был бы продан магометанину. Но португалец как господин нисколько не лучше турка, а иной раз бывает и хуже.

Поэтому я сказал французскому капитану, что если мы выручили их из беды, то ведь поступить так было нашей обязанностью; мы такие же люди и желали бы себе того же, если бы очутились в такой же или иной крайности. Следовательно, мы сделали только то, чего ожидали от них, если б мы оказались в их положении, а они – в нашем. Мы выручили их из опасности для того, чтобы оказать им услугу, а не для того, чтобы ограбить их. По моему мнению, было бы крайне жестоко взять от них то немногое, что им удалось спасти от огня, а затем высадить их и оставить на берегу. Это значило бы сначала спасти их, а потом самим же их погубить, спасти от потопления и обречь на голодную смерть. Поэтому я не хотел брать от

них ничего. Что касается высадки их на берег, то я сказал им, что это очень затруднительно для нас, так как наше судно идет в Ост-Индию. И хотя мы значительно отклонились к западу от нашего курса – возможно, что Провидение направило нас сюда именно для их спасения, – мы все-таки не можем изменить ради них наш маршрут. Мой племянник, капитан корабля, не может взять на себя ответственность за такое отклонение от пути перед лицами, у которых корабль был зафрахтован с письменным обязательством плыть через Бразилию, и все, что я могу обещать, – это избрать такое направление, при котором есть шансы встретиться с судами, идущими из Вест-Индии, которые могли бы доставить их в Англию или Францию.

Первая половина предложения была столь великодушна и любезна, что им оставалось только поблагодарить меня. Но они были очень опечалены – особенно пассажиры – тем, что им придется ехать в Ост-Индию. Они высказали мнение, что раз мы уже отклонились так далеко на запад до встречи с ними, то я мог бы по крайней мере идти тем же курсом к берегам Ньюфаундленда, где нам может встретиться какой-либо корабль или шлюпка, которые согласятся свезти их обратно в Канаду, откуда они выехали.

Мне казалось, что это вполне законное желание с их стороны, и поэтому я расположен был согласиться. Я и сам думал, что везти всех этих бедняг в Ост-Индию не только было бы непозволительной жестокостью, но и разбило бы весь план нашего путешествия, так как они уничтожили бы всю нашу провизию. Поэтому я думал, что за подобное отступление от намеченного курса, безусловно вынужденное непредвиденными обстоятельствами, нас никто не осудит и что его ни в каком случае нельзя считать нарушением договора. Ибо ни законы Божеские, ни законы природы не дозволяли нам отказаться принять к себе на борт людей с двух лодок, очутившихся в таком отчаянном положении. И мы не могли уклониться от обязанности высадить бедняг где-либо на берег. Поэтому я согласился отвезти их в Ньюфаундленд, если ветер и погода позволят это, а если нет, препроводить их на Мартинику в Вест-Индии.

С востока продолжал дуть свежий ветер, но погода стояла хорошая. И так как направление ветра долго не менялось, мы упустили несколько случаев отправить потерпевших крушение во Францию. Мы встретили несколько судов, шедших в Европу, в том числе два французских. Но они так долго боролись с противным ветром, что не могли взять пассажиров из опасения, что им не хватит провизии ни для них самих, ни для пассажиров. Поэтому мы должны были везти наших пассажиров все дальше и дальше. Приблизительно через неделю мы подошли к отмелям Ньюфаундленда, где

высадили французов на барку, которую они подрядили доставить их на берег, а затем отвезти их во Францию, если им удастся запастись провизией. Когда французы стали высаживаться, молодой священник, о котором я говорил, услыхав, что мы едем в Ост-Индию, попросил нас взять его с собой и высадить на берегу Коромангеля. Я согласился, так как чрезвычайно полюбил этого человека и, как видно будет впоследствии, не ошибся в нем. Сверх того, на нашем корабле осталось четверо французских матросов, оказавшихся весьма дельными малыми.

Отсюда мы взяли курс на Вест-Индию. Около двадцати дней уже плыли мы к югу и юго-востоку, иногда с слабым попутным ветром, иногда же и совсем без ветра, когда нам снова представился случай оказать помощь людям, находившимся почти в столь же печальном положении, как и пассажиры сгоревшего французского корабля.

19-го марта 1694 г. на двадцать седьмом градусе и пятой минуте северной широты, держа курс на юго-юго-восток, мы заметили парус. Скоро мы разглядели, что это большое судно и что оно направляется к нам. Сначала мы не могли сообразить, что ему нужно, но, когда оно подошло ближе, мы увидели, что оно потеряло грот-мачту, фок-мачту и бушприт. В знак того, что оно находится в бедственном положении, оно сделало пушечный выстрел. Погода была хорошая, ветер дул с северо-северо-запада, и скоро нам удалось вступить в переговоры.

Оказалось, что это английский корабль из Бристоля, возвращавшийся домой с острова Барбадос. За несколько дней до отплытия, когда он был даже еще не совсем готов поднять паруса, страшная буря сорвала его с якорей в то время, как капитан и боцман были на берегу, так что, помимо ужаса бури, команда была лишена опытных моряков, способных довести корабль домой. Они находились в море уже девять недель; после первого урагана им пришлось выдержать еще другую бурю, которая, насколько они могли судить, отнесла их к западу и во время которой они потеряли три мачты. Они рассчитывали пристать к Багамским островам, но затем снова были отнесены к юго-востоку сильным северо-западным ветром, который дул и теперь, и, не имея парусов, при помощи которых можно управлять кораблем (у них оставался только нижний парус на грот-мачте и четырехугольный парус на поставленной ими запасной фок-мачте), они не могли идти против ветра и старались только попасть к Канарским островам.

Но всего хуже было то, что они чуть не умирали с голоду вследствие недостатка провизии. Хлеб и мясо совершенно вышли у них уже одиннадцать дней тому назад. Они поддерживали свое существование

исключительно благодаря тому, что у них оставалась еще вода и было с полбочки муки. Сверх того, у них было много сахару. Сначала у них были также сладкие печенья, но они были съедены. Кроме того, у них было семь бочек рому.

На корабле была женщина с сыном и служанкой. Они хотели ехать в качестве пассажиров и, думая, что корабль готов к отплытию, прибыли на него как раз накануне урагана. Своей провизии у них не было, и они очутились в еще более печальном положении, чем остальные. Ибо экипаж, доведенный до такой крайности, не проявлял, конечно, никакого сочувствия к бедным пассажирам; ужас их состояния тяжело даже описывать.

Я бы, пожалуй, и не узнал об этом, если бы не моя любознательность; воспользовавшись хорошей погодой и тем, что ветер прекратился, я отправился сам на корабль. Младший помощник капитана, командовавший судном, явился к нам и сообщил, что в большой каюте у них есть три пассажира, положение которых должно быть весьма печально. «Я думаю даже, – сказал он, – что они умерли; последние два дня их совсем не слышно, а мне было страшно пойти узнавать о них, так как все равно нечем было помочь им».

Мы тотчас же решили уделить им, сколько могли, из наших припасов. Мы с племянником уже настолько изменили наш курс, что не отказались бы снабдить их жизненными припасами даже и в том случае, если бы нам самим пришлось для пополнения их пристать к Виргинии или какой-либо иной части американского берега. Но в этом не было необходимости.

Теперь изголодавшимся скитальцам угрожала новая опасность: они боялись, что даже того небольшого количества, которое мы дали им, окажется для них слишком много. Помощник капитана, принявший на себя командование судном, привез с собою в лодке шесть человек, но эти несчастные были похожи на скелеты и так ослабели, что едва могли держать весла. Сам помощник выглядел очень плохо и еле держался на ногах. По его словам, он всем делился поровну с своей командой и ел ни чуточки не больше, чем другие.

Я посоветовал ему есть умеренно, но дал ему мяса. Не сделав и трех глотков, он почувствовал себя дурно. Поэтому ему пришлось приостановиться. Наш врач взял бульону и прибавил туда еще чего-то и сказал, что это будет служить и пищей и лекарством. И действительно, когда боцман съел это, ему стало лучше. Тем временем я не забыл и матросов и велел дать им поесть. Бедняги скорее пожирали, чем ели пищу. Они были так страшно голодны, что совершенно не могли владеть собой.

Двое из них накинулись на еду с такой жадностью, что на следующее утро чуть не поплатились за это жизнью.

Вид этих бедняг очень растрогал меня и напомнил о том ужасном положении, в котором я сам очутился, попав на остров, где у меня не было ни пищи, ни надежды добыть ее, не говоря уже о том, что я ежеминутно боялся, как бы мне самому не быть съеденным дикими зверями. Но в то время, когда помощник рассказывал мне об ужасном положении корабельной команды, у меня не выходило из головы его сообщение о трех пассажирах в большой каюте – матери с сыном и служанке, о которых он не имел никаких сведений уже два или три дня и которых они, по его собственному признанию, бросили на произвол судьбы, когда сами дошли до крайности. Я понял его в том смысле, что этим пассажирам совершенно перестали давать пищу и что все они должно быть лежат теперь мертвые на полу каюты.

Накормив помощника, которого мы назвали капитаном, я не забыл и голодающих матросов, оставшихся на судне; я приказал моему помощнику сесть на мою собственную лодку, взяв с собой двенадцать человек, и отвезти им мешок с хлебом и четыре или пять кусков мяса для варки. Наш врач предписал сварить мясо по прибытии на судно и присмотреть на кухне за тем, чтобы его не съели сырым или не вытащили из котла, пока оно будет вариться, а затем раздать его небольшими кусочками и не сразу. Его предусмотрительность спасла людей, которых иначе могла бы убить пища, данная им для спасения их жизни.

В то же время я приказал своему помощнику войти в большую каюту и удостовериться, в каком состоянии находятся бедные пассажиры, и, если они еще живы, позаботиться о них и дать им что нужно для подкрепления сил. А врач дал ему большой кувшин с бульоном, приготовленный так же, как это было сделано для помощника капитана, явившегося к нам на корабль, не сомневаясь, что это должно восстановить силы ослабевших.

Я не удовольствовался этим. Мне хотелось самолично увидеть картину бедствия; я знал, что на корабле она предстанет в более ярких чертах, чем в пересказе. Я взял с собой капитана, как мы его называли, и отправился в его лодке на корабль.

Мы застали на корабле страшную сумятицу, чуть не бунт. Команда порывалась достать мясо из котла, прежде чем оно было готово. Но мой помощник приставил сильную стражу у кухонных дверей, и люди, поставленные им, истощив все убеждения, удерживали непослушных силой. Тем временем он велел бросить в котел сухарей и, когда они размякли в мясном бульоне, стал раздавать их по одному, чтобы

уменьшить муку ожидания, заявляя, что ради их же собственной пользы он обязан давать им лишь понемногу зараз. Но все это было напрасно. И если бы я сам не явился на корабль в сопровождении их капитана и офицеров и если бы не успокоил их ласковыми словами и угрозами, я думаю, они вломились бы в кухню силой и вытащили бы мясо из печки, ибо слова плохо действуют на голодный желудок. Как бы то ни было, мы умиротворили их и начали кормить их понемногу и осторожно, а затем уже дали им больше. И дело обошлось благополучно.



Страдания бедных пассажиров в каюте были иного рода и оставляли далеко за собой все виденное нами на палубе. Экипаж, имея с собой весьма небольшой запас провизии, и вначале мало уделял пассажирам, а под конец совсем перестал заботиться о них, так что в течение последних шести-семи дней они оставались совершенно без пищи, да и перед тем питались очень плохо. Бедная мать, по словам матросов – женщина очень рассудительная и из хорошей семьи, самоотверженно отдала все, что было возможно, сыну и под конец совершенно изнемогла. Когда в каюту вошел помощник, она сидела, согнувшись на полу между двумя крепко связанными стульями. Ее голова беспомощно свешивалась вниз, как у трупа, хотя она была еще жива. Мой помощник пытался оживить и ободрить ее и при помощи ложки влил ей в рот немного бульона. Она раскрыла рот и пошевелила рукой, но не могла говорить, однако понимала все, что он говорил, и старалась объяснить ему знаками, что ей помочь уже нельзя, указывая в то же время на сына и как бы прося позаботиться о нем.

Помощник, очень растроганный этим зрелищем, постарался все-таки

влить ей в рот две-три ложки бульона, хотя я сомневаюсь, чтобы это ему действительно удалось. Но было уже поздно, и она умерла в ту же ночь.

Сын, спасенный ценою жизни любящей матери, был в несколько лучшем состоянии. Тем не менее он лежал, вытянувшись на койке, едва подавая признаки жизни. Во рту у него был кусок старой перчатки, значительную часть которой он изжевал и съел. Только молодость и здоровье спасли его. Моему помощнику удалось заставить его проглотить несколько ложек бульона, и тогда он понемногу стал оживать. Но когда спустя некоторое время ему дали еще три ложки, он почувствовал себя очень худо, и его вырвало.

Затем пришлось позаботиться и о бедной служанке. Она лежала на полу рядом с своей госпожой, как будто пораженная апоплексическим ударом: ее члены были сведены судорогой, одной рукой она судорожно ухватилась за ножку стула и так крепко сжимала ее в своей руке, что нам с трудом удалось разжать ее. Другая рука лежала у нее на голове, а ногами она упиралась в ножку стола. Словом, она имела вид умирающей в последней агонии, а между тем и она была еще жива.

Бедняжка не только умирала с голода и была угнетена мыслью о смерти, но, как рассказали мне потом матросы, кроме того, еще исстрадалась за свою госпожу, которая в течение двух или трех дней медленно умирала на ее глазах и которую она нежно любила.

Мы не знали, что делать с бедной девушкой. Когда наш врач, очень знающий и опытный человек, вернул ее к жизни, ему пришлось еще позаботиться о восстановлении ее рассудка, ибо в течение долгого времени она была почти как помешанная.



Читатель этих записок должен принять во внимание, что посещение

другого корабля в море не похоже на поездку в деревню, где иной раз люди гостят на одном месте по неделе и по две. Наше дело было помочь потерпевшим, а не проводить с ними время. И хотя они согласны были взять тот же курс, как и мы, мы, однако, не могли идти вместе с кораблем, у которого не было мачт. Но так как их капитан просил нас помочь ему установить грот-мачту, то мы оставались вместе три или четыре дня и дали ему пять бочек говядины, бочку свинины, два мешка сухарей и соответствующее количество гороха, муки и других припасов, которыми мы могли поделиться, и взяли в обмен три бочки сахара, некоторое количество рома и несколько золотых монет. После этого мы оставили их, взяв к себе по настоятельной их просьбе юношу и служанку со всем их багажом.

Юноше было около семнадцати лет; это был красивый, воспитанный, скромный и умный мальчик. Он был глубоко потрясен смертью матери и, кажется, всего за несколько месяцев перед тем потерял отца на Барбадосе. Он просил врача уговорить меня взять его с корабля, на котором он был, так как жестокосердие команды убило его мать. И действительно, эти люди были пассивными убийцами ее, ибо они могли уделить беспомощной вдове небольшое количество имевшихся у них съестных припасов, достаточное для поддержания ее жизни. Но голод не признает ни дружбы, ни родства, ни справедливости, ни права и потому недоступен угрызениям совести и неспособен к состраданию.

Врач сказал ему, куда мы идем, и разъяснил, что, если он поедет с нами, мы завезем его далеко от друзей и он может очутиться в положении, нисколько не лучшем того, в котором мы нашли его, т. е. будет умирать с голоду. Он ответил, что ему все равно, куда ни ехать, лишь бы избавиться от ужасных людей, среди которых он находится, что капитан (он подразумевал меня, так как не знал о существовании моего племянника) спас ему жизнь и, наверное, не причинит ему зла. Что до служанки, то он был уверен, что, когда к ней вернется рассудок, она будет очень благодарна за избавление, куда бы мы ни повезли ее. Врач передал мне обо всем этом с таким сочувствием к мальчику, что я согласился взять обоих к себе на корабль со всем их имуществом, за исключением одиннадцати бочек сахару, которых нельзя было перегрузить. А так как юноша имел грузовые квитанции на них, то я заставил капитана подписать письменное обязательство в том, что он, по приезде в Бристоль, отправится к некоему мистеру Роджерсу, тамошнему купцу, с которым юноша был в родстве, и передаст ему от меня письмо и все имущество, принадлежавшее бедной вдове. Но я не думаю, чтобы это было выполнено, потому что о прибытии

корабля в Бристоль я не мог получить никаких сведений. По всей вероятности, он погиб в океане, так как находился в таком плачевном состоянии и был так далеко от земли, что первая же буря должна была, по моему мнению, потопить его; еще до нашей встречи он дал течь и имел большие повреждения в подводной части.

Мы находились теперь на девятнадцатом с тридцатью двумя минутами градусе северной широты. До сих пор наше путешествие в смысле погоды было сносным, хотя вначале ветер не благоприятствовал нам. Не стану утомлять читателя перечислением мелких перемен ветра, погоды, течения и прочего в остальное время нашего пути и, сокращая свой рассказ в интересах дальнейшего, скажу только, что я вернулся на свое старое пепелище – на остров – 10-го апреля 1695 года. Немалого труда стоило мне найти его. В первый раз я подъехал к нему с юго-восточной стороны, так как плыл из Бразилии, и теперь, очутившись между островом и материком и не имея ни карты берега под рукой, ни каких-либо вех на берегу, могущих служить указанием, я не узнал его, когда увидел, во всяком случае, не был уверен, он ли это.

Мы долго бродили вокруг да около и высаживались на нескольких островах в устье большой реки Ориноко, но эти острова не имели ничего общего с моим. Единственная выгода от этого была та, что я был выведен из большого заблуждения, а именно, что земля, виденная мною с острова, материк; на самом же деле это был не материк, а длинный остров или, вернее, ряд островов, тянущихся от одного до другого конца широкого устья Ориноко. А следовательно, и дикари, приезжавшие на мой остров, были собственно не караибы, но островитяне, обитавшие несколько ближе к нам, чем остальные.

Короче говоря, я посетил бесплодно несколько островов; некоторые из них были обитаемы, другие безлюдны. На одном из них я встретил несколько испанцев и думал, что они живут здесь, но, поговорив с ними, узнал, что у них неподалеку стоит шлюп и они приехали сюда за солью и для ловли жемчуга с острова Тринидад, лежащего дальше к северу, под одиннадцатым градусом широты.

Таким образом, приставая то к одному острову, то к другому, то на корабле, то на французском шалупе (мы нашли его очень удобным и оставили у себя с согласия французов), я наконец попал на южный берег моего острова и тотчас же узнал местность по виду. Тогда я поставил наше судно на якорь против бухточки, невдалеке от которой находилось мое прежнее жилище.

Увидав его, я тотчас позвал Пятницу и спросил его, узнает ли он, где

мы находимся. Он осмотрелся вокруг и захлопал в ладоши, крича: «О да! Здесь! О да! Здесь!» – и указывая рукой на наш старый дом. Он плясал и скакал от радости, как безумный, и чуть было не бросился в воду, чтобы плыть к берегу; я едва удержал его.



«Ну что, Пятница, как ты думаешь, найдем мы здесь кого-нибудь? Увидим мы твоего отца? Как тебе кажется?» Пятница долго молчал, словно у него отнялся язык, но, когда я упомянул об его отце, лицо бедняги выразило уныние, и я видел, как обильные слезы покатились по его лицу. «В чем дело, Пятница? – спросил я. – Разве тебя огорчает мысль, что ты, может быть, увидишь своего отца?» – «Нет, нет, – сказал он, качая головой, – мой не видать его больше; никогда больше не видать!» – «Почему так, Пятница? Откуда ты это знаешь?» – «О нет! О нет! Он давно умрет, давно умрет; он очень старый человек». – «Полно, полно, Пятница, этого ты не можешь знать! Ну, а как ты думаешь, других мы увидим?» У Пятницы, должно быть, глаза были лучше моих, потому что он сейчас же указал рукой на холм, высившийся над моим старым домом, хотя мы были от него в полумиле, и закричал: «Мой видит! Мой видит! Да, да! Мой видит много человек там и там!»

Глава третья

Возвращение на остров. – Драка островитян. – Разбой трех негодяев и усмирение их

Я стал смотреть, но никого не мог разглядеть, даже и в подзорную трубу, вероятно, потому, что направлял ее не туда, куда следовало; но Пятница был прав, как я узнал на следующий день: на вершине холма действительно стояли человек пять или шесть и смотрели на корабль, не зная, чей он и чего от нас ждать.

Как только Пятница сказал мне, что он видит людей на берегу, я велел поднять на корме английский флаг и сделать три выстрела в знак того, что мы друзья. Четверть часа спустя над краем бухты взвился дымок; тогда я немедля велел спустить лодку, взял с собой Пятницу и, подняв белый флаг мира, направился прямо к берегу. Кроме того, я взял с собой еще молодого священника; я ему рассказал всю историю моей жизни на острове и вообще все о себе и о тех, кого я оставил там, и ему страшно хотелось поехать со мной. С нами были еще шестнадцать человек, хорошо вооруженных на случай, если бы мы нашли на острове новых и незнакомых людей, но оружия пускать в ход не пришлось.

Пользуясь приливом, почти достигшим наибольшей высоты, мы подъехали близко к берегу, а оттуда на веслах вошли в бухту. Первый, кого я увидал на берегу, был испанец, которому я спас жизнь; я сейчас же узнал его; лицом он нисколько не изменялся, а одежду его я опишу после. Сначала я не хотел никого брать с собой на берег, но Пятницу невозможно было удержать в лодке, его любящее сердце еще издали узнало отца, так далеко отставшего от испанцев, что я совсем и не видел его; если бы я не взял с собою моего бедного слугу, он бы прыгнул в воду и поплыл. Не успел он ступить на берег, как стрелою понесся навстречу отцу. И самый твердый человек не удержался бы от слез, видя бурную радость этого бедняги при встрече с отцом – видя, как он его обнимал, целовал, гладил по лицу, потом взял на руки, посадил на дерево и сам лег возле него; потом встал и с четверть часа смотрел на него, словно на какую-нибудь картину, видимую им впервые; потом опять лег на землю и гладил ноги отца и целовал их, и опять встал и смотрел на него: можно было подумать, что его околдовали. Невозможно было удержаться от смеха на другой день утром, когда он выражал свою радость уже иначе – несколько часов подряд ходил по берегу взад и вперед вместе с отцом, водя его под руку, словно

женщину, и поминутно бегал на лодку, чтобы принести что-нибудь отцу – то кусок сахару, то рюмку водки, то сухарь – то то, то другое, а уж что-нибудь да притащит. Потом он стал безумствовать на новый лад – посадил старика на землю и принялся танцевать вокруг него, все время жестикулируя и принимая самые разнообразные позы; и все время при этом не переставал говорить, развлекая отца рассказами о своих путешествиях и о том, что с ним было во время пути. Если бы христиане в наших странах питали такую же сыновнюю привязанность к своим родителям, пожалуй, можно было бы обойтись и без пятой заповеди.



Но это отступление; вернусь к рассказу о нашей высадке. Бесполезно описывать все церемонии, с какими встретили меня испанцы, и все их расшаркивания передо мною. Первый испанец – как я уже говорил, хорошо мне знакомый, потому что я ему когда то спас жизнь, – подошел к самой лодке в сопровождении другого и тоже с белым флагом в руке; но он нетолько неузнал меня с первого взгляда – ему даже в голову не пришло, что это я вернулся, пока я не заговорил с ним. «Сеньор, – сказал я по-португальски, – вы не узнаете меня?» На это он не сказал ни слова, но, отдав свой мушкет товарищу, пришедшему вместе с ним, широко раскрыл объятия и, сказав что-то по-испански, чего я не расслышал как следует, обнял меня, говоря, что он не может простить себе, как он не узнал сразу лица, некогда посланного, как ангел с неба, спасти ему жизнь. Он наговорил еще много красивых слов, как это умеют делать все хорошо воспитанные испанцы, затем, подозвав к себе своего спутника, велел ему пойти и позвать товарищей. Потом он спросил, угодно ли мне пройти на свое старое пепелище и снова вступить во владение моим домом и, кстати, посмотреть, какие там сделаны улучшения – впрочем, немногие. И я пошел за ним, но – увы! – не мог найти места, где стоял мой дом, как будто

никогда и не бывал здесь: здесь насадили столько деревьев и так густо, и за десять лет они так разрослись, что к дому можно было пробраться только извилистыми, глухими тропинками, известными лишь тем, кто прокладывал их.

Я спросил, чего ради им было превращать дом в какую-то крепость. Он ответил, что, узнав, как им жилось после прибытия на остров, в особенности после того, как они имели несчастие убедиться, что я покинул их, – я, по всей вероятности, и сам соглашусь, что это было необходимо. Он говорил, что не мог не порадоваться моему счастью, узнав, что мне удалось уехать, притом на хорошем судне и согласно моему желанию, и что он нередко потом имел ясное предчувствие, что рано или поздно увидит меня снова; но никогда в жизни он не был так удивлен и огорчен, как в тот момент, когда, вернувшись на остров, он уже не нашел там меня.



Что касается трех варваров (как он называл их), оставшихся на острове, – о них он обещал мне потом рассказать целую историю и говорил, что даже с дикарями испанцам жилось легче – хорошо еще, что их было так мало: «Будь они сильнее нас, все мы давно уже были бы в чистилище. – И при этом он перекрестился. – Я надеюсь, сэр, что вам не будет неприятно, когда я расскажу вам, как мы в силу необходимости, ради спасения собственной жизни, вынуждены были обезоружить и обратить в подчиненное состояние этих людей, которые, не довольствуясь тем, что они были нашими господами, хотели сделаться еще и нашими убийцами». Я ответил, что я сам этого очень боялся, покидая их здесь, и ничто так не огорчало меня при расставании с островом, как то, что они (испанцы) не

вернулись вовремя и я не мог, так сказать, ввести их во владение, а английских матросов подчинить им, как они того заслуживали; а если они сами их подчинили, я могу этому только радоваться и, конечно, не осужу их, так как знаю, что это за дрянные люди, своевольные, упрямые, способные на всякую пакость.

Пока я говорил это, посланный вернулся, и с ним еще одиннадцать человек. По бедственному их виду невозможно было определить, какой они национальности, но мой испанец скоро выяснил положение и для них, и для меня. Первым делом он повернулся ко мне и, указывая на них, сказал: «Это, сэр, некоторые из сеньоров, обязанных вам жизнью»; затем повернулся к ним и, указав на меня, объяснил им, кто я такой. После этого они все стали подходить ко мне поодиночке с такими церемониями, как будто они были не простые матросы, а знатные дворяне или послы, – а я не такой же человек, как они, а монарх или великий завоеватель; они были в высшей степени учтивы и любезны со мной, но в их предупредительности была примесь собственного достоинства и величавой серьезности, которая была им очень к лицу; короче говоря, их манеры были настолько изысканнее моих, что я прямо не знал, как принять их любезности и тем более как ответить на них.

История их прибытия на остров и хозяйничанья на нем после моего отъезда так любопытна и в ней столько происшествий, которые будут гораздо понятнее тем, кто уже читал первую часть моего рассказа, и столько подробностей, имеющих отношение к моему собственному описанию моей жизни на острове, что я могу только с великим удовольствием рекомендовать то и другое вниманию тех, кто придет после меня.

Я не стану больше утруждать читателя, ведя рассказ в первом лице и по десять тысяч раз повторяя: «я говорю» и «он говорит» или «он мне сказал» и «я ему сказал» и т. п., но постараюсь изложить факты исторически, как они сложились в моей памяти из рассказов испанцев и моих собственных наблюдений.

Чтобы сделать это по возможности сжато и вразумительно, я должен вернуться назад и напомнить, при каких обстоятельствах я покинул свой остров и что в это время делали те, о ком я говорю. Прежде всего, необходимо повторить, что я сам же отправил спасенных мною из рук дикарей испанца и отца Пятницы на материк – как я тогда думал – за товарищами испанца, чтобы избавить их от возможности такой же страшной смерти, какая угрожала ему, помочь им в настоящем и подумать вместе о будущем – не найдется ли какого-нибудь способа освобождения.

Посылая их туда, я не имел ни малейшего основания надеяться на собственное мое освобождение – или по крайней мере не более основания, чем во все эти двадцать лет; и уже подавно не мог предвидеть, что случится, т. е. что к берегу подойдет английский корабль и заберет меня с собой. И, конечно, для испанцев было большим сюрпризом не только убедиться в том, что я уехал, но и найти на берегу троих незнакомых людей, завладевших всем оставленным мною имуществом, которое иначе досталось бы им.

Чтобы начать как раз с того, на чем я остановился, я первым делом расспросил испанца о всех подробностях его поездки за земляками и возвращения на остров. Он возразил, что тут собственно не о чем и рассказывать, что ничего особенного с ними в дороге не случилось, что погода все время была тихая и море спокойно, что земляки его, само собой, страшно обрадовались, увидев его (он, по-видимому, был у них за старшего, так как капитан судна, на котором они потерпели крушение, незадолго перед тем умер). Они тем более удивились и обрадовались при виде его, что знали, как он попался в руки дикарей, и были уверены, что его съедят, как уже съели всех других пленников; а когда он рассказал им историю своего избавления и объяснил, что он приехал за ними, они, по его словам, были поражены, пожалуй, не меньше, чем братья Иосифа, когда тот открылся им и рассказал, в какой он чести при дворе фараона. Только когда он показал им свое оружие, порох, пули и провизию, припасенную для них на время обратного пути, они пришли в себя и, излив свою радость по поводу такого неожиданного освобождения, стали собираться в дорогу.

Первым делом нужно было раздобыть лодок, и тут уж пришлось махнуть рукой на честность и хитростью выманить у дружественных дикарей пару больших челноков, или пирог, под предлогом съездить на рыбную ловлю или просто кататься.

На этих пирогах они выехали на следующее же утро, так как сборы у них были недолгие: у них не было никаких вещей – ни платья, ни провизии, ничего, кроме того, что было на них, да небольшого запаса корней, из которых они делали себе хлеб.

Всего они пробыли в отсутствии три недели. За это время, на беду им, мне представился случай бежать, как я уже говорил в своем месте, и я покинул остров, оставив на нем трех отъявленнейших негодяев, с какими только может встретиться человек, – своевольных, наглых, неприятных во всех отношениях, – что, конечно, было большим горем и разочарованием для бедных испанцев.

В одном только эти негодяи поступили честно – по прибытии испанцев на остров дали им мое письмо и снабдили их провизией и всем необходимым – словом, сделали так, как я приказал им; а также вручили им длинный описок оставленных мною наставлений – как печь хлеб, как ходить за ручными козами, сеять и собирать хлеб, как ухаживать за виноградом, обжигать горшки и т. д. – словом, делать все, из чего складывалась моя жизнь на острове и чему я сам выучился постепенно. Все это я подробно описал и велел отдать испанцам – двое из них недурно знали по-английски; оставленные на берегу матросы исполнили мой приказ и вообще ни в чем не отказывали испанцам, так как сначала те и другие хорошо ладили между собою. Они пустили испанцев в дом, или пещеру, и стали жить все вместе; старший испанец, успевший присмотреться к тому, как я работаю и хозяйничаю, вместе с отцом Пятницы заведывал всеми делами; англичане же ничего не делали, только шныряли по острову, стреляли попугаев да ловили черепах, а когда возвращались домой на ночь, находили ужин, приготовленный им испанцами.

Испанцы и этим бы удовольствовались, если бы те не трогали их и не мешали им работать, но у негодяев и на это ненадолго хватило терпения, и они стали вести себя, как собака на сене – сама не ест и другим не дает. Вначале недоразумения были пустячные, так что о них не стоит и говорить, но в конце концов англичане объявили испанцам открытую войну с невероятной дерзостью и наглостью, ни стого ни с сего, без всякой причины и вызова с их стороны, наперекор природе и даже здравому смыслу, и хотя первые рассказали об этом испанцы, т. е. пострадавшая и обвиняющая сторона, но когда я допросил самих англичан, они не могли опровергнуть ни единого слова.

Но прежде, чем перейти к подробностям, я должен заполнить один пробел в моем прежнем рассказе; я забыл сказать, что как раз в ту минуту, как мы подымали якорь, чтобы пуститься в путь, на борту нашего судна вспыхнула ссора; вспыхнула она из-за пустяков, но я опасался, как бы она не повела к новому возмущению; и действительно, она прекратилась только тогда, когда капитан, собравшись с духом и призвав нас на помощь, собственноручно разнял дерущихся и двух главных зачинщиков велел заковать в кандалы. А так как они и во время первого бунта играли видную роль, да и теперь не скупились на угрозы, он пригрозил так в кандалах и довезти их до Англии, а там повесить за бунт и попытку дезертировать с кораблем.

Эта угроза, по-видимому, напугала всю команду, хотя капитан не имел этого в виду; некоторые из матросов вбили в голову остальным, что

капитан только теперь улещает их ласковыми словами, а как только они зайдут в один из английских портов, он посадит их всех в тюрьму и отдаст под суд.

Об этом проведал помощник капитана и сообщил нам, и тогда все стали просить меня, все еще слывшего у них важным лицом, сойти вниз вместе с помощником капитана и успокоить людей, уверив их, что если они будут хорошо вести себя в остальное время пути, то все сделанное ими раньше будет прощено и забыто. Я пошел, и, когда поручился им честным словом в том, что все будет так, как я говорю, они успокоились и еще больше успокоились, когда по моей просьбе двое наказанных матросов были прощены и цепи с них сняты.

Но благодаря этой истории нам пришлось ночь простоять на якоре; к тому же ветер утих. На другое же утро оказалось, что двое прощенных забияк, украв каждый по мушкету и ножу, – сколько у них было патронов и пороху, мы сообразить не могли, – захватили капитанский катер, благо его еще не успели подвесить на место, и сбежали на нем к своим товарищам по мятежу на берег.

Как только мы заметили это, я велел послать на берег баркас с двенадцатью матросами и помощником капитана на поиски бунтовщиков; но посланные не нашли не только их, но и первых трех забияк, высаженных на берег; завидев подъезжающую лодку, они все бежали в леса. Помощник капитана хотел было, в наказание за непокорность, вытоптать на острове все посевы, сжечь дома и запас провианта и оставить их без ничего; но, не имея полномочий, не решился действовать на свой страх, оставил все, как было, и вернулся на корабль, ведя на буксире катер.

С этими двумя число высаженных на берег английских матросов достигло пяти; но первые трое негодяев были еще гораздо хуже этих: прожив с земляками вместе дня два, они выставили их и объявили, что не желают иметь с ними ничего общего, предоставив им устраиваться, как им заблагорассудится. И долго эти бедняги не могли убедить их поделиться с ними хоть пищей, а испанцы в то время еще не вернулись.

Когда испанцы приехали на остров, дело кое-как уладилось. Испанцы стали было убеждать трех англичан принять к себе земляков, чтобы, как они выражались, жить всем одной семьей, но те не хотели и слышать об этом: бедным малым пришлось жить одним и на опыте изведать, что только труд и прилежание могли сделать для них жизнь сносною.

Они поставил и свои палатки на северном берегу острова, ближе к западу, чтобы не подвергаться опасности со стороны дикарей, высаживавшихся обыкновенно на восточном берегу, и построили себе

здесь две хижины: в одной они хотели жить сами, другая должна была служить им сараем и амбаром. Испанцы дали им зерна для посева и поделились с ними горохом из оставленного мною запаса; они вскопали участок земли, засеяли его, огородили по образцу моего и зажили весьма недурно. Первая жатва не заставила себя ждать, и, хотя они засеяли для начала лишь небольшой участок земли, – у них ведь и времени было немного, – все же собранного было достаточно, чтоб им прокормиться до нового урожая; к тому же один из них был на корабле помощником повара и оказался большим мастером готовить супы, пудинги и другие кушанья из риса, молока и того небольшого количества мяса, какое можно было достать на острове.

Так они жили в скромном достатке, как вдруг однажды трое бездушных негодяев, их земляков, пришли к ним и, просто ради потехи и чтобы обидеть их, принялись хвастать, что остров принадлежит им, так как губернатор (то есть я) отдал им его во владение, и никто, кроме них, не имеет здесь права на землю; а следовательно, нельзя строить на ней и домов, если только не платить за них аренды.

Сначала те думали, что они шутят, и пригласили их войти и присесть – посмотреть, какие чудесные дома они себе выстроили, и сказать, сколько же за них надо платить. Один из хозяев шутливо сказал, что раз уже они считают себя землевладельцами и хотят отдавать свою землю в аренду, он надеется, что они, по примеру всех землевладельцев, согласятся отдать им этот участок в долгосрочную аренду, ввиду сделанных ими улучшений, – и попросил их сходить за нотариусом и составить контракт. Тогда один из пришедших с бранью и проклятиями объявил, что они вовсе не шутят и он сейчас им это докажет. Неподалеку в укромном местечке бедняги развели огонь, чтобы сварить себе обед; негодяй побежал туда, схватил пылающую головню и принялся бить ею о стенки хижины, причем дерево, конечно, загорелось, и в несколько минут вся хижина превратилась бы в пепел, если бы один из хозяев вовремя не оттолкнул неприятеля и не затоптал ногами огонь, что удалось ему не без труда.

Негодяй так разозлился на земляка за то, что тот оттолкнул его, что кинулся на него с колом, выхваченным из изгороди, и, если бы тот не сумел ловко избежать удара и не спрятался бы в хижину, он был бы убит тут же на месте. Его товарищ, видя, какая опасность грозит им обоим, последовал за ним, и через минуту они вышли из хижины уже с мушкетами в руках. Затем тот англичанин, на которого незваный гость бросился с колом, ударом приклада сшиб с ног обидчика, прежде чем другие два подоспели к нему на помощь; когда те подбежали, они оба повернули к

ним ружья дулами вперед и посоветовали им держаться подальше.



У тех тоже было с собой огнестрельное оружие, но один из хозяев, похрабрее товарища и доведенный до отчаяния опасностью, крикнул им, что, если только они пошевелятся, они пропали, и смело потребовал, чтоб они сложили оружие. Оружие они, положим, не сложили, но видя, что он намерен действовать решительно, вступили с ним в переговоры и согласились уйти, забрав с собой своего раненого товарища, который, по-видимому, довольно сильно пострадал от удара. Как бы там ни было, обиженные сделали большую ошибку, не воспользовавшись выгодами своего положения и не обезоружив обидчиков на самом деле: им следовало отобрать у тех оружие, что они легко могли сделать, а потом пойти к испанцам и рассказать, как эти негодяи обошлись с ними; ибо теперь все трое только и думали что о мести и каждый день чем-нибудь доказывали это.

Не стану загромождать свой рассказ перечислением разных мелких пакостей, какие они устраивали своим землякам: например, вытоптали их посевы, застрелили трех козлят и козу, прирученную англичанами для того, чтобы пользоваться ее молоком, вообще докучали им всячески и днем и ночью и довели бедняг до такого отчаяния, что те решили при первом же удобном случае открыто напасть на обидчиков, хотя их было всего двое, а тех трое. С этой целью они решили отправиться в замок, т. е. в мое прежнее жилище, где забияки жили вместе с испанцами, и вызвать их на честный бой, а испанцев попросить присутствовать при этом и следить, чтобы бой был действительно честным. Пришли они туда рано утром, еще до рассвета, и стали выкликать англичан по именам, а когда отозвался испанец, сказали ему, что они желают говорить со своими земляками.

Случилось, что накануне двое испанцев, будучи в лесу, встретились с одним из этих англичан, которых я, в отличие от других, буду называть честными, и тот стал горько жаловаться им на варварское отношение к ним их земляков и рассказал им, как те разорили их плантацию, вытоптали их хлеб, выращенный с таким трудом, убили дойную козу и трех козлят, – прибавляя, что, если испанцы не помогут им снова, им придется умереть с голоду. Вернувшись домой, за ужином один из этих испанцев стал очень вежливо и кротко выговаривать англичанам и спрашивать, как они могут быть так жестоки к своим землякам, безобидным и смирным людям, которые так много потрудились над своей землей и только что устроились так, чтобы существовать своим трудом.

Один из англичан резко возразил: «А чего им тут делать? Они без позволения начальства съехали на берег, так и нечего им здесь ни сеять, ни строить: это земля не ихняя». «Позвольте, сеньор инглеза, – спокойно сказал испанец, – не умирать же им с голоду!» На что англичанин отрезал, как настоящий грубиян-матрос: «Пусть дохнут, коли хотят, а строить и сеять здесь мы им не позволим!» – «Но что же им в таком случае делать, сеньор?» – «Как что делать? Работать! – воскликнул другой негодяй. – Пусть служат нам и работают на нас». – «Как вы можете ожидать этого от них? Ведь они не рабы, купленные на ваши деньги, и вы не имеете права заставлять их служить себе». – «Остров наш, – сказал англичанин, – потому что губернатор нам его отдал, и никто здесь не смеет хозяйничать, кроме нас самих». И он поклялся страшной клятвой, что, если его земляки выстроят себе новые хижины, он и те сожжет, чтоб они не строились на чужой земле.

«Но позвольте, сеньор, – стали говорить испанцы, – если так рассуждать, то и мы все значит должны служить вам?» – «Разумеется, да оно так и будет, пока мы совсем не избавимся от вас». И для пущей убедительности дерзкий ввернул еще два-три крепких словца. Испанцы только улыбнулись и даже не удостоили его ответом. Но все-таки этот маленький спор разгорячил англичан, и, встав из-за стола, один из них, если не ошибаюсь, тот, которого звали Вилли Аткинсом, сказал другому: «Пойдем, Джек, схватимся с ними еще раз: ручаюсь тебе, что мы разорим в свое время и этот замок, нечего им разводить колонии в наших владениях».

И они все трое вышли, захватив с собой каждый по ружью, пистолету и сабле и бормоча себе под нос угрозы – как они зададут и испанцам, только бы представился к тому случай; но испанцы, по-видимому, не вполне поняли их намерения, поняли только, что негодяи собираются жестоко отомстить им за то, что они приняли сторону двух честных англичан.

Куда они направились и как провели вечер, этого испанцы не знали; но, по-видимому, они до поздней ночи бродили по острову, а потом, утомившись, улеглись в моей даче, как я ее называл, и крепко уснули. Дело было так: они решили дождаться полуночи, чтобы захватить земляков сонными и поджечь их хижины, с тем чтобы – как они сами признались после – или сжечь их живьем, или умертвить их, если они выйдут. И странно, как это злоумышленники проспали: коварство редко спит крепким сном.

Как бы там ни было, у двух честных англичан были свои намерения относительно их, хотя и гораздо более благородные, так как тут не было речи ни о поджоге, ни об убийстве, – и, к счастью для всех, случилось так, что они встали и ушли из дому еще задолго до того, как кровожадные негодяи добрались до их хижин.

Придя на место и не застав хозяев, Аткинс, по-видимому, бывший у них коноводом, крикнул товарищу: «Эге, Джек, гнездо здесь, а птички-то улетели!» Они стали соображать, с чего бы это их землякам вздумалось подняться так рано, и решили, что, наверное, испанцы предупредили их, и, решив это, поклялись друг другу, что они отомстят испанцам. Затем они накинулись на жилище бедных своих земляков – жечь не жгли, но растащили его все по кускам, так что от хижин не осталось и следа; даже палки ни одной не осталось, которая бы указывала на то, что здесь было человеческое жилье; они растащили также весь их домашний скарб и разбросали в разные стороны, так что иные вещи бедняги находили потом за милю от своего обиталища.

Сделав это, они повыдергали все молоденькие деревца, посаженные их земляками; растащили по кольям забор, выведенный теми для охраны своего скота и полей, – словом, все разграбили и опустошили, словно орда татар.



В это время те двое пошли их разыскивать и решили схватиться с ними, где бы они их ни встретили, хотя их было всего двое против троих; и если б они встретились, непременно произошло бы кровопролитие, потому что, надо им отдать справедливость, все они были молодцы рослые, смелые и решительные.

Но, видно, Провидение больше заботилось о том, чтоб они не столкнулись, чем они о том, чтоб сошлись, ибо, выслеживая друг друга, они все время расходились в разные стороны: когда те трое пришли разорять их жилье, эти двое были у замка, а пока эти успели вернуться, те уже были дома. Мы сейчас увидим, насколько различно было их поведение. Трое разбойников вошли в такой раж, опустошая плантацию, что прибежали в замок, как бешеные, сейчас же кинулись к испанцам и рассказали им, что они сделали, прямо-таки хвастаясь этим и показывая, что им на всех наплевать. При этом один сорвал шляпу у одного из испанцев, словно расшалившийся мальчишка, и, повертев ею, нагло захохотал ему прямо в лицо, говоря: «И тебе, сеньор испанец, будет то же, если ты не исправишься». Испанец, хоть и вежливый человек, был вместе с тем храбр, как подобает мужчине, да и силой его Бог не обидел; он долго пристально смотрел на обидчика, потом не спеша подошел к нему и, так как оружия при нем не было, размахнулся, да как хватит его кулаком! Тот так и свалился наземь, словно бык от обуха. Другой негодяй, такой же наглый, как и первый, видя это, моментально выхватил пистолет и выстрелил в испанца. Правда, попасть как следует он не попал, ибо пули

прошли через волосы, но все же одна из них задела кончик уха, и кровь полилась в изобилии. При виде крови испанец подумал, что он ранен серьезнее, чем это было на самом деле, и взволновался; до тех пор он был совершенно спокоен, но тут решил довести дело до конца, нагнулся, поднял мушкет первого англичанина, которого он сшиб с ног, и уже прицелился в другого, который стрелял в него; но тут из пещеры выбежали остальные испанцы и, крикнув ему, чтоб он не стрелял, кинулись на двух англичан и отобрали у них оружие.

Оставшись таким образом без оружия и сообразив, что они восстановили против себя всех испанцев, равно как и своих земляков, забияки немного поостыли и уже вежливее стали просить испанцев, чтоб им отдали назад оружие; но испанцы, помня, какая распря идет между ними и другими двумя англичанами, и зная, что это лучшее средство предупредить столкновение, возразили, что они не сделают им (англичанам) никакого вреда, – и даже, если те будут вести себя смирно, по-прежнему будут охотно помогать им, – но о возвращении оружия не может быть и речи, так как они (англичане) открыто похвалялись, что убьют своих земляков, и даже всех испанцев грозились обратить в рабство Вразумить негодяев оказалось также трудно, как и ждать от них разумных поступков; получив отказ, они пришли в страшную ярость и, жестикулируя как безумные, стали грозиться, что они и без оружия сумеют отплатить за себя. Но испанцы посоветовали им быть осторожнее и не вредить ни плантациям, ни скоту, потому что при первой же попытке их пристрелят, как бешеных собак, а если они живыми попадутся в руки, им не миновать виселицы. Но и тут они не унялись, а продолжали ругаться и неистовствовать, словно фурии. Только они ушли, прибежали двое других англичан, тоже страшно взволнованные и вне себя от ярости, хотя у них, конечно, было на то больше оснований, ибо они успели побывать дома и увидать, какое там опустошение. Не успели они рассказать о своей горькой обиде, как испанцы, перебивая друг друга, стали рассказывать им о своей; даже странно, что три человека могли так безнаказанно издеваться над двенадцатью.

Это происходило оттого, что испанцы относились к ним пренебрежительно, и в особенности теперь, когда они были обезоружены, только смеялись над их угрозами; но двое англичан решили разыскать обидчиков во что бы то ни стало и расправиться с ними.

Однако же испанцы и тут вмешались, объявив, что у тех троих бездельников оружие отнято и что они (испанцы) не могут позволить преследовать безоружных с оружием в руках. «Но если вы предоставите

это нам, – прибавил степенный испанец, их набольший, – мы попытаемся заставить их вознаградить вас. Когда досада их поуляжется, они, без сомнения, придут к нам опять, потому что без нашей помощи им не прожить, и вот тогда мы обещаем вам не мириться с ними, пока они не дадут вам полного удовлетворения. Надеюсь, что на таких условиях и вы обещаете нам не употреблять против них насилия иначе как для самозащиты».

Обиженные англичане согласились на это неохотно и не сразу, но испанцы уверили их, что они хотят только предотвратить кровопролитие и наладить отношения. «Нас, – говорили они, – не так уж много, и места для всех довольно, и это большая жалость, что мы все не можем жить дружно». В конце концов англичане уступили и пока что стали жить с испанцами, так как собственное их жилье было разрушено.

Дней через пять трое бродяг, утомленные бесплодными скитаниями и еле живые от голода, подошли к опушке рощи, что возле замка, и, встретив несколько испанцев, в том числе моего, т. е. набольшего, стали униженно и смиренно просить, чтоб их приняли снова в семью. Испанцы очень учтиво ответили, что они так бесчеловечно поступили со своими земляками и так грубо обошлись с ними самими (испанцами), что они ничего не могут сказать, не посоветовавшись с остальными товарищами и с двумя англичанами; но что они сейчас же пойдут и созовут всех на совет, а ответ дадут через полчаса. Нетрудно было догадаться, что положение их бедственное, раз они согласились на это. В ожидании ответа они умоляли испанцев выслать им немного хлеба; те согласились и вместе с хлебом прислали им большой кусок козы и вареного попугая. Буяны съели все с большим аппетитом, настолько они были голодны.



Через полчаса их позвали в дом, и тут произошло объяснение между

обиженными и обидчиками; первые обвиняли вторых в том, что они уничтожили все плоды их трудов и хотели умертвить их, те уже раньше сознались в этом и, следовательно, не могли отрицать этого и теперь. Тогда вступились испанцы в качестве примирителей, и, как раньше они потребовали от двух обиженных англичан, чтобы они не мстили обидчикам, пока те безоружны и беззащитны, – так теперь они потребовали, чтобы виновные отстроили хижины для своих земляков – одну таких же размеров, как прежние, а другую побольше, – а также обнесли их землю вновь изгородью вместо той, которую они уничтожили; насадили деревьев на место вырванных, вскопали землю под новый посев на том месте, где вытоптали прежний, – словом, привели все в тот же вид, в каком они застали его, конечно, насколько это было возможно. Целиком поправить дело было уже нельзя, так как время было пропущено и посаженные вновь деревья не могли приняться так скоро.

Виновные покорились и, так как их все время кормили досыта, стали работать исправно; но никакими убеждениями нельзя было заставить их сделать что-нибудь для себя; если им и случалось иногда приниматься за дело, то лишь изредка и ненадолго, пока хватало охоты. Прожив таким образом месяца два все вместе тихо и мирно, испанцы вернули провинившимся оружие и свободу уходить когда угодно и куда угодно. Не прошло и недели, как неблагодарные стали по-прежнему наглы и дерзки; но тут случилось нечто, грозившее опасностью жизни всех, так что пришлось отложить личные счеты в сторону и сообща позаботиться об охране маленькой колонии.

Однажды ночью набольший испанец, как я называю его, т. е. тот, которому я спас жизнь и который был у них теперь за капитана или вождя – словом, за старшего, – ни с того ни с сего вдруг начал тревожиться и никак не мог уснуть; он чувствовал себя совершенно здоровым физически, но на душе у него было неспокойно: ему все представлялись вооруженные люди, убивающие друг друга; беспокойство его все росло, и он наконец решил встать. Встал, вышел за дверь – ночь темная, ничего не видать или почти ничего, да и деревья, посаженные мной вокруг замка и теперь густо разросшиеся, мешали видеть; поднял голову – небо ясное и звездное; шума никакого не слышно; он вернулся и снова лег. Но все-таки он никак не мог успокоиться: сон бежал от его глаз, и мысли были все такие тревожные, а почему – он и сам не знал.



Его шаги, стук отворившейся и затворившейся двери разбудили другого испанца, и тот опросил: «Кто здесь ходит?» Первый испанец назвал себя и объяснил, почему он не может уснуть. «Знаете, – оказал ему другой испанец, – такими вещами не следует пренебрегать; раз у вас такие мысли, значит, поблизости творится что-то недоброе. А где англичане?» – «В своих хижинах; их бояться нечего».

Надо заметить, что после той истории испанцы завладели главным жильем, поместив англичан отдельно, чтобы те не могли добраться до них ночью. «Да, это неспроста; я это знаю по опыту; я убежден, что наши души могут вступать в общение с бесплотными душами, обитателями невидимого мира, и получать от них предостережения; эти дружеские знаки даются для нашего блага, надо только уметь ими пользоваться. Пойдем-ка, осмотрим все кругом, и, если не найдем ничего, что бы оправдывало наши предчувствия, я расскажу вам одну историю, которая убедит вас в справедливости моего предположения».

И вот они пошли на вершину холма, того самого, на который и я часто ходил, чтобы взглянуть на море; но так как их было несколько, а не один, и они чувствовали себя сильными, то они и не принимали таких предосторожностей, какие принимал я, и не взбирались по лестнице, втаскивая ее потом за собою, а пошли кругом через рощу, ничего не боясь и не ожидая никакой опасности, как вдруг увидали невдалеке огонь и услышали человеческие голоса – притом не одного или двух человек, а целой толпы людей.

Почему дикарей явилось на этот раз такое множество – было ли это последствием бегства во время нашей последней стычки трех дикарей, спасшихся в лодке, и сбылись ли мои опасения, что они вернутся и приведут с собою других, или же они приехали случайно и не подозревая,

что остров населен, для своего обычного кровавого пира – испанцы, по-видимому, выяснить не могли. Как бы там ни было, им следовало напасть на дикарей врасплох и перебить их всех так, чтобы ни один не уцелел, а для этого надо было загородить им путь к лодкам; но у них не хватило на это присутствия духа, и, благодаря этому, их душевный покой был нарушен надолго.

Увидав огонь и вокруг него дикарей, набольший испанец с товарищем побежали назад и подняли на ноги всю колонию вестью о грозящей им неминучей гибели; те мигом оделись, но их невозможно было убедить сидеть смирно дома; каждому непременно хотелось самому посмотреть, как обстоит дело.

Пока было темно, это не представляло большой опасности, и они могли в течение нескольких часов вдоволь насмотреться на дикарей при свете трех костров, разложенных на некотором расстоянии один от другого. Что делали дикари, испанцы не знали и не знали также, что предпринять им самим, так как, во-первых, врагов было слишком много, во-вторых, они держались не все вместе, но разбились на группы и расположились на берегу в разных местах.

Зрелище это повергло испанцев в большое уныние, и так как дикари рыскали по всему берегу, то они не сомневались, что в конце концов пришельцы наткнутся на замок или по каким-нибудь признакам жилья догадаются, что здесь есть люди. Очень они боялись также за свое стадо; если бы дикари перебили или увели их коз, им грозила бы опасность умереть с голоду. Поэтому первым делом они порешили послать до рассвета трех человек: двух испанцев и одного англичанина, чтобы те загнали коз в большую долину, где находилась пещера, а в крайности – в самую пещеру.

Если бы дикари собрались все вместе и, главное, где-нибудь вдали от лодок, то испанцы напали бы на них, будь их хоть сотня, но этого невозможно было ожидать: два главных отряда их находились на расстоянии двух миль один от другого и, как оказалось потом, принадлежали к двум различным племенам.

Долго они судили и рядили, как быть и что предпринять, и наконец порешили, пользуясь темнотою, послать старого дикаря (отца Пятницы) на разводку и узнать, если будет возможно, зачем они сюда приехали, что намерены делать здесь и т. д. Старик не колебался ни минуты и, раздевшись догола, – так как большинство дикарей были голые, – направился к ним. Часа через два он вернулся и рассказал, что все время бродил среди диких, не возбуждая никаких подозрений, и узнал, что их

приехало два отряда, из двух различных племен, воюющих между собою; что недавно у них было большое сражение, и обе стороны, набрав пленных, случайно съехались на одном и том же острове с целью повеселиться и полакомиться человеческим мясом, но что эта случайная встреча отравила им все веселье; что оба племени страшно разъярены одно против другого и расположились так близко друг от друга, что, как только рассветет, они, наверное, подерутся; но что ни одно из племен, по-видимому, не подозревает, что на острове есть люди кроме диких. Не успел он окончить свой рассказ, как поднялся страшный шум, из чего колонисты заключили, что две маленькие армии вступили в кровавый бой.

Отец Пятницы истощил все доводы, убеждая белых засесть в замке и не показываться; он говорил, что их безопасность зависит от этого, что дикари сами перебьют друг друга, а уцелевшие уберутся восвояси (точь-в-точь так и вышло), но не мог убедить их – любопытство перевешивало в них благоразумие, особенно в англичанах; им непременно хотелось посмотреть, как дерутся дикие. Тем не менее они все-таки приняли некоторые меры предосторожности, а именно: расположились не возле своего жилища, а пошли дальше в лес и поместились так, чтобы видеть битву, не подвергаясь опасности и, как они думали, не будучи видимыми; но, должно быть, дикари все же заметили их, как мы увидим впоследствии.



Бой был жаркий, и если верить англичанам, то среди дикарей были люди высокой храбрости и непобедимого мужества, весьма умело руководившие битвой. В течение двух часов, по словам англичан, нельзя было определить, какая сторона одержит победу; потом тот отряд, что был поближе к нашему дому, начал заметно ослабевать, и некоторое время

спустя часть его обратилась в бегство. Это опять-таки повергло наших в жестокий страх – как бы кто-нибудь из беглецов не вздумал искать убежища в роще, что возле замка, при этом он невольно открыл бы жилье, а вслед за ним и его преследователи. Тут они решили укрыться с оружием в руках за оградой и, чуть дикари покажутся в роще, перебить по возможности всех, чтобы ни один не вернулся к своим рассказать о виденном. Они уговорились также бить холодным оружием или прикладами, но не стрелять, чтобы выстрелами не привлечь дикарей.

Глава четвертая

Поимки трех беглецов. – Новое покушение

Как они думали, так и вышло: трое дикарей из побежденного племени забежали в рощу, вовсе не предполагая, что в ней есть жилье, а просто ища убежища в чаще. Часовой, поставленный караулить на опушке, тотчас же дал знать об этом, прибавив, к великому удовольствию наших, что беглецов никто не преследует и что победители даже не видели, в какую сторону они направились. Узнав это, набольший испанец, человек очень гуманный, не позволил убивать беглецов, но велел троим испанцам обогнуть холм, напасть на них с тылу врасплох и взять их в плен, что и было исполнено. Остатки побежденной армии бросились к челнокам и уехали; победители почти не преследовали их, но, собравшись все вместе, дважды издали пронзительный клич, видимо, торжествуя победу. Таким образом кончился бой; в тот же день, часов около трех пополудни, и они сели в свои челноки и уехали. Таким образом, испанцы снова остались хозяевами острова и несколько лет потом не видели дикарей.

Когда все уехали, испанцы вышли из своей засады и, обойдя поле битвы, нашли на нем тридцать два трупа, но ни одного раненого; у дикарей такой уж обычай – они или избивают врагов всех до последнего (из луков или тяжелыми деревянными мечами), или уносят с собой всех раненых и недобитых.



После этого происшествия англичане надолго присмирели. Зрелище битвы заполняло ужасом их сердца; еще страшнее казались им ее

последствия, в особенности предположение, что когда-нибудь они сами могут попасть в руки этих чудовищ, которые убили бы их не только как врагов, но и просто для того, чтобы съесть их, как мы убиваем скот. Такая опасность, как я говорил, укротила даже наших буйных молодцов, и долго после того они были послушны и довольно добросовестно работали вместе с другими на всю общину – садили, сеяли, жали и совсем привыкли к острову и условиям жизни на нем; но немного времени спустя они пустились в одно предприятие, которое наделало им много хлопот.

Я уже говорил, что наши взяли в плен трех дикарей, и, так как все трое был и дюжие, рослые молодцы, испанцы обратили их в слуг и заставили работать на себя; из них вышли недурные невольники. Но они не поступали с ними так, как я с моим Пятницей: не вселяли в них убеждения, что они спасли им жизнь, не учили их постепенно разумным правилам жизни и тем более религии, не приручали их постепенно и не укрощали природной дикости их нрава ласковым обхождением и ласковыми беседами. Правда, они кормили их ежедневно, но зато и заставляли их работать с утра до вечера в поте лица; но невольники эти никогда не стали бы помогать им и сражаться за них, как мой Пятница, который был так верен и предан мне, словно был моим телом.

Но пора вернуться к рассказу. Итак, наши всей семьей (я уже говорил, что общая опасность всех примирила) стали совещаться, что им теперь предпринять, и первым делом обсуждать вопрос, не лучше ли им перенести свое жилье на другое место, так как дикари посещали исключительно эту часть острова, а в глубине его, дальше от моря, были места более глухие, но где они могли бы безопаснее хранить зерно и скот.

После долгих споров решено было не переносить жилья, так как они не теряли еще надежды получить весточку от своего губернатора (т. е. от меня) и рассчитывали так: если я кого-нибудь пошлю за ними, то, конечно, направлю его на эту сторону острова, и, если мои послы не найдут на указанном месте дома, они подумают, что дикари перебили всех поселенцев, и уедут, и, таким образом, исчезнет последняя надежда выбраться отсюда.

Зато поля и скот они постановили перенести в долину, где находилась моя пещера, где земля была удобна и для хлебопашества, и для пастбищ, да и земли было вдоволь; но, пораздумав, изменили наполовину и этот план, положив перевести туда только часть скота и часть посевов, так что, если б неприятель уничтожил одну половину, по крайней мере другая бы уцелела. Это было очень благоразумно с их стороны и еще благоразумнее, что они не доверились взятым ими в плен дикарям и ничего им не рассказывали ни

о плантации, разведенной ими в долине, ни о помещенном там стаде, ни тем более о пещере, которую они приберегали на случай, если им понадобится надежное и безопасное убежище; в эту же пещеру они перенесли и посланные мною при отъезде два бочонка пороху.

Итак, они решили оставить замок на прежнем месте, но как я тщательно укрыл его сначала валом, потом деревьями, разросшимися в целую рощу, так и они – видя, что они могут считать себя в безопасности, только будучи хорошо спрятаны, в чем они теперь окончательно убедились, – принялись за работу с целью лучше прежнего укрыть свое жилье от постороннего взора.

Возвращаюсь к прерванному рассказу. В течение двух лет наши жили совершенно спокойно и не видели дикарей. Правда, однажды утром они сильно переполошились, ибо несколько испанцев, отправившись рано утром на западную сторону или, вернее, на западный конец острова – кстати сказать, я именно этого конца всегда избегал из боязни быть замеченным дикарями, – видели больше двадцати челноков с индейцами, подъезжавших к берегу.

Они со всех ног бросились домой и подняли тревогу. Весь этот день и следующий наши просидели взаперти, только ночью выходя на разведку; но на этот раз им повезло: куда ехали дикари – неизвестно, но они совсем не приставали к берегу, и наши ошиблись в своих ожиданиях.

Вскоре у них опять вышла ссора с тремя англичанами, и вот из-за чего. Один из этих последних, разозлившись на одного из невольников за то, что тот не исполнил какого-то его приказа или сделал не так, как он велел, и неохотно слушал его указания, вытащил из-за пояса топор и кинулся на бедного дикаря, не для того, чтобы поучить его, но чтобы убить. Испанец, бывший неподалеку, увидав, как тот нанес дикарю жестокую рану, – он метил в голову, но попал в плечо, – подумал, что он отсек бедняге руку, подбежал и, умоляя его не убивать несчастного, заслонил собою дикаря, чтобы предотвратить беду.

Драчун еще пуще взбесился и замахнулся топором уже на испанца, божась, что он угостит его так же, как хотел угостить дикаря; испанец успел вовремя уклониться от удара и сам сшиб с ног негодяя заступом, который держал в руке (они все работали в поле). Другой англичанин, прибежавший на помощь первому, в свою очередь, сшиб с ног испанца; двое испанцев кинулись выручать товарища, а третий англичанин напал на них. Огнестрельного оружия ни у кого из них не было при себе; да и вообще не было иного оружия, кроме топоров и лопат; только у третьего англичанина оказался мой старый заржавленный тесак, с которым он

накинулся на двух испанцев, прибежавших последними, и ранил их обоих. На шум прибежали все остальные испанцы и связали трех англичан. Теперь надо было решить, что с ними делать. Все трое так часто бунтовали, были такие свирепые и бесшабашные головорезы, ни во что не ставящие жизнь человека, и притом же такие лентяи, что жить с ними было далеко не безопасно; и бедные испанцы положительно не знали, как поступить.



Их старший напрямик объявил англичанам, что будь они его земляки, он их всех бы повесил – ибо все законы и правители существуют для того, чтобы охранять общество, и люди, опасные для общества, должны быть изъяты из него, – но так как они англичане, а все находящиеся здесь испанцы обязаны своим освобождением из плена и жизнью великодушию и доброте англичанина, он готов оказать им всевозможное снисхождение и отдать их на суд их же земляков.

Один из двух честных англичан, бывший при этом, возразил от лица обоих, что им это было бы вовсе нежелательно, так как им пришлось бы отправить своих земляков на виселицу. И он рассказал, как Вилль Аткинс предлагал всем пяти англичанам соединиться и, захватив испанцев спящими, всех их умертвить.

Услыхав это, набольший испанец обратился к Виллю Аткинсу: «Как! Сеньор Аткинс, вы хотели нас умертвить? Что вы на это скажете?» Закоренелый негодяй не только не отрицал этого, но напрямик объявил, что это сущая правда и что это еще от них не ушло. «Хорошо, сеньор

Аткинс, но за что же вы хотите убить нас? Что мы вам сделали? И если б вы умертвили нас, какая была бы от этого польза? И что же нам надо делать для того, чтобы предотвратить это? Умертвить вас, чтобы вы нас не перебили? Зачем вы хотите принудить нас к этому, сеньор Аткинс?»

Испанец говорил все это совершенно спокойно и улыбаясь, но сеньор Аткинс до того рассвирепел – зачем тот обратил все это в шутку, – что, если б его не держали трое зараз да будь у него оружие, он бы, кажется, убил испанца тут же на месте, на глазах у всех.

Такая отчаянность заставила всех призадуматься – как тут быть. После долгих препирательств (испанец и два честных англичанина, вступившихся за дикаря, стояли за то, чтобы повесить одного из негодяев для острастки других, старый же испанец настаивал на более мягком отношении, так как преступники принадлежали к той же нации, что и его спаситель) решено было, во-первых, отобрать у виновных оружие и ни под каким видом не давать им ни ружей, ни пороху и патронов, ни сабель или ножей; затем изгнать их из общины и предоставить им жить, где им угодно и как угодно за свой собственный счет и риск, но чтобы при этом никто из остальных членов общины, испанцев или англичан, не ходил к ним и не говорил с ними – словом, не имел с ними никакого дела, а для этого запретить им подходить ближе, чем на известное расстояние, к жилью остальных; а если они как-нибудь напроказят – подожгут дом, разорят плантацию, вытопчут поле, разнесут по кусочкам изгородь или начнут убивать скот, – казнить их без милосердия.

Набольший испанец, человек очень гуманный и добрый, поразмыслив об этом приговоре, обернулся к двум честным англичанам и сказал: «Послушайте, надо же принять в расчет, что пройдет много времени, прежде чем у них будет свой собственный хлеб и скот; не умирать же им с голоду; надо будет снабдить их провизией». И он предложил выдать изгнанным семян на посев и зерна столько, чтобы хватило на восемь месяцев, предполагая, что через восемь месяцев они уже успеют снять жатву с собственного поля; кроме того, дать им шесть дойных коз, четырех козлов и шесть козлят, а также снабдить их орудиями, необходимыми для полевых работ, – топорами, секирой, пилой и т. д.; но не давать ни орудий, ни хлеба, пока они торжественно не поклянутся, что не станут вредить ни испанцам, ни своим землякам.



Таким образом, бунтовщики были изгнаны из общины и предоставлены собственной участи. Ушли они угрюмо и неохотно, как будто им нежелательно было ни уйти, ни остаться; но делать было нечего, приходилось идти, и они пошли, заявив, что выберут место, где поселиться, отдельно от других. Как было сказано, их снабдили запасом провианта, но не дали им оружия. Поселились они на северо-восточном конце острова, недалеко от места, куда меня прибило на берег после моей несчастной попытки обогнуть остров на лодке. Место, где они обосновались, было похоже на место, выбранное мной для жилища: у крутого склона холма, защищенное с трех сторон деревьями.

Так они жили особняком целых шесть месяцев и собрали первую жатву, но, когда наступило время дождей, им негде было спрятать зерно от сырости, так как у них не было ни погреба, ни пещеры, и они пришли с поклоном к испанцам, прося их помочь. Те охотно согласились и в четыре дня выкопали большую нору в склоне холма, где можно было укрыть от дождя и собранный хлеб, и все другое.

Месяцев через девять после разрыва бунтари придумали новую затею, которая, вместе с первой гнусностью, совершенной ими, навлекла на их же головы кучу напастей и чуть было не погубила всей колонии. По-видимому, они начали тяготиться трудовой жизнью и, потеряв надежду улучшить свое положение, вздумали совершить поездку на континент, откуда приезжали на остров дикари, и попытаться захватить нескольких туземцев, обратить их в рабство и заставить работать на себя.

Однажды утром они все трое пришли к испанцам и смиренно выразили желание переговорить с ними. Те охотно согласились их выслушать. Тогда

они заявили, что устали жить так, как они живут, что они плохие работники и не в силах доставить себе все необходимое, так что без посторонней помощи им придется умереть с голоду; но если испанцы позволят им взять одну из лодок, в которых они приехали, и снабдят их оружием и зарядами, они (англичане) отправятся на материк искать счастья и, таким образом, избавят остальных от хлопот и необходимости оказывать им поддержку.

После тщетных уговоров испанцы очень любезно ответили, что раз уж они решили ехать, их, конечно, не отпустят голыми и безоружными, что оружия у них (испанцев) и у самих мало, так что многого они дать не могут, но все же дадут им два мушкета, пистолет, кортик и каждому по топору; этого им казалось достаточно.

Одним словом, предложение было принято. Отъезжающим дали хлеба на месяц и столько козлятины, чтобы они могли есть вдоволь, пока мясо будет свежо, дали им еще большую корзину изюму, кувшин воды для питья и живого козленка; забрав все это, они отважно пустились в челноке через море, которое в этом месте было по крайней мере в сорок миль шириной.

Глава пятая

Живой подарок. – Выбор жен. – Побег в пещеру. – Защита двух англичан

Лодка их, положим, была большая и могла бы поднять даже пятнадцать или двадцать человек, но именно потому им было трудновато управлять ею, зато ветер и прилив им благоприятствовали, и дело пошло на лад. Из длинного шеста они сделали себе мачту, а из четырех высушенных козьих шкур большого размера, сшитых или связанных шнурками вместе, – парус, и весело отправились в путь. Испанцы крикнули им вслед: «Buen viaje!» («Счастливой дороги!»), и никто из оставшихся на острове не чаял больше свидеться с ними.

Однако через двадцать два дня один из двух честных англичан, работавших на плантации, увидал подходивших к нему троих странного вида людей: у двоих из них за плечами были ружья. Англичанин бросил работу и убежал со всех ног, словно от нечистой силы, прибежал страшно перепуганный к набольшему испанцу и говорит ему, что они все пропали, так как на остров приехали чужие люди, а какие – он не может сказать. Испанец и говорит ему: «То есть как же это не можете сказать? Дикари, конечно». – «Нет, нет, это одетые люди и с ружьями». – «Но в таком случае чего же вы испугались? Если это не дикари, значит, друзья, ибо, к какой бы христианской нации они ни принадлежали, они могут сделать нам скорее добро, чем вред».



Пока они разговаривали, трое англичан пришли в лесок, недавно только посаженный около замка, и стали вызывать испанцев. Их тотчас узнали по голосу, так что на этот счет всякие опасения рассеялись; но

теперь наши стали дивиться другому – что могло случиться стремя бродягами и что заставило их вернуться?

Их тотчас впустили в дом, стали расспрашивать, и они в кратких словах рассказали о своем путешествии. За два дня или даже меньше того они добрались до земли, но, видя, что население встревожено их прибытием и готовится встретить их с луками и стрелами в руках, они не посмели пристать к берегу, а поплыли дальше на север и так плыли часов шесть или семь, пока не вышли в открытое море; тут они увидали, что земля, видимая с нашего острова, не материк, но также остров; по правую руку к северу они заметили еще остров, а на западе – целую группу островов, и, так как им нужно же было пристать где-нибудь, они подъехали к одному из этих западных островов и смело вышли на берег. Здесь жители обошлись с ними очень учтиво и дружественно, дали им съедобных корней и сушеной рыбы и, по-видимому, рады были их приезду; женщины наперебой с мужчинами спешили их наделить всякой едой, какую только могли добыть, и приносили ее издалека на головах.

Здесь они прожили четыре дня, расспрашивая, как умели, знаками, что за народы живут направо и налево от этого острова, и узнали, что почти везде вокруг живут свирепые и жестокие племена, питающиеся человеческим мясом. Что касается самих островитян, они объяснили знаками, что не едят ни мужчин, ни женщин, кроме тех, которых возьмут в плен на войне, но в таких случаях устраивают большой пир и съедают пленных.

Англичане спросили, когда у них в последний раз был такой пир, и дикари ответили: два месяца назад, указав сначала на луну, потом на два пальца; и еще объяснили, что их великий царь забрал на войне двести человек в плен, и теперь их всех откармливают для следующего пира. Англичанам очень захотелось взглянуть на этих пленных, и они попробовали выразить это; а дикари поняли их в том смысле, что они хотят увезти несколько человек с собой и съесть их дома, и закивали утвердительно головами, указывая сначала на закат, потом на восход; это значило, что на следующий день на рассвете они приведут гостям нескольких человек.



И действительно, на следующее утро англичанам привели пять женщин и одиннадцать мужчин для того, чтобы они взяли их с собой, как приводят на пристань быков и коров для пополнения продовольственных запасов на судне.

Как ни были бесчеловечны трое парней, предложение это возмутило их. Но отказаться от подарка было бы жестокой обидой для дикарей, а что делать с пленными, англичане не знали. Тем не менее, посоветовавшись и поспорив между собой, они решили принять дар и взамен его дали дикарям один из своих топоров, старый ключ, нож и шесть или семь пуль, назначения которых дикари не понимали, но, по-видимому, остались довольны. После этого, связав бедным пленникам руки за спиной, дикари втащили их в лодку, на которой приехали англичане.

Теперь англичанам оставалось только немедленно уехать, так как иначе дикари, предложив им такой великолепный подарок, наверное, рассчитывали бы, что их гости убьют поутру двух или трех пленных и пригласят дарителей на пиршество.

Поэтому, простившись с гостеприимными дикарями и выразив им свое почтение и признательность, насколько это возможно выразить, когда обе стороны совершенно не понимают друг друга, англичане отчалили и поплыли обратно к первому острову, а прибыв туда, выпустили восемь пленных на свободу, так как их было слишком много.

Во время пути они пытались как-нибудь объясниться со своими пленниками, но тем невозможно было ничего втолковать: что ни говорили им англичане, что ни давали, что ни делали для них, те все ждали, что белые вот-вот умертвят их. Первым делом их развязали, но бедняги стали кричать и вопить, в особенности женщины, как будто им приставили нож к горлу; они сейчас вывели заключение, что их развязали для того, чтобы убить.

Дали им есть – опять то же: они вообразили, что их кормят для того, чтобы они не спали с тела и не сделались негодными в пищу; стоило на

кого-нибудь пристально посмотреть – все остальные решали, что тот или та, на кого смотрят, кажется жирнее других, следовательно, будет первой жертвой. Даже спустя несколько дней, несмотря на доброе и ласковое обхождение с ними их новых господ, они все ждали, что те не нынче, так завтра заколют кого-нибудь из них на обед или на ужин.

Выслушав эту необыкновенную историю, испанцы спросили, где же помещены эти пленные, и, узнав, что они уже привезены на остров и находятся в одной из хижин и что англичане пришли просить провизии для них, испанцы и двое других англичан – т. е., иными словами, все поселенцы – решили пойти взглянуть на них и пошли, и отец Пятницы с ними.

Пленные сидели в хижине связанные: по выходе на берег англичане скрутили им руки, чтобы они не удрали в лодке. Все они были совершенно нагие. Трое мужчин, видные, рослые, хорошо сложенные, имели от тридцати до тридцати пяти лет от роду; из пяти женщин две были в возрасте между тридцатью и сорока годами, две – лет 24-х или 25-ти; пятой, красивой статной девушке, было не больше семнадцати лет. Все женщины были довольно красивы и телом и лицом, только смуглы: две из них, будь они белые, могли бы прослыть красавицами и в Лондоне; они выделялись среди других чрезвычайно привлекательной внешностью и скромным обхождением, в особенности потом, когда их одели и «нарядили», как они выражались, хотя наряды эти были весьма убогие.



Первым делом наши послали к ним старого индейца, отца Пятницы,

посмотреть, не узнает ли он кого-нибудь и не сумеет ли поговорить с ними. Войдя в хижину, старик долго внимательно вглядывался в их лица, но не нашел ни одного знакомого, и, кроме одной женщины, никто из пленных не понимал ни его знаков, ни его слов. Но и этого было достаточно, чтобы объяснить пленным, что они в руках христиан, которые не едят ни мужчин, ни женщин и, следовательно, могут не бояться за свою жизнь: убивать их никто не будет. Убедившись в этом, пленные стали на всякие лады выражать свою радость так неуклюже и своеобразно, что невозможно описать; они, по-видимому, принадлежали к нескольким различным племенам.

Через женщину, служившую им переводчицей, наши спросили, желают ли дикари служить им и работать на людей, которые увезли их из плена и спасли им жизнь? При этом вопросе они пустились в пляс, потом стали хватать, что попадалось под руку, и класть себе на плечи в знак того, что они охотно готовы работать.

Набольший испанец, находивший, что присутствие женщин в их среде может повести к недоразумениям, ссорам и даже кровопролитию, спросил трех англичан, как они намерены поступить с женщинами и в качестве чего оставить их у себя – в качестве служанок или жен. Один из англичан, не задумываясь, отрезал: «И тех и других». На это набольший испанец сказал: «Я не намерен стеснять вас – относительно этого вы сами себе господа; но я полагаю, будет только справедливо, если каждый из вас обяжется не брать себе в жены более одной женщины, и надеюсь, что во избежание беспорядков и ссор между вами вы исполните мое требование». Это требование показалось всем настолько справедливым, что все охотно согласились подчиниться ему.

Затем англичане спросили испанцев, желает ли кто-либо из них взять жену, но все испанцы ответили отрицательно. Некоторые сказали, что у них дома остались жены; другие – что им неприятно иметь дело не с христианками, и все единодушно заявили, что они не тронут ни одной из женщин; подобной добродетели за все свои путешествия я еще не встречал. Зато пятеро англичан взяли себе каждый по жене, я хочу сказать – временной жене, и зажили по-новому. Испанцы и отец Пятницы остались жить в моем замке, который они значительно расширили внутри; с ними жили и трое слуг, захваченных ими в последней битве с дикарями; все вместе они составляли главное ядро колонии, снабжавшее остальных пищей и помогавшее им во всем по мере сил и надобности.

Но самое удивительное в этой истории то, как эти драчуны и забияки без спора поделили между собой женщин, как, например, двое не

остановили свой выбор на одной и той же, тем более что две или три из пленниц были несравненно привлекательнее других. Но они придумали хороший способ предупредить ссору: поместили всех пятерых женщин в одной хижине, а сами пошли в другую и бросили жребий, кому первому выбирать.

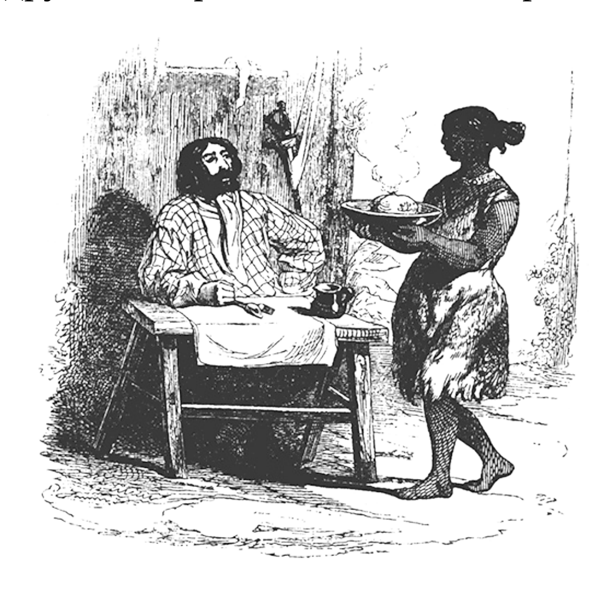
Тот, кому досталась первая очередь, вошел один в хижину, где находились бедняжки, и, выбрав себе ту, которая ему полюбилась, вывел ее на улицу. Любопытно, что именно первый выбиравший взял себе в жены из пяти самую старую и некрасивую, чему немало смеялись не только англичане, но даже степенные испанцы; однако расчет малого был далеко не глуп: он сообразил, что ему нужна не столько красивая, сколько сметливая и работящая женщина – и его жена оказалась лучшей из всех.



Поделив между собой женщин, новоприбывшие принялись за работу; испанцы помогали им, и через несколько часов для каждой отдельной семьи была готова новая хижина или шалаш. Две прежние хижины были обращены в склады земледельческих орудий, домашней утвари и провизии. Трое бродяг выбрали себе место для жилья подальше от замка; двое честных англичан, наоборот, поближе к нему, но те и другие поселились в северной части острова. Таким образом, на моем острове явилось уже три населенных пункта, или, если угодно, были заложены три города.

Здесь не мешает заметить, что, как это часто бывает на свете (какую роль играют в таком порядке вещей мудрость и воля Провидения, сказать не сумею), двум честным англичанам достались худшие жены; а троим висельникам, ни на что не годным и неспособным сделать что-либо путное даже и для самих себя, а уж для других и подавно, – этим троим достались

умные, работящие, заботливые и ловкие жены. Не то чтобы первые две были дурными женами в смысле характера или нрава – все пять были покладистые, спокойные и покорные создания, скорее рабыни, чем жены; я хочу сказать только, что они были менее понятливы, способны и трудолюбивы, чем другие, и, кроме того, не так опрятны.



Что касается троих висельников, как я справедливо их называю, они хоть и очень укротились сравнительно с прежним и не заводили теперь ссор на каждом шагу – впрочем, теперь у них и поводов к тому было меньше, – но все же не могли избавиться от одного из пороков, присущих низким людям, а именно – от лености. Правда, они сеяли ячмень и делали изгороди, но к ним можно было вполне применить слова Соломона: «Шел я мимо виноградника празднолюбца и видел, что весь он зарос терновником». Так и испанцы, когда пришли посмотреть их всходы, местами не видели злаков, так они заросли сорными травами; в изгороди были дыры, через которые на поле проникали дикие козы и съедали всходы; правда, потом эти дыры были заложены хворостом, но что значило запирать дверь в конюшню уже после того, как украдена лошадь. Наоборот, на хозяйстве двух других англичан всюду лежал отпечаток трудолюбия и заботливости, на их полях не было сорных трав, глушивших всходы, не было отверстий в изгородях; они, с своей стороны, оправдывали слова того же Соломона, сказанные в другом месте: «Прилежная рука творит богатство», у них все росло и цвело, и дом у них был полная чаша; у них и ручного скота было больше, чем у других, и орудий, и всякого домашнего скарба, да и развлечений тоже.

Правда, жены троих бездельников были очень ловки и опрятны. Они

научились поваренному искусству у одного из честных англичан, который, как я уже упоминал, был поваренком на корабле, и отлично стряпали своим мужьям английские блюда, в то время как их подруги никогда не могли постичь тайны этого искусства; бывшему поваренку самому приходилось стряпать. Что же касается мужей трех трудолюбивых женщин, то они лодырничали, доставали черепашьи яйца, ловили рыбу и птиц. Словом, всячески отлынивали от работы, отчего страдало их хозяйство. Прилежные жили хорошо и в достатке; лодыри – в нужде и лишениях; так, я думаю, всегда бывает на свете.

Теперь расскажу об одном случае, подобного которому еще не бывало ни с ними, ни со мной. Однажды рано утром к берегу подъехали пять или шесть челноков с индейцами или дикими, называйте как хотите; приехали они, конечно, с тою же целью, как и прежде, т. е. чтобы покушать человеческого мяса; это было уже не в диковинку испанцам, да и моим землякам тоже, так что они теперь уже не пугались, зная, что если дикари не заметят их, то спокойно уберутся восвояси (о том, что на острове есть жители, диким не было известно); они дали наказ всем трем поселкам смирно сидеть дома, не показываясь, и только в удобных местах выставлять часовых, которые бы оповещали, когда лодки диких отъедут от берега.

Так, без сомнения, и нужно было поступать, но в этот раз несчастная случайность испортила все дело и выдала диким тайну населенности острова, что повергло в крайнее уныние всех поселенцев. Когда лодки диких отчалил и, испанцы пошли на разведку, и один из них из любопытства предложил пойти на то место, где пировали дикари, и посмотреть, что они там делали. К великому моему удивлению, они нашли тамтрех дикарей, лежащих на земле и спавших крепким сном. Испанцы совершенно растерялись при виде их, не зная, что делать. Посоветовавшись между собой, они решили притаиться еще на время и, если возможно, дождаться, когда и эти трое уедут; но набольший испанец вспомнил, что у дикарей не было лодки и, следовательно, уехать они не могли, а если им позволить бродить по острову, они, без сомнения, откроют жилье, и тогда колонисты все равно пропали. Поэтому они вернулись через некоторое время и, застав дикарей по-прежнему спящими, решили разбудить их и взять в плен. Так и сделали и отвели пленных, к счастью, не в замок, а сначала на мою дачу, потом в жилище двух англичан. Здесь их приставили к делу, хотя делать им, собственно, было почти нечего, и уж не знаю, по небрежности ли сторожей, или потому, что они думали, что дикарям все равно некуда деваться и они сами не уйдут, но

только один из них убежал, скрылся в лесу, и больше о нем не слыхали.

Было большое основание думать, что он вскоре вернулся домой, ибо недели три спустя после его бегства на остров опять приезжали дикари, попировали два дня и уехали; должно быть, и он уехал вместе с ними. Эта мысль страшно пугала их; они думали, и не без основания, что, если беглец благополучно возвратился домой к своим, он, конечно, рассказал им, что на острове есть люди и что этих людей мало и, значит, они слабы, хотя, к счастью, ему никогда не говорили, сколько всех колонистов, не стреляли при нем из ружей и не показывали укромных мест, вроде моей пещеры.

Вскоре явилось и доказательство тому, что вышло именно так, как они предполагали: около двух месяцев спустя, с час после восхода солнца, шесть индейских пирог, в которых сидели по семи, восьми и даже десяти человек в каждой, подъехали на веслах к северному берегу острова, где они раньше никогда не приставали, и высадились приблизительно за милю от жилья двух англичан, где помещался беглец.

Колонисты страшно перепугались, спрятали в укромном месте своих жен и пожитки и велели невольнику, случайно в это время зашедшему к ним, – одному из трех, приехавших вместе с женщинами, – бежать со всех ног к испанцам, поднять тревогу и просить скорой помощи, а сами тем временем, захватив свое оружие и какие у них были боевые снаряды, отступили к тому месту в лесу, где укрылись их жены, и стали ждать. Они находились довольно далеко от своих хижин, но все же на таком расстоянии, чтобы по возможности видеть, куда направятся дикари.

С пригорка, на котором они стояли, видно было, как небольшое войско дикарей направилось прямо к их жилью, и через минуту их хижины и скирды запылали, к великому их ужасу и отчаянию – потеря была очень велика и даже невознаградима, по крайней мере в течение некоторого времени. Немного погодя индейцы, как дикие звери, рассыпались по плантации, все разоряя и обшаривая все уголки в поисках добычи и, главное, людей, о существовании которых они, по-видимому, были хорошо осведомлены.

Англичане, видя это, сочли за лучшее отойти на полмили дальше, полагая, что для них выгоднее, чтобы дикари рассеялись в разные стороны, разбившись на отдельные маленькие кучки. Теперь они остановились в самой чаще леса, где забрались в дупло огромного старого дерева и стали ждать, что будет дальше. Не успели они залезть туда, как увидали, что прямо на них бегут двое дикарей, а немного подальше еще трое, потом пятеро, и все в одну сторону; кроме того, вдали они увидали человек восемь бежавших в другом направлении; словом, дикари рыскали по всему

лесу, как охотники за дичью.



Бедняги были в большом затруднении, как поступить: оставаться ли в дупле или бежать, но долго думать было некогда: дикари, разбредясь по лесу, легко могли открыть убежище, где были спрятаны их семьи, и, если помощь не подоспеет, тогда все пропало; поэтому они решили остановить врагов, а если их набежит слишком много, вскарабкаться на дерево и стрелять по ним сверху; они были уверены, что так они продержатся, пока хватит снарядов, если только дикари не подожгут дерево снизу.

Далее они стали обсуждать, стрелять ли им в двух дикарей, бегущих впереди или подождать следующих трех и таким образом напасть на среднюю партию, разъединив группы из двух и пяти человек, и решили первых двух пропустить, если только они сами не заметят их и не нападут на них. Да первые два дикаря и сами свернули в сторону; зато вторая кучка и третья бежали прямо к дереву, словно зная, что там англичане.

Когда дикари подбежали ближе, наши разглядели, что один из них и есть беглый невольник, и решили во что бы то ни стало убить его, хотя бы для этого пришлось стрелять им обоим; один выстрелил, а другой уже нацелился, чтобы, в случае если дикарь не упадет от первого выстрела, свалить его вторым.

Но первый англичанин был слишком хороший стрелок, чтобы промахнуться, а так как дикари бежали гуськом и близко друг к дружке, то его выстрел задел сразу двоих: первый был убит наповал, пуля угодила ему

в голову; второй беглец тоже упал, раненый навылет, но не мертвый; третьему оцарапало плечо, может быть, той самой пулей, которая прошла через тело второго. Этот страшно перепугался, хотя был задет слегка, и сел на землю, издавая пронзительные вопли и стоны.

Пятеро, бежавшие позади, скорее испугавшись выстрелов, чем почуяв опасность, сначала остановились как вкопанные – надо сказать, что в лесу гулкое эхо, перекатываясь, разносит звук далеко кругом, и он кажется гораздо громче, чем есть в действительности.

К тому же выстрел переполошил множество птиц, которые с криками стали носиться взад и вперед, совсем как в момент моего первого выстрела, когда на острове впервые раздался этот звук.

Когда же все опять смолкло, дикари, не зная, что это было, и ничего не опасаясь, подошли к тому месту, где лежали их товарищи. Бедные невежественные создания не подозревали, что и им грозит та же участь, и потому столпились все возле раненого, очевидно, спрашивая, что такое с ним приключилось. Тем временем первый англичанин успел снова зарядить свое ружье, и оба, видя, что неприятель в их власти, решили стрелять разом, сговорившись предварительно, кому в кого целить. Грянули выстрелы и четверо дикарей, убитые или тяжело раненные, упали, да пятый, вовсе не задетый, но перепуганный до смерти, повалился на землю вместе с остальными.



Думая, что все враги перебиты, наши смело вылезли из дупла, не зарядив ружей, – что было большой ошибкой с их стороны, – и, придя на место, не без удивления увидали, что целых четверо живы и из них двое ранены очень легко, а третий совсем не ранен. Тут уж им пришлось пустить в ход приклады; прежде всего они добили беглого невольника,

бывшего причиной всей этой напасти, потом другого, раненного в колено, положив конец его страданиям. А тот, который вовсе не был ранен, бросился на колени и, протягивая к ним руки, с жалобными стонами, жестами и знаками умолял пощадить его жизнь.

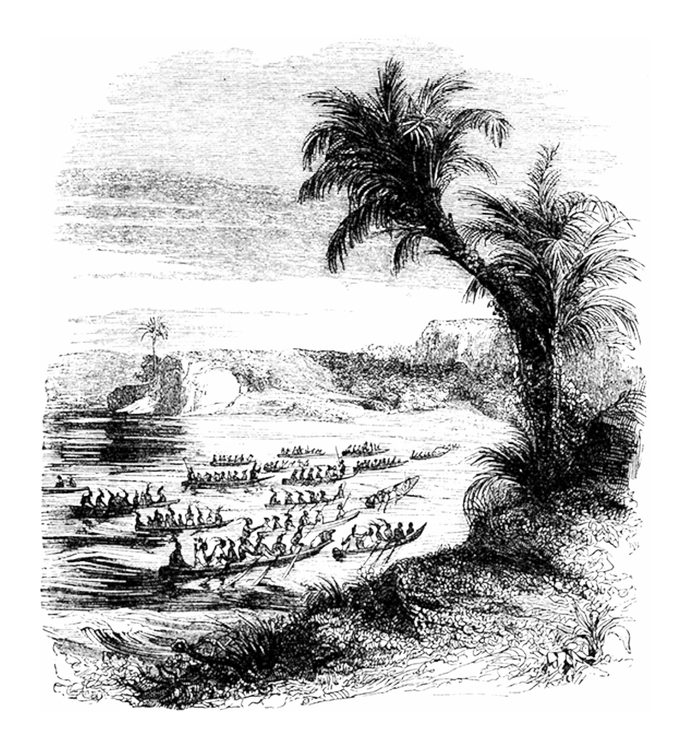
Ему знаком указали сесть на землю возле соседнего дерева, и один из англичан веревкой, случайно оказавшейся у него в кармане, крепко скрутил ему ноги и руки за спиной и привязал его к дереву; затем они оставили его и что было силы побежали в погоню за первыми двумя дикарями, боясь, как бы эта или какая-нибудь другая партия не добралась до укромного местечка в лесу, где были спрятаны их жены и немногие их пожитки. Раз они увидали двух дикарей, но только издали; зато видели, как эти дикари бежали через равнину к морю, совсем в противоположную сторону. Обрадовавшись этому, они вернулись к дереву, где оставили пленника, но уже не нашли его, а веревка, которой он был связан, лежала у подножия дерева: должно быть, его освободили товарищи.

Тут они опять пришли в недоумение, не зная, как близок от них неприятель и как велики его силы, и решили сходить в то место, где были спрятаны их жены, и узнать, все ли там благополучно. Оказалось, что дикари были в этой части леса и даже очень близко от убежища, но не нашли его; и действительно, оно было почти недоступно: деревья росли здесь такою чащей, что только знающий человек мог найти в ней дорогу. Все обстояло благополучно, только женщины, знавшие о жестокости дикарей, были страшно перепуганы. Здесь англичане дождались испанцев, явившихся к ним на помощь, в количестве семи человек; другие десять со слугами и старым Пятницей, т. е. отцом Пятницы, пошли целым скопом защищать свою дачу и находящиеся при ней поля и скот, но дикари не забрались так далеко вглубь острова. С семью испанцами был еще один из дикарей-невольников, взятых ими в плен после сражения двух враждебных племен на острове, и тот дикарь, которого англичане привязали за руки и за ноги к дереву; испанцы шли мимо и, увидав семь человек убитых, развязали восьмого и привели его с собой. Впрочем, они были принуждены снова связать его и посадить вместе с двумя товарищами беглеца в дальнюю пещеру под присмотром двух испанцев.

Двое англичан теперь набрались такой храбрости, что не могли усидеть на месте, но, взяв с собой пятерых испанцев и вооружившись четырьмя мушкетами, пистолетом и двумя толстыми дубинами, отправились разыскивать дикарей. Прежде всего они пошли к тому дереву, возле которого происходило побоище. Здесь, очевидно, уже побывала новая партия дикарей: они пытались унести трупы и два из них оттащили

довольно далеко, но потом бросили. Отсюда наши пошли на пригорок, с которого раньше смотрели, как дикари разоряли их хижины и поля; над пожарищем и теперь еще был виден дым. Отсюда они решили идти на плантацию, но, еще не доходя до нее, увидали море и дикарей, садившихся в лодки; им так и не удалось угостить уезжающих прощальным залпом.

Бедные англичане были теперь совершенно разорены: все их труды пропали даром. Однако остальные колонисты согласились помочь им отстроиться и снабдить их всем необходимым. Даже их земляки, до тех пор не обнаруживавшие никаких добрых побуждений, узнав об их несчастии, немедленно предложили свою помощь и содействие, усердно работали на постройке и вообще отнеслись к ним очень дружественно. Таким образом, бедняги в скором времени вновь стали на ноги.



С полгода прошло спокойно; затем однажды утром к острову подъехал целый флот: двадцать восемь лодок, битком набитых дикарями с луками, стрелами, палицами, деревянными мечами и тому подобным оружием; и всего этого они навезли такое множество, что повергли в ужас наших колонистов. Так как дикари высадились на берег вечером и притом в самой отдаленной, восточной, части острова, то наши могли посвятить целую ночь обсуждению вопроса, как встретить неприятеля. Зная, что наилучшей гарантией безопасности является уничтожение всех видимых следов своего присутствия на острове, они порешили прежде всего снести недавно отстроенные хижины двух англичан и угнать коз в дальнюю пещеру. Ибо

колонисты были уверены, что дикари с рассветом направятся прямо туда на охоту за старой дичью, хотя теперь они высадились не менее чем в шести милях от плантации англичан.

Как они предполагали, так и случилось: дикари направились прямо к плантации двух англичан, их было – насколько наши могли судить, – около двухсот пятидесяти человек. Наших было в сравнении с ними страшно мало, и, что хуже всего, у них даже и на это маленькое войско не хватало оружия. Их было всего, не считая женщин:

испанцев… 17;

англичан… 5;

старый дикарь, отец Пятницы… 1;

невольников, приехавших вместе с женщинами (люди испытанной верности)… 3;

других невольников, взятых в плен и живших вместе с испанцами… 3.

Итого… 29.

А оружия у них было:

мушкетов… 11;

пистолетов… 5;

охотничьих ружей… 3;

мушкетов или охотничьих ружей, отнятых мною у взбунтовавшихся моряков… 5;

сабель… 2;

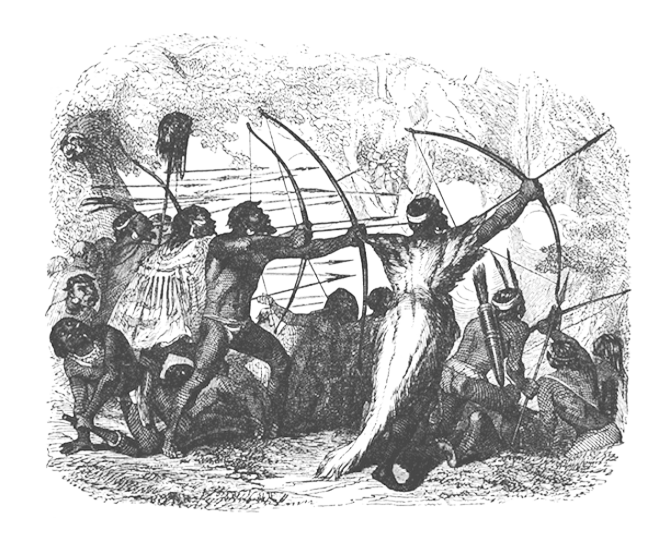
старых алебард… 3.

Итого… 29.

На невольников не хватило ружей, пришлось дать им по алебарде – длинной палке вроде дубинки с двумя железными наконечниками – и по топору; и наши все помимо ружей вооружились топорами. Из женщин две умоляли, чтобы им позволили тоже сражаться; им дали луки и стрелы, захваченные испанцами после первой битвы двух индейских племен между собою.

Командовал войском набольший испанец, а его помощником был Вильям Аткинс, человек свирепый и жестокий, но зато смелый до дерзости. Дикари наступали, как львы, и у наших не было решительно никаких преимуществ перед ними даже в смысле позиции, что было всего хуже, если не считать того, что Вилль Аткинс, оказавшийся весьма полезным человеком, засел с шестью человеками в маленькой рощице;

в качестве авангарда он и его люди получили приказ, пропустив первую партию дикарей, стрелять в самую толпу, а затем, дав залп, отступить в обход лесом и зайти в тыл испанцам, тоже залегшим в чаще.



Дикари рассыпались в разные стороны отдельными кучками, не соблюдая никакого порядка. Вилль Аткинс пропустил мимо себя человек пятьдесят, затем, видя, что остальные идут густой толпой, приказал троим из своих людей стрелять; мушкеты их были заряжены шестью-семью пулями каждый, такими же большими, как пистолетные. Сколько человек они убили или ранили, разобрать было трудно и еще труднее описать ужас и удивление дикарей: они перепугались до последней степени, слыша грохот выстрелов и видя, что их товарищи падают замертво, а иные ранены, и не понимая, откуда на них свалилась беда. Не успели они опомниться, как Билль Аткинс с другими тремя дали еще залп в самую гущу; а тем временем первые снова зарядили свои ружья и немного погодя дали третий залп.

Если бы Вилль Аткинс после этого тотчас же отступил со своими людьми, а другая партия наших была тут же и могла бы стрелять непрерывно, дикари, наверное, обратились бы в бегство, ибо страх их происходил главным образом оттого, что они не видели, кто в них стреляет, и воображали, будто сами боги казнят их громом и молнией. Но пока вторая смена с Аткинсом во главе заряжала ружья, дым рассеялся, и дикари поняли свою ошибку; а часть их, высмотрев, где скрывались белые, зашли с тылу, ранили самого Аткинса и убили своими стрелами одного из бывших с ним англичан; позже был убит еще один испанец и один из индейцев-невольников, приехавших вместе с женщинами. Теснимый таким образом, наш авангард отступил дальше в лес, вверх по склону холма;

испанцы, дав три залпа по неприятелю, также отступили, ибо дикарей было такое множество, что, хотя человек пятьдесят их было убито и столько же, если не больше, ранено, они лезли прямо на наших, презирая опасность, и осыпали их тучами стрел. Следует заметить, что их раненые – если они не были выведены из строя – сражались с особенным ожесточением, как бешеные.

Глава шестая

Новая схватка с дикими. – Умер с голоду!

Отступив, наши оставили убитых испанца и англичанина на поле сражения. Дикари самым варварским образом изуродовали трупы палицами и деревянными мечами. Они не преследовали отступавших, но, собравшись в кружок, – таков, по-видимому, их обычай, – дважды огласили воздух победными криками.

Когда испанец-главнокомандующий собрал весь отряд на возвышенности, Аткинс, несмотря на свою рану, настаивал на том, чтобы теперь, когда англичане соединились с испанцами, они все вместе двинулись дальше и напали на дикарей. Но испанец сказал: «Вы видите, сеньор Аткинс, как дерутся их раненые – не хуже здоровых; подождем до завтра; к завтрему они ослабеют от потери крови и боли; тогда у нас будет меньше врагов». Совет был хорош, но Вилль Аткинс весело возразил: «Это правда, сеньор, они ослабеют, но ведь и я ослабею оттого я и хочу драться, пока не остыл». – «Полноте, сеньор Аткинс, вы уже доказали свою храбрость; вы свое дело сделали; теперь мы будем сражаться за вас; а все-таки, по-моему, лучше подождать до утра». Так они и сделали.

Но так как ночь была светлая, лунная, а дикари рассыпались во все стороны, хлопоча около своих мертвых и раненых, спеша унести одних и помочь другим, наши потом изменили решение и постановили напасть ночью. Один из двух англичан, возле поселка которых начался бой, повел их в обход лесом и берегом; сначала они шли к западу, потом круто повернули на юг и так бесшумно подкрались к тому месту, где залегла самая густая толпа дикарей, что прежде, чем те их увидели или услышали, восемь человек наших уже дали залп, произведший страшные опустошения. Полминуты спустя другие восемь человек дали еще залп, которым снова множество дикарей были убиты и ранены; при этом они не видели, где неприятель и в какую сторону надо бежать.

Испанцы поспешили вновь зарядить свои ружья; затем наши разбились на три отряда, чтобы напасть на неприятеля разом с трех сторон. Дикари, слыша выстрелы отовсюду, сбились все в кучу в полном смятении; они бы сами стали стрелять из луков, если б видели – куда, но наши, не дав им опомниться, дали еще три залпа, потом врезались в самую гущу и стали бить их ружейными прикладами, саблями, дубинками и топорами и так хорошо их угостил и, что те с оглушительным криком и воем кинулись

спасать свою жизнь – кто куда.

Наши были жестоко утомлены – и неудивительно: в двух схватках они убили или смертельно ранили более ста восьмидесяти дикарей. Остальные, обезумевшие от испуга, мчались через лес и холмы так быстро, как только могли нести их резвые ноги, привычные к бегу, и все разом прибежали на берег моря, где они высадились и где стояли их челноки. Но с моря дул сильный ветер, так что пуститься сейчас же в обратный путь было немыслимо. Кроме того, сильным прибоем челноки вынесло так далеко на берег, что спустить их вновь на воду можно было лишь с величайшим трудом; некоторые из них даже разбились в куски о берег или друг о друга.

Наши, хотя и рады были победе, не дали себе отдыха в эту ночь; подкрепившись немного, они направились в ту часть острова, куда бежали дикари. Дойдя до места, где залегли остатки разбитой армии, они увидали еще около сотни диких; большинство их сидело на земле, скорчившись, положив руки на колени и голову на руки, так что колени их касались подбородка.



Когда наши были на расстоянии двух ружейных выстрелов, испанец приказал дать два холостых выстрела – для пробы, чтобы посмотреть, как настроены дикари: готовы ли еще драться или же до того убиты и удручены своим поражением, что совсем упали духом, – и сообразно этому действовать.

Хитрость удалась; заслышав выстрелы, дикари повскакали на ноги в страшном смятении, и, как только наши показались из-за деревьев, они с криком и воем бросились бежать и скоро скрылись из виду за холмами.

Наши вначале досадовали, что погода не позволяет дикарям сесть в лодки и уехать, опасаясь, как бы те не рассыпались по острову и не стали разорять их плантаций и разгонять коз, но Вилль Аткинс оказался

предусмотрительнее других и дал добрый совет – воспользоваться выгодами своего положения, отрезать дикарей от лодок и лишить их возможности когда бы то ни было вернуться на остров. Он говорил, что лучше иметь дело с сотней людей, чем с сотней племен, и что необходимо не только уничтожить лодки, но и перебить дикарей, иначе те их самих истребят. Его доводы были так убедительны, что все согласились с ним и принялись сначала за лодки. Набрав целую кучу хворосту, наши стали поджигать их, но дерево так намокло, что не хотело гореть. Тем не менее верхние части обуглились, и лодки уже не годились для плавания по морю. Когда индейцы увидели, что делают наши, некоторые из них выбежали из лесу и, приблизившись к нашим, упали на колени, стали кричать: «Оа, оа, Варамока» – и другие непонятные слова и жестами умоляли пощадить их лодки и дать им уехать с тем, чтобы уже никогда не возвращаться.

Но наши уже убедились, что им нет иного способа спастись самим и спасти колонию, как именно не дать дикарям вернуться. А потому, предупредив дикарей, что пощады не будет, они снова принялись за лодки и разрушили их все, кроме тех, которые еще раньше были разбиты бурей. Увидав это, дикари в лесу издали такой громкий и страшный крик, что наши слышали его совершенно явственно, и, как безумные, заметались по острову.



При всем своем благоразумии испанцы не сообразили, что, приводя в такое отчаяние дикарей, им следовало в то же время хорошенько стеречь свои плантации. Правда, дикари не добрались до главных убежищ, т. е. старого замка у холма и дальней пещеры, но все же отыскали мою дачу и все кругом опустошили – повыдергали колья из изгороди и молодые деревца, вытоптали поля, оборвали весь виноград, уже совершенно

зрелый, – словом, причинили нашим огромные убытки без всякой пользы для самих себя.

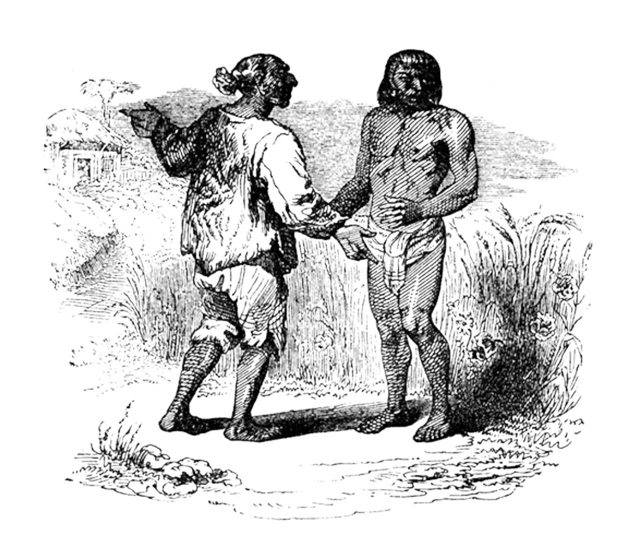
Наши готовы были сражаться с дикарями при всяких условиях, но преследовать их не могли, даже когда они попадались в одиночку: во-первых, дикари слишком быстро бегают для того, чтобы их можно было догнать, во-вторых, наши боялись пуститься в погоню за которым-нибудь одним, чтобы их в это время не окружили с тылу другие.

Обсудив свое положение, наши первым долгом решили, если возможно будет, загнать дикарей в самый дальний угол острова, юго-восточный, для того, чтобы, если на берег высадятся еще дикари, они не могли найти друг друга, а затем ежедневно охотиться за ними и убивать их, поскольку придется, чтобы уменьшить их число, и, наконец, если удастся, приручить их, дать им зерна, научить возделывать землю и жить своим трудом.

Для достижения этой цели наши стали преследовать дикарей и так запугали их, что через несколько дней стоило кому-либо из них выстрелить из ружья в индейца, как тот, даже и не раненный, валился наземь от страха. Они так смертельно боялись белых, которые каждый день охотились за ними и почти каждый день кого-нибудь убивали или ранили, что уходили все дальше и дальше, скрывались в лесах и лощинах и страшно бедствовали от недостатка пищи; многих потом находили мертвыми в лесу без малейших повреждений на теле, они погибли просто с голоду.

Узнав об этом, наши смягчились и прониклись к ним жалостью, особенно набольший испанец – удивительно добрый и великодушный человек, другого такого я не встречал; – и вот он предложил, если возможно будет, захватить которого-нибудь из индейцев живым и объяснить ему намерение белых по отношению к нему и его единоплеменникам, так чтобы он мог служить переводчиком, а затем попытаться поставить дикарей в такие условия, чтобы они и сами могли жить и нам не вредили.

Долго никто из индейцев не попадался, но наконец одного, ослабевшего и еле живого от голода, удалось захватить в плен. К нему направили старого Пятницу (т. е. отца Пятницы), и тот объяснил ему, что белые хотят оказать им милость и не только пощадить их жизнь, но и дать им кусок земли, зерна на посев и хлеба для пропитания под условием, что они, со своей стороны, обязуются не выходить из отведенных им пределов, не приближаться к владениям белых и не вредить им. Старый Пятница велел индейцу вернуться к своим единоплеменникам и переговорить с ними, предупредив, что, если они не согласятся, их всех перебьют.



Бедняги, совершенно присмиревшие, – да и оставалось их немного, всего около двадцати семи человек, – согласились с первого слова и попросили дать им поесть чего-нибудь. Тогда двенадцать испанцев и двое англичан, вооружившись и взяв с собой трех индейцев-невольников и старого Пятницу, отправились к ним. Три индейца-невольника снесли им большой запас хлеба и вареного рису, высушенного на солнце, и, кроме того, отвели к ним трех коз. Затем им было велено отойти на склон холма, где они уселись на землю и с благодарностью уничтожили данную им провизию. Впоследствии дикари эти свято держали свое обещание и никогда не приближались к жилью белых, за исключением тех случаев, когда приходили просить съестных припасов или указаний. Так они и жили на своем участке, когда я приехал на остров и посетил их.

Их научили сеять и жать, печь хлебы, приручать и доить коз; теперь им нехватало только жен, чтобы разрастись в целое племя. Наши научили их делать деревянные заступы – вроде того, какой я себе сделал, дали им дюжину топоров и три или четыре ножа; все они оказались удивительно кроткими и наивными, как малые дети.

С этих пор и до моего приезда, т. е. в течение двух лет, дикари совершенно не тревожили нашей колонии. Правда, время от времени к берегу подъезжало несколько челноков, и дикари справляли на берегу свои бесчеловечные праздники; но так как они принадлежали к различным племенам и, может быть, даже не слыхивали о том, что сюда приезжало большое войско, и о том, зачем оно сюда приезжало, – то и не разыскивали своих земляков, да если бы и стали разыскивать, найти их было не так-то легко.

Итак, я дал, как мне окажется, полный отчет обо всем, что случилось на острове до моего возвращения, по крайней мере, обо всем, заслуживающем

внимания.

Дикари, или индейцы, очень скоро цивилизовались под влиянием колонистов, и последние часто посещали их, но индейцам под страхом смерти был запрещен вход во владения белых; они боялись, как бы те снова не предали их. Замечательно, что дикари оказались наиболее искусными по части плетения корзин и скоро превзошли своих учителей.



Мой приезд очень облегчил положение дикарей, ибо я снабдил их ножами, ножницами, заступами, лопатами, кирками и всякими нужными для них орудиями. С помощью этих орудий они изловчились устроить очень красивые хижины или дома, обнесенные кругом плетнем или же с плетеными, как у корзин, стенами. Это было очень остроумно, и хотя постройки имели странный вид, но служили прекрасной зашитой как от жары, так и от всяких зверей и насекомых. И наши были так довольны этими хижинами, что приглашали к себе дикарей и приказывали выстроить для себя такие же. Когда я отправился посмотреть английские поселки, то мне издали показалось, что передо мною большие пчелиные ульи. А Вилль Аткинс, сделавшийся теперь очень работящим, полезным и трезвым малым, выстроил себе такую плетеную хижину, какой, я думаю, и не бывало на свете. Этот человек обнаружил вообще большую изобретательность даже в таких вещах, о которых он раньше не имел никакого понятия: он сам устроил себе кузницу с двумя деревянными мехами для раздувания огня, сам нажег себе угля для кузницы и сделал из железного лома наковальню. При помощи этих приспособлений он выковал много различных вещей, особенно крючков, гвоздей, скоб, болтов и петель. Никто в мире не видел, должно быть, таких прекрасных плетеных построек, какие были у него.

Глава седьмая

Жилище Вилля Аткинса, раздача вещей

В этом огромном пчелином улье жили три семьи: Вилль Аткинс, его товарищ и жена убитого третьего англичанина с тремя детьми (третьим она была беременна, когда погиб ее муж). Товарищи ее мужа охотно делились с нею хлебом, молоком, виноградом, а также дикими козлятами и черепахами, если им случалось убить или найти их. Так все они жили согласно, хотя и не в таком достатке, как семьи двух других англичан, как было уже упомянуто мною.

Что касается религии, то я не знаю, право, было ли у них что-либо подобное, хотя они часто напоминали друг другу о существовании Бога очень распространенным моряков способом, т. е. клянясь его именем. И их бедные, невежественные дикарки-жены немного выиграли от того, что были замужем за христианами, как мы должны их называть. Они и сами очень мало знали о Боге и потому были совершенно неспособны беседовать со своими женами о Боге и вообще о религии.

Чему жены действительно научились от них, так это сносно говорить по-английски, и все их дети, которых было в общем около двадцати, с самых ранних лет начинали говорить по-английски, хотя в первое время и говорили ломаным языком, подобно своим матерям. Во время моего приезда на остров старшим из этих ребят было лет по шести. Матери их были рассудительные, спокойные, работящие женщины, скромные и учтивые; они охотно помогали друг другу, были очень внимательны к своим господам – не решаюсь назвать их мужьями – и покорны им. Оставалось только просветить их светом христианской веры и узаконить их браки.

Рассказав о колонии вообще и о пяти англичанах-бунтарях в частности, я должен теперь сказать несколько слов об испанцах, которые составлял и ядро всей этой семьи и в жизни которых тоже было много достопримечательных событий.

Я часто беседовал с ними о том, как им жилось у дикарей. Они признавались мне, что за все время плена они ни в чем не проявили находчивости и изобретательности, что в плену они представляли собой горсть бедных, несчастных отверженцев и, если бы даже у них явилась возможность улучшать свое положение, они не сумели бы им воспользоваться, ибо они до такой степени предались отчаянию и так

ослабели духом под гнетом своих несчастий, что не ждали уже ничего, кроме голодной смерти. Один из них, серьезный и умный человек, сказал мне, что теперь он убедился в своей неправоте и понял, что людям мудрым не подобает предаваться отчаянию и всегда нужно обращаться к помощи разума для облегчения настоящего и обеспечения лучшего будущего. Он сказал мне, что уныние есть самое безрассудное чувство, ибо оно направлено на прошлое, которого невозможно ни вернуть, ни поправить, и пренебрегает будущим, убивает охоту искать улучшения нашей участи. Тут он привел одну испанскую поговорку, которую можно перевести так: «Сокрушаться в горе – значит увеличивать его вдвое».

Он восхищался моим трудолюбием и изобретательностью, проявленной мной в положении, казалось, безвыходном, заметив, что, по его наблюдениям, англичане обнаруживают в затруднительных случаях несравненно больше присутствия духа, чем какая-либо другая нация. Зато его несчастные соотечественники да еще португальцы совершенно не приспособлены к борьбе с невзгодами, ибо при всякой опасности, после первого же усилия, если оно закончилось неудачей, они тотчас же падают духом, приходят в отчаяние и гибнут, вместо того чтобы собраться с мыслями и придумать способ избавиться от опасности.

Тяжело было даже слушать их рассказы об испытанных ими бедствиях. Иногда они по нескольку дней сидели без пищи, так как на острове, где они находились, население вело чрезвычайно праздный образ жизни и потому было гораздо меньше обеспечено необходимыми средствами к жизни, чем другие племена в этой части света. Тем не менее эти дикари были менее хищными и прожорливыми, чем те, у которых было больше пищи.

Затем они рассказали мне, как дикари потребовали, чтобы пленники вместе с ними ходили на войну. Но, не имея пороха и пуль, они оказались на поле сражения в еще худшем положении, чем сами дикари, так как у них не было луков и стрел, а если дикари снабжали их луками, то они не умели пользоваться ими, так что им оставалось только стоять и подставлять свое тело под стрелы врагов до тех пор, пока дело не доходило до рукопашной.

Тогда испанцы пускали вход алебарды и пики, которыми служили у них заостренные палки, вставленные в дула ружей; иногда им удавалось обращать в бегство этим оружием целые армии дикарей.



С течением времени они научились делать из дерева большие щиты, которые обтягивали шкурами диких зверей и закрывались этими щитами от стрел дикарей. Несмотря на это, иногда они подвергались большой опасности. Однажды пятеро из них были сбиты с ног дубинами дикарей, один при этом взят в плен. Это был тот испанец, которого я выручил. Сначала они считали его убитым, но когда узнали, что он взят в плен, были крайне опечалены этим и охотно готовы были пожертвовать своей жизнью, лишь бы освободить его.

Они очень трогательно описывали, как они были обрадованы возвращением их приятеля и собрата по невзгодам, которого считали съеденным кровожадными дикарями, и как были поражены, увидав присланные мною съестные припасы и хлеб, которого они не видывали с тех пор, как попали в это проклятое место. Они говорили, что им очень хотелось бы выразить свою радость при виде лодки и людей, готовых отвезти их к тому человеку и в то место, откуда им были присланы все эти припасы, но что ее невозможно описать словами, ибо их восторг выражался в таких диких и бурных формах, что граничил с сумасшествием. Я вспомнил о восторгах Пятницы при встрече с отцом, о восторгах спасенного мной экипажа горевшего судна, о радости капитана корабля, освобожденного на необитаемом острове, где он рассчитывал найти гибель; вспомнил свою собственную радость при освобождении из 28-летнего заключения на острове. Все это еще больше расположило меня к беднягам и внушило еще больше сочувствия к их невзгодам.

Подробно изложив положение дел на острове, я теперь должен вкратце рассказать о том, что я сделал для его обитателей и в каком состоянии оставил этих людей. Я вступил в серьезный разговор с испанцем, которого я считал набольшим, относительно их пребывания на острове. Я заявил

ему, что приехал для того, чтобы устроить их, а не для того, чтобы выселить, что привез с собой много различных вещей для них, что я постараюсь снабдить их всем необходимым по части жизненных удобств и самозащиты и что, кроме того, со мной приехало несколько человек, которые согласны войти в их семью и, в качестве ремесленников, могут оказать им немало услуг, снабдив их как раз теми вещами, в каких у них до сих пор чувствовался недостаток. Для этого разговора я собрал их всех вместе и, прежде чем вручить им привезенные мною вещи, спрашивал каждого поодиночке, забыли ли они свои первоначальные раздоры и могут ли, пожав друг другу руку, вступить в тесную дружбу в сознании общих интересов, так чтобы не было больше ни недоразумений, ни зависти.



Вильям Аткинс искренно и добродушно возразил, что у них было слишком достаточно испытаний, чтобы отрезвиться, и слишком много общих врагов, чтобы сделаться друзьями. За себя лично он может заявить, что ему очень хотелось бы жить со всеми в мире и дружбе и он готов на все, чтобы убедить в этом других. Что же касается возвращения в Англию, то он и не думает о том и ему все равно, хоть еще двадцать лет не ездить туда.

Испанцы же заявили, что хотя они обезоружили и исключили из своей среды Вильяма Аткинса и двух его земляков за дурное поведение, но он так храбро сражался в большой битве с дикарями и еще во многих других случаях выказал столько усердия и преданности общим интересам, что они забыли о прошлом. По их мнению, он столь же достоин чести носить оружие, как и все другие, и вполне заслужил, чтобы я наравне с другими снабдил его всем необходимым. Сами они уже выразили ему свою признательность тем, что избрали его помощником набольшего испанца,

правителя острова. И так как они питают доверие к нему и его землякам, то они рады случаю заявить, что они ни в чем не хотят обособляться и что у них интересы общие.

После этих искренних и открытых изъявлений дружеских чувств мы решили на следующий день пообедать всем вместе и устроить роскошный пир, за которым от души предавались невинному веселью. Я распаковал привезенные мною вещи – полотно, сукно, башмаки, чулки, шляпы – и во избежание споров при разделе показал, что их хватит на всех. Затем, распределив все это между присутствующими, я представил им привезенных мною людей, особенно портного, кузнеца и двух плотников, нужда в которых очень чувствовалась в колонии, и прежде всего своего «мастера на все руки», который был им как нельзя более кстати. Портной, в доказательство своей готовности быть полезным колонистам, тотчас же принялся за работу и первым делом сшил каждому по рубашке. Сверх того, он не только выучил женщин владеть иголкой, шить и стегать, но также заставил их помогать шить рубашки для их мужей и всех прочих. Плотники же разобрали на части грубую, неуклюжую деревянную мебель, сделанную мною, и превратили ее в хорошие столы, табуретки, кровати, шкафы, поставцы для посуды, полки и всякие другие нужные вещи.



После этого я вынул весь свой запас инструментов и дал каждому по заступу, лопате и граблям (борон и плугов у нас не было) и каждому поселку по кирке, лому, плотничьему топору и пиле, объявив, что в случае порчи или поломки все эти орудия должны быть без проволочки заменены новыми из оставленного мною запаса. Гвозди, скобы, крючки, долота, ножи, ножницы и всякого рода инструменты и железные вещи должны быть выдаваемы по мере надобности безо всякого ограничения. А для

кузнеца я оставил про запас две тонны недоработанного железа.

Привезенный мною запас пороха и оружия был так велик, что поселенцы могли только прийти в восторг. Теперь они имели возможность разгуливать в случае надобности с двумя ружьями за плечами, как это делывал я, и сражаться хоть с тысячью дикарей, лишь бы только им удалось занять сколько-нибудь выгодную позицию, что опять-таки не представляло особенных затруднений.

Я взял с собою на берег юношу, мать которого умерла с голоду, и служанку. Это была опрятная, благовоспитанная и благочестивая девушка; она держала себя так мило, что и с нею все были ласковы и каждый старался сказать ей ласковое слово. Спустя некоторое время, видя, что на острове все устраивается так хорошо и что он находится на пути к процветанию, и приняв во внимание, что у них нет ни дел, ни связей в Ост-Индии и что для них не имеет никакого смысла пускаться в столь дальнее путешествие, оба они попросили у меня разрешения остаться на острове и войти в мою семью, как они выражались.

Я охотно согласился на это. Им отвели небольшой участок земли, на котором они выстроили три шалаша или хижины, оплетенных вокруг и огороженных палисадами наподобие хижин Аткинса, плантация которого прилегала к ним. Другие два англичанина перенесли свой поселок в то же место, и остров разделился на три колонии. Первую составлял поселок испанцев, где жили также старый Пятница и первые слуги, на месте моего старого жилища, у подножия холма. Этот поселок был как бы столицей острова. Не знаю, найдется ли где-нибудь на свете другое селение, так же хорошо запрятанное в лесу.

Глава восьмая

Совещание

Другую колонию представлял поселок Вилля Аткинса, где жили четверо оставленных мною на острове англичан с их женами и детьми, три диких невольника, вдова и дети убитого англичанина, юноша и служанка, которую еще до нашего отъезда выдали замуж. Тут же находились оба плотника и портной, купец и тот человек, которого я прозвал «мастером на все руки». Он один стоил двадцати человек, ибо он был не только ловким и находчивым, но также и чрезвычайно веселым малым. Перед моим отъездом мы женили его на девушке, которую мы взяли к себе на корабль вместе с юношей и о которой я уже говорил.

Раз я уже заговорил о свадьбе, здесь будет к месту упомянуть и о французском священнике сгоревшего корабля, которого я взял с собой. Он был католик, но нужно отдать ему справедливость – это был серьезный, разумный, благочестивый и глубоко верующий человек. Он был строг к самому себе, делал много добра и мог служить во всех отношениях благим примером. Мы условились, что я свезу его в Ост-Индию, и во время пути я с чрезвычайным интересом беседовал с ним. Он рассказал мне о своей жизни и о приключениях, и его рассказ весьма заинтересовал меня. Особенно любопытно было то, что он пять раз садился на корабль и пять раз должен был пересаживаться и так и не попал в то место, куда направлялись корабли, на которых он ехал.



Но я не хочу уклоняться от предмета, рассказывая истории, не

имеющие никакого отношения к моей собственной, и возвращаюсь к положению дел на острове. В один прекрасный день священник пришел ко мне и сообщил с очень серьезным видом, что он уже в течение нескольких дней искал случая переговорить со мной в надежде, что его намерения до некоторой степени могут способствовать осуществлению главной цели и моих стремлений – благоденствию моей новой колонии – и, может быть, будут способствовать тому, чтобы на нее снизошло благословение Божие. «Три вещи, – сказал он, – по-моему, препятствуют этому, и мне хотелось бы, чтобы они были устранены. Здесь есть четыре англичанина, которые взяли себе в жены дикарок, не вступая, однако, с ними в законный брак, как этого требуют законы божеские и человеческие, и живут в прелюбодеянии. Я знаю, вы возразите мне на это, что здесь не было ни священника, ни духовного лица какого-либо вероисповедания, которое могло бы совершить обряд, а также не было перьев, чернил и бумаги, чтобы написать брачный договор и подписать его. Я знаю также, что говорил вам об этом набольший испанец, т. е. какое соглашение состоялось между ними перед выбором жен; я знаю, что они уговорились выбрать каждый одну и только с нею жить. Но все-таки это не брак, не договор с женами, взятыми с их согласия, а просто соглашение между мужчинами во избежание раздоров. Поэтому, когда им вздумается или если представится случай, они могут бросить этих женщин, отречься от своих детей, оставить их на произвол судьбы, взять других женщин и жениться на них при жизни первых». И он, разгорячившись, воскликнул: «Неужели вы думаете, сэр, что такое своеволие и беззаконие может быть угодно Богу? И как может благословение Божие снизойти на ваши начинания, как бы ни были они хороши сами по себе и как бы ни были искренни наши добрые намерения, пока вы позволяете этим людям – в настоящее время вашим подданным, находящимся в полной вашей власти и подчинении, – открыто совершать прелюбодеяние?»

Чтоб отделаться от слишком ревностного молодого священника, я сказал ему, что все эти браки были заключены без меня, что с тех пор прошло уже много лет и теперь поправлять дело поздно. «Сэр, – возразил он, – в этом вы правы – все это произошло в ваше отсутствие, и вы не можете отвечать за них. Но прошу извинения за вольность – умоляю вас, не льстите себя надеждою, что это избавляет вас от обязанности сделать теперь все зависящее от вас, чтобы положить конец греху. Кто виноват в прошлом, тот за него и ответит, но ответственность за будущее всецело падает на вас, ибо положить этому конец бесспорно в вашей власти и никто не может этого сделать, кроме вас»



Я понял его в том смысле, что «положить этому конец» – значит разлучить англичан с их женами-дикарками и не позволить им дольше жить вместе, и сказал, что этого я ни в коем случае не могу сделать, ибо против меня восстанет все население острова. Священник, по-видимому, удивился, что я так ложно истолковал его мысль.

– Нет, сэр, – сказал он, – я вовсе не хочу, чтобы вы разлучали их; я только хочу, чтобы вы теперь заставили их вступить в законный и действительный брак. Я мог бы сам их повенчать, и совершенный мною обряд венчания был бы действителен в глазах даже и вашего закона, но, может быть, их трудно будет убедить согласиться на это. Если же вы соедините их – я говорю о письменном договоре, подписанном мужчиной, женщиной и всеми присутствующими свидетелями, – этот брак может быть также нерушим и перед Богом и перед людьми и будет признан действительным законами всех европейских государств.

Я был поражен, видя в нем столько истинного благочестия и неподдельного рвения, – не говоря уже о необычном беспристрастии, высказанном им в отношении своей собственной церкви, – и такое горячее желание удержать от нарушения законов Божеских людей, не только не близких ему, но даже совершенно незнакомых. Я сказал ему, что, по-моему, все высказанное им справедливо и доказывает в нем большую доброту, что я повидаюсь с англичанами и переговорю с ними, но не вижу причины, почему бы им не повенчаться у него; ведь мне известно, что брак, заключенный им, будет считаться в Англии таким же действительным, как если бы обряд венчания совершил один из наших

священников.

Затем я попросил его изложить другое обстоятельство, препятствующее благоденствию моей колонии, выразив ему признательность за первое указание. На это он сказал мне, что мои английские подданные, как он называл их, прожив со своими женами семь лет, научили их говорить по-английски и даже читать, из чего он заключает, что они женщины способные и понятливые, но до сих пор не дали им никакого понятия о христианской религии и даже о том, что существует Бог и религия и как надо служить Богу, даже не объяснили им, что идолопоклонство, служение неведомо каким богам – ложная религия и нелепость. Это, по его словам, было с их стороны непростительною небрежностью, за которую они, без сомнения, ответят перед Богом, и, быть может, им и не дано будет совершить дело обращения, ибо они показали себя недостойными. Он говорил с большой теплотой и сердечностью. «Я уверен, – говорил он, – что если бы эти люди жили в дикой стране, откуда родом их жены, дикари приложили бы гораздо больше стараний к тому, чтобы обратить их в идолопоклонство и научить их служить диаволу, чем кто-либо из них – по крайней мере, насколько я могу судить, – к тому, чтобы научить своих жен познанию истинного Бога. А между тем оба мы будем одинаково рады, если слуги диавола и пребывающие в царстве его постигнут хотя главные основы христианской религии – если они наконец услышат о Боге, об искупителе, о воскресении мертвых и будущей жизни – словом, о том, во что мы оба верим; во всяком случае, они тогда будут ближе к вступлению в лоно истинной церкви, чем теперь, когда они открыто предаются идолопоклонству и служат диаволу».

Я не мог дольше выдержать и, заключив его в свои объятия, с жаром воскликнул: «Как же я был далек от понимания самых существенных обязанностей христианина, а именно – ставить выше всего интересы христианской церкви и спасение души ближнего! Я почти и не знал, что значит быть христианином». – «О сэр, не говорите так; в этом вы не виноваты». – «Нет, не виноват, но почему же я не принимал этого так близко к сердцу, как вы?» – «И «теперь еще не поздно; не спешите осуждать себя». – «Но что же можно сделать теперь? Вы видите, я уезжаю». – «Даете вы мне разрешение переговорить с этими беднягами?» – «Конечно, от всей души, я заставлю их принять к сведению то, что вы им скажете». – «Что касается этого, мы должны предоставить их милосердию нашего Спасителя; но наше дело помочь им, ободрить их и научить».



Тут он перешел к изложению своего третьего упрека: «Все христиане, к какой бы церкви, действительной или мнящей себя церковью, они ни принадлежали, ставят – должны были бы поставить – себе за правило, что христианство надо распространять всеми возможными средствами и при всяком возможном случае. Следуя этому правилу, наша церковь шлет миссионеров в Индию, Персию и Китай, и наше духовенство, даже высшее, добровольно предпринимает самые рискованные путешествия и поселяется в самых опасных местностях, среди варваров и убийц, чтобы учить их познанию истинного Бога и приводить их в христианскую веру. В настоящее время, сэр, вам предоставляется возможность привести тридцать шесть или даже тридцать семь бедных дикарей-идолопоклонников к познанию истинного Бога, их творца и искупителя, и я удивляюсь, как вы можете упускать случай сделать такое доброе дело, на которое стоит положить целую жизнь». Он предоставлял моей совести решить: разве не стоит рискнуть всем, что мне еще осталось на свете, ради спасения тридцати семи человеческих душ? Я не принимал этого так близко к сердцу, как он, и потому возразил: «Видите ли, сэр, это, конечно, почтенное дело быть орудием Божьей воли и способствовать обращению в христианство тридцати семи язычников; но ведь вы духовное лицо и предались душой этому делу, так что оно вам кажется входящим в состав обязанностей, налагаемых на вас вашей профессией; почему вы сами не возьметесь за него, а предлагаете это сделать мне?»

При этих словах он круто повернулся ко мне на ходу и, неожиданно остановившись, отвесил мне низкий поклон, говоря: «От всего сердца благодарю Бога и вас, сэр, за такой явный призыв к такому благому и

славному делу; если вы слагаете его с себя и предоставляете мне, я принимаю с величайшей готовностью и буду считать это достаточной наградой за все случайности и опасности трудного и рискованного путешествия, которое мне не удалось довести до конца. Но раз вы оказываете мне честь возложить на меня это дело, я имею к вам небольшую просьбу». – «Что такое?» – спросил я. «Оставьте мне вашего Пятницу, чтобы он помогал мне и переводил им мои слова, ибо без посторонней помощи я не могу говорить с ними, и они со мной».

Эта просьба задела меня за живое; я не мог и подумать о том, чтобы расстаться с Пятницей, – по многим причинам. Он сопровождал меня во всех моих путешествиях; он был не только предан мне, но и сердечно привязан ко мне, и я решил основательно обеспечить его на случай, если он переживет меня, что было весьма вероятно. Далее, я воспитывал Пятницу в духе протестантства, и, если его теперь заставят перейти в католичество, он совсем растеряется; я знал, что он, пока жив, ни за что не поверит, что его старый хозяин – еретик и будет осужден на вечные муки; в конце концов это может перевернуть вверх дном все его взгляды и принципы, и бедняга, пожалуй, опять вернется к поклонению идолам. Поэтому я сказал священнику, что мне весьма нежелательно было бы расставаться с Пятницей, тем более что я обещал никогда не отпускать его от себя и он, с своей стороны, обещал и обязался никогда не покидать меня, если я сам не отошлю его. Священник был этим, по-видимому, сильно смущен; действительно, при таких условиях у него не было доступа к этим беднягам, так как он не понимал ни слова из того, что они говорили, а они – ни слова из его речей; чтобы устранить это затруднение, я сказал ему, что отец Пятницы знает по-испански – он тоже понимал этот язык – и будет служить ему переводчиком. Это его значительно успокоило, и теперь уже невозможно было разубедить его: он твердо решил остаться на острове и попытаться обратить дикарей в христианство. Но Провидение дало всему этому делу иной и более счастливый оборот.

Возвращаюсь к первому предположению священника. Когда мы пришли к англичанам, я собрал их и стал говорить им о том, какую неправедную и нехристианскую жизнь они ведут, как на это уже обратил внимание прибывший со мной священник, и первым делом спросил их, женаты они или холосты. Оказалось, что двое из них были вдовы, а остальные трое холосты. Тогда я спросил, как они решились взять этих женщин и называть их своими женами и прижить с ними столько детей, не будучи на них женаты законным порядком. Все они ответили именно так, как я и ожидал, то есть что поженить их было некому, что они согласились

перед губернатором содержать этих женщин как своих жен и полагали, что заключенные ими таким образом браки также законны, как если бы их венчал священник с соблюдением всех возможных формальностей.



Я сказал им, что, без сомнения, перед Богом эти женщины – их жены и они, по совести, обязаны обращаться с ними как с женами, но человеческие законы иные, и, воспользовавшись этим, они могут впоследствии бросить этих бедных женщин и детей. Далее, я прибавил, что, пока я не буду убежден в честности их намерений, я не могу ничего сделать для них, и если они не дадут мне какого-либо удостоверения в том, что они женятся на этих женщинах, я не считаю возможным позволить им продолжать жить с ними, как мужья и жены.

Как я ожидал, так и вышло: Вилль Аткинс, который, по-видимому, говорил от лица остальных, объявил, что они любят своих жен не меньше, чем если бы те были их соотечественницами, и ни в каком случае их не покинут. Священника не было подле меня, но он был неподалеку, и я, чтобы испытать Аткинса, сказал ему, что со мной есть священник и, если он говорит искренно, этот священник может повенчать его и его товарищей хоть завтра же, и просил его подумать об этом и переговорить с остальными. Аткинс возразил, что ему лично думать нечего – он хоть сейчас готов венчаться и полагает, что и все остальные скажут то же. На этом мы и расстались: я вернулся к своему священнику, а Вилль Аткинс пошел толковать с земляками. Я не успел еще сойти с их земли, как англичане все вместе пришли ко мне и сказали, что они обсудили мое предложение и очень рады слышать, что при мне есть священник, что они охотно готовы исполнить мое желание венчаться, когда мне будет угодно,

так как они вовсе не хотят расставаться с своими женами и брали их с самыми честными намерениями. Я назначил им прийти ко мне на следующее утро, а до тех пор объяснить своим женам значение брачного обряда, и что его следует выполнить не только ради приличия, но также и для того, чтобы их мужья уже ни под каким видом не могли их покинуть. Женщины легко усвоили себе все это и остались очень довольны.

Глава девятая

Обращение Вильяма Аткинса. – Свадьба. – Беседа

На следующее утро все англичане явились в отведенное мне помещение, где их уже ожидал священник. Подойдя к ним, он сказал им, что я изложил ему все обстоятельства дела и их теперешнее положение, что он охотно выполнит свою обязанность и повенчает их, как я того желаю, но, прежде чем совершить обряд, просит позволения побеседовать с ними. И он сказал им, что в глазах света и общества жизнь, которую они вели до сих пор, неприлична и греховна и что им необходимо положить ей конец, либо повенчавшись, либо расставшись со своими женами; что он не сомневается в искренности их согласия венчаться, но что тут представляется затруднение, которое он не знает, как устранить. Закон о браках христиан не дозволяет лицам христианского вероисповедания вступать в брак с дикарями, идолопоклонниками и язычниками, а между тем теперь остается слишком мало времени для того, чтобы попытаться убедить их жен креститься и принять христианство, тем более что он сомневается даже, слышали ли они когда-нибудь о Христе, а без того их крестить невозможно. Он сильно подозревает, что и сами они плохие христиане, малоусердные к своей религии и имеющие весьма слабое представление о Боге и путях Божиих, и потому нельзя ожидать, чтобы они много беседовали об этом со своими женами до сих пор; но теперь они должны обещать ему приложить все старания к тому, чтобы убедить своих жен принять христианство и, по мере своих сил и возможности, научить их познанию и вере в Бога, сотворившего их, и во Христа-искупителя – иначе он не может повенчать их.

Все это они выслушали очень внимательно и сказали мне, что все, что говорил джентльмен, сущая правда, что они действительно сами плохие христиане и никогда не говорили с своими женами о религии. «Да и подумайте, сэр, – вставил слово Вилль Аткинс, – как нам учить их религии? Ведь мы сами ничего не знаем. И потом, если б мы начали говорить с ними о Боге и Иисусе Христе, о небе и аде, они бы настолько высмеяли и спросили бы, верим ли во все это мы сами; а скажи мы им, что мы верим во все, о чем говорим, – например в то, что добрые люди идут на небо, а злые – к диаволу, – они бы, конечно, спросили, куда же мы сами намерены попасть – мы, верящие во все это и все-таки остающиеся злыми; ведь они же видят, какие мы. Одного этого довольно, чтобы сразу внушить

им отвращение к религии. Нет, знаете, сэр, надо прежде самому стать религиозным, а потом уже браться учить других». – «Что же, Аткинс, я думаю, что твои слова справедливы, даже слишком справедливы», – сказал я и передал их священнику, который горел нетерпением узнать, в чем дело. «О! – воскликнул он. – Скажите ему, что, если он искренно раскаивается во всем, что он сделал дурного, его жене не нужно лучшего учителя, ибо научить других раскаянию может только тот, кто искренно кается сам. Пусть он только раскается, и тогда он сумеет объяснить своей жене, что есть Бог и что он не только справедливый воздаятель за добро и зло, но также существо милосердное, запрещающее мстить за обиды, что он бесконечно добр, долготерпелив и многомилостив и хочет не смерти грешника, но его покаяния и жизни; что он часто долго терпит и попускает злым и даже откладывает осуждение до последнего дня, когда каждому воздается по делам его; что если праведники не получают награды, а грешники – кары, пока не перейдут в иной мир, это-то и доказывает существование Бога и будущей жизни. А от этого он незаметно перейдет к учению о воскресении мертвых и Страшном суде. Пусть он только сам раскается, и он будет превосходным учителем для своей жены».



Все это я повторил Аткинсу, который выслушал меня очень серьезно и, как легко можно было заметить, был этим сильно взволнован. «Все это мне было известно и раньше, – сказал он, – и еще многое другое, но у меня не хватало бесстыдства проповедывать это своей жене, когда Бог и моя совесть знают, что я жил так, как будто никогда не слыхал о Боге и о будущей жизни; да и жена моя сама была бы свидетельницей против меня. Что уж тут говорить о раскаянии! (Он глубоко вздохнул, и слезы выступили на его глазах.) Для меня все кончено!»

Я перевел его ответ священнику слово в слово. Этот добрый

благочестивый человек тоже не мог удержаться от слез, но, совладав с собою, сказал мне: «Предложите ему только один вопрос: доволен ли он тем, что ему уже поздно каяться, или же огорчен этим и желал бы, чтобы это было иначе?» Я прямо так и спросил Аткинса, и тот с жаром воскликнул: «Разве может человек быть доволен, зная, что ему предстоит вечная гибель?»

Когда я передал все это священнику, он с глубокой грустью на лице покачал головой и, быстро обернувшись ко мне, сказал: «Если так, можете уверить его, что еще не поздно; Христос ниспошлет в его душу раскаяние, а нам, слугам Христовым, заповедано проповедовать милосердие во все времена от имени Христа-Спасителя всем, кто искренно кается; значит, никогда не поздно раскаяться».

Я все это сказал Аткинсу, и он выслушал меня очень внимательно, но не стал слушать дальнейших речей священника, обращенных к его товарищам, а сказал, что пойдет и поговорит с женой. Говоря с остальными, я заметил, что они были поразительно невежественны по части религии и в этом отношении очень напоминали меня в то время, как я убежал из отцовского дома; однако же никто из них не уклонялся от беседы, и все торжественно обещали переговорить с женами и попытаться убедить их перейти в христианство.

Взяв с них такое обещание, священник тут же повенчал три пары, а Вилль Аткинс с женой все не являлись. Священнику очень хотелось знать, куда девался Аткинс, и он, повернувшись ко мне, сказал: «Умоляю вас, сеньор, пойдемте посмотрим, где они; я уверен, что этот бедняга уже сидит где-нибудь с своей женой и учит ее познанию истинного Бога». Мне сдавалось то же, и мы пошли вместе. Я повел его никому, кроме меня, не известной тропинкой, через самую чащу леса, откуда сквозь густую листву даже трудно было рассмотреть, что делается снаружи; а уж того, кто находится в этой чаще, и подавно не было видно; и вот, дойдя по этой тропе до опушки, мы увидали Вилля Аткинса с его смуглянкой-женой, сидевших под кустом и оживленно между собою беседовавших. Я остановился, подождал священника, который немного отстал, и указал ему на эту парочку; мы долго стояли и смотрели на них. Мы заметили, что он что-то с жаром объясняет жене, указывая то на солнце, то на небо, в разные стороны, потом на землю, потом на море, потом на себя, на нее, на лес, на деревья. «Вы видите, – сказал священник, – мои слова не остались втуне; он уже говорит ей о религии, смотрите хорошенько – вот теперь он говорит ей, что Бог сотворил и его, и ее, и небо, и землю, море, лес, деревья и т. д.» – «Кажется, что так», – подтвердил я. В это время Вилль Аткинс вскочил

на ноги, потом упал на колени и поднял обе руки к небу; по всей вероятности, он при этом говорил что-нибудь, но мы не могли расслышать – они были слишком далеко; на коленях он оставался не больше минуты, потом опять сел рядом с женой и заговорил с ней. Мы видели, что женщина слушает очень внимательно, но отвечает ли она что-нибудь сама, этого мы не могли рассмотреть. Когда бедняга стал на колени, я видел, как слезы покатились по щекам священника, и сам едва удержался от слез; но обоим нам было обидно, что мы далеко от них и ничего не слышим из их разговора.



Однако, подойти ближе тоже нельзя было, чтобы не встревожить их, и мы решили досмотреть до конца эту немую беседу, достаточно понятную нам и без слов. Как уже сказано было, Аткинс сел опять рядом с женой и продолжал говорить с большим жаром; раза два или три он горячо обнимал ее; раз он вынул из кармана платок и отер ей глаза, потом опять поцеловал ее с необычной для него нежностью. Это повторялось несколько раз; затем он опять вскочил на ноги и, подав руку жене, помог ей подняться; потом за руку же отвел ее немного в сторону; потом они оба опустились на колени и оставались так минуты две.



Так продолжалось с четверть часа; затем оба они отошли дальше, так что нам их уже не было видно. Теперь, когда Вилль Аткинс с женой скрылись из виду, нам здесь больше нечего было делать, и мы тоже пошли обратно своей дорогой; а вернувшись, застали их возле дома ожидающими, когда их позовут. Мы велели Аткинсу войти и стали его расспрашивать.

Глава десятая

Крещение жены Аткинса. – Библия

Тут я узнал, что Аткинс был глубоко потрясен словами священника – кстати, тут открылось, что он сам был сыном пастора – и привел свою жену к готовности принять христианство. При этом молодая женщина выказала такую искреннюю радость и веру и такое поразительное понимание, что это трудно даже представить себе, не только описать; и по ее собственной просьбе она была крещена, а вслед затем священник и повенчал их. По окончании обряда он обратился к Виллю Аткинсу и стал ласково уговаривать его поддержать в себе это доброе расположение душевное и укрепить его твердой решимостью изменить свою жизнь.

Но священник не хотел этим удовольствоваться – он все мечтал об обращении тридцати семи дикарей и готов был ради этого остаться на острове; но я отговорил его, доказав ему, во-первых, что затея его сама по себе неосуществима и, во-вторых, что, может быть, мне удастся устроить так, чтобы это было сделано в его отсутствие.



Покончив таким образом все дела на острове, я уже собирался вернуться на корабль, когда ко мне пришел юноша с голодавшего корабля, которого я взял с собой на берег, и сообщил мне, что он тоже сосватал одну парочку и надеется, что я ничего не буду иметь против этого; а так как вступающие в брак оба христиане, то он желал бы воспользоваться тем,

что при мне есть священник, и повенчать их теперь же, до моего отъезда. Мне очень любопытно было узнать, что же это за парочка; оказалось, что это мой Джек «на все руки» и его служанка Сусанна решили пожениться. Узнав их имена, я был приятно удивлен: действительно, парочка была, по-моему, вполне подходящая. Жениха я уже описывал; что касается невесты, она была честная, скромная, рассудительная и религиозная девушка, весьма неглупая, приятной наружности, с плавной речью, с уменьем вовремя и кстати ввернуть словцо, ловкая, домовитая, отличная хозяйка, словно созданная для того, чтобы заправлять всем хозяйством на острове. Мы повенчали их в тот же день. Я был посажёным отцом невесты и отвел ей в приданое кусок земли на острове. Я отвел также определенные участки остальным колонистам; незанятую же землю объявил своей собственностью. Что касается живших на острове дикарей, то часть их тоже получила участки, а другие стали слугами белых.



Тут мне пришло на память, что я обещал своему другу священнику попытаться устроить так, чтобы в мое отсутствие наладилось дело обращения дикарей, и сказал ему, что теперь оно, кажется, уже налаживается; дикари рассеяны между христианами, и если каждый из этих последних даст себе труд заняться теми дикарями, которые у него под рукой, я надеюсь, что результаты получатся весьма хорошие. Наши все обязались приложить к этому все старания. Придя в дом Вилля Аткинса, я, не теряя времени на расспросы, сунул руку в карман и вытащил свою Библию. «Вот, – сказал я Аткинсу, – я принес тебе помощницу, которой у

тебя раньше, пожалуй, не было». Он был так поражен, что некоторое время даже не мог говорить, но, оправившись, бережно взял книгу обеими руками и обернулся к жене: «Смотри, дорогая, не говорил ли я тебе, что Бог, хоть он и на небе, может слышать все, что мы говорим? Вот книга, о которой я молился, когда мы с тобой стояли на коленях под кустом; Бог услышал нас и вот – посылает нам эту книгу». И он так искренно радовался и так горячо благодарил Бога, что слезы в три ручья катились по его щекам, как у плачущего ребенка. Жена его тоже была поражена и вполне поверила тому, что сам Бог послал им эту книгу по просьбе ее мужа. Правда, в сущности, оно так и было, но в то время, я думаю, не трудно было бы убедить бедняжку и в том, что с неба нарочно был послан ангел, чтобы принести эту книгу.



Но вернусь к тому, как я устроил дела на острове. Я не счел за нужное сообщать нашим о шлюпе, который я привез с собою в разобранном виде и рассчитывал было оставить им; ибо если бы я собрал и оставил им это судно, они бы, пожалуй, при первом неудовольствии разделились между собою и одна часть бы уехала, а другая осталась; или же, быть может, сделались бы пиратами, и мой остров обратился бы в разбойничий притон, вместо того чтобы быть колонией скромных и благочестивых людей, как я о том мечтал. Не оставил я им также двух медных орудий, захваченных мною на всякий случай, и других двух пушек со шканцев – по той же причине. Я находил, что у них вполне достаточно оружия для самообороны и защиты острова против всякого, кто бы ни вздумал напасть на них, но я вовсе не хотел подстрекать их к наступательным действиям и вооружать их для того, чтобы они сами вторгались в чужие владения и нападали на других. А потому я решил использовать шлюп и орудия для их же выгоды,

но иным способом.

Теперь мне больше нечего было делать здесь. Оставив остров в цветущем состоянии и всех наших здоровыми и благополучными, я 5-го мая снова сел на корабль, прогостив у них двадцать пять дней. Так как все колонисты решили дожидаться моего возвращения, то я обещал прислать им из Бразилии, если представится случай, много полезных вещей, например по нескольку экземпляров скота: баранов, свиней и коров. Взятые мною из Англии две коровы с телятами были убиты в пути за недостатком сена.

Глава одиннадцатая

Схватка с дикарями. – Гибель Пятницы

На следующий день, салютовав на прощанье островитянам залпом из пяти орудий, мы подняли паруса и через двадцать два дня подошли к заливу Всех Святых в Бразилии, не встретив в пути ничего примечательного, за исключением следующего: на третий день по отбытии, под вечер, в штиль, мы увидели, что море покрыто у берега чем-то черным, но не могли рассмотреть, что это было такое. Через некоторое время, однако, наш боцман поднялся немного по вантам и, посмотревши в подзорную трубу, крикнул, что это войско. Я не мог сообразить, что он подразумевал под словом «войско», и сгоряча обозвал его дураком или как-то в этом роде.

«Не гневайтесь, сударь, – сказал он, – это действительно войско и в то же время флот. Там, я думаю, с тысячу лодок. Вы сами можете рассмотреть их; они идут на веслах и быстро приближаются к нам. В лодках куча народу».

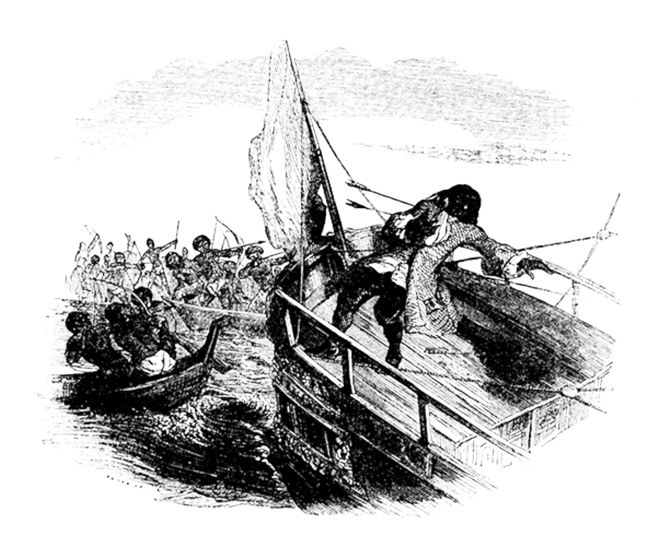
Я несколько растерялся. Встревожился и мой племянник, ибо он слышал о туземцах на острове такие ужасы, что не знал теперь, что и думать. Раза два или три он пробормотал, что нас всех, вероятно, съедят. Должен признаться, что ввиду штиля и сильного течения, увлекавшего нас к берегу, я сам ожидал худшего. Но все же я посоветовал ему не робеть и бросить якорь, как только выяснится, что нам придется вступить в бой с дикарями.

Погода оставалась тихой, и дикари быстро приближались к нам. Поэтому я приказал стать на якорь и убрать все паруса, спустить лодки, привязать одну к носу, а другую к корме, гребцам сесть по местам и выжидать, что будет дальше. Я это делал для того, чтобы люди, находившиеся на лодках, держа наготове шкоты и ведра с водой, могли затушить огонь, в случае если бы дикари попытались поджечь корабль. Приняв эти предосторожности, мы стали ждать, и скоро они подошли к нам. Никогда, наверное, не доводилось христианам видеть столь отвратительное зрелище. Мой боцман сильно ошибся в своих предположениях относительно количества дикарей. Когда они подошли к нам, мы могли насчитать не более ста двадцати шести лодок; в некоторых было по шестнадцати-семнадцати человек, в нескольких даже больше, а в иных меньше – по шести или семи.

Подойдя к нам, они, по-видимому, были изумлены и поражены тем, что

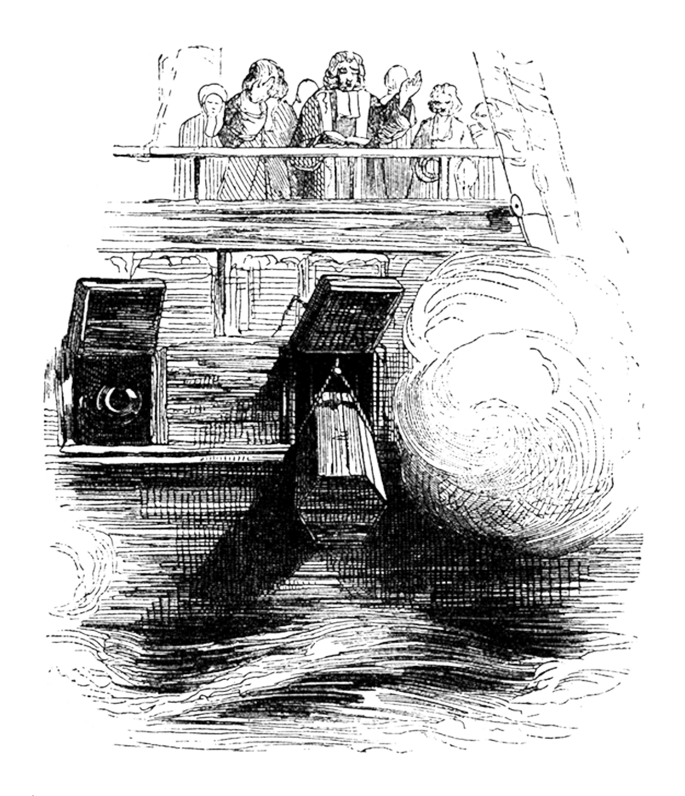
увидели, однако же смело подошли очень близко к нам и хотели, казалось, окружить нас, но мы дали приказ людям, посаженным в лодки, не допускать их слишком близко. Этот приказ и послужил поводом к бою, помимо нашего желания. Пять или шесть больших лодок так близко подошли к нашему баркасу, что наши люди стали делать дикарям знаки руками, чтобы они отошли дальше. Дикари это прекрасно поняли и отступили, но, отступая, осыпали нас градом стрел. Около пятидесяти стрел попало к нам на корабль, и один из наших матросов на баркасе был сильно поранен. Я крикнул нашим, чтоб они, Боже сохрани, не стреляли, а на баркас мы передали несколько досок, и плотник тут же устроил из них щит для прикрытия сидящих в нем от стрел на случай, если бы дикари вздумали снова стрелять.

Спустя полчаса они опять вернулись всей флотилией и подошли к нам с кормы. Тут увидел я, что это были старые мои знакомцы, такие же самые дикари, как те, с которыми мне столько раз приходилось сражаться. Немного погодя они отошли дальше в море, потом поравнялись с нашим кораблем и подошли с борта так близко, что могли слышать наши голоса. Я приказал людям держаться под прикрытием и зарядить все наши пушки. Но так как дикари подошли так близко, что могли нас услышать, я отправил Пятницу на палубу, чтобы он спросил у дикарей на своем языке, что им нужно. Поняли ли его дикари или нет, я не знаю, но немедленно вслед за тем, как Пятница прокричал им свой вопрос, шестеро из них, находившиеся в ближайшей к нам лодке, немного удалились и, повернувшись к нам спиной, показали свои голые задницы, словно приглашая нас поцеловать их в… Был ли то вызов или оскорбление, мы не знали; может быть, они просто выражали свое презрение и подавали другим сигнал к нападению. Во всяком случае, Пятница сейчас же крикнул, что они будут стрелять, и в него полетело около трехсот стрел – он служил им единственной мишенью, – и, кмоему неописуемому огорчению, бедный Пятница был убит. В беднягу попало целых три стрелы, и еще три упали возле него: так метко дикари стреляли!



Я был так озлоблен утратой моего старого слуги, товарища моих невзгод и моего одиночества, что приказал зарядить шесть пушек мелкой картечью и четыре крупной и дать залп из всех из них разом – этакого угощения они, конечно, не видывали во всю свою жизнь.

В тот момент, когда мы дали залп, они находились на расстоянии менее пятидесяти сажен от нас. Я не могу сказать, сколько именно человек было убито и ранено, но никогда я не видел такого ужаса и смятения. Тринадцать или четырнадцать пирог были разбиты и опрокинуты, а люди, находившиеся в них, бросились вплавь. Остальные же, обезумев от ужаса, поспешили убраться восвояси, бросив на произвол судьбы тех, чьи лодки были разбиты или повреждены нашими выстрелами. Поэтому, я полагаю, что погибло много людей. Спустя час после ухода дикарей наши люди вытащили из воды одного беднягу, а остальных мы так и не видели больше. В тот же вечер подул легкий ветер; мы снялись с якоря, подняли паруса и направились в Бразилию.



Наш пленник был в таком унынии, что не хотел ни есть, ни говорить, и мы думали, что он уморит себя голодом. Но я нашел способ излечить его. Я велел взять его и снести в баркас и дать ему понять, что его опять бросят в море в том самом месте, где его вытащили, если он не заговорит. Он продолжал упорствовать, и матросы действительно бросили его в море, а сами отъехали. Но тогда он поплыл вслед за баркасом – а плавал он как пробка – и заговорил с матросами на своем языке, хотя они не понимали ни слова. В конце концов они снова взяли его в лодку, и с тех пор он сделался податливее. Наши матросы скоро выучили его по-английски, и он рассказал, что дикари шли со своими королями на большое сражение. Когда он упомянул о королях, мы спросили, сколько же их было. Он ответил: «Там было пять племя, и все шли биться против два племя». Мы спросили у него, чего же ради они подошли к нам. Он ответил: «Смотреть большое чудо».

Теперь я должен в последний раз упомянуть о моем бедном Пятнице – бедный, славный Пятница! Мы устроили ему торжественные похороны – положили его в гроб, опустили в море и сделали прощальный салют из одиннадцати орудий. Так кончил свою жизнь самый благородный, верный, честный и преданный слуга, какой только был на свете.

Мы пошли с хорошим ветром в Бразилию и дней через двенадцать заметили землю на шестом градусе южной широты; это была северо-восточная оконечность этой части Америки. Четыре дня мы шли на юго-

восток в виду берега, обогнули мыс св. Августина и через три дня стали на якорь в бухте Всех Святых, месте моего освобождения из плена у мавров.

Мне лишь с большим трудом удалось установить сообщение с берегом. Ни мой компаньон, который пользовался там очень большим влиянием, ни купцы, заведовавшие моей плантацией, ни молва о моем чудесном спасении и жизни на острове не могли доставить мне такой милости. Но мой компаньон, вспомнив, что я вручил приору августинского монастыря пятьсот луидоров в пользу обители и пожертвовал двести семьдесят два луидора бедным, пользующимся поддержкой монастыря, отправился в монастырь и уговорил теперешнего приора пойти к губернатору и попросить, чтобы мне было дозволено съехать на берег в сопровождении капитана, еще одного человека, по моему выбору, и восьми матросов под условием, что мы не будем свозить на берег с корабля никаких товаров и не возьмем больше никого из экипажа без особого разрешения.

Береговая стража так строго смотрела за тем, чтобы я ничего не выгружал, что мне лишь с величайшим трудом удалось доставить на берег три тюка английских товаров: хорошего тонкого сукна, английских материй и полотна, которые я привез в подарок своему компаньону. Это был истинно благородный, щедрый человек, хотя он, подобно мне, начал с малого. И хотя ему не было известно, подарю ли я ему что-либо, он еще раньше прислал мне на корабль в подарок свежей провизии, вина и сластей стоимостью больше тридцати мойдоров, включая сюда некоторое количество табаку и три или четыре красивых золотых медали. Но и мои подарки были не менее ценны. Они состояли, как я говорил выше, из тонких сукон, английских материй, кружев и тонкого голландского полотна. Кроме того, я вручил ему также тех же товаров на сто фунтов стерлингов для другого употребления и поручил ему собрать шлюп, привезенный мною для моей колонии из Англии, с тем чтобы отправить на нем разные припасы на мою плантацию.

Он нанял рабочих и собрал шлюп в очень короткое время; на это понадобилось всего несколько дней, так как все части были уже готовы. Капитану я дал такие точные инструкции, что он не мог не найти острова. И действительно, он нашел его, как сообщил мне впоследствии мой компаньон. Скоро мы нагрузили шлюп небольшим количеством товаров, которые я отправлял в колонию, и один из наших матросов, сопровождавший меня на берег, вызвался отправиться на шлюпе и поселиться в колонии, если я дам письмо к набольшему испанцу с просьбой отрезать ему достаточный для плантации кусок земли и снабжу его одеждой и необходимыми земледельческими орудиями. Он заявил, что

земледелие ему хорошо знакомо, так как он долго был плантатором в Мэриленде и, сверх того, охотником на бизонов. Я снабдил его всем, чего он желал, и в придачу дал ему в слуги дикаря, которого мы взяли в плен, и предписал набольшему испанцу уделить ему соответствующую долю всех нужных для него вещей.

Глава двенадцатая

Отправка скота на остров

Когда мы снаряжали в путь этого человека, мой старый компаньон сказал мне, что у него есть один знакомый бразильский плантатор, очень почтенный человек, впавший в немилость у церковных властей и вынужденный скрываться из страха перед инквизицией. Этот человек, по его словам, был бы рад случаю бежать вместе с женой и двумя дочерьми. И если бы я согласился допустить их на остров, он вызывался бы снабдить их небольшим капиталом, ибо инквизиция конфисковала все имущество этой семьи и все ее состояние. Я немедленно согласился на это и присоединил их к своему англичанину. Мы скрывали этого человека с женой и дочерьми на корабле до тех пор, пока шлюп не был готов к выходу в море. А когда шлюп вышел из залива, мы пересадили их на него (вещи их были свезены на шлюп еще раньше).

Наш матрос был очень доволен новым товарищем. Они захватили с собой все орудия, необходимые для возделывания сахарного тростника, а также и тростниковые черенки: это дело португалец знал хорошо. Для колонистов я послал, между прочим, со шлюпкой три дойных коровы, пять телят, около двадцати двух свиней, в том числе три супоросных, две кобылы и одного жеребца.



Для моих испанцев я, согласно своему обещанию, уговорил поехать в колонию португальских женщин и написал испанцам, чтобы они женились на них и обращались с ними хорошо. Я мог бы уговорить поехать больше женщин, но я помнил, что у бедного изгнанника-португальца есть две

дочери, а испанцев, нуждавшихся в женах, было всего пятеро. Остальные уже были женаты, хотя жены их и находились в других местах.

Весь отправленный мною на шлюпе груз дошел до колонии в целости, и колонисты, как всякий легко поймет, были чрезвычайно рады ему. Их было теперь около шестидесяти или семидесяти человек, не считая маленьких детей, которых было очень много. Вернувшись в Англию, я нашел в Лондоне письма от всех колонистов; письма эти были посланы со шлюпом при его возвращении в Бразилию, а затем пересланы через Лиссабон.

Мое повествование об острове кончено; я не буду больше говорить о нем, и тот, кто намерен дочитать мои записки до конца, должен будет также попрощаться с ним и в дальнейшем найдет только рассказ о безумствах старика, которого ни его собственные, ни чужие невзгоды не научили благоразумию, которого не могли охладить сорок лет нужды и разочарований, который не удовлетворился богатством, превзошедшим всякие ожидания, и не успокоился после беспримерных напастей и испытаний.

У меня было столько же надобности отправляться в Ост-Индию, как у человека, находящегося на свободе и не совершившего никакого преступления, пойти к привратнику Ньюгэтской тюрьмы и попросить, чтобы его заперли в тюрьму и уморили там. Если бы я нашел в Англии небольшое судно и отправился прямо на остров, нагрузив свой корабль всем необходимым для колонистов, если б я взял патент на управление островом, обеспечив его таким образом за собой, с подчинением одной только Англии – а такой патент я, несомненно, мог бы получить, – если б я сделал все это и сам поселился бы на острове, можно было бы по крайней мере сказать, что я действовал как человек благоразумный и здравомыслящий. Но меня обуял дух скитаний, и я, презирая все выгоды, тешился тем, что отечески заботился о людях, поселенных мною на острове, и щедрою рукой осыпал их благодеяниями, словно какой-нибудь монарх древних патриархальных времен. Я действовал отнюдь не в интересах какого-нибудь отдельного правительства или народа, не признавал ни одного государя своим повелителем или своих людей – подданными той или другой нации; я даже не дал острову имени и оставил его, как нашел, никому не принадлежащим, а его население никому не подвластным и не подчиненным, кроме меня самого. Покинув остров вторично, я уже больше туда не возвращался; последние известия из колонии я получил через моего компаньона, который прислал мне письмо, хотя это письмо дошло до меня только пять лет спустя после того, как оно

было написано. Тут я узнал, что живется колонистам неважно, что они недовольны слишком долгим пребыванием на острове, что Вилль Аткинс умер, а пятеро испанцев уехали, остальные же усердно просили его напомнить мне мое обещание увезти их с острова, чтобы они могли еще раз перед смертью увидать родину.

Но мне было не до того; я увлекался самыми рискованными предприятиями, и тот, кому интересно знать, что было со мною дальше, должен будет пережить со мною новый ряд безрассудств, невзгод и опасных приключений.

Здесь не время распространяться о разумности или нелепости моего образа действий. Я решил предпринять новое путешествие и предпринял. Прибавлю здесь только, что мой добрый и искренно благочестивый друг, священник, покинул меня здесь, попросив у меня разрешения пересесть на корабль, готовившийся к отплытию в Лиссабон, и еще раз заметив при этом, что его судьба – не доводить до конца ни одного путешествия. Если бы я поехал с ним, мне не пришлось бы за многое благодарить Бога, а вы так и не прочли бы продолжения «Путешествий и Приключений Робинзона Крузо»; поэтому пора оставить бесплодные самоукоры и продолжать свой рассказ.

Из Бразилии мы направились прямым путем через Атлантический океан к мысу Доброй Надежды и добрались туда довольно благополучно, повстречавшись, впрочем, в пути и с бурями, и с противными ветрами. Но все же можно сказать, что на море судьба перестала меня преследовать; отныне всякие злоключения и напасти постигали меня уже на суше. На мысе Доброй Надежды мы простояли ровно столько времени, сколько нужно было для того, чтобы запастись свежей водой, и двинулись дальше, к Коромандельскому берегу, но прежде зашли на остров Мадагаскар, где первое время туземцы принимали нас очень радушно. За несколько ножей, ножниц и других безделушек они дали нам одиннадцать откормленных быков.



Глава тринадцатая

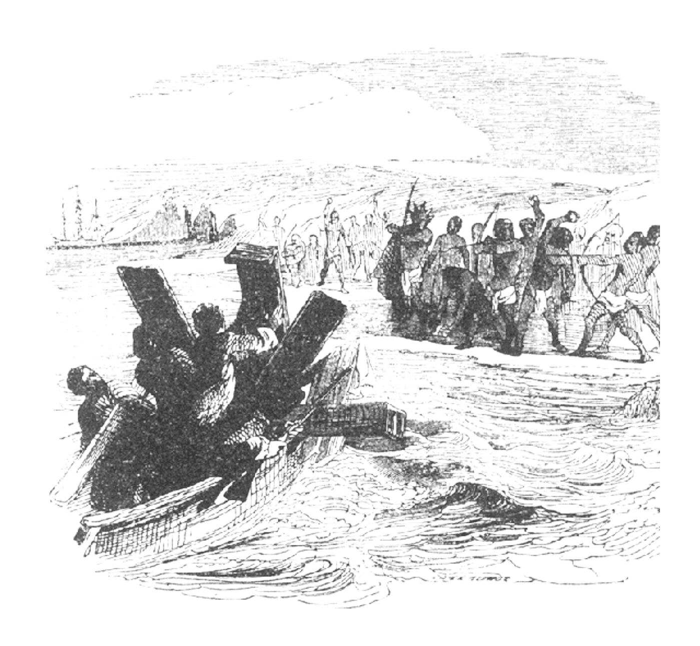
Томас Джеффри повешен. – Мщение

Однажды вечером, когда мы съехали на берег, нас окружило большее количество туземцев, чем обыкновенно, но все было тихо и мирно, и они относились к нам очень дружественно; мы сплели себе шалаш из древесных ветвей и решили ночевать на берегу. Одному мне почему-то не хотелось провести ночь на голой земле, и я предпочел расположиться в лодке. Наша лодка стояла на якоре невдалеке от берега, и в ней были оставлены, для присмотра за нею, два человека; одного из них я отправил на берег нарвать ветвей, устроил навес, разостлал на дно лодки парус и лег. Около двух часов утра на берегу поднялся страшный шум; кто то из наших людей звал на помощь, умоляя скорее привести лодку, ибо иначе их всех перебьют; в то же время я услыхал пять выстрелов подряд, а так как у наших было всего только пять ружей, значит, стреляли все, кто мог; и так повторилось три раза. Проснувшись от шума, я велел человеку, оставшемуся в лодке, немедленно грести к берегу и решил, захватив из лодки запасные три ружья, выйти на берег и помочь нашим. Наших было на берегу девять человек, но ружья были только у пяти; остальные были вооружены пистолетами и саблями, но это им мало помогало. Мы подобрали семь человек, из которых трое были опасно ранены, и, пока их перетаскивали в лодку, мы, стоявшие в ней, подвергались такой же опасности, как и те, что оставались на берегу, так как туземцы осыпали нас тучами стрел, а устроенные нами на борту щиты из скамеек и досок были плохою защитой.

Хуже всего было то, что мы не могли ни поднять якорь, ни распустить паруса, чтобы уйти, так как для этого нужно было стать в лодке во весь рост, и уж туземцы могли бы бить нас без промаха, как охотник не промахнется по птице, сидящей на дереве. Мы стали подавать тревожные сигналы, и мой племянник, услышав выстрелы и разглядев в подзорную трубу, где мы стоим и что мы стреляем по направлению к берегу, понял, в чем дело.

Снявшись с якоря со всей возможной поспешностью, он подвел судно насколько можно было ближе к берегу и выслал нам на помощь другую лодку с десятью матросами. Один из них, зажав в руке конец бечевы, бросился вплавь и, добравшись до нашей лодки, укрепил на ней конец веревки, после чего мы решили пожертвовать якорем и перерезали канат,

на котором он держался, а наши с корабля оттянули нас на такое расстояние, что стрелы уже не достигали нас. Как только мы отошли в сторону, наши повернули корабль боком к берегу и угостили островитян основательным залпом свинца и железа, мелких пуль и проч., который произвел среди них страшное опустошение.



Когда мы взошли на борт, наш торговый агент, не раз бывавший в этих местах, стал уверять, что туземцы ни в каком случае не тронули бы нас, если бы мы сами не подали к тому повода. Наконец выяснилось, что старуха, обыкновенно носившая нам молоко, принесла его и вчера и привела с собой молодую женщину, у которой тоже было что-то для продажи – коренья или травы; пока старуха продавала молоко, один из наших матросов начал довольно грубо любезничать с молодой, причем старая подняла страшный шум. Тем не менее матрос не выпустил своей добычи, а утащил ее на глазах старухи в лес, благо было уже почти темно. Старуха ушла домой одна и, должно быть, подняла на ноги всю свою деревню; оттуда дали знать в другие, и в какие-нибудь три-четыре часа против нас собралось целое войско, и мы чуть было все не погибли.



Один из наших был убит дротиком в самом начале боя, как только наши выскочили из шалаша, где спали, – туземцы напали на них врасплох, ночью; остальные все уцелели, кроме виновника всей этой кутерьмы, который дорого поплатился за свою черную возлюбленную. Мы не сразу узнали, что с ним сталось – он исчез без следа; несмотря на попутный ветер, мы простояли еще два дня, давали сигналы, потом проехали на лодке несколько миль в одну и в другую сторону – но напрасно.

Однако я никак не мог успокоиться и решил еще раз сам побывать на берегу – мне во что бы то ни стало хотелось узнать, каковы были результаты битвы и сильно ли досталось индейцам. Это было на третий день после боя. Я выбрал из команды двадцать молодцов на подбор, взял с собой агента, и мы поехали. Причалили мы на том самом месте, где и раньше выходили на берег; часа за два до полуночи разделились на два отряда и пошли к месту, где происходила битва. Вначале мы ничего не могли рассмотреть – было очень темно, но немного погодя наш боцман, предводительствовавший первым отрядом, споткнулся о мертвое тело и упал. Мы решили остановиться и дождаться восхода луны и при ее свете нашли тридцать два трупа, из которых два еще не остыли. Узнав, как мне казалось, все, что можно было узнать, я уже хотел было вернуться на корабль, но боцман со своими людьми прислал мне сказать, что они пойдут дальше, в индейский городок, посмотреть, не найдут ли они там Томаса Джеффри – так звали пропавшего матроса. И они пошли. Попытка была отчаянная, и надо было быть сумасшедшим, чтобы пойти на такое дело, но должен отдать им справедливость – они показали себя не только отважными, но и предусмотрительными. Шли они, главным образом, с целью грабежа, но одно обстоятельство, которого никто из них не

предвидел, пробудило в них жажду мести. Дойдя до индейского селения, которое они принимали за городок, они были очень разочарованы – здесь оказалось не более двенадцати-тринадцати домов. Они порешили не трогать этих домов и идти дальше, искать город. Пройдя немного, они увидали корову, привязанную к дереву, отвязали ее, и корова привела их прямо к городу, состоявшему из двухсот приблизительно домов или хижин. Все жители крепко спали, не подозревая близости врага. Наши порешили разделиться на три отряда и поджечь городок с трех концов, а когда жители выбегут, хватать и вязать. Пока они подстрекали друг друга, трое из них, ушедшие немного вперед, стали звать остальных, крича, что они нашли Томаса Джеффри; все бросились туда и действительно увидали беднягу, повешенного за руку на дереве, совершенно обнаженного и с перерезанным горлом. При виде бедного замученного товарища наши пришли в такую ярость, что поклялись друг другу отомстить за него и тотчас приступили к делу. Четверть часа спустя они уже подожгли городок в четырех или пяти местах сразу; как только показался огонь, бедные перепуганные жители стали выбегать из домов, ища спасения, но вместо того находили смерть.

Матросы на корабле, увидав пожар, разбудили моего племянника, капитана, и тот очень встревожился, не зная, в чем дело. Он боялся за меня и за агента; в конце концов сел в лодку, взяв с собою тринадцать человек, и отправился на берег. Он очень удивился, увидав в лодке только меня и агента с двумя матросами, и не мог усидеть на месте от нетерпения, так как шум все усиливался и пожар возрастал и он не знал, что происходит. Кончилось тем, что он не выдержал и сказал, что пойдет на помощь своим – будь что будет, – и пошел, а без него и я не хотел оставаться. Короче говоря, он приказал двоим матросам плыть на его катере к кораблю и привезти оттуда еще двенадцать человек в большом баркасе; велел поставить баркас на якорь и шести матросам остаться караулить лодки, а остальным идти вслед за нами, так что на корабле должно было остаться только шестнадцать человек (весь экипаж состоял из 65 человек).

Мы бежали так, что не слышали земли под ногами, и прямо на огонь, не разбирая дороги. Если раньше нас поражал грохот выстрелов, то теперь мы слышали звуки иного рода, наполнившие ужасом наши сердца: то были крики и вопли бедных туземцев. Тем не менее мы продолжали бежать и наконец добрались до города, хотя войти в него было уже невозможно: он весь был в огне. Первым делом мы наткнулись на развалины хижины или дома; перед нами лежали на земле семь трупов, четыре мужских и три женских, все эти люди были убиты, и, как нам показалось, еще двое

лежали среди догоравших развалин. Одним словом, перед нами были следы такой варварской расправы, такой бесчеловечной свирепости, что нам казалось невозможным, чтобы это было делом рук наших матросов. Но это было еще не все: пожар разрастался, и где загорался новый дом, там слышались и новые вопли, так что мы совсем растерялись и ничего не могли сообразить. Мы прошли немного дальше и, к удивлению нашему, увидали трех голых женщин, бегущих с такой быстротой, как будто у них за плечами были крылья, испуская отчаянные крики. Вслед за ними бежали шестнадцать или семнадцать туземцев в таком же ужасе и смятении, и позади всех трое англичан-мясников – не могу назвать их иначе; нагнав несчастных, они стали стрелять, и один туземец упал мертвым на наших глазах. Завидев нас, беглецы вообразили, что мы такие же их враги, как и преследователи, ищущие их смерти, и подняли отчаянный крик, в особенности женщины, двое из них даже упали на землю от испуга, как мертвые.



Вся душа моя возмутилась при виде этого зрелища, и кровь застыла в моих жилах; я думаю, если бы варвары-матросы в эту минуту подошли к нам, я приказал бы нашим людям пристрелить их всех троих. Мы стали делать знаки беглецам, пытаясь объяснить им, что мы не желаем им зла, и они тотчас побежали к нам и, бросившись на колени, жалобно умоляли нас с поднятыми к небу руками спасти их. Мы дали им понять, что сделаем это, и они, сбившись в кучу, словно овцы, пошли за нами в надежде на нашу защиту. Я велел своим людям никого не обижать, но, если возможно, пробраться к нашим и узнать, что за дьявол вселился в них и что это они затеяли, а главное – подать им приказ прекратить резню, или иначе с наступлением утра против них выступит стотысячная армия туземцев, – а

сам я пошел к беглецам, взяв с собой только двух человек. Поистине, они представляли собой жалкое зрелище: у некоторых были страшно обожжены ноги, у других – руки; одна женщина упала в огонь и чуть не сгорела живая, прежде чем ее вытащили; у троих мужчин были на спине и на бедрах раны от сабельных ударов, нанесенных преследователями, один был ранен пулей навылет и умер при мне.

Мне очень хотелось узнать, в чем дело, но я не мог понять ни единого слова из того, что они говорили, и только по знакам догадывался, что некоторые из них и сами не знали этого. Я вернулся к моим людям, сообщил им о своем решении и приказал следовать за мной. Но в эту самую минуту появились четверо из наших матросов, с боцманом во главе, все в крови и в пыли. Мои матросы стали кричать им что было мочи, и наконец с большим трудом одному из наших удалось добиться того, что его услышали.



Завидев нас, боцман испустил крик радости и торжества; он подумал, что мы пришли к нему на помощь. «Капитан, – воскликнул он, – благородный капитан, как я рад, что вы пришли. Мы не сделали и половины дела. Мерзавцы! Проклятые собаки! Я перебью их столько, сколько было волос на голове у бедного Тома. Мы поклялись не щадить никого. Мы сотрем их с лица земли». Возвысив голос, чтобы заставить его замолчать, я сказал ему: «Изверг, что ты натворил тут? Под страхом смерти я запрещаю трогать кого бы то ни было. Если ты не хочешь немедленно быть убитым, как собака, я приказываю тебе не трогаться с места и стоять смирно». «Разве вы не знаете, сэр, – отвечал он, – что они наделали? Если вы хотите знать, почему мы так поступаем, взгляните сюда!» И он указал на беднягу, висевшего на дереве с перерезанным горлом.

Признаюсь, что это зрелище взволновало и меня, и в другое время я не оставил бы такой поступок безнаказанным. Но я думал, что они зашли слишком далеко в своем мщении, и мне вспомнились слова Иакова, сказанные им сыновьям Симеону и Левию: «Да будет проклят их гнев, ибо он был свиреп, и месть их, ибо она была жестока». Теперь на руках у меня была новая забота, ибо когда люди, бывшие со мною, увидели то, что видел я, мне было так же трудно удержать их, как и других. Даже мой племянник и тот оказался на их стороне и, выслушав их, громко сказал мне, что он боится только того, как бы дикари не одолели их. Восемь моих матросов бросились сейчас же за боцманом и его шайкой, чтобы довершить их кровавое дело. Поняв свое бессилие остановить их, я ушел, опечаленный и расстроенный, ибо для меня было невыносимо это зрелище, особенно же стоны и вопли несчастных дикарей, падавших от руки наших матросов.



Мне удалось уговорить остаться со мной только агента и двоих матросов. С ними я вернулся к лодкам. Немедленно я отослал капитанский катер обратно, на случай если он понадобится оставшимся на берегу. Когда катер подошел к берегу, начали возвращаться мало-помалу и наши матросы, но возвращались они не двумя отрядами, как вошли, а отдельными кучками, так что небольшой отряд решительных людей легко мог бы их перебить. Но они навели страх на всю страну. Дикари были так

напуганы, что сотня их, пожалуй, разбежалась бы при виде пятерых матросов.

Я был очень недоволен своими людьми, и в особенности моим племянником, капитаном, который скорее подстрекал, чем сдерживал людей, затеявших такое кровавое и жестокое дело. На следующий день, когда подняли паруса, я сказал своим людям, что Бог не пошлет нам удачи в пути, ибо резня, учиненная ими в ту ночь, была в моих глазах преступлением. Том Джеффри был, правда, убит дикарями, но убит как насильник и нарушитель мира. Боцман доказывал свою правоту. По его мнению, только с формальной стороны нарушили перемирие мы – в действительности же войну начали сами дикари. Они первые стали стрелять в нас и убили одного из наших без всякого законного повода, так что, если мы были вправе сражаться с ними, то мы были вправе и расправиться с ними, хотя бы и таким необычайным манером.

Теперь путь корабля лежал на Персидский залив, а оттуда на Коромандельский берег, с остановкой только в Сурате. Но главным местом нашего назначения был Бенгальский залив. Первое несчастье случилось с нами в Персидском заливе, где пятеро наших матросов были окружены арабами и перебиты ими или отданы в рабство. Я опять стал говорить своим, что это справедливое возмездие неба за их преступление; но боцман, разгорячившись, сказал мне, что я захожу слишком далеко в своих укорах и в подкрепление их не могу даже сослаться на Св. Писание. Он привел мне тринадцатую главу от Луки, стих 4-й, где Спаситель наш говорит, что те люди, на которых упала Силоамская башня, были не грешнее других галилеян. Мне пришлось замолчать главным образом потому, что ни один из погибших матросов не принимал участия в резне на Мадагаскаре.

Глава четырнадцатая

Возмущение. – Встреча с канониром

Но мои рассуждения на этот счет имели более печальные последствия, чем я ожидал. Боцман, который был вожаком в этой резне, однажды пришел ко мне и дерзко сказал, что, если я не прекращу своих проповедей и не перестану приставать к нему и мешаться в его дела, он оставит корабль, ибо с таким человеком, как я, по его мнению, плыть небезопасно.

Я ответил ему, что я действительно все время возмущался резней на Мадагаскаре – ибо не могу назвать этого иначе, – но что я был в значительной степени собственником корабля и в качестве такового имел право сказать даже больше того, что я говорил, и не считаю себя ответственным ни перед ним, ни перед кем другим. На это он мне почти ничего не возразил, и я считал дело поконченным. В это время мы стояли на рейде в Бенгальском заливе, и, желая осмотреть место, я для развлечения съехал на берег вместе с агентом. Вечером я собирался вернуться на корабль, но тут ко мне подошел один из наших матросов и сказал мне, чтобы я не трудился идти на берег к лодке, потому что им не велено брать меня с собой. Я сейчас же разыскал агента, сообщил ему об этом и попросил его отправиться немедленно в туземной лодке на корабль и рассказать обо всем капитану. Но это оказалось излишним, ибо в то время, когда я разговаривал с ним на берегу, моя судьба уже была решена на корабле: как только я отправился на берег, боцман, канонир и плотник – одним словом, все важнейшие чины команды пришли на шканцы и пожелали переговорить с капитаном. Боцман произнес при этом длинную речь и напрямик объявил капитану, что своей добровольной поездкой на берег я избавлял их от необходимости учинить надо мной насилие, но что они прибегли бы к насилию, чтобы заставить меня покинуть корабль, если б я не сделал этого сам. Поэтому они считают нужным заявить, что они и впредь обязуются верно служить на корабле под его командой, как они уговаривались, но, если я не оставлю корабля, тогда они сами сейчас же покинут его. Они поклялись друг другу в этом, и все были единодушны.



Когда мой племянник, съехав ко мне на берег, сообщил мне это, я ответил, чтобы он не тревожился из-за меня, так как я останусь на берегу. Я выразил лишь пожелание, чтобы мне прислали все необходимое и вручили достаточную сумму денег, а там уже я как-нибудь проберусь в Англию. Таким образом, дело было улажено в несколько часов; команда вернулась к исполнению своих обязанностей, и я стал думать, что мне теперь предпринять.

Я был теперь один на конце света, почти на три тысячи морских миль дальше от Англии, чем я был на своем острове. Правда, отсюда я мог проехать сухим путем через страну Великого Могола до Сурата, потом добраться морем через Персидский залив до Бассоры и затем, следуя по пути караванов, через Аравийскую пустыню до Алеппо и Александрии, оттуда опять морем в Италию и сухим путем во Францию. Я мог избрать и другой путь – дождаться одного из английских судов, которые заходят в Бенгал из Ачина на острове Суматра, и на нем морем вернуться в Англию; но так как я прибыл сюда, не имея никаких связей с английской Ост-Индской компанией, то мне было бы трудно уехать на одном из ее кораблей, разве только благодаря покровительству кого-нибудь из капитанов или агентов компании, но ни с кем из них я не был знаком.

Здесь я имел печального рода удовольствие видеть, как корабль двинулся в путь без меня. Думаю, никогда еще с человеком моих лет и в моем положении люди не поступали так недостойно – если только это не были пираты, бежавшие с чужих судов и высаживающие на берег всякого, кто не захочет потворствовать их гнусностям. Впрочем, племянник оставил мне двух слуг, или спутника и слугу; первый был помощник нашего судового агента, которого племянник упросил остаться со мной, а другой –

его слуга. Я нашел себе хорошее помещение в доме одной англичанки, где квартировало много купцов; там жили несколько французов, два итальянца или, вернее, еврея и один англичанин.



Со мной было немного ценных английских товаров, а мой племянник оставил мне значительную сумму денег в золоте и чеках. Товары я не без выгоды распродал и накупил бриллиантов. Я прожил там девять месяцев, и с англичанином мы очень подружились. Однажды утром он приходит ко мне и говорит:

– Знаете, земляк, я хочу поделиться с вами одним планом; мне он очень улыбается, да, насколько я вас знаю, и вам он придется по душе, когда вы его хорошенько обсудите. Если вы присоедините свою тысячу фонтов к моей тысяче, мы можем нанять здесь корабль, любой, какой нам понравится; вы будете капитан, я – купец, и мы отправимся торговать в Китай, а то чего мы здесь дожидаемся? Весь мир в движении; все божьи создания и на небе, и на земле работают, трудятся; с чего же нам-то быть праздными? В целом мире нет таких трутней, как люди; но зачем нам быть трутнями?



Мне его предложение очень понравилось, тем более что тон его был такой дружественный и доброжелательный. Прошло, однако, довольно много времени, прежде чем мы отыскали подходящий корабль, а когда добыли корабль, оказалось, что не так-то легко добыть английских матросов. Однако некоторое время спустя мы нашли штурмана, боцмана и канонира – англичан, голландца-плотника и трех португальцев-матросов; этими людьми можно было обойтись, и даже довольно сносно, а остальную команду набрать из индусов-моряков, какие были под рукою.

Многие путешественники описывали свои странствования по этим местам, так что еще одно описание едва ли показалось бы занимательным читателю. Достаточно будет сказать, что прежде всего мы отправились в Ачин, на остров Суматра, а оттуда в Сиам, где выменяли часть своих товаров на опиум и часть – на арак: первый в большой цене у китайцев, и как раз в то время в Китае чувствовался в нем большой недостаток. Короче говоря, мы совершили далекое путешествие в Сускан и вернулись в Бенгалию, пробыв в отсутствии восемь месяцев. На этом первом предприятии я нажил столько денег и так хорошо научился наживать их, что, будь я на двадцать лет моложе, я, наверное, поддался бы искушению остаться здесь и не стал бы искать иного способа составить себе состояние. Но могло ли иметь силу подобное искушение для человека за шестьдесят, уже достаточно богатого и покинувшего свой дом больше из ненасытной потребности видеть свет, чем из-за алчности и желания преуспеть в нем? Я попал в такую часть света, где я раньше никогда не бывал, – а между тем слышал о ней очень много – и решил осмотреть в ней все, что только мог.

Но мой новый друг и компаньон был иного мнения. Вообще, мы с ним были разные люди. Он готов был, как почтовая лошадь, вечно бегать взад и вперед по одной и той же дороге, останавливаясь в одной и той же гостинице, лишь бы только, как он выражался, дело его кормило; я же,

наоборот, хоть был стар годами, напоминал скорее шалого мальчишку-бродягу, которому неохота два раза видеть одно и то же. Но это еще не все. Мне хотелось быть ближе к дому, но в то же время я совершенно не мог решить, какой путь избрать, и не мог остановиться ни на одном. Пока я думал и раздумывал, мой приятель, искавший себе нового дела, предложил мне другое путешествие – на Молуккские острова, с тем чтобы привезти оттуда груз гвоздики. Мы недолго готовились к этому путешествию; оно вышло весьма удачным: мы заходили на Борнео и еще на другие острова, названия которых не припоминаю, и вернулись домой месяцев через шесть. Свой груз пряностей, состоявший главным образом из гвоздики и мускатного ореха, мы продали с большим барышом персидским купцам, заработав почти впятеро больше того, что истратили, так что денег у нас была теперь целая куча.



Немного времени спустя из Батавии пришел голландский корабль. То было каботажное судно вместимостью приблизительно в двести тонн; команда его вся расхворалась или притворялась больной, так что капитану не с кем было выйти в море. Поэтому, став на якорь в Бенгальском заливе, он опубликовал извещение, что желает продать свой корабль. Я узнал об этом раньше своего нового компаньона, и мне очень захотелось купить это судно. Я пошел к нему и рассказал, какой случай представляется. Он

ответил, что надо подумать – он, вообще, был человек осторожный и не торопился в своих решениях, – но, подумав, сказал: «Судно немножко велико, но все-таки мы его купим». И мы купили корабль и составили купчую на него, а матросов решили, если можно будет, удержать и присоединить к своим; тогда у нас сразу составился бы экипаж и мы могли бы продолжать наше дело; но совершенно неожиданно для нас оказалось, что все матросы исчезли без следа, получив вместо жалованья каждый свою часть из денег, вырученных от продажи судна; мы не могли найти буквально ни одного из них.

После долгих расспросов я узнал, что они отправились сухим путем через земли Великого Могола в Персию, и я очень жалел, что не присоединился к ним. Мои сожаления, однако, прекратились, когда выяснилось, что это были за люди; вкратце дело обстояло так: человек, которого они называли капитаном, был вовсе не командир судна, а простой канонир, их корабль был купеческий; на Малайском берегу на них напали туземцы, убили капитана и трех матросов; а остальные одиннадцать человек, видя, что капитан убит, завладели судном и привели его в Бенгальский залив, еще раньше высадив на берег помощника капитана и пятерых матросов, не одобрявших их поведения.

Во всяком случае, каким бы путем корабль ни достался им, мы, как нам казалось, приобрели его вполне законно. Правда, нам следовало бы отнестись осторожнее к этой покупке: мы не задали ни одного вопроса матросам, а между тем мы, наверное, уличили бы их в противоречиях, которые заронили бы в нас подозрения. Но мнимый капитан показал нам подложную купчую о продаже корабля на имя некоего Эмануила Клостерсговена или что-то в этом роде; он выдавал себя за это лицо. Не имея никаких оснований для недоверия, мы живо заключили сделку.

Мы все-таки подобрали несколько англичан-матросов и несколько голландцев и, сформировав таким образом команду, решили вторично отправиться за корицей и прочими пряностями на Филиппинские и Молуккские острова. Короче говоря, я прожил в этой стране целых шесть лет, разъезжая с товарами из порта в порт и наживая при этом хорошие деньги. В последний год мы с моим компаньоном на этом самом корабле предприняли путешествие в Китай, но сначала порешили зайти в Сиам для покупки риса. В этом путешествии нам не повезло, противные ветры принудили нас долгое время лавировать в Молуккском проливе и между ближайшими к нему островами, и не успели мы еще выбраться из этих опасных вод, как заметили, что наш корабль дал течь, а между тем трещины мы найти не могли. Приходилось волей-неволей искать

пристанища в какой-нибудь гавани, и мой компаньон, гораздо лучше меня знавший эту местность, велел капитану войти в устье Камбоджи; я говорю «капитану», потому что я произвел нашего штурмана, некоего мистера Томпсона, в капитаны, не желая брать на себя управление судном.

Стоя там, мы часто съезжали на берег для пополнения припасов. И вот однажды, когда я был на берегу, подходит ко мне один англичанин – если не ошибаюсь, он служил помощником главного канонира на английском ост-индском судне, стоявшем на якоре на той же реке, – и говорит: «Сэр, я должен вам сообщить нечто для вас весьма важное». – «Если это важно для меня, а не для вас, что же побуждает вас сообщать мне это?» – «То, что вам грозит неминучая гибель, а вы, по-видимому, не имеете об этом никакого понятия». – «Не знаю, о какой опасности вы говорите; знаю только, что мой корабль дал течь и мы не можем найти трещины, но завтра я рассчитываю вывести его на мель, и тогда, по всей вероятности, трещина будет найдена». – «Ну, знаете ли, сэр, есть в нем трещина или нет, найдете вы ее или не найдете, а все-таки, выслушав то, что я имею вам сообщить, вы вряд ли выведете его завтра на мель; это было бы совсем неумно. Разве вам неизвестно, что город Камбоджа лежит всего в пятнадцати лигах отсюда вверх по течению, а в пяти лигах стоят два больших английских корабля да три голландских». – «Ну так что же? Мне то какое дело?» – «Как, сударь, – воскликнул он, – человек, пускающийся в такие предприятия, как вы, заходит в порт, не разузнавши предварительно, с какими судами он может столкнуться там? Неужели вы обольщаете себя надеждой справиться с ними?»

Слова эти очень позабавили меня, но не внушили никакого беспокойства, потому что я никак не мог понять, что он подразумевает. Я попросил его объясниться: «Сударь, с какой стати бояться мне голландских кораблей или кораблей Ост-Индской компании? Я не контрабандист, что им за дело до меня?» Он посмотрел на меня немного удивленно, немного досадливо и сказал с улыбкой: «Что ж, сударь, если вы считаете себя в безопасности, полагайтесь на свою судьбу. К сожалению, вы настолько ослеплены ею, что не желаете слушать доброго совета. Но уверяю вас, что если вы сейчас же не выйдете в открытое море, вас атакуют пять баркасов, полных народу, и, пожалуй, тут же и повесят вас, как пирата, а разбирать дело будут уж после. Я полагаю, вам хорошо известно, что этот ваш корабль стоял у берегов Суматры, там ваш капитан был убит малайцами и с ним еще три матроса, вы же или не вы, так другие, бывшие на корабле вместе с вами, порешили бежать, завладев судном, и сделаться пиратами. Вот вкратце сущность дела; и все вы будете арестованы как пираты и без

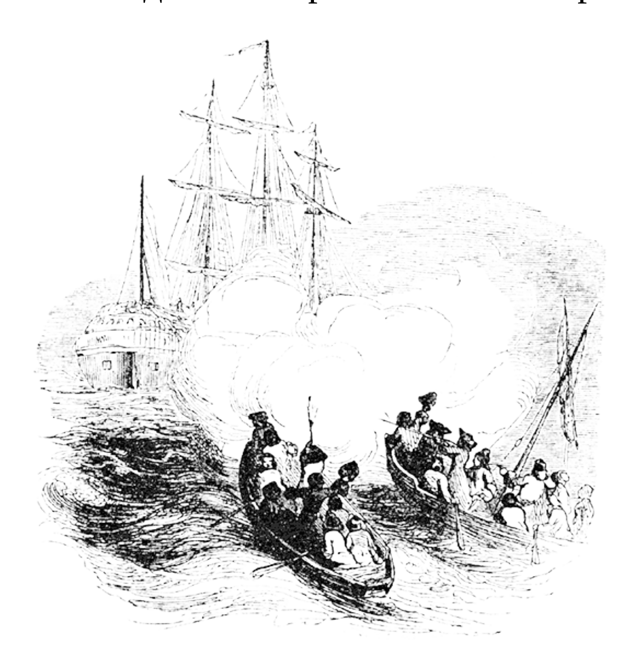
долгих разговоров казнены; ведь вы знаете, купеческие корабли не церемонятся с пиратами, когда те попадают им в руки. Поэтому, если вам дорога ваша жизнь и жизнь ваших людей, выходите в море, не теряя ни минуты, лишь только начнется прилив; и так как за вами не погонятся раньше следующего прилива, вы успеете уйти, тем более что лодки не посмеют гнаться за вами в открытом море, особенно во время ветра». – «Благодарю вас, сударь, вы оказали мне большую услугу, чем же мне вознаградить вас?» – «Сэр, у вас нет доказательств, что я говорю правду. Вот что я предложу вам: я служу на корабле, на котором я и приехал из Англии; мне не плачено жалованье за девятнадцать месяцев, а моему товарищу, голландцу, надо получить за семь месяцев; если вы обещаете заплатить нам обоим, сколько нам следует, мы поедем с вами; если вы не найдете, что мы вам оказали услугу, мы больше ничего и не спросим; если же вы убедитесь, что мы спасли ваш корабль и спасли жизнь вам и всему вашему экипажу, – мы предоставляем на ваше усмотрение, как вам поступить».

Я охотно согласился на это и поспешил вернуться на корабль, захватив с собою обоих матросов. Не успел я взойти на борт, как мой компаньон выбежал ко мне навстречу, на шканцы, и радостно крикнул мне: «Ура, ура, мы остановили течь, мы остановили течь!» – «Неужто правда? – воскликнул я. – Ну, слава Богу! В таком случае сейчас же снимемся с якоря!» Он был удивлен, но тем не менее позвал капитана, приказал сняться с якоря, и мы вышли в море.

Глава пятнадцатая

Сражение пяти шлюпок. – Смоляная битва

Тогда я увел своего компаньона к себе в каюту и рассказал ему все подробно. Не успел я окончить, как к двери каюты подбегает матрос и кричит: «Капитан велел вам сказать, что за нами гонятся». – «Гонятся? Кто же гонится и на чем?» – «Пять шлюпок или лодок, полных людей». Мы приготовились к бою, но в то же время уходили все дальше в море, благо ветер был свежий и попутный; а за нами на всех парусах гнались пять больших баркасов. Два из них – мы видели в подзорную трубу, что они были английские, – шли впереди и почти нагоняли нас; мы дали холостой выстрел из пушки и подняли белый флаг в знак того, что желаем начать переговоры, но они не обратили на это никакого внимания и продолжали гнаться за нами, пока не подошли на расстояние выстрела.



Тут мы убрали свой белый флаг, видя, что нам не отвечают, и подняли красный, а затем снова выстрелили в них уже картечью. Но и это не подействовало; они продолжали теснить нас и даже пытались подойти к нам под корму, чтобы взять нас на абордаж. Тут я велел повернуть корабль, так что они поравнялись с нашим бортом, и мы, не теряя времени, выпалили в них из пяти пушек сразу, причем одним ядром снесло корму у заднего баркаса. Тем временем одна из трех отставших лодок подошла ближе и поспешила на помощь поврежденному баркасу; мы видели, как она подбирала людей. Мы опять окликнули передний баркас, но он был

уже под нашей кормой. Тогда наш канонир выкатил два кормовых орудия и пальнул в него, а затем мы опять повернулись боком, и после нового залпа из трех орудий баркас оказался разбитым почти в щепы. Видя это, я немедленно приказал спустить капитанский катер и подобрать сколько можно будет людей. Наши матросы выполнили приказ в точности и подобрали трех человек, из которых один совсем уж тонул. Лишь только они вступили на борт, мы распустили все паруса, и лодки должны были отказаться от преследования.

Избавившись таким образом от опасности, я поспешил изменить курс, чтобы никто не мог догадаться, куда мы идем, и мы направились в открытое море к востоку, совершенно в сторону от обычного пути европейских судов. Уйдя на большое расстояние от берега, мы стали расспрашивать у взятых нами моряков, что все это значит. Голландец объяснил нам, что человек, продавший нам судно и выдававший себя за капитана, был попросту вором, укравшим чужую собственность; что настоящий капитан был изменнически убит малайцами и с ним были убиты три матроса; что он, голландец, и еще четыре человека убежали и долго скитались в лесах, а потом ему чудом удалось добраться вплавь до голландского корабля. Далее он рассказал нам, как он приехал в Батавию и встретил там двух матросов с этого самого корабля; они отделились от своих товарищей, покинув их где-то на пути, и сообщили, что боцман, бежавший с кораблем, продал его в Бенгалии шайке пиратов, которые теперь разбойничают на нем и захватили уже один английский и два голландских корабля с богатым грузом.

Мой компаньон был того мнения, что нам следует сейчас же вернуться в Бенгалию, в тот самый порт, откуда мы вышли, так как мы имеем полную возможность доказать, что нас не было на корабле, когда он пришел в Бенгальский залив, – и где мы купили его и у кого. Я сначала был заодно с ним, но, пораздумав, сказал, что, по-моему, нам слишком рискованно возвращаться в Бенгалию, потому что нас, наверное, перехватят где-нибудь по дороге.

Мой компаньон струсил, и мы решили идти прямо в Тонкин, а оттуда в Китай, пока нам не представится случай развязаться с нашим кораблем и возвратиться на каком-нибудь другом судне. Должен признаться, мне было очень не по себе, и я считал, что нахожусь в опаснейшем положении, в каком мне только доводилось бывать. В самом деле, несмотря на все мои злоключения, никогда еще меня не преследовали как вора; никогда еще я не совершил ни одного бесчестного поступка, особенно воровства. Я был совершенно невинен и, однако, не мог доказать своей невиновности.

После долгого и утомительного пути, идя все время зигзагами и терпя недостаток в продовольствии, мы подошли наконец к берегам Кохинхины и решили войти в устье маленькой речки, которая была, однако, достаточно глубока. И счастье наше, что мы так сделали, это было нашим спасением; на следующее же утро в Тонкинский залив вошли два голландских судна, а третье без всякого флага, но которое мы тоже сочли голландским, прошло всего в двух милях от нас, направляясь к берегам Китая; а под вечер тем же курсом прошли два английских корабля. Местность, где мы теперь находились, была дикая, варварская; население сплошь занималось воровством, так что мы натерпелись от него немало, несмотря на то, что старались ограничить свои сношения с ним добыванием провизии в обмен за разные мелочи. Народец этот имел обыкновение смотреть на людей, которых к ним забрасывало кораблекрушением, как на своих пленников и рабов. Вскоре нам представился случай узнать, каково их гостеприимство.

Я уже заметил выше, что наш корабль, будучи в море, дал течь и что течь эту неожиданно удалось прекратить в сиамской бухте, перед самым преследованием английских и голландских лодок; но все-таки корабль оказался не настолько надежным и крепким, как нам было желательно, и мы решили, воспользовавшись тем, что мы стоим на месте, разгрузить его и вытащить, если возможно, на берег или поставить на мель, чтобы добраться до трюма и посмотреть, где трещина. А потому, спустив с корабля пушки и другой груз, мы накренили его набок. Туземцы, бродившие по берегу, немало дивились этому зрелищу; им оттуда не видно было наших людей, работавших на плотах и лодках у киля, и они вообразили, что корабль покинут экипажем. Придя к такому заключению, они собрались всей ватагой и через несколько часов на десяти больших лодках подъехали к нам, без сомнения, с целью грабежа; если бы они поймали нас врасплох, то наверное захватили бы в плен. Я скомандовал нашим людям, работавшим на плотах, немедля вскарабкаться на борт по обшивке, а тем, что были на лодках, обойти кругом и подойти сбоку, но не успели они выполнить приказ, как кохинхинцы настигли их и, взяв на абордаж наш баркас, стали хватать и забирать в плен наших матросов. Первый, на кого они наложили руку, был английский матрос, сильный, здоровый парень; в руках у него был мушкет, но он и не подумал стрелять, а положил его на дно лодки. «Вот дурак», – подумал я; но оказалось, что он знает свое дело не хуже меня; облапив нападавшего на него дикаря, он перетащил его в нашу лодку и тут, схватив его за уши, с такой силой стукнул головой о борт, что у того дух вышибло. А тем временем

голландец, стоявший рядом, поднял мушкет и принялся колотить прикладом направо и налево, да так удачно, что положил пятерых туземцев, пытавшихся взобраться в нашу лодку. Но все-таки им не под силу было справиться с тридцатью-сорока врагами.



Однако же довольно забавный случай помог нашим одержать полную победу. Наш плотник как раз перед тем собрался очищать дно корабля и заливать пазы смолою в тех местах, где образовались трещины, и принес в лодку два котла: один с кипящею смолою, другой – наполненный камедью, салом и маслом, тоже кипящими; а его помощник захватил с собою большой железный черпак, и, как только два дикаря вскочили в лодку, где он стоял, он зачерпнул полон ковш кипящей жидкости и плеснул ею в них, и, так как дикари были полуголые, их до того ошпарило и обожгло, что они заревели, как быки, и, обезумев от боли, прыгнули оба в море. Плотник, увидев это, закричал: «Здорово, Джек, ну-ка огрей их еще» – и, выступив сам вперед, схватил швабру, а его помощник другую – и, обмакивая швабры в котел со смолою, они так хорошо угостили неприятелей, что из всех дикарей, размещенных в трех лодках, не осталось ни одного, который не был бы обожжен или обварен; а уж крик и вой они подняли такие, как волки в лесах на границе Лангедока.



Тем временем мой компаньон и я, с помощью части матросов, искусно повернули корабль, поставив его почти прямо, и водворили на место пушки, после чего наш канонир попросил меня приказать нашей лодке сойти прочь с дороги, потому что он сейчас будет стрелять. Я запретил ему стрелять, заявив, что плотник сделает все дело и один, без него, и приказал вскипятить еще котел смолы, уже приготовленный поваром; но враг был до того напуган отпором, полученным им в первую атаку, что уже не повторял нападения, а те лодки, что поотстали, увидя, что корабль качается на волнах и стоит прямо, должно быть, поняли свою ошибку и отказались от своих планов. На другой день, окончив чистку и починку корабля и залив смолою все трещины, мы распустили паруса.

Глава шестнадцатая

Старый португальский лоцман. – Прибытие в Квинчанг. – Японский купец

Сначала мы держали путь на северо-восток, как бы направляясь к Манильским или Филиппинским островам – это мы делали для того, чтоб не встретиться с каким-нибудь европейским судном, – а затем взяли курс на север и не меняли его, пока не дошли до 22° и 22' северной широты, став на якорь у берегов острова Формоза с целью запастись водою и свежею провизиею; отсюда мы пошли еще дальше на север, все время держась на почтительном расстоянии от китайского берега, пока не миновали всех китайских портов, куда обыкновенно заходят европейские суда. Дойдя до 30° северной широты, мы решили зайти в ближайший торговый порт, и, в то время как направлялись к берегу, к нам подъехал в лодке старый португалец-лоцман предложить свои услуги. Мы были очень рады этому и тотчас взяли его на борт.

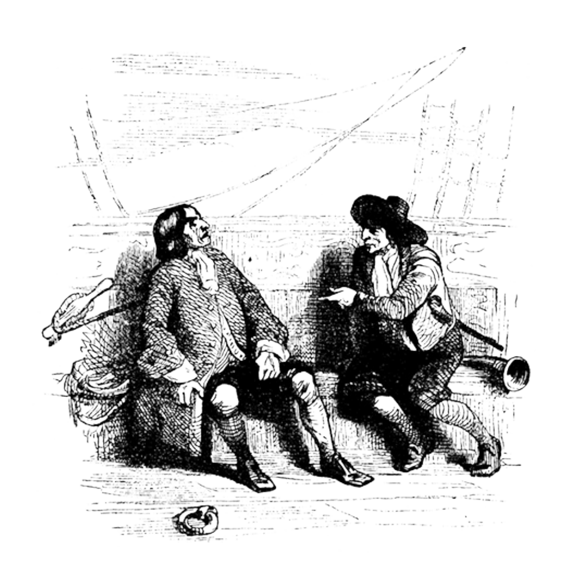
«Можете ли вы провести нас к Нанкину, где мы желаем распродать наш груз и накупить китайских товаров?» – обратился я с вопросом к нему. Он ответил, что, конечно, может и что большой голландский корабль недавно пошел туда. Это известие немного встревожило меня: голландские корабли стали для нас теперь пугалом, и мы охотнее встретились бы с самим чертом, лишь бы только он показался не в очень уж страшном виде, так как были уверены, что голландский корабль погубит нас.

Заметив мое смущение, старик сказал мне: «Сударь, вам нечего бояться этого корабля. Ведь ваше государство не находится в войне с Голландией». – «Это верно, – ответил я, – но Бог ведает, какие вольности могут позволить себе люди, когда они недосягаемы для закона». – «Но ведь вы не пираты; чего же вам бояться? Конечно, они не тронут мирных купцов».

Если вся моя кровь не прилила к лицу при этих словах, то лишь потому, что ей помешали устроенные природой клапаны в сосудах; ибо португалец поверг меня в крайнее смущение, которого он не мог не заметить.

«Сударь, – сказал он, – мои речи как будто смутили вас. Однако я весь к вашим услугам и готов вести вас, куда вам будет угодно». – «Сеньор, – отвечал я, – я действительно нахожусь в некоторой нерешительности, куда мне держать курс, и ваше упоминание о пиратах еще увеличило мое

колебание. Надеюсь, что в этих морях нет пиратов; мы совсем не подготовлены к встрече с ними: вы видите, как нас мало и как мы плохо вооружены». – «Пожалуйста, не тревожьтесь: пятнадцать лет не было видно пиратов в этих морях, за исключением одного, который, по слухам, показался месяц тому назад в сиамской бухте; но можете быть уверены, что он пошел по направлению к югу; к тому же это корабль небольшой и не приспособленный для разбоя. Он был украден мерзавцами матросами после того, как капитан и несколько человек команды были убиты малайцами на Суматре или где-то близко от нее». – «Как! – воскликнул я, притворяясь, что ничего не знаю об этом. – Они убили капитана?» – «Нет, я не утверждаю этого; но так как они увели потом корабль, то все убеждены, что они выдали капитана малайцам, и те, может быть, по их наущению умертвили его». – «В таком случае они заслуживают смерти, как если бы сами совершили убийство». – «Несомненно, – отвечал старик, – и они, наверное, будут повешены, если встретятся с английским или голландским кораблем, ибо все командиры порешили между собой не давать пощады негодяям, когда те попадут в их руки». – «Однако, по вашим словам, пират ушел из этих морей, как же они могут встретиться с ним?» – «Да они и не рассчитывают на это; однако пират, как я уже сказал вам, был опознан в устье Камбоджи голландскими матросами, которые служили на нем и были покинуты мятежниками на берегу; несколько английских и голландских кораблей, стоявших в реке, чуть было не изловили пирата. Если бы лодки, посланные за ним, получили вовремя поддержку, он, наверное, был бы захвачен; но прежде чем подошла подмога, он успел потопить их и удрал. Однако всем судам дано такое точное описание пирата, что его узнают повсюду и, уж конечно, не будет дано пощады ни капитану, ни матросам: негодяи тут же будут вздернуты на рее». – «Как! – воскликнул я, – не выслушавши их? Сначала повесят, а затем будут судить?» – «Э, сударь, – отвечал лоцман, – с такими мерзавцами не стоит церемониться; связать их спинами да и пустить поплавать – вот все, чего они заслуживают».



Я знал, что старик в моей власти и не может причинить нам вреда; поэтому я без обиняков заявил ему: «Именно по этой причине, сеньор, я и хочу, чтобы вы провели нас в Нанкин, а не в Макао или в какой-нибудь другой порт, куда заходят английские или голландские корабли; да будет вам известно, что капитаны этих английских и голландских кораблей – самонадеянные наглецы, не знающие законов божеских и человеческих: плохо понимая свои обязанности, они сами становятся убийцами в уверенности, будто наказывают преступников, оскорбляют людей, на которых взведено ложное обвинение, и обсуждают их без всякого расследования дела. Может быть, именно на меня выпала задача призвать их к ответу и показать им, что с человеком нельзя обращаться как с преступником, пока совершение им преступления не доказано с очевидностью». Тут я рассказал ему всю нашу историю. Лоцман был очень удивлен и признал, что мы были правы, взяв курс на север. Во время этого разговора мы все время шли по направлению к Нанкину и через тринадцать дней стали на якорь в юго-западной части большого Нанкинского залива; там я случайно узнал, что меня опередили два голландские судна и что я непременно попаду в их руки.

Я спросил старого лоцмана, нет ли тут бухты или залива, куда бы мы могли зайти и завести торговлю с китайцами, не подвергаясь при этом никакой опасности. Он ответил, что, если я не прочь отойти лиги на сорок две к югу, там есть небольшой порт Квинчанг, где обыкновенно высаживаются отцы-миссионеры, направляясь из Макао в Китай проповедовать христианскую религию и куда еще не заходил ни один европейский корабль. Однако порт этот не коммерческий, и лишь во время ярмарки туда заезжают японские купцы.

Мы все были согласны идти туда и на другой же день снялись с якоря, съездив на берег только два раза за свежею водою, но ветер был противный, и до Квинчанга мы добрались только через пять дней, зато остались им очень довольны, в особенности я. Когда я наконец мог, не подвергаясь опасности, выйти на берег, я ощутил прилив не только радости, но и благодарности, и мы с моим компаньоном оба решили, что, если только будет какая-нибудь возможность пристроить здесь сколько-нибудь выгодно себя самих и свои товары, мы никогда больше не вернемся на этот злосчастный корабль.

В самом деле, на основании собственного опыта могу сказать, что ничто не делает человека таким жалким, как пребывание в беспрерывном страхе. Действуя на воображение, страх преувеличивает каждую опасность, и капитаны английских и голландских кораблей рисовались нам людьми, неспособными внимать доводам разума и отличать честных людей от негодяев, правдивый рассказ от выдумки. Несомненно, у нас была тысяча средств убедить разумное существо, что мы не пираты: товары, которые мы везли, курс нашего корабля, открытые посещения портов, наконец, слабые наши силы и ничтожное количество оружия, амуниции и припасов. Опиум и другие товары доказывали, что судно наше шло из Бенгалии. Но страх, эта слепая и бессмысленная страсть, направлял наши мысли в другую сторону и рисовал нам тысячи невероятных картин. Мы воображали, что английские и голландские корабли настолько озлоблены потоплением лодок, что расправятся с нами, не слушая никаких наших доводов. Ведь у них было столько данных, что мы пираты: то же самое судно, которое потопило лодки на реке Камбоджа; получив известие, что нас хотят обыскать, мы обратились в бегство, обстреляв их лодки. К тому же, будь мы на их месте, мы бы действовали так же беспощадно.

Как бы то ни было, мы находились в постоянном страхе; и мне, и моему компаньону по ночам грезились виселица, веревки, нападение на нас, наша отчаянная защита; однажды мне приснилось, что нас взял на абордаж голландский корабль и я повалил одного из нападавших на нас матросов; в неистовстве я изо всей силы хватил кулаком по стенке каюты, так что расшиб и поранил себе руку; от боли я проснулся.



Те же мысли днем и ночью мучили меня и моего компаньона; тогда мы успокаивали себя, говоря, что капитаны не имеют права поступать таким образом: если они умертвят или замучают нас, то будут привлечены к ответственности по возвращении на родину. Однако это утешение было слабое: их наказание все равно не могло бы вернуть нас к жизни.

Когда такие мысли овладевали мной, я весь был как в лихорадке, точно и взаправду сражаясь с неприятелем; кровь моя кипела, глаза сверкали. После такого возбуждения я всегда решал, что не стану просить пощады, буду защищаться до последней крайности и в последнюю минуту взорву корабль, лишь бы не дать поживиться неприятелю.

Чем более мучительными были эти тревоги, пока мы блуждали по морю, тем большей была наша радость, когда мы увидели себя в безопасности на берегу. Моему компаньону однажды приснилось, что у него на плечах огромная тяжесть, которую ему нужно втащить на вершину холма, и он вдруг почувствовал, что силы покидают его; но в этот момент появился португальский лоцман и облегчил его; холм исчез, почва под ним стала ровная и гладкая. И все мы испытали подобное состояние. Когда мы вышли на берег, старый лоцман, с которым мы очень подружились, помог нам нанять квартиру и склад для наших товаров. Кроме того, он познакомил нас с тремя миссионерами, католическими священниками, которые уже несколько времени проживали в этом городе, проповедуя христианство. По-моему, результаты их проповеди были ничтожны: китайцы, обращенные ими в христианство, едва ли заслуживали имени христиан, но это нас не касалось.

Один из этих миссионеров был француз, по имени отец Симон, веселый человек, прекрасного характера и очень приятный собеседник, не такой серьезный и важный, как другие два, португалец и генуэзец.

Французский священник собирался ехать, по приказу начальника миссии, в Пекин, столицу Китайской империи и резиденцию императора, и ждал только другого священника, который должен был прибыть из Макао и сопровождать его. Не успели мы встретиться и поговорить немного, как он стал приглашать меня ехать вместе с ним, обещая показать мне все чудеса этой могущественной империи и, между прочим, величайший город в мире. «Город, – сказал он, – с которым не могут сравняться ваш Лондон и наш Париж, сложенные вместе». Он говорил о Пекине, который я должен признать городом великим и безмерно полным людьми; но поскольку я смотрю на это с точки зрения, отличной от позиций других людей, то я выскажу свое мнение на этот счет в нескольких словах, а по ходу своего путешествия буду высказываться более подробно.

Ему удалось почти убедить нас, но нам предварительно нужно было покончить наши дела, т. е. продать судно и товары, что было нелегко в этом глухом месте. Однако нам повезло: старик португалец привел нам японского купца. Тот купил весь наш опиум по хорошей цене, заплатив за него золотом в монетах и слитках. Пока мы продавали опиум, мне пришло в голову, не приобретет ли японец также корабль, и я приказал переводчику обратиться к нему с этим предложением. Сперва купец только пожал плечами, но через несколько дней он пришел ко мне с одним миссионером в качестве переводчика и предложил мне следующее: он купил у нас большое количество товаров, не зная, что мы хотим продать также судно, теперь же у него не осталось больше денег, однако, если я соглашусь предоставить в его распоряжение экипаж корабля, чтобы отправить его на Филиппины с новым грузом, фрахт которого он оплатит, то по возвращении оттуда в Японию он купит корабль. Я склонен был принять его предложение и даже сам отправиться вместе с ним, однако мой компаньон отговорил меня от этого последнего намерения. Вместо меня изъявил желание отправиться с кораблем молодой человек, предоставленный в мое распоряжение моим племянником. И я и мой компаньон согласились отдать молодому человеку в полную собственность половину корабля с тем, чтобы в будущем, если нам случится встретиться в Англии, он отдал нам отчет о другой половине. Молодой человек совершил очень удачное путешествие в Японию, на Филиппины, в Маниллу, а оттуда в Акапулько, на западном берегу Мексики. Через восемь лет он вернулся в Англию богатым человеком.



Покидая корабль, мы стали думать, как нам вознаградить, согласно уговору, тех двух матросов, которые так своевременно уведомили нас на реке Камбодже о враждебных замыслах английских и голландских кораблей. Кроме недоплаченного им хозяевами жалованья мы дали им еще небольшую сумму золотом и устроили англичанина канониром, а голландца боцманом на корабле.

Итак, мы были теперь в Китае. Если я чувствовал себя заброшенным на край света в Бенгале, откуда мог многими способами добраться домой, то каково же было мне теперь, когда я оказался на тысячу миль дальше и все пути возвращения были для меня отрезаны?

Все свои надежды возлагали мы на ярмарку, открывавшуюся здесь через четыре месяца; там нам мог представиться случай купить китайскую джонку и отправиться на ней в другой порт. Кроме того, не исключена была возможность появления английского или датского корабля, который взял бы нас, так как наши личности не внушали никаких подозрений.

Глава семнадцатая

Поездка в Нанкин. – Великая стена

В надежде на это мы решили остаться пока здесь, а для развлечения раза два или три предприняли путешествие внутрь страны. Прежде всего мы потратили десять дней на осмотр Нанкина, но город этот действительно стоит посмотреть; говорят, что в нем миллион жителей, однако я этому не верю. Он построен геометрически правильно, улицы совершенно прямые и пересекаются под прямыми углами, что производит очень приятное впечатление. Но когда я сравниваю жалкое население этой страны с европейцами, то постройки китайцев, их образ жизни, их управление, их богатство и их слава (как иные говорят) кажутся мне почти не стоящими упоминания. Я очень склонен думать, что мы дивимся величию, богатству, пышности, торговле и нравам китайцев не потому, что все это действительно достойно удивления, – нет, мы просто не ожидали встретить все это в столь варварской, грубой и невежественной стране. Не будь этого, что замечательного можно найти в китайских постройках по сравнению с европейскими дворцами? Чего стоит китайская торговля по сравнению с торговлей Англии, Голландии, Франции и Испании? Что такое китайские города по сравнению с нашими в отношении богатства, силы, внешней красоты, внутреннего убранства и бесконечного разнообразия? Что такое китайские порты с немногочисленными джонками и барками по сравнению с нашей навигацией, нашими торговыми флотами, нашими мощными военными кораблями? Наш Лондон ведет более обширную торговлю, чем необъятная китайская империя. Один английский, голландский или французский восьмидесятипушечный линейный корабль разбил бы и уничтожил весь китайский флот. Но богатство китайцев, их торговля, могущество их правительства и сила их армий, как я уже сказал, поражают нас, потому что, считая китайцев варварским языческим народом, почти что дикарями, мы ничего этого не ожидаем найти у них. Только благодаря этому подходу их мощь и величие предстают нам в выгодном свете; в действительности же они немногого стоят; сказанное мною о китайском флоте относится также к китайской армии. Все вооруженные силы китайской империи, хотя бы даже они собрались на поле сражения в числе двух миллионов человек, были бы способны только опустошить страну и погибнуть с голоду. Они не могли бы взять самой маленькой фламандской крепости или померяться с дисциплинированной армией; одна шеренга

немецких кирасиров или один эскадрон французской кавалерии обратили бы в бегство всю китайскую конницу. Миллион китайской пехоты не мог бы справиться с одним нашим регулярным пехотным полком, занявшим позицию, которую невозможно окружить; больше того, скажу без хвастовства, что 30000 немецких или английских пехотинцев и 10000 французских кавалеристов наголову разбили бы всю китайскую армию; так же точно мы превосходим их в искусстве укрепления городов, осады и обороны крепостей. В Китае нет ни одного укрепленного города, который мог бы в течение месяца выдержать осаду европейской армии; в то же время все китайские армии в совокупности никогда не взяли бы такого города, как Дюнкирхен, даже если бы осада продолжалась десять лет, – разве только измором. Правда, у них есть огнестрельное оружие, но они пользуются им неискусно и нерешительно, а китайский порох весьма ничтожной силы. Китайские солдаты плохо обучены, плохо владеют оружием, неискусны в атаке и легко поддаются панике при отступлении.

Должен сознаться, что по возвращении домой мне было странно слышать, как у нас превозносят могущество, богатство, славу, пышность и торговлю китайцев, ибо, по моим собственным наблюдениям, китайцы показались мне презренной толпой или скопищем невежественных грязных рабов, подвластных достойному их правительству. Словом, если бы расстояние, отделяющее Китай от Московии, не было столь огромным и если бы Московская империя не была почти столь же варварской, бессильной и плохо управляемой толпой рабов, то царь московский без большого труда выгнал бы китайцев с их земли и завоевал бы их в одну кампанию. И если бы царь, могущество которого, по слухам, все возрастает и начинает достигать грозных размеров, направил свои армии в эту сторону вместо того, чтобы атаковать воинственных шведов, в чем ни одна из европейских держав не стала бы завидовать или препятствовать ему, то он сделался бы уже за это время императором китайским и не был бы бит под Нарвой королем шведским, силы которого в шесть раз уступали русским войскам. Подобно военному могуществу китайцев, их навигация, торговля и земледелие очень несовершенны по сравнению с тем, чего достигли европейцы; то же самое можно сказать относительно их знаний, науки и искусств. У них есть глобусы, планетные круги и кой-какие сведения по математике; но стоит вам только немного ближе познакомиться с их наукой, и вы убеждаетесь, как ограниченны самые первые их ученые! Они ничего не знают о движениях небесных тел, и народ у них так глуп и так невежественен, что солнечное затмение они объясняют нападением на солнце большого дракона, который похищает

светило, так что по всей стране начинают что есть мочи бить в барабаны и греметь кастрюлями, чтобы испугать и прогнать чудовище, совсем как делаем мы, когда нам нужно загнать в улей рой пчел.



По возвращении из Нанкина я был не прочь посмотреть и Пекин, о котором так много слышал, и отец Симон приставал ко мне с этим буквально каждый день. Наконец день его отъезда был назначен, так как прибыл другой миссионер из Макао, с которым он должен был ехать, и нам необходимо было решить окончательно, едем мы или не едем. Я направил его к моему компаньону, предоставив выбор последнему; тот в конце концов ответил утвердительно, и мы стали готовиться в путь.

Обстановка нашего путешествия сложилась очень благоприятная в смысле безопасности: мы получили позволение ехать в свите одного мандарина. Мандарины эти являются чем-то вроде вице-королей или губернаторов провинций и путешествуют с большой помпой, принимая всевозможные почести от населения и часто совершенно разоряя его, ибо оно обязано обильно снабжать по пути всю многочисленную мандаринскую свиту. Так как мы ехали в этой свите, то также не терпели недостатка в еде и в корме для лошадей, однако мы обязаны были платить за все по местным рыночным ценам, и эконом мандарина аккуратно взыскивал с нас причитающиеся деньги; таким образом, наше допущение в свиту мандарина, хотя и являлось выражением большой любезности по отношению к нам, не было, однако, совершенно бескорыстным, особенно если принять во внимание, что таким же покровительством пользовались еще человек тридцать путешественников. Население доставляло мандарину провизию бесплатно, он же продавал нам ее за наличные деньги.

Двадцать пять дней ехали мы до Пекина по стране чрезвычайно

населенной, но плохо обработанной; хлебопашество, хозяйство и самый быт народа – все здесь было в жалком состоянии, хотя китайцы и хвалятся своим трудолюбием. Это вообще очень чванливый народ. Чванство их может превзойти только их бедность, и это много способствует их жалкому состоянию.

Голые американские дикари, по-моему, счастливее китайцев, потому что если они не имеют ничего, то ничего и не желают. Китайцы же чванливы и нахальны, хотя большинство их – оборванные нищие. Чванство у них невероятное: выражается оно в одежде и постройках, в толпах ненужных слуг или рабов и, что забавнее всего, – в презрении ко всему на свете, исключая себя самих.

Моего друга, отца Симона, и меня очень забавляли проявления чванства этих нищих. Так, например, милях в десяти от Нанкина нам случилось проехать мимо дома одного сельского дворянина, как его назвал отец Симон. Этот дворянин оказал нам честь на протяжении двух миль ехать с нами рядом; на коне он имел вид настоящего Дон Кихота: такая же смесь напыщенности и бедности.

Одежда этого дона пристала бы разве шуту или скомороху. Это был балахон из грязного пестрого ситца, сшитый совершенно на шутовской образец: с висячими рукавами, с разрезами и прорехами со всех сторон; а сверху был надет тафтяной камзол, засаленный, как у мясника, и свидетельствовавший о том, что его честь отличается чрезвычайною неопрятностью. Лошадь у него была жалкая, тощая, голодная, хромая; в Англии за нее не дали бы больше 30–40 шиллингов. За ним шли пешком два раба, подгонявшие бедное животное; у самого всадника был кнут в руке, и он хлестал лошадь по голове так же усердно, как его рукава хлестали ее по хвосту. Всего за ним бежало около десяти или двенадцати слуг; и нам сказали, что он едет из города к себе в имение, находящееся от нас всего в полумиле. Мы двигались не спеша, все время наблюдая перед собой эту комическую фигуру. Когда же после привала в одной деревне, продолжавшегося с час, мы проезжали мимо имения великого человека, то увидели его уже у дверей его дома, за трапезой. Перед домом было нечто вроде садика, но это не мешало видеть хозяина, и нам дали понять, что чем дольше мы будем смотреть на него, тем это будет ему приятнее.



Он сидел под деревом, представлявшим собою род пальмы. Это дерево достаточно защищало его голову от солнечных лучей, однако под ним помещался еще большой зонтик, что придавало этому местечку уютность. Наш помещик, толстый, грузный мужчина, сидел, развалясь, в большом кресле с подлокотниками; две рабыни приносили и уносили кушанья; другие две оказывали ему услуги, которые едва ли бы согласился принять кто-либо в Европе, а именно: одна кормила своего господина с ложечки, другая снимала крошки и кусочки, которые господин ронял на свою бороду и жилет; – это большое жирное животное считало унизительным для себя делать то, что даже короли и монархи предпочитают делать сами, чтобы не позволить прикасаться к себе грубым пальцам своих слуг.



Я смотрел и думал о том, каким мучениям подвергает людей чванство и как несносно должно быть такое извращенное высокомерие для обыкновенного смертного. Постояв так немного и оставив беднягу в приятном убеждении, что люди останавливаются, чтобы полюбоваться его пышностью, тогда как на самом деле мы жалели и презирали его, мы пошли дальше и продолжали свое путешествие в Пекин.

Что касается нашего мандарина, с которым мы ехали, то ему воздавались царские почести; в пути он был окружен такой помпой, что мы едва могли видеть его издали. Все же я заметил, что свита его ехала на жалких клячах, которые не годились бы, вероятно, даже для английской почты. Впрочем, лошади эти так были закутаны упряжью, сбруей, попонами, что мы с трудом могли различить, тощие они или нет, так как видели только их голову да ноги.

Путешествие, в общем, было очень приятное, и я остался очень доволен им. Только одно досадное приключение случилось со мной. Переходя вброд одну речонку, моя лошадь упала и сбросила меня в воду. Речка была неглубокая, но я искупался с головы до ног. Я упоминаю об этом случае, потому что моя записная книга, куда я заносил собственные имена, которые хотел запомнить, оказалась до такой степени попорченной, что, к большому сожалению, мне не удалось разобрать своих записей и я не могу восстановить точное название некоторых мест, где я побывал во время этого путешествия.

Наконец мы прибыли в Пекин. Со мною не было никого, кроме молодого человека, оставленного мне моим племянником в качестве слуги и оказавшегося весьма надежным и ловким; у моего компаньона тоже был только один слуга, приходившийся ему немного сродни. Да еще мы взяли с собою португальца-лоцмана, которому очень хотелось увидеть китайский двор, и заплатили за него все издержки по путешествию ради удовольствия пользоваться его обществом и также потому, что он мог служить нам переводчиком – он понимал китайский язык, знал по-французски и немного по-английски. Вообще, этот старик оказывался нам всюду, где бы мы ни были, чрезвычайно полезным. Не пробыли мы и недели в Пекине, как он пришел к нам и, смеясь, рассказал, что в город прибыл караван московских и польских купцов и что через четыре или пять недель они собираются вернуться домой, в Московию, сухим путем.

Признаю, что я был очень удивлен этой хорошей новостью и какое-то время не мог найти сил, даже чтобы с ним говорить; но наконец обратился к нему.

«Как вы об этом узнали, – спросил я, – уверены ли вы в том, что это

правда?» – «Да, – ответил он, – этим утром я встретил на улице своего старого знакомого, армянина, который входит в их число. Он прибыл из Астрахани и собирался идти в Тонкин, где я прежде знавал его, но изменил свое решение и теперь решил идти с караваном в Москву и вниз по Волге к Астрахани».

«Сеньор, – говорю я, – не тревожьтесь о том, что вас покинут и придется возвращаться одному; если это – путь моего возвращения в Англию, вы совершите ошибку, если вернетесь в Макао вообще».

Затем мы вместе обсудили, что будем делать; и я спросил своего партнера, что он думает по поводу новости лоцмана и совместимо ли это с его делами. Он сказал мне, что будет делать то же, что и я. Он уже урегулировал свои дела в Бенгалии и оставил их в очень хорошем состоянии, поскольку мы совершили хорошее путешествие, и если бы он вложил прибыль в китайские шелка и шелк-сырец, то был бы доволен поездкой в Англию и затем мог бы поехать обратно в Бенгалию.



Лоцман считал, что мы воспользуемся этим случаем и уедем, оставив его одного в Пекине. Мы посоветовались со своим компаньоном, подумали и сказали португальцу, что если он поедет с нами, мы повезем его на свой счет не только в Московию, но и в Англию, если ему будет угодно, ибо мы чувствовали себя в большом долгу у него. Он пришел в восторг от этого предложения и объявил, что готов ехать с нами хоть на край света.

Выехали мы из Пекина не через пять недель, как рассчитывали, а через четыре с лишним месяца, в начале февраля по европейскому стилю.

Мой компаньон и старик лоцман съездили тем временем в порт, где мы высадились, чтобы забрать оставленные там товары. Я же побывал в Нанкине с одним знакомым китайским купцом и купил девяносто кусков

тонкой камчатной материи, двести кусков шелковой материи разных сортов, частью вышитых золотом, и все это я привез в Пекин, где стал ожидать возвращения своего компаньона. Кроме того, мы накупили очень много шелка-сырца и некоторых других товаров; ценность нашего груза только в этих товарах достигала трех тысяч пятисот фунтов стерлингов; эти товары, да еще чай, тонкие сукна и пряности мы погрузили на восемнадцать верблюдов; кроме них у нас были еще верховые верблюды и несколько лошадей; всего двадцать шесть животных.

Нас собралась большая компания – насколько я могу припомнить, больше ста двадцати человек, отлично вооруженных и готовых ко всяким случайностям, и триста или четыреста лошадей и верблюдов. Наш караван состоял из людей разных национальностей, главным образом из московитов – в нем было шестьдесят московских купцов и обывателей, несколько человек из Ливонии и пять шотландцев, чему мы были очень рады, тем более что они были люди состоятельные и весьма опытные в делах.

После дня пути наши вожатые, числом пять, созвали всех дворян и купцов, т. е. всех участников каравана, кроме слуг, на большой совет, как они выражались. На этом большом совете каждый из нас прежде всего внес известную сумму в общую кассу на необходимые путевые расходы – закупку фуража в тех местах, где его нельзя было достать иначе, на уплату проводникам, добывание лошадей и т. п. Здесь же был составлен план путешествия и построен караван, как они выражались, т. е. избраны начальники и помощники их, которые должны были выстраивать нас в линию при выступлении и поочередно командовать нами во время пути.

В этой части страна густо заселена и изобилует гончарами, приготовляющими глину для фарфора. Дорогой ко мне подошел лоцман-португалец и с лукавой улыбкой заявил, что хочет показать мне большую диковину и что после всего дурного, сказанного мной о Китае, я вынужден буду признать, что видел вещь, которой не увидел бы никогда на свете. Любопытство мое разгорелось. Наконец он сказал мне, что это помещичий дом, построенный из фарфора. «Что ж, это возможно. Какой же он величины? Можем мы унести его в ящике на одном из наших верблюдов? Постараемся купить его». – «На верблюде! – воскликнул старый лоцман, поднимая руки. – Бог с вами: в нем живет семья из тридцати человек!»



Мне очень захотелось посмотреть этот дом. Когда я подошел к нему, то убедился, что он деревянный, но штукатурка его действительно была фарфоровая. Снаружи фарфор был глазирован; освещенный солнцем, он красиво блестел, весь белый, расписанный синими фигурами, как на больших китайских вазах, которые можно видеть в Англии. Внутри же дома все стены вместо деревянных панелей были выложены квадратными плитками из великолепного фарфора, расписанными изящными рисунками всевозможных цветов; некоторые плитки образовывали какую-нибудь фигуру и были соединены так искусно, что совсем не видно было очертаний каждой из них. Полы в комнатах были тоже фарфоровые, твердые как камень, вроде глиняных полов в некоторых частях Англии, например Линкольншире, Ноттингемшире, Лестершире и др., и очень гладкие, но не обожженные и не раскрашенные, за исключением некоторых комнат. Потолок был тоже фарфоровый, крыша же была покрыта блестящими черными фарфоровыми плитками. Словом, это был действительно фарфоровый дом, и если бы мне не приходилось продолжать путь, я посвятил бы несколько дней на тщательный его осмотр. Мне говорили, что в саду возле этого дома есть фонтаны и пруды, до дна вымощенные фарфором, и прекрасные фарфоровые статуи.

Так как фарфоровое производство чисто китайское, то неудивительно, что китайцы достигли в нем высокого совершенства, которое, мне кажется, впрочем, они сильно преувеличивают в своих рассказах. Так, например, мне рассказывали, будто один рабочий смастерил из фарфора целый

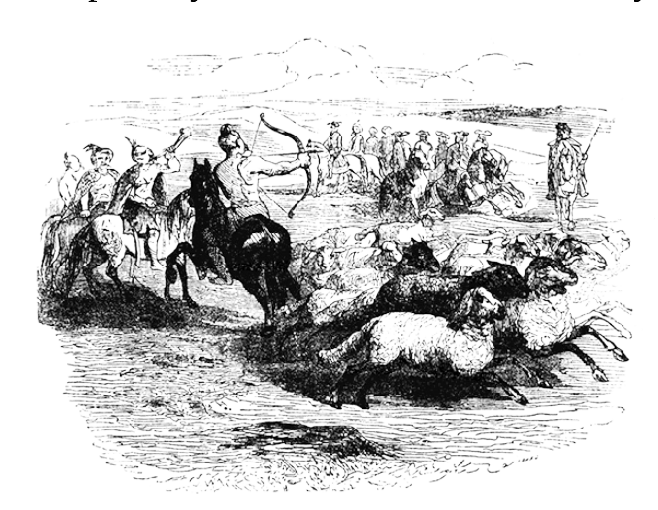
корабль с мачтами, снастями, парусами, вмещающий пятьдесят человек. Если бы мой рассказчик прибавил, что корабль этот был спущен на воду и совершил плавание в Японию, я бы, может быть, сделал ему какие-нибудь возражения; а так все это было очевиднейшей ложью. Я улыбнулся и ничего не ответил. Два дня спустя мы перевалили через Великую Китайскую стену – укрепление, воздвигнутое для охраны страны от татар.



Стена эта проходит по горам и холмам даже в таких местах, где она совершенно не нужна, так как скалы и пропасти и без того непроходимы для неприятеля, а если бы он все же одолел их, то его не могла бы уже остановить никакая стена. Говорят, что длина ее около тысячи английских миль. В высоту, а в иных местах также в ширину она достигает четырех саженей. Таким образом, она является хорошей защитой от татар, но, конечно, не устояла бы и десяти дней против нашей артиллерии, наших инженеров и саперов.

По ту сторону стены население было редкое, и я понял необходимость путешествовать по этой стране не отдельными группами, а большим караваном, как мы, видя татарские отряды, бродившие повсюду вокруг. У них был такой жалкий вид, что я удивился, как это они могут представлять угрозу для столь обширной страны. Очередной начальник каравана разрешил шестнадцати из нас поохотиться; в сущности, это была охота только на баранов, но, пожалуй, ее можно было назвать охотой, потому что эти бараны дикие и удивительно быстро бегают; только они не могут бежать долго, и, погнавшись за ними, вы можете быть уверены в успехе,

тем более что они ходят обыкновенно стадами по тридцать-сорок голов вместе и, как истые бараны, убегая, тоже сбиваются в кучу.



Преследуя эту странную дичь, мы случайно столкнулись с татарским отрядом в сорок человек; лишь только они завидели нас, один из них затрубил в какое-то подобие рога, получился громкий режущий уши звук, какого я никогда не слыхал раньше, да, кстати сказать, и не желал бы услышать. Мы все догадались, что он призывает подмогу; и действительно, меньше чем через четверть часа на расстоянии мили показался другой отряд, человек в тридцать или сорок; но мы еще раньше того покончили с первым отрядом.

Случилось так, что с нами был один из шотландских купцов, торговавших с Москвой; заслышав звук рога, он в двух словах объяснил нам, что нам нужно, не теряя времени, самим напасть на татар, и, выстроив нас в линию, спросил, не боимся ли мы. Мы отвечали, что готовы следовать за ним, и он поскакал прямо к татарам. Те стояли нестройной толпой и глазели на нас, но лишь только заметили, чти мы приближаемся, пустили в нас тучу стрел, к счастью, никому не причинивших вреда. Стрелки целили метко, но не рассчитали расстояния, и стрелы упали невдалеке от нас, а будь мы на двадцать ярдов ближе, наверное, несколько человек из нас были бы ранены, если не убиты. Мы тотчас остановились и, несмотря на дальность расстояния, ответили им на деревянные стрелы свинцовыми пулями, а сами поскакали во весь опор вслед за этими пулями с обнаженными саблями в руках, как приказал нам наш храбрый шотландец. Подскакав к ним вплотную, мы дали по ним залп из пистолетов и затем отъехали немного назад; они же бросились бежать в страшном смятении. Эта стычка имела то неприятное последствие, что, пока мы гнались за татарами, наши бараны убежали.

Глава восемнадцатая

Украденный верблюд. – Монголы

Все это время мы находились в китайских владениях, и татары еще не обнаруживали такой дерзости, как те, с которыми мы сталкивались впоследствии, но пять дней спустя мы вступили в огромную дикую пустыню, по которой шли три дня и три ночи. На вопрос, чьи это владения, наши вожатые объяснили, что эта пустыня, собственно, никому не принадлежит и составляет часть огромной страны Каракатаи, или Великой Татарии, но тем не менее китайцы считают ее своею; что никто не охраняет ее от вторжения разбойников, и потому она слывет самым опасным местом на протяжении всего нашего пути, хоть нам придется пройти еще через несколько пустынь, еще более обширных.

Проходя через эту дикую равнину, которая, сознаюсь, на первый взгляд показалась мне очень страшной, мы несколько раз видели издали небольшие отряды татар, но те, по-видимому, были заняты своими делами и не питали относительно нас никаких враждебных намерений; а потому и мы, подобно человеку, встретившемуся с дьяволом, пропустили их мимо, не тронув: если им нечего было сказать нам, то и нам, в свою очередь, нечего было сказать им.

После этого мы еще с месяц странствовали по владениям китайского императора; здесь дороги были уж не так хороши, как вначале, и шли большею частью через селения – местами укрепленные из страха набегов татар.



Когда мы подходили к одному из таких городов (в двух с половиной днях пути от крепости Ном), я захотел купить верблюда, которых, как и лошадей, продавалось множество на пути нашего каравана. Место, где был

этот верблюд, находилось в двух милях от городка. Я отправился туда пешком с нашим лоцманом, желая некоторого разнообразия впечатлений. Место оказалось болотистым, обнесенным стеной из дикого камня и охраняемым небольшим отрядом китайских солдат. Выбрав верблюда и сторговавшись, я ушел в сопровождении китайца, который вел моего верблюда, как вдруг на нас напали пятеро конных татар: двое из них схватили китайца и отняли от него верблюда, трое остальных бросились на меня и лоцмана, увидев, что мы безоружны. Действительно, у меня была только шпага – слабая защита против троих всадников. Однако первый приблизившийся к нам татарин остановился, когда я обнажил ее: они большие трусы. В это время второй, подъехав ко мне слева, так хватил меня по голове, что я повалился без чувств и, очнувшись, не понимал, что со мной. К счастью, у лоцмана – еще раз выручившего меня в трудную минуту – был в кармане пистолет, о котором не подозревал ни я, ни татары, иначе они бы не напали на нас; но трусы всегда наглеют, когда думают, что не рискуют ничем. Видя, что я упал, старик храбро подбежал к ударившему меня татарину, схватил его одной рукой, а другой выстрелил прямо в голову. После этого он обернулся к другому, выстрелил, ранил его лошадь, та понесла, сбросила седока и упала на него. Тем временем вернулся китаец, потерявший верблюда; видя эту сцену, он подбежал купавшему, выхватил у него из-за пояса что-то вроде топора и размозжил ему голову. Третий татарин убежал, когда увидел, что лоцман целится в него из пистолета и, таким образом, победа осталась за нами.



Тем временем я немного пришел в себя и в первую минуту подумал, что просыпаюсь от глубокого сна; я был очень удивлен, увидя себя лежащим на земле, и не понимал, как это произошло. Вскоре, придя в сознание, я почувствовал боль, хотя не мог определить, где именно. Поднеся руку к голове, я замочил ее кровью; тут только я сообразил, что у меня болит, память мгновенно вернулась ко мне, я живо представил себе

все подробности нападения и поднялся. Старик лоцман, увидя меня на ногах, подбежал ко мне и радостно меня обнял, так как опасался за мою жизнь. Исследовав рану, он нашел ее неопасной. Действительно, через два-три дня я был совсем здоров.

Однако, от этой победы нам было мало проку: мы потеряли верблюда, которого не могла возместить доставшаяся нам лошадь. Но замечательно, что, когда мы вернулись в городок, китаец потребовал у меня уплаты за верблюда. Я отказался, и дело было передано местному китайскому судье. Воздаю ему должное: он обнаружил много ума и беспристрастия. Выслушав обе стороны, он строго спросил китайца, ходившего со мной покупать верблюда, чей он слуга. «Я не слуга, – ответил тот, – я только сопровождал иностранца». – «По чьей просьбе?» – спросил судья. «По просьбе иностранца», – ответил китаец. «В таком случае, – сказал судье, – ты был слугой иностранца; и так как верблюд был вручен его слуге, то это все равно, что он был вручен ему самому, и он должен заплатить за него».

Вопрос был совершенно ясен, и я не мог возразить ни слова; восхищенный таким мудрым решением, я охотно заплатил ему за верблюда и послал за другим; сам я, однако, на этот раз предпочел не трогаться с места.

Когда мы находились приблизительно в двух днях пути от укрепленного города Ном, на границе Китая, к нам прискакал гонец – такие гонцы были разосланы по всей этой дороге – с известием, что всем путникам и караванам велено остановиться и ждать, пока им не будет прислан конвой, ибо на этой самой дороге, милях в тридцати отсюда, видели огромное войско татар, числом тысяч в десять. И действительно, два дня спустя нам прислали двести солдат из китайского гарнизона, стоявшего в городе, который находился влево от нас, и еще триста из города Ном, и с этим конвоем мы смело пошли вперед. Мы снова шли по пустыне и, пройдя пятнадцать-шестнадцать миль, заметили в стороне густое облако пыли – это значило, что враг близко. Скоро показались и татары; их было несметное войско, от которого отделился небольшой отряд и направился к нам на разведку; когда татары подъехали на расстояние ружейного выстрела, наш командир приказал нам, разделившись на два крыла, подскакать к ним с двух сторон и дать по ним два залпа, что и было исполнено; татары круто повернули влево и скрылись из виду.



Два дня спустя мы прибыли в город Ном, или Нон, затем переправились через несколько больших рек, прошли две ужасные пустыни – по одной из них мы шли целых шестнадцать дней – и 13-го апреля добрались до границы московских владений. Мне кажется, что первым городом, селением или крепостью, принадлежащим московскому царю, было Аргунское, лежащее на западном берегу реки Аргунь.

Я не мог не почувствовать огромного удовольствия по случаю прибытия в христианскую, как я называл ее, страну, или по крайней мере управляемую христианами. Ибо хотя московиты, по моему мнению, едва ли заслуживают названия христиан, однако они выдают себя за таковых и по-своему очень набожны.

Все реки здесь текут на восток и впадают в большую реку, которая называется Амур и впадает в Восточное море, или Китайский океан. Дальше реки текут на север и впадают в большую реку Татар, называемую так по имени татаро-монголов, самого северного племени этого народа, от которого, по словам китайцев, произошли все вообще татары; это самое племя, по утверждению наших географов, упоминается в Священном Писании под именем Гогов и Магогов.

Глава девятнадцатая

Чам-Чи-Тонгу. – Тунгусы

Путешествуя по московским владениям, мы чувствовали себя очень обязанными московскому царю, построившему везде, где только были возможно, города и селения и поставившему гарнизоны – вроде солдат-стационеров, которых римляне поселяли на окраинах империи. Впрочем, проходя через эти города и селения, мы убедились, что только эти гарнизоны и начальники их были русские, а остальное население – язычники, приносившие жертву идолам и поклонявшиеся солнцу, луне и звездам, всем светилам небесным; из всех виденных мною дикарей и язычников эти наиболее заслуживали названия варваров, с тем только исключением, что они не ели человеческого мяса, как дикари в Америке. В одной деревне близ Нерчинска мне вздумалось из любопытства присмотреться к их образу жизни, очень грубому и первобытному; в тот день у них, должно быть, назначено было большое жертвоприношение; на старом древесном пне возвышался деревянный идол – ужаснейшее, какое только можно себе представить, изображение дьявола. Голова не имела даже и отдаленного сходства с головой какой-нибудь земной твари; уши огромные, как козьи рога, и такие же высокие; глаза величиной чуть не с яблоко; нос словно кривой бараний рог; рот растянутый, четырехугольный, будто у льва, с отвратительными зубами, крючковатыми, как нижняя часть клюва попугая. Одет он был в овчину шерстью наружу, на голове огромная татарская шапка, сквозь которую торчали два рога. Ростом идол был футов в восемь, но у него не было ни ног, ни бедер и никакой пропорциональности в частях. Это пугало было вынесено за околицу деревни; подойдя ближе, я увидел около семнадцати человек, распростертых перед ним на земле. Невдалеке, у дверей шатра или хижины, стояли три мясника – я подумал, что это мясники, потому что увидал в руках у них длинные ножи, а посредине палатки трех зарезанных баранов и одного теленка. Но это, по-видимому, были жертвы, принесенные деревянному чурбану – идолу, трое мясников – жрецы, а семнадцать бедняг, простертых на земле, – люди, принесшие жертвы и молившиеся об исполнении своих желаний.

Сознаюсь, я был поражен, как никогда, этой глупостью и этим скотским поклонением деревянному чудищу. Я подъехал к этому идолу, или чудищу – называйте как хотите – и саблей рассек надвое его шапку как

раз посредине, так что она свалилась и повисла на одном из рогов, а один из моих спутников в это время схватил овчину, покрывавшую идола, и хотел стащить ее, как вдруг по всей деревне поднялся страшный крик и вой, и оттуда высыпало человек триста; мы поспешили убраться подобру-поздорову, так как у многих туземцев были луки и стрелы. Но я тут же решил посетить их еще раз.



Наш караван должен был пробыть в этом городе еще три дня, так что у меня было время исполнить свое намерение. Я поделился им с одним шотландским купцом, побывавшим в Московии. Он сначала высмеял меня, но, видя, что моя решимость тверда (а она еще больше укрепилась после его рассказа о том, как, изувечив одного русского за оскорбление их идола, дикари раздели его донага, привязали к верхушке своего истукана, окружили и стали пускать стрелы, пока все его тело не было утыкано ими, а затем принесли в жертву, подвергнув сожжению у ног идола), сказал, что и он пойдет со мной, но прежде уговорит идти с нами еще одного своего земляка, рослого здорового парня. Он принес мне татарскую одежду из овчины и шапку, а также лук и стрелы, такое же одеяние он достал для себя и своего земляка, чтобы люди при виде нас не могли узнать, кто мы такие.

Весь вечер мы мешали горючий материал – водку, порох и другие легко воспламеняющиеся вещества, захватили с собой смолы в горшке и,

когда стемнело, пустились в путь. Мы пришли на место в одиннадцать часов; деревня уже спала; только в большой хижине или шатре, где мы раньше видели трех жрецов, принятых мною за мясников, виднелся свет; подойдя к самой двери, мы услыхали за дверью говор – пять или шесть голосов. Всех этих мы взяли в плен, связали им руки и заставили стоять и смотреть на гибель их идола, которого мы сожгли с помощью принесенных нами горючих веществ.

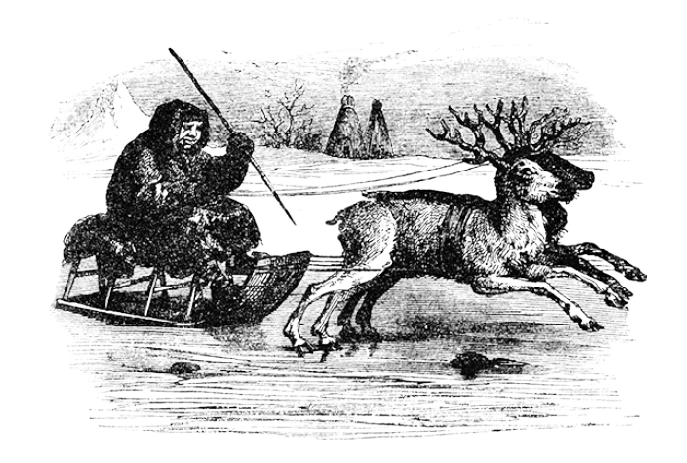


Утром мы снова вернулись к своим спутникам и деятельно занялись приготовлениями к отъезду; никому и в голову не пришло заподозрить, что мы провели ночь не в постелях. Но тем дело не кончилось. На другой день толпа народу собралась у городских ворот, требуя удовлетворения от русского губернатора за оскорбление их жрецов и сожжение великого Чам-Чи-Тонгу – так звался их чудовищный идол. Губернатор всячески успокаивал их и наконец сообщил им, что нынче утром в Россию ушел караван и, быть может, их обидчики были как раз из этого каравана. После того он послал за нами и сказал, что если виновные из нашего каравана, им надо спасаться бегством, и вообще, виноваты мы или нет, нам всем самое лучшее поскорее уйти отсюда. Начальник каравана не заставил себе повторять этого дважды. Два дня и две ночи мы ехали почти безостановочно и наконец сделали привал в деревне Плоты, а оттуда поспешили к Яравене; но уже на второй день перехода через пустыню по облакам пыли позади нас мы стали догадываться, что за нами есть погоня.

На третий день, только что мы разбили лагерь, вдали показался неприятель в огромном количестве, и мы уцелели только благодаря хитрости одного яравенского казака. Предупредив нашего начальника, что он направит неприятеля в другую сторону, к Шилке, он описал большой круг, подъехал к татарам, словно посланный нарочно гонец, и сказал им, что люди, сжегшие их Чам-Чи-Тонгу, пошли к Шилке с караваном неверных, т. е. христиан, с тем, чтобы сжечь тунгусского идола, доброго Шал-Исар. Татары поскакали в ту сторону и меньше чем через три часа совершенно скрылись из виду. А мы благополучно добрались до Яравены, а оттуда по ужасной пустыне до другой, сравнительно населенной области, т. е. в ней было достаточное количество городов и крепостей, поставленных московским царем, с гарнизонами для охраны караванов и защиты страны от набегов татар. Губернатор Удинска, с которым был знаком один из наших шотландцев, предложил нам конвой в 50 человек до ближайшей станции.



Я думал было, что, приближаясь к Европе, мы будем проезжать через более культурные и гуще населенные области, но ошибся. Нам предстояло еще проехать через Тунгусскую область, населенную такими же язычниками и варварами; правда, завоеванные московитами, они не так опасны, как племена, которые мы миновали. Одеждой тунгусам служат звериные шкуры, и ими же они покрывают свои юрты. Мужчины не отличаются от женщин ни лицом, ни нарядом. Зимой, когда все бывает покрыто снегом, они живут в погребах, сообщающихся между собою подземными ходами. Русское правительство нисколько не заботится об обращении всех этих народов в христианство, оно лишь прилагает усилия, чтобы держать их в подчинении.



Миновав Енисейск на реке Енисей, отделяющей, по словам московитов, Европу от Азии, я прошел обширную, плодородную, но слабонаселенную область до реки Оби. Жители все язычники, за исключением ссыльных из России; сюда ссылают преступников из Московии, которым дарована жизнь, ибо бежать отсюда невозможно.

Со мной не случилось ничего замечательного до самого Тобольска, столицы Сибири, где я прожил довольно долго вот по какому поводу.

Мы пробыл и в пути уже семь месяцев. Зима приближалась быстрыми шагами. Из Тобольска я собирался или в Данциг, через Ярославль и Нарву, или в Архангельск, по Двине, чтобы сесть там на корабль, отправлявшийся в Англию, Голландию или Гамбург. Так как в это время года и Балтийское и Белое моря замерзают, то я решил перезимовать в Тобольске, рассчитывая найти в этом городе, расположенном под 60° сев. широты, обильную провизию, теплое помещение и хорошее общество.

Здешний климат был совсем не похож на климат моего милого острова, где я чувствовал холод только во время простуды. Там мне было трудно носить самую легкую одежду, и я разводил огонь только для приготовления пищи. Здесь же, чтобы выйти на улицу, нужно было закутываться с головы до ног в тяжелую шубу.



Печь в моем доме была совсем не похожа на английские открытые камины, которые дают тепло, только пока топятся. Моя печь была посреди комнат и нагревала их все равномерно; огня в ней не было видно, как в тех печах, которые устраиваются в английских банях.

Всего замечательнее был о то, что я нашел хорошее общество в этом городе, расположенном в варварской стране, невдалеке от Ледовитого океана, лишь на несколько градусов южнее Новой Земли. Неудивительно: Тобольск служит местом ссылки государственных преступников; он весь полон знати, князей, дворян, военных и придворных. Тут находились знаменитый князь Голицын, старый воевода Робостиский и другие видные лица, а также несколько дам. Через своего спутника, шотландского купца, с которым я здесь расстался, я познакомился с несколькими аристократами и не без приятности проводил с ними долгие зимние вечера.

Я разговорился однажды с князем ***, ссыльным царским министром, о своих необыкновенных приключениях. Он долго распространялся о величии русского императора, его неограниченной власти, великолепии его двора, обширности его владений. Я перебил его, сказав, что был еще более могущественным государем, чем московский царь, хотя мои владения были не так обширны, а подданные не так многочисленны. Русский вельможа был, по-видимому, изумлен и пристально посмотрел на меня, не понимая, что я хочу сказать.

«Ваше изумление, – отвечал я ему, – прекратится, как только я объяснюсь. Во-первых, я неограниченно располагал жизнью и имуществом всех моих подданных, и, несмотря на эту неограниченную власть, ни один

из них не выражал недовольства ни мной, ни моим правлением». Тут он покачал головой и сказал, что в этом отношении я выше царя московского. «Все земли моего царства, – продолжал я, – были моей собственностью, и мои подданные держали их у меня в аренде совершенно добровольно; все они сражались бы за меня до последней капли крови, и никогда тиран – ибо таковым считал я себя – не был окружен такой всеобщей любовью и в то же время не внушал больше страха своим подданным».

Помучив некоторое время своих собеседников этими политическими загадками, я в заключение открылся им и подробно изложил историю своего пребывания на острове и все сделанное мной для себя и для своих подданных так, как это потом было мной записано.

Глава двадцатая

Москвитянский князь и сын его

Собеседники мои были очень захвачены моим рассказом, особенно князь; со вздохом сказал он мне, что истинное величие состоит в умении владеть собой, и он не поменял бы моего положения на положение царя московского, так как считает себя более счастливым в уединении, на которое обрекло его изгнание, чем был когда-либо, находясь у власти при дворе его повелителя царя. Верх человеческой мудрости – уменье приспособляться к обстоятельствам и сохранять внутреннее спокойствие, какая бы буря ни свирепствовала кругом нас. В первое время по прибытии сюда он рвал на себе волосы и одежду, как делали это перед ним другие ссыльные. Но через некоторое время, пристальнее заглянув вглубь себя и внимательнее осмотревшись кругом, он пришел к убеждению, что, если взглянуть на жизнь с некоторой высоты и понять, как мало подлинного счастья в этом мире, то можно быть вполне счастливым и удовлетворять свои лучшие желания при самой ничтожной помощи от себе подобных. Дышать чистым воздухом, иметь одежду для защиты от холода, пищу для утоления голода, совершать физические упражнения для поддержания здоровья – вот, по его мнению, все, что нужно нам от внешнего мира. И хотя высокое положение, власть, богатство и удовольствия, которые выпадают на долю иных, не лишены известной приятности, но они служат обыкновенно самым низменным нашим страстям вроде честолюбия, гордости, корыстолюбия, тщеславия и чувственности, – страстям, являющимся источником всяческих преступлений. Эти низменные страсти не имеют ничего общего с добродетелями, образующими истинного мудреца.

Лишенный в настоящее время мнимых радостей порочной жизни, он хорошо рассмотрел на досуге темные стороны этих радостей и пришел к убеждению, что одна только добродетель дает человеку истинную мудрость, богатство и величие и обеспечивает ему блаженство в будущей жизни. В этом отношении все они здесь, в ссылке, гораздо счастливее своих недругов, наслаждающихся полнотой власти и благами богатства.

«Поверьте, сударь, говорю я не по тактическим соображениям, понуждаемый бедственными обстоятельствами; я совершенно искренно не чувствую никакого желания возвратиться ко двору, хотя бы царь, мой повелитель, снова призвал меня и восстановил во всем моем прежнем

величии».



Он сказал это так серьезно и с таким глубоким убеждением, что невозможно было усомниться в его искренности. Я ответил ему, что на своем острове я чувствовал себя как бы монархом, но его я считаю не только монархом, но и великим завоевателем, ибо тот, кто одерживает победу над своими безрассудными желаниями и обладает неограниченной властью над собой, у кого разум властвует над волей, – более велик, чем завоеватель государства. «Но, ваша светлость, разрешите мне задать вам один вопрос». – «Пожалуйста, очень прошу вас». – «Если вам будет дарована свобода, согласитесь вы уйти из этой ссылки?» – «Вопрос ваш весьма щекотлив и требует тщательных разграничений для того, чтобы искренно ответить на него. Ничто в мире не могло бы, мне кажется, побудить меня освободиться из этой ссылки, кроме двух вещей: желания повидаться со своими и жить в более теплом климате. Но я заявляю вам, что придворный блеск, слава, власть, положение министра, богатство, веселье, удовольствия – вернее, безумства – придворного меня ничуть не прельщают; если сию минуту я получу письмо от моего повелителя, что он возвращает мне все отнятые у меня почести, то, заявляю вам – поскольку я знаю себя, – я не променяю этой дикой пустыни, этих покрытых льдом озер на дворец в Москве». – «Но, ваша светлость, вы можете быть лишены не только прелестей придворной жизни, власти, почестей и богатства, которыми вы наслаждались когда-то, но и самых элементарных жизненных удобств, ваше состояние может быть конфисковано, ваша движимость расхищена, средства, оставленные вами здесь, могут оказаться недостаточными для удовлетворения самых насущных ваших потребностей». – «Все это так, если вы принимаете меня за вельможу, князя и т. д. Я действительно князь; но смотрите на меня только как на

человека, нисколько не отличающегося от других людей; при этих условиях мне нечего бояться никаких лишений, разве только я заболею и окажусь инвалидом. Ответом вам пусть послужит наш образ жизни. Здесь нас пятеро высокопоставленных лиц; мы живем очень уединенно, как и подобает ссыльным, и остатки наших состояний, которые нам удалось спасти, избавляют нас от необходимости добывать пропитание охотой. Однако бедные солдаты, не имеющие здесь этой подмоги, живут ничуть не хуже нас, охотясь в лесах на соболей и лисиц. Поработав месяц, они могут существовать в течение целого года. Так как жизнь здесь недорога, то для этого нужно немного. Вот вам ответ на ваше замечание».

Я лишен возможности изложить здесь подробно все мои интересные беседы с этим замечательным человеком. Речи его были продиктованы глубоким знанием людей, основанным на долгом опыте и размышлениях.

Я прожил в Тобольске восемь месяцев, в течение мрачной и суровой зимы. Морозы были так сильны, что на улицу нельзя было показаться, не закутавшись в шубу и не покрыв лица меховой маской или, вернее, башлыком с тремя только отверстиями: для глаз и для дыхания. В течение трех месяцев тусклые дни продолжались всего пять или шесть часов, но погода стояла ясная, и снег, устилавший всю землю, был так бел, что ночи никогда не были очень темными. Наши лошади стояли в подземельях, чуть не околевая от голода; слуги же, которых мы наняли здесь для ухода за нами и за лошадьми, то и дело отмораживали себе руки и ноги, так что нам приходилось отогревать их.

Правда, в комнатах было тепло, так как двери в тамошних домах закрываются плотно, стены толстые, окна маленькие, с двойными рамами. Пища наша состояла главным образом из вяленого оленьего мяса, довольно хорошего хлеба, разной вяленой рыбы и изредка свежей баранины и мяса буйволов, довольно приятного на вкус. Вся провизия для зимы заготовляется летом. Пили мы воду, смешанную с водкой, а в торжественных случаях – мед вместо вина, напиток, который там готовят прекрасно. Охотники, выходившие на промысел во всякую погоду, часто приносили нам прекрасную свежую оленину и медвежатину, но последняя нам не очень нравилась; у нас был большой запас чаю, которым мы угощали наших русских друзей. В общем, жили мы очень весело и хорошо.

Наступил март, дни заметно прибавились, и погода стала наконец сносной. Мои спутники стали готовиться к отъезду на санях, но сам я решил ехать прямо в Архангельск, а не к Балтийскому морю через Москву, и потому не торопился, зная, что европейские корабли приходят в Архангельск не раньше мая или июня и что, если я буду там в начале

августа, корабли эти еще не успеют уйти. Таким образом, все, кто собирался предпринять путешествие, выехали раньше меня. Много тобольских купцов ежегодно отправляются в Москву или Архангельск, чтобы распродать меха и накупить необходимые для здешнего края товары; так как им предстоит совершить свыше 800 миль пути, то они выезжают ранней весной.

В конце мая и я стал снаряжаться в дорогу и во время этих приготовлений много размышлял над положением ссылаемых московским царем в Сибирь; там им предоставлялась свобода передвижения; я недоумевал, почему же они не уезжают в те страны, где им жилось бы удобнее. Мое недоумение, однако, рассеялось, когда я расспросил вышеупомянутого вельможу о причинах, мешающих им делать такие попытки.

«Примите во внимание, сударь, – сказал он мне, – особенности страны, в которой мы находимся, и наше положение ссыльных. Мы окружены здесь барьерами более крепкими, чем решетки и замки: с севера Ледовитый океан, куда не заходит ни один корабль, ни одна лодка, да если бы они и были у нас, мы не знали бы, куда уплыть на них. С остальных трех сторон на тысячи миль тянутся владения царя, где единственные проходимые дороги усеяны гарнизонами, так что мы не можем ни проехать по ним незаметно, ни миновать их».

Я не нашелся ответить ему и понял, что тюрьма, в которой они находятся, так же крепка, как московская цитадель; однако мне пришло на ум, не могу ли я стать орудием освобождения этого превосходного человека, и я решил устроить ему бегство, чего бы это мне ни стоило. Воспользовавшись случаем, я как-то вечером познакомил его со своим планом. Я сказал ему, что мне легко будет увезти его с собой, ибо охраны над ним нет никакой; и так как я направляюсь не в Москву, но в Архангельск, причем иду в караване, так что могу и не останавливаться в городах, а располагаться лагерем, где мне будет угодно, то мы, вероятно, беспрепятственно доберемся до Архангельска, где я тотчас же посажу его на английское или голландское судно и в безопасности увезу его с собой. Все путевые издержки я возьму на себя, пока он не получит возможности содержать себя сам.

Он выслушал меня очень внимательно, не сводя с меня глаз в течение всей моей речи; и я видел по его лицу, что слова мои сильно взволновали его; он то краснел, то бледнел, глаза его блестели, дыхание спиралось; он даже не в состоянии был ответить мне сразу. Когда я кончил, он некоторое время молчал, затем обнял меня и сказал: «Как жалок человек, если самые

возвышенные порывы дружбы становятся ловушками для наших ближних и мы вовлекаем друг друга в соблазн! Мой дорогой друг, ваше предложение столь искренно, столь любезно, столь бескорыстно и столь для меня выгодно, что нужно слишком мало знать людей, чтобы не быть повергнутым в крайнее изумление и не почувствовать глубочайшей признательности. Но неужели вы приняли за чистую монету мои заявления о презрении к миру? Подумали, что я действительно достиг такой степени бесстрастия, что стою выше всех соблазнов мира? Поверили, что я не пожелаю вернуться, если меня призовут занять прежнее положение при дворе, если я вновь буду в милости у моего повелителя царя? Скажите откровенно, за кого вы меня приняли: за честного человека или хвастуна и лицемера?» Тут князь замолчал. Сперва я подумал, что он ожидает моего ответа, но скоро заметил, что речь его была прервана охватившим его волнением. Признаюсь, я был удивлен и чувствами, охватившими этого человека, и его характером. Я привел ему еще несколько доводов, чтобы побудить его вернуть себе свободу; сказал ему, что он должен смотреть на мое предложение как на дверь, открываемую ему небом для его освобождения, как на зов Провидения, желающего дать ему возможность снова приносить пользу людям.

Тем временем он пришел в себя и с горячностью ответил мне: «Уверены ли вы, сударь, что это зов с неба, а не уловка иной силы, изображающей мое освобождение в радужных красках, между тем как на самом деле оно является прямым путем к гибели? Здесь ничто не искушает меня вернуться к моему прежнему жалкому величию. И я боюсь, что если попаду в другое место, то семена гордости, честолюбия, корыстолюбия и сластолюбия, которые всегда прозябают в наших душах, оживут во мне, пустят корни и снова дадут пышный цвет; тогда счастливый узник, которого вы видите перед собой, распоряжающийся всеми движениями своей души, окажется жалким рабом своих страстей, несмотря на всю предоставленную ему свободу. Дорогой друг, позвольте мне остаться в этой благословенной ссылке, ограждающей меня от соблазнов, и не побуждайте меня купить призрак свободы ценой свободы моего разума. Ибо человек я заурядный, так же подверженный страстям и слабостям, как и всякий другой. Не будьте же одновременно моим другом и моим соблазнителем!»

Если сначала я был изумлен, то теперь пришел в полное смущение и, ни слова не говоря, смотрел во все глаза на своего собеседника. От напряженной душевной борьбы он даже потом покрылся, несмотря на большой мороз. Я видел, что он чувствует потребность собраться с

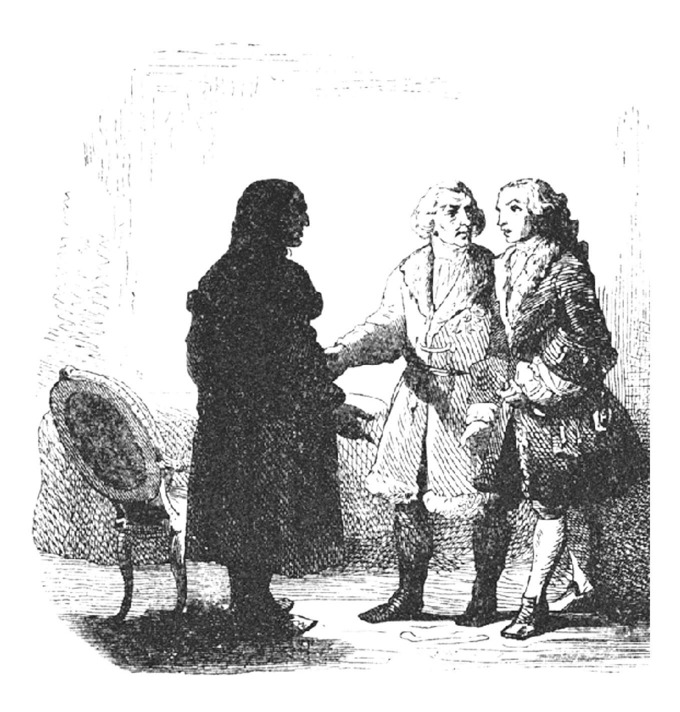
мыслями; поэтому я попросил его подумать над моим предложением и затем удалился в свою комнату.

Часа через два я услышал, как кто-то ходит подле моей двери. Я поспешил открыть ее, это был мой вельможа. «Дорогой друг, – сказал он, – вы почти убедили меня, но я нашел в себе силы побороть искушение. Не сердитесь, если я отклоню ваше предложение, я очень растроган вашим великодушием и пришел выразить вам свою искреннюю признательность. Но я надеюсь, что мне удалось одержать победу над самим собой».

«Друг мой, – спросил я его, – неужели вы станете противиться велению неба?» – «Сударь, – ответил он, – если бы небу было угодно, чтобы я уехал отсюда, оно внушило бы мне желание уехать; напротив, я твердо убежден, что небо внушает мне отказ от вашего предложения, и я бесконечно удовлетворен, что, разлучаясь со мной, вы оставляете здесь по-прежнему честного, хотя и не свободного человека».

Мне оставалось только покориться и заявить, что мной руководили самые лучшие намерения. Князь сердечно обнял меня и заверил, что он в этом не сомневался; потом он преподнес мне соболий мех – подарок слишком роскошный для человека в его положении, и я хотел было отказаться от него, но он уговорил меня принять.

На другой день я послал князю через своего слугу небольшой ящик чаю, два куска китайского шелку, четыре слитка японского золота весом около шести унций, что далеко не окупало его соболей, так как в Англии они стоили около 200 фунтов. Он принял чай, кусок шелку и один из слитков, на котором была любопытная японская чеканка, но от остальных подарков отказался и передал через слугу, что желает поговорить со мной.



Когда я пришел к нему, он выразил надежду, что после нашего вчерашнего разговора я не буду больше побуждать его к отъезду; но раз уж я сделал ему столь великодушное предложение, он просит меня оказать такую же любезность другому лицу, в судьбе которого он принимает самое горячее участие. Я ответил ему, что не могу обещать помочь другому с такой же готовностью, как помог бы ему, но если ему угодно будет назвать имя лица, за которого он просит, я дам ему определенный ответ. Он сказал мне, что имеет в виду своего сына, который находится в таком же положении, как и он; я не видел его, так как сын этот находится за двести миль отсюда, по другую сторону Оби, но если я дам свое согласие, он пошлет за ним.

Я не стал долго колебаться и согласился, но дал понять, что делаю эту любезность исключительно из уважения к нему. На следующий же день он послал за своем сыном, и дней через двадцать тот приехал с пятью или с шестью лошадьми, нагруженными богатыми мехами, представлявшими собой очень большую ценность. Слуги привели лошадей в город, оставив молодого вельможу на некотором расстоянии; он пришел к нам incognito, ночью, отец познакомил его со мной, и мы вместе обсудили подробности нашего путешествия.

Я накопил много соболей, чернобурых лисиц, горностаев и других дорогих мехов в обмен на привезенные мною из Китая товары, особенно на гвоздику и мускатные орехи, которые я продал частью здесь, частью в Архангельске по более высоким ценам, чем я мог бы продать их в Лондоне. Мой компаньон, больше, чем я, заинтересованный в коммерческих

прибылях, остался так доволен этой сделкой, что не жалел о нашей долгой стоянке в Тобольске.

Наконец в начале июня мы покинули этот далекий город, о котором, я думаю, мало кто слышал в Европе: настолько лежит он в стороне от торговых путей. Наш караван был невелик, он состоял всего из тридцати двух лошадей и верблюдов, которые все считались моими, хотя на самом деле одиннадцать из них принадлежали моему новому спутнику. Было также вполне естественно, что я беру с собой некоторое количество слуг, и молодого вельможу я выдавал за своего управляющего. За какого барина принимали меня русские, не знаю, потому что не спрашивал об этом. Нам предстояло одолеть самую обширную и труднопроходимую пустыню из всех, что были на моем пути из Китая. Я говорю «труднопроходимую», потому что почва местами была очень низкая и болотистая, а местами очень неровная; зато нас утешали, что на этом берегу Оби не показываются отряды татар и грабителей; однако мы убедились в противном.

У моего спутника был верный слуга-сибиряк, который в совершенстве знал местность и вел нас окольными дорогами в обход главнейших городов и селений на большом тракте, таких, как Тюмень, Соликамск и др., так как московитские гарнизоны, расположенные там, весьма тщательно обыскивают путешественников, опасаясь, как бы этим путем не убегали ссыльные. Таким образом, путь наш все время проходил пустыней, и мы вынуждены были располагаться лагерем в палатках вместо того, чтобы ночевать с удобством в городах. Но скоро молодой вельможа, не желая причинять нам беспокойство, настоял, чтобы мы заходили в города, сам же останавливался со слугой в лесу и затем вновь присоединялся к нам в условленных местах.

Наконец, переправившись через Каму, которая в тех местах служит границей между Европой и Азией, мы вступили в Европу; первый город на европейском берегу Камы называется Соликамском. Мы думали увидеть здесь другой народ, другие обычаи, другую одежду, другую религию, другие занятия, но ошиблись; нам предстояло пройти еще одну обширную пустыню, тянувшуюся двести, а в иных местах семьсот миль. Эта мрачная местность мало чем отличалась от монголо-татарских областей; население, большей частью языческое, стояло немногим выше американских дикарей: их дома, их города полны идолов, образ жизни самый варварский; исключение составляют только города и близлежащие селения, жители которых являются христианами или мнимыми христианами греческой церкви, но религия их перемешана со столькими суевериями, что в некоторых местах едва отличается от простого шаманства.

Глава двадцать первая

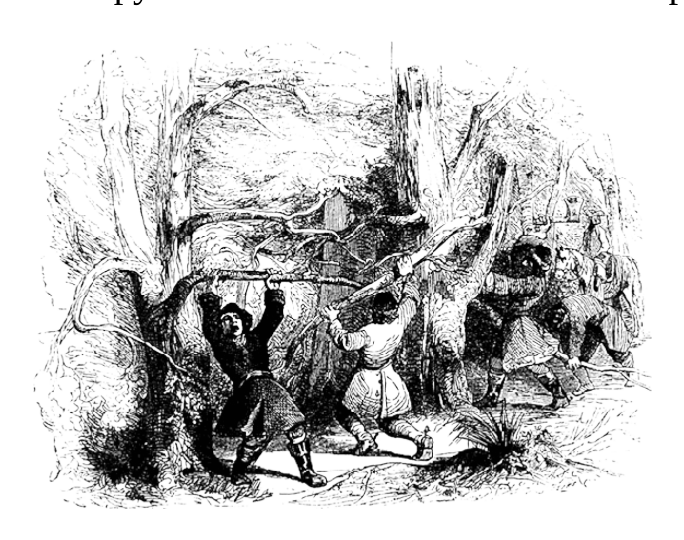
Последнее дело

Проезжая по лесам этой пустыни, мы думали, что все опасности остались уже позади; однако мы едва не были ограблены и перебиты шайкой разбойников; кто они были – остяки ли или же охотники на соболей из Сибири – не знаю; все верхом, вооруженные луками и стрелами. Показались они в числе сорока-сорока пяти человек, подъехали на расстояние двух ружейных выстрелов и, не говоря ни слова, окружили нас. Когда они перерезали наш путь, все мы, в числе шестнадцати человек, выстроились в линию перед нашими верблюдами и послали слугу-сибиряка посмотреть, что это за люди. Больше всех интересовался результатами его разведки молодой вельможа, опасавшийся, уж не погоня ли это за ним. Наш посланный подъехал к всадникам с белым флагом и окликнул их; несмотря на то что сибиряк говорил на нескольких туземных языках, он не мог понять ни слова из того, что говорили ему люди. Поняв по их знакам, что они будут стрелять в него, если он подъедет ближе, малый вернулся назад без всякого результата. Судя по костюму, он считал их за татар, калмыков или черкесов, но он никогда не слыхал, чтобы они заходили так далеко на север.



Перспектива была нерадостная, однако делать было нечего. По левую руку от нас на расстоянии четверти мили виднелась небольшая роща или купа деревьевусамой дороги. Я решил немедленно направиться к этой роще и как можно лучше укрепиться в ней. Я рассудил, что, во-первых, деревья будут служить нам некоторой защитой от стрел, а во-вторых, неприятель не сможет атаковать нас в этой позиции в конном строю. Этот

совет дан был мне стариком лоцманом, который обладал превосходной способностью подбодрять и выручать в минуту серьезной опасности. Мы быстро помчались к этой роще и достигли ее без всякой помехи со стороны татар или разбойников – мы так и не знали, как назвать их. Когда мы прибыли туда, то, к великому нашему удовлетворению, обнаружили с одной стороны леска болото, а с другой – ручеек, втекавший в речку, составлявшую приток крупной реки Вишеры (Wirtska). Деревьев на берегу этого ручья было не более двухсот, но все они были толстые и росли густо, так что являлись прекрасной защитой от неприятеля, по крайней мере пока он был верхом. А чтобы затруднить пешую атаку, наш изобретательный португалец надрубил ветки у этих деревьев и переплел их между собою, так что мы оказались окруженными почти сплошной изгородью.



Мы простояли в ожидании несколько часов, но неприятель все не двигался; только часа за два до наступления темноты он устремился прямо на нас, получив незаметно для нас подкрепление, так что теперь разбойничий отряд состоял из восьмидесяти всадников, в числе которых было несколько женщин. Когда они приблизились на расстояние половины ружейного выстрела, мы дали холостой залп и крикнули им по-русски: «Что вам нужно? Убирайтесь прочь!» Они не поняли ни слова и с удвоенной яростью бросились к роще, не подозревая, что мы отлично забаррикадированы и позиция наша неприступна. Старик лоцман, исполнявший одновременно обязанность полковника и инженера, приказал нам не стрелять, пока они не приблизятся на расстояние пистолетного выстрела, чтобы бить наверняка. Мы просили его поскорей скомандовать «пли», но он все медлил и приказал стрелять, только когда неприятель был на расстоянии двух пик. Залп наш был так удачен, что мы убили

четырнадцать всадников, не считая раненых людей и лошадей, ибо ружья наши были заряжены несколькими пулями.

Огонь наш страшно изумил неприятеля, и он отхлынул от нас саженей на двести; тем временем мы снова зарядили наши ружья, сделали вылазку, захватили штук пять лошадей, всадники которых были, должно быть, убиты, и, подойдя к мертвым, ясно увидели, что это татары; мы только не могли понять, откуда они и каким образом им удалось забраться так далеко на север.

Спустя час они снова сделали попытку атаковать нас, зайдя для этой цели с другой стороны рощи. Но, увидев, что мы защищены со всех сторон и готовы дать им отпор, татары отступили, и мы решили провести в этой роще всю ночь. Конечно, спали мы мало и большую часть ночи потратили на укрепление нашей позиции, баррикадирование входов в рощу и на бдительное наблюдение за неприятелем. На рассвете нас ожидало неприятное открытие. Наш противник не только не был напуган оказанным ему вчера приемом, но значительно усилился: число его возросло до трехсот человек, и он раскинул с дюжину палаток или шатров, словно решившись осадить нас; этот лагерь был расположен на открытой равнине, на расстоянии трех четвертей мили от нас. Мы были страшно поражены этим открытием, и, сознаюсь, я считал себя погибшим со всем моим имуществом. Потеря имущества (хотя оно было весьма значительно) мало беспокоила меня, но перспектива попасть в руки этих варваров, когда я почти оканчивал свое путешествие и находился в виду порта, где мы были уже в безопасности, после счастливого преодоления стольких затруднений, стольких опасностей, ужасала меня. Что касается моего компаньона, то он был положительно взбешен и объявил, что потеря его добра разорит его, что он скорее погибнет, чем попадет в плен, и будет драться до последней капли крови.

Молодой русский вельможа, отличавшийся большой храбростью, был того же мнения. Старик лоцман считал, что наша позиция неприступна и мы можем выдержать натиск всей этой орды. Весь день мы обсуждали, какие нам принять меры; но к вечеру мы увидели, что число наших врагов еще больше возросло. Возможно, что они разделились на несколько отрядов в поисках добычи и те всадники, с которыми мы встретились, послали гонцов другим отрядам, чтобы они шли на помощь; и мы боялись, что к утру их понаедет еще больше. Тогда я спросил у людей, которых мы взяла из Тобольска, нет ли каких-нибудь окольных путей или тропинок, по которым мы могли бы незаметно уйти ночью и добраться до города, где можно получить вооруженную охрану.

Сибиряк, слуга молодого вельможи, сказал, что если мы хотим уклониться от сражения, то он берется провести нас ночью по одной тропе, которая ведет на север, к городу Петрову, и уверен, что татары не заметят нашего бегства; но он заявил, что господин его не собирается бежать и предпочитает сражаться. Я ответил ему, что он плохо понял намерения своего господина; он настолько рассудителен, что не станет драться из любви к драке. Я не сомневаюсь в его храбрости, которую он столько раз показал на деле. Однако он должен отлично сознавать всю бессмысленность борьбы семнадцати человек с пятьюстами, если только к ней не вынуждает крайняя необходимость. Таким образом, если нам представляется возможность бежать в эту ночь, то мы должны сделать эту попытку. Сибиряк ответил, что господин его дал ему такой строгий приказ, что он рискует жизнью, если ослушается его. Однако мы вскоре убедили его господина согласиться с нами и немедленно начали приготовления к бегству.

С наступлением сумерек мы развели у себя большой огонь так, чтобы он горел до утра, с целью внушить татарам мысль, будто мы все еще находимся в роще. Но когда совсем стемнело, т. е. когда показались звезды (раньше наш проводник не хотел пускаться в путь), мы навьючили лошадей и верблюдов и пошли за нашим новым проводником, который, как я заметил, ориентировался по Полярной звезде.

После утомительного двухчасового перехода взошла луна и стало светлее, чем нам было нужно; однако к шести часам утра мы сделали около сорока миль, правда, совсем загнав своих лошадей. Тут мы добрались до русской деревни Кермазинское, где отдохнули, и ничего не слышали о татарах-калмыках весь этот день. Часа за два до наступления темноты мы снова отправились в путь и ехали до восьми часов утра не так быстро, как в прошлую ночь. В семь часов мы переправились через небольшую речку Киршу и затем прибыли в большой русский город Озомы. Там мы услышали, что по окрестным степям шныряет несколько отрядов калмыков, но что теперь мы в полной безопасности; легко себе представить, как мы были рады этому. Мы переменили лошадей и отдыхали в течение пяти дней. Чтобы вознаградить сибиряка за то, что он так удачно провел нас сюда, я и компаньон мой дали ему десять пистолей.



Через пять дней мы прибыли в Вестиму на реке Вычегде, впадающей в Двину, и, таким образом, счастливо приблизились к концу нашего сухопутного путешествия, ибо река Вычегда судоходна и нас отделяло только семь дней пути от Архангельска. Из Вестимы мы прибыли третьего июля к Яренску, где наняли две большие баржи для наших товаров и одну для себя, 7-го июля отчалили и 18-го благополучно прибыли в Архангельск, проведя в пути один год, пять месяцев и три дня, включая восьмимесячную остановку в Тобольске.

В ожидании корабля нам пришлось прожить в Архангельске шесть недель, и мы прождали бы и больше, если бы нас не выручил гамбургский корабль, пришедший месяцем раньше, чем сюда приходят обыкновенно английские корабли. Рассудив, что Гамбург такой же хороший рынок для сбыта наших товаров, как и Лондон, мы зафрахтовали этот корабль. Когда мои товары были погружены на него, естественно было водворить на корабле моего управляющего, чтобы присматривать за ними; таким образом, молодой русский имел удобный повод укрыться и ни разу не показывался на борту во все время нашей стоянки, боясь, как бы его не заметил и не узнал кто-нибудь из московских купцов.

Мы отплыли из Архангельска 20-го августа того же года и после довольно благоприятного путешествия прибыли в устье Эльбы 13-го сентября. Здесь мой компаньон и я очень выгодно распродали наши китайские товары и сибирские меха. Когда мы поделили барыши, на мою долю пришлось 3475 фунтов, 17 шиллингов, 3 пенса, несмотря на все наши потери и расходы; я включаю сюда и стоимость приобретенных мной в Бенгале алмазов, достигавшую 600 фунтов.

Тут молодой вельможа покинул меня и поднялся по Эльбе в Вену, где

хотел искать покровительства при дворе и откуда мог снестись с оставшимися в живых друзьями его отца. Перед отъездом он принес мне благодарность за оказанную ему услугу и любезное обращение со стариком князем, его отцом.

В заключение скажу, что, пробыв около четырех месяцев в Гамбурге, я сухим путем отправился в Гаагу, где сел на корабль и прибыл в Лондон 10 января 1705 года, после отсутствия из Англии, продолжавшегося десять лет и девять месяцев.

И здесь, порешив не утомлять себя больше странствованиями, я готовлюсь в более далекий путь, чем описанный в этой книге, имея за плечами 72 года жизни, полной разнообразия, и научившись ценить уединение и счастье кончать дни свои в покое.

Из Биографического очерка А. В. Каменского

«Даниель Дефо. Его жизнь и литературная деятельность»
(1892)

...Даниель Дефо, которому посвящается наш очерк, жил именно в такое бурное время, когда к провинившимся писателям применялись весьма строгие карательные меры. Ему пришлось испытать и тюрьму, и позорный столб, и разорение; но, несмотря на гонения, нищету и всякие бедствия, этот сильный духом и необычайно энергичный человек никогда не изменял своим убеждениям и до самого конца продолжал бороться с пером в руках за те идеи, которые позже вошли в жизнь и сделались одним из самых дорогих достояний его народа.

Все знают Даниеля Дефо как автора знаменитой повести «Робинзон Крузо», переведенной и переделанной на всевозможные языки; но весьма немногим даже и на его родине известно, что он был прежде всего одним из самых выдающихся политических писателей и общественных деятелей Англии в то смутное время (с конца XVII до середины XVIII столетия), когда закладывались прочные основы ее будущих свободных учреждений. В этот период всеобщей распущенности личность Даниеля Дефо выдается и по своим высоким нравственным качествам. Это был безукоризненно честный человек, неутомимый литературный работник и хороший семьянин; но ему выпала горькая доля, и почти вся его долгая жизнь, особенно ее последние годы, представляется одним почти непрерывным рядом всяких невзгод и гонений…

Глава V. «Робинзон Крузо» и реальный роман

…Первое издание «Робинзона Крузо» вышло в Лондоне в апреле 1719 года, когда Дефо уже было пятьдесят восемь лет. К этому времени он издал сто девяносто разных сочинений и брошюр, касающихся всевозможных направлений общественной жизни и политики, написанных во всевозможных литературных жанрах. Один перечень этих сочинений занимает шестнадцать страниц мелкой печати в книге его биографа Ли. Эти книги сами по себе составляют целую библиотеку, так что Дефо справедливо считается самым плодовитым писателем своего времени. Но

все сделанное им до сих пор, вся эта громадная масса сочинений, в числе которых были и такие, которые одни могли составить ему славу великого писателя, – все это меркнет по сравнению с произведениями последних лет его жизни, омраченных разными бедствиями и тяжкою болезнью, когда большинство выдающихся писателей уже считает себя вправе опочить на заслуженных лаврах. Не следует забывать, что, кроме множества разных других сочинений и памфлетов, Дефо одновременно с этим вел ежемесячное политическое издание в сто страниц («Mercurius politicus») и, кроме того, принимал самое деятельное участие в издании трех газет, из которых одна выходила ежедневно.

Успех «Робинзона Крузо» был почти беспримерный: в течение четырех месяцев эта книга, одинаково очаровывавшая людей самых разнообразных положений в обществе, выдержала четыре издания. По свидетельству одного из злейших врагов Дефо, Чарльза Гильдона, написавшего вскоре после появления «Робинзона» пародию на роман, наполненную самыми грубыми ругательствами и клеветами в адрес автора, эта книга уже при первом своем появлении сделалась, вместе с Библией и «Странствием пилигрима» Бэньяна, достоянием каждой, даже самой бедной, семьи. «Нет старухи, – говорит он, – которая не купила бы себе, если только хватало на это денег, «Жизнь и приключения Крузо», с тем чтобы оставить ее… в наследство потомству». В конце августа того же года вышла вторая, и последняя, часть романа под названием «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо». Уже с самого первого появления ее эта знаменитая книга сделалась жертвою разных подделывателей и сократителей, что продолжается и до последнего времени, так что за массой всех этих сокращенных и переделанных изданий исчезло и само имя Дефо. По прошествии года Дефо выпустил малоизвестную теперь книгу нравственного содержания под названием «Серьезные размышления Робинзона Крузо»… но она отнюдь не имела прежнего успеха, и второе издание ее появилось только много лет спустя.

Основанием для «Робинзона Крузо» послужил факт из действительной жизни, сообщенный в первый раз в 1712 году капитаном Роджерсом в издании, посвященном описанию его путешествия, и между прочим рассказанный в 1713 году в журнале «Англичанин» знаменитым Стилем, который сам видел Александра Селькирка, героя описанных приключений, бывшего в то время в Лондоне. По этим данным, Александр Селькирк, родившийся в 1676 году в графстве Файф в Шотландии, поступил в 1703 году матросом на корабль капитана Дампьера, предпринявшего экспедицию в Южный океан. Поссорившись с капитаном корабля, он

дезертировал на остров Хуан-Фернандес в 1704 году и прожил там один четыре года и четыре месяца, пока его не забрал на свой корабль капитан Роджерс. Селькирк прослужил у него два года в качестве боцмана и в 1711 году прибыл в Англию. Таковы фактические данные, на основании которых Дефо создал свое знаменитое произведение.

Родоначальником английского реального романа должен быть признан Даниель Дефо… хотя его скорее можно считать за неподражаемого рассказчика, чем за романиста в строгом смысле слова. Так или иначе, появление «Робинзона Крузо» открывает целую новую эру в этом роде литературы, начиная со средневекового испанского романа и кончая модными произведениями m-me Скюдери во Франции или миссис Афры Бен в Англии. Его можно назвать, употребляя выражение Тэна, антироманическим романом, то есть романом, не ограничивавшимся единственной целью – воздействовать на воображение. Это было чтение для положительных умов, дававшее картины действительной жизни, с описаниями обыкновенных людей, с нравственною подкладкой и рассуждениями о мотивах, руководивших их действиями. По справедливому замечанию того же Тэна, это был точно строгий голос народа, внезапно раздавшийся среди порочной роскоши и испорченности, которыми была проникнута жизнь высших классов того времени.

Во всех беллетристических произведениях Дефо («Молль Флендерс», «Записки кавалера», «Полковник Джек», «Дневник чумного года» и др.) виден пуританин, человек из народа, обладающий религиозным чувством, не брезгавший самыми низменными сюжетами и постоянно стремившийся к нравственной реформе. Дефо весь был проникнут сознанием тяжести и ответственности своего труда, и его собственные слова: «Человек, который хочет бороться с течениями своего времени, должен опираться на неопровержимую правду…» – лучше всего характеризуют его как писателя…

Он обладал умом вполне приспособленным для такой тяжелой работы. Это был точный, строгий, положительный человек, лишенный чувства изящного и неспособный к порывам энтузиазма. Его тяжеловесные поэмы, и особенно «Божественная справедливость», трактующая на 320 страницах о прирожденных правах человека, могут служить лучшим подтверждением этого. Его воображение имеет чисто деловую подкладку, и в своей беллетристике он строго держится фактической стороны. В «Робинзоне Крузо» он приводит счета, накладные, судовые журналы, направления ветра, гидрографию и географическое описание острова; автор как будто сам испытал то, о чем рассказывается в его книге, и переделал своими

руками все работы своего героя; таким образом, иллюзия получается полная; читателю невольно кажется, что он видит перед собой всю обстановку Робинзона и переживает вместе с ним все описываемые события. Неподражаемый реализм описаний Дефо доходил до такой степени совершенства, что вводил в заблуждение не только его современников, но и людей последующих поколений. Известно, что знаменитый лондонский врач, д-р Мид, живший в одно время с Дефо, считал «Дневник чумного года» подлинными мемуарами очевидца, а знаменитый лорд Чатам позже принял «Записки кавалера» за настоящие записки одного из последователей Карла I, сражавшегося с парламентскими войсками Кромвеля.

Кроме того, Робинзон Крузо (и в этом, пожалуй, заключается главное достоинство романа с художественной стороны) представляет совершенный тип своей расы, во многом сохраняющий значение и до сих пор. Ту же несокрушимую волю и энергию, то же скрытое пылкое воображение, ту же способность к неустанному труду, отличающие англосаксонское племя, мы видим и теперь в эмигрантах и скваттерах Америки и Австралии. Робинзона преследует одна мысль, и ни убеждения родных, ни постигшее его в начале путешествия кораблекрушение, ни рабство у мавров не могут заставить упрямца отказаться от нее. Наконец корабль разбивается; Робинзон выброшен один на необитаемый остров. И тут проявляется во всей своей силе врожденная энергия его: подобно своим потомкам-эмигрантам, пионерам Америки и Австралии, он один на один борется с теми трудностями, которые создает ему природа, и сызнова проделывает всю ту работу, на которую потребовалось столько усилий человечества. Он является изобретателем и, не умея до того времени владеть инструментом, становится искусным работником, познавшим всевозможные ремесла. «Строго обсудив в своем уме все стороны дела, – говорит он, – и сделав из этого разумный вывод, каждый человек со временем может сделаться мастером известного ремесла. До тех пор я не прикасался ни к одному инструменту, но по прошествии известного времени благодаря труду, настойчивости и сметке я увидел, что могу сделать все, что мне требовалось, особенно если бы у меня были инструменты». В нем видно то спокойное удовольствие, которое чувствует человек, добившийся успеха благодаря тяжелому труду. Американский скваттер, подобно Робинзону, смотрит довольным взглядом на окружающие его предметы домашней обстановки не потому только, что они полезны, но и потому, что это дело его рук. Робинзону приятно вернуться к своему домашнему очагу: все способствующее его комфорту

сделано им самим, и, садясь за свой скромный обед, он чувствует себя господином всего окружающего: «Точно король», как говорит он. Глубокая вера наконец пробуждается в этом возбужденном, некультивированном уме, который в продолжение восьми летбыл весь поглощен только одною физическою работой для удовлетворения насущных потребностей, – пробуждается особенно ввиду постоянного беспокойства и одиночества. Робинзона обуревают всякие видения и фантазии; то ему кажется, что след, оставленный на песке, принадлежит самому дьяволу, и он серьезно рассуждает об этом; то под влиянием страшного сновидения он просыпается в ужасе ночью и кается в своих грехах. Он открывает Библию и нападает прямо на стих «Придите ко Мне все страждущие, и Я успокою вас», который, по его словам, «совсем подходит к нему». Увидев колосья дикорастущего ячменя, Робинзон восклицает, что «они выросли чудесным образом, по повелению Самого Бога!» Тут начинается его духовная жизнь; он находит могучую опору в Библии, которая не покидает его, дает ему ответы на все духовные вопросы, возникающие в его уме и сердце, – и он уже не чувствует своего одиночества. В этом отношении Робинзон является совершенным прототипом современного американского скваттера, пробивающего себе дорогу, – в одиночку, с топором и Библией в руках, – в самых диких лесах «дальнего Запада». При таком душевном настроении, при такой энергии и способности к труду чего только не может сделать человек?

В течение пяти лет после выхода «Робинзона Крузо» появился целый ряд изданий Дефо в том же роде. Это были рассказы о похождениях и подвигах разных пиратов и искателей приключений, вроде знаменитых в то время капитана Авери и полковника Джека; таковы, например, «Записки кавалера», «Дневник чумного года», жизнь известной авантюристки Молль Флендерс, приключения славного своими побегами вора Джона Шепперда, пользовавшегося за свою невероятную ловкость и добродушие большой популярностью среди народа, и так далее.

Кому случалось читать, кроме «Робинзона Крузо», другие его вымышленные описания морских путешествий и приключений на море, тот невольно поражается близким знакомством Дефо не только с географией, но со всеми подробностями судовой жизни, с нравами матросов и даже с техническими деталями морского дела. При всех подобных описаниях он видимо чувствует себя как дома, и никому еще не удалось заметить какую-либо неточность или грубую ошибку в этих морских рассказах. Помимо своего собственного опыта, который был все же незначителен, Дефо, очевидно, почерпал необходимые материалы для

своих мастерских картин морской жизни, дышащих реальною правдою, не только из своей библиотеки, заключавшей множество сочинений по части путешествий и экспедиций знаменитых мореплавателей, но и из личных рассказов самих действующих лиц – смелых авантюристов, которых развелось так много после войны за испанское наследство.

…В числе книг, изданных Дефо после 1720 года, есть несколько уже упомянутых ранее биографий знаменитых в то время преступников, которые многими читались и раскупались нарасхват. Истина требует, чтобы память великого писателя и честного человека была очищена от всяких несправедливых нареканий, будто в этом случае его побуждала писать страсть к наживе и что, издавая подобные книги, он ради этой цели потворствовал низменным, кровожадным вкусам толпы. Уже в первой главе нашего очерка мы коснулись той испорченности и растления нравов, которые господствовали в высших слоях английского общества в период правления Карла II; все это отчасти перешло и к следующему поколению времен Анны и Георга I; но теперь зараза распространилась среди всего населения, особенно в больших городах, с тою лишь разницей, что в низших слоях утонченные формы порока превратились в кровожадное зверство, уличный разбой и самый цинический разврат. Это было время, когда во Франции свирепствовали шайки знаменитого Картуша, когда в Англии гремело имя не уступавшего ему по кровожадности убийцы и разбойника Джонатана Уайльда и не менее их знаменитый вор Джон Шепперд был героем лондонской толпы, удивлявшейся его многочисленным и беспримерным по дерзости побегам из тюрьмы. Все дороги кишели шайками разбойников, безнаказанно останавливавшими почтовые кареты и убивавшими пассажиров при малейшем сопротивлении; не только в предместьях Лондона, но по большим улицам города нельзя было проехать или пройти, не подвергаясь опасности быть ограбленным; газеты того времени запружены известиями о грабежах и воровстве на громадные суммы. Ньюгейт и другие тюрьмы были переполнены арестантами, и палач едва успевал вешать приговоренных к смертной казни, причем в Тайбурне (место казней) ежедневно собиралась громадная сочувствующая толпа, для которой это было любимым зрелищем. Порок до того проник во все классы общества, что в числе воров и грабителей сплошь и рядом попадались состоятельные люди из среды буржуазии, фермеры, купцы и даже юристы.

В числе газет, выходивших в то время в Лондоне, был так называемый «Подлинный журнал» («The original journal»), издаваемый Джоном Аппльби, бывшим владельцем типографии, в которой печатались все

официальные отчеты Ньюгейтской тюрьмы и сведения о заключенных там преступниках. Дефо в течение шести лет, с 1720 года, являлся постоянным сотрудником названной газеты и благодаря этому обстоятельству имел свободный доступ в тюрьму. Знакомясь с арестантами, он не только почерпал самые достоверные материалы для своих книг, но (как то видно из его статей, рассеянных в разных журналах и газетах того времени) стремился насколько возможно способствовать с помощью этих книг нравственному перерождению заключенных. Громадная существовавшая тогда криминальная литература с хвалебными описаниями, подвигов выдающихся воров и разбойников, конечно, задавалась другими целями, совершенно чуждыми Дефо; и в противовес ей он выпустил целый ряд книг, в которых, самым точным образом описывая преступную деятельность этих несчастных, старался через увлекательность своего изложения пробудить в них человеческие чувства и спасти от окончательной гибели тех, которые миновали виселицы и тюрьмы или были только сосланы на американские плантации. Такой именно характер носят все издания Дефо, посвященные жизнеописанию знаменитых преступников. Насколько он успел в этом, невозможно судить по недостатку данных; но во всяком случае память этого человека, подвергавшегося стольким клеветам и гонениям при его жизни, остается чистою с этой стороны.

Возвращаясь в заключение настоящей главы к прославившему Дефо роману, лучше всего характеризующему его деятельность как беллетриста, нельзя не признать, что влияние «Робинзона Крузо» было громадно. Правда, Дефо был лучше знаком с внешней жизнью, чем с сокровенными индивидуальными движениями человеческой натуры, и потому его нельзя назвать писателем, создавшим крупные человеческие типы, – прежде всего он все-таки удивительный рассказчик, – но тем не менее «Робинзон Крузо» подготовил целый переворот в этой области литературы. Подобно тому как «Дон Кихот» Сервантеса положил конец рыцарскому роману и рыцарским нравам, так «Робинзон Крузо» сделал невозможными все господствовавшие до него вычурные, искусственные произведения с их бесцветными придворными героями и героинями. Он стал провозвестником тех новых требований, которые возникли в среде народившегося теперь в Англии сильного и многочисленного среднего класса, жаждавшего более серьезного чтения с подкладкою реальной жизненной правды, и является родоначальником того реального романа, прочное основание которому через двадцать с лишком лет было положено в Англии Филдингом и Ричардсоном.

notes

Примечания

1

Материк *(лат.)*.

2

До бесконечности *(лат.)*.

З

Христианин *(лат.)*.

4

Испанец *(исп.)*.

5

Хвала тебе, Мария! *(лат.)*.

6

Пистолеты в то время были кремневые, и Робинзон, щелкнув железным курком по кремню, вызвал искры, от которых загорелся порох.

СОДЕРЖАНИЕ